This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

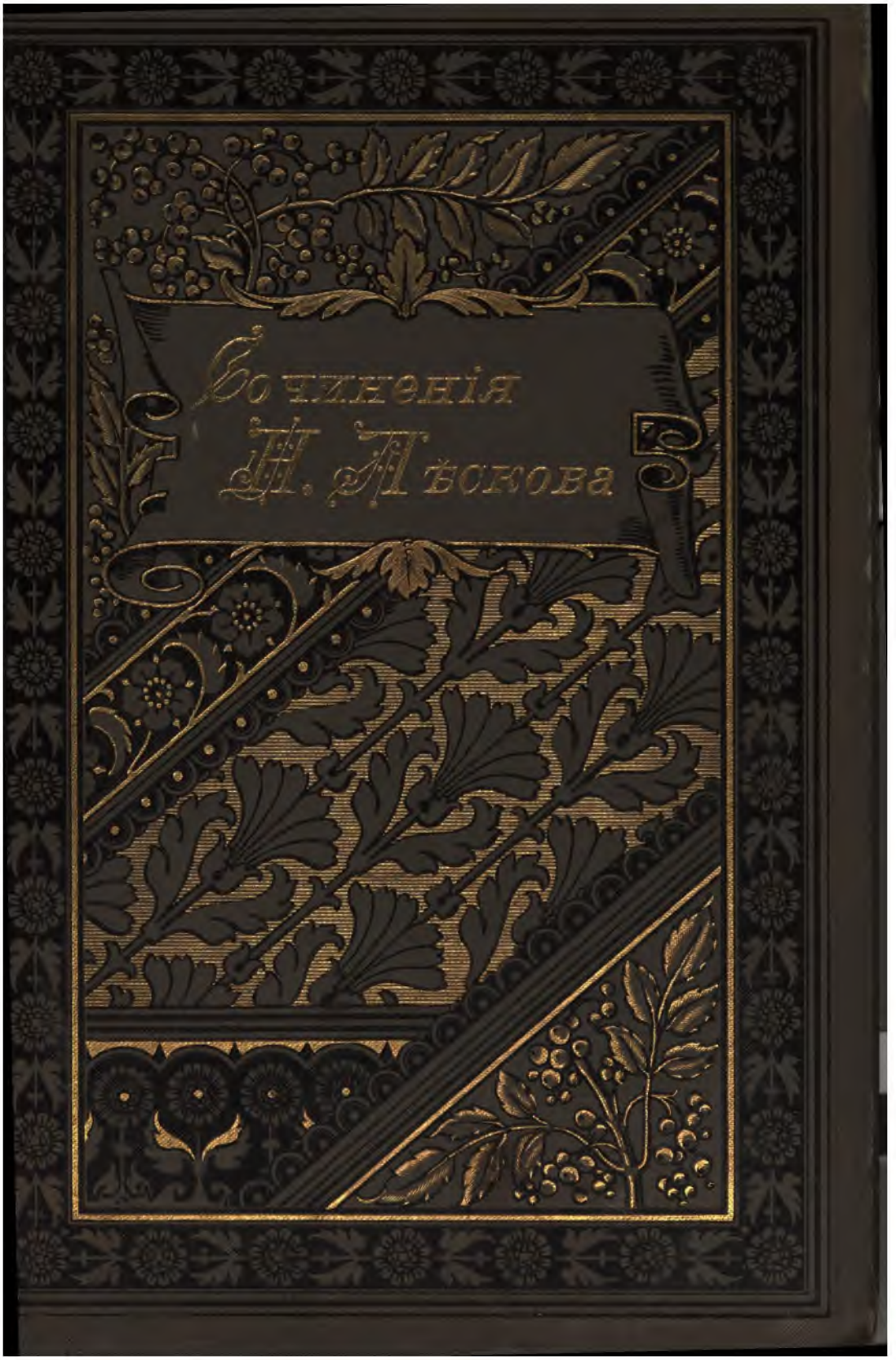
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

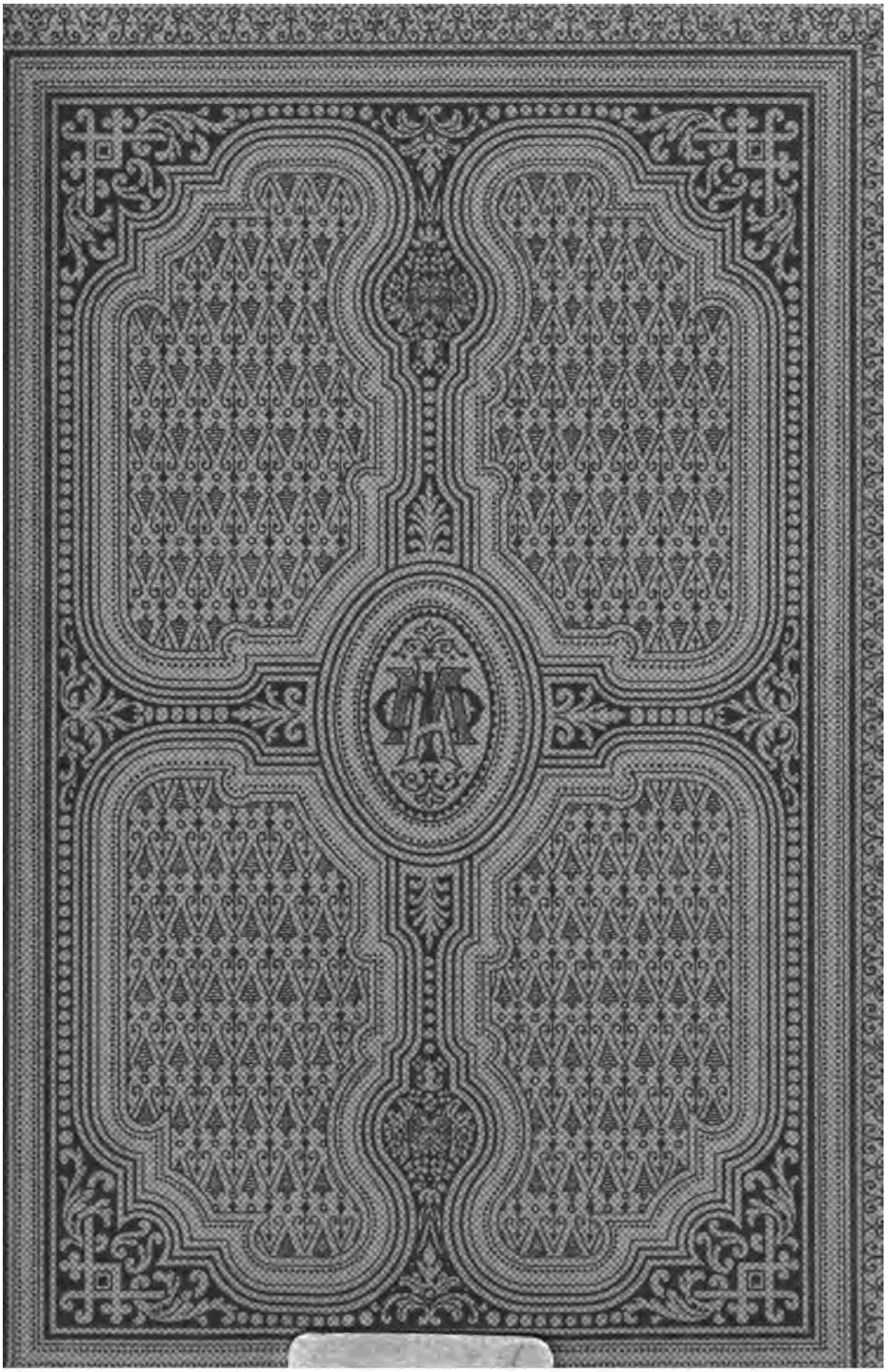
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

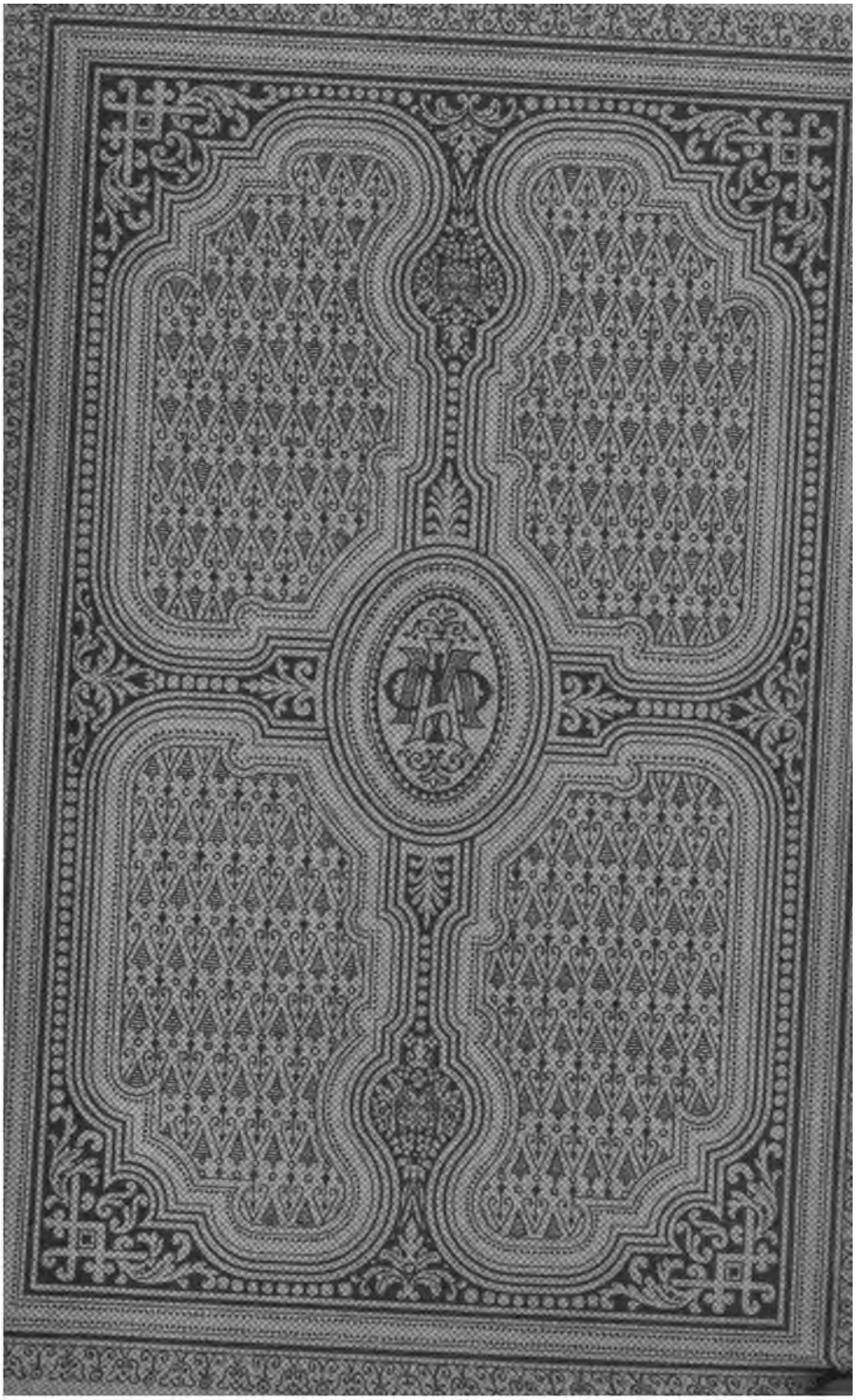
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


Сочиненія
Н. М. Карамзина





ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго, съ приложеніемъ пяти портретовъ Лѣскова и снимка съ его рабочаго кабинета, гравированныхъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ. 11

СОДЕРЖАНІЕ:

Часъ воли Божіей.—Полунощники.—Юдоль.—О квакереяхъ.—Импровизаторы.—Пустоплясы.—Дурачокъ.—Невинный Пруденцій.—Легендарные характеры.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.

Типографія А. Ф. МАРКОА, Средняя Подъяческая, № 1.

ЧАСЪ ВОЛИ БОЖІЕЙ.

(сказка).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ очень древніе годы, стародавніе, былъ въ нѣкоторомъ незнатномъ царствѣ премудрый король по имени Доброхотъ. Величали его такъ за то, что онъ не любилъ воевать, а всѣмъ людямъ добра хотѣлъ. Жить онъ любилъ по-старинному и управлялъ своимъ королевствомъ съ большимъ благочестіемъ, по всѣмъ памятямъ по отцовскимъ и дѣдовскимъ, и изо всѣхъ силъ хлопоталъ и заботился, чтобы въ его землѣ правда надъ кривдою верхъ взяла и всѣмъ людямъ хорошо было у него подъ державою, но только все это дѣло у него не спорилося. Только что начнетъ Доброхотъ съ одного конца свое дѣло налаживать, какъ—глядитъ—оно у него на другомъ концѣ расплетается. Долго бился Доброхотъ всякимъ родомъ и способомъ, и умаялся въ хлопотахъ до семи потовъ, а успѣха ему все-таки нѣтъ какъ нѣтъ. И потерялъ, наконецъ, Доброхотъ всякую надежду устроиться, и взяло его отъ этого такое горе и отчаяніе, что не стали его веселить ни скоморошьи потѣхи, ни пляски, ни женины ласки умильныя; опостылѣли ему звѣриные ловы и птичья охота наскучила. Сталъ король вянуть и къ гробу посунулся.

Замѣтила это жена Доброхота-премудраго — Милолика,

королева прекрасная, и начала его обнимать и просить съ нѣжностью, чтобъ онъ пожалѣлъ себя и ее, и своихъ малыхъ дѣтушекъ, и не трудилъ бы себя долгою тяжкою заботой, а созвалъ бы скорѣе со всего королевства самыхъ сановитыхъ бояръ и велѣлъ бы имъ всю премудрость обдумать въ большой думѣ засвѣтло и подать себѣ предъ сумерки все дѣло чистое—на ладошечкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Король Доброхотъ въ сей послѣдній разъ нѣжныхъ ласокъ своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвалъ своихъ думныхъ бояръ со всей земли и началъ у нихъ спрашивать:

— Все ли у насъ подъ моею державой идетъ такъ, какъ слѣдуетъ?

Совѣтчики отвѣчали:

— Съ нашей руки видать, будто идетъ у насъ все какъ слѣдуетъ. Будь только ты у насъ многолѣтне здравъ, а для насъ ничего окромя сего и не надобно.

— Если всѣ вы не врете, то, пожалуй, быть-можетъ и вправду такъ,—отвѣчалъ король:—хорошо, молодцы, я для васъ постараюсь подольше жить, а только мнѣ то огорчительно, отчего у меня подъ державою не все такъ, какъ я хочу: для чего у насъ есть холодные и голодные и отчего не для всѣхъ равно все спорится и ладится?

А бояре Доброхоту отвѣтили:

— Что тебѣ этимъ пустымъ дѣломъ тревожиться! Не прогнѣвайся, посмотри вокругъ, вѣдь оно и по всей землѣ повсемѣстно такъ—не у насъ однихъ все хорошее не спорится, не ладится!

— Ну пускай повсемѣстно такъ,—отвѣчалъ король,—а мнѣ это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте примѣръ на цѣлый свѣтъ, чтобъ отъ насъ всѣмъ людямъ хорошо стало. Я затѣмъ васъ къ себѣ и потребовалъ, чтобы вы мнѣ скорѣй это дѣло обдумали. Подите-ка

сядьте честь-честью въ большой сборнѣ вдоль лавокъ за столъ, да не спите, поклавъ другъ другу головы на плечи, и обо всемъ мнѣ до сумерекъ обдумайте на-крѣпко, а сутемень придите и выложьте.

Совѣтчики засѣли совѣтъ держать и кой часъ поспали, а послѣ, проснувшись, всѣ между собою заспорили: одни стали говорить, будто всѣмъ хорошо было только въ старину стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять изъ могилы на свѣтъ старину поднять и начать жить всѣмъ по-старинному, какъ было въ прошлое время, при дѣдахъ и при прадѣдахъ, когда будто бы снѣгъ горѣлъ, а соломой тушили. А другіе стояли за то, что и въ ту старину стародавнюю тоже не всѣмъ подъ-рядъ равно хорошо было; а что станетъ, молъ, для всѣхъ поравнѣй и порадостнѣй только въ будущемъ. А потому не надо-де нонѣшнимъ днемъ очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, молъ, какъ ни прожить — это все равно, — хоть и пострадать, такъ не важно стать: нашъ народишко терпѣливый, выносливый — ему ужъ не первый снѣгъ стелетъ головы, и ему ничего отъ бѣды не подѣется; а надо намъ половчѣй учредиться на предбудущее, чтобы во вѣки-вѣковъ было наше имя прославлено.

Провели въ этихъ рѣчахъ все время засвѣтло, а въ сумерки встали съ мѣсть, запахнулися и принесли сутемень свои суды къ королю въ теремъ и все готовьемъ предъ нимъ и выложили.

Слушалъ долго король всѣ разводы совѣтчиковъ и всѣ ихъ слова ему не понравились: покачалъ онъ на нихъ головой и прогналъ ихъ всѣхъ ко своимъ дворамъ на полатяхъ спать, а самъ еще въ два раза смутнѣй закручинился.

— Мнѣ, — говоритъ, — отъ этого ихъ совѣта совсѣмъ нѣтъ ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное, потому что не я дамъ Богу отвѣтъ за то время, когда меня не было, и не отвѣчу я и за то, что послѣ меня въ свѣтѣ станется. А я хочу знать, какъ я самъ теперь дол-

женъ державствовать, чтобы сейчасъ всѣмъ людямъ стало полегостнѣй; а вотъ это-то у меня какъ разъ и не спорится, не ладится.

И началъ король одинъ въ сумеркахъ по палатѣ изъ угла въ уголъ ходить, и какъ до угла дойдетъ да повернется, то вздохнетъ глубоко изъ всей груди, такъ что вездѣ слыхать во всемъ теремѣ.

Тогда подошла къ нему тихо въ потемочкахъ старая его мамка, чуждянка, изъ чужихъ земель полоненая, и говоритъ ему по-просту:

— Ты чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты вѣдь самъ виноватъ,—для чего ты задумалъ искать на бѣдную долю совѣта и разума у своихъ у бояръ и совѣтчиковъ? Имъ вѣдь только и дѣло—особиться, а до общихъ заботъ имъ и нужды нѣтъ, потому что всѣ они только себѣ добра хотятъ, а ты повели привести къ себѣ старцевъ божьихъ, пустынничковъ, такихъ, которымъ уже свѣтъ не милъ и земля имъ давно опостылѣла. Вотъ ты ихъ спроси, — имъ врать нечего, имъ уже ничего въ этомъ свѣтѣ на надобно,—такъ они тебѣ можетъ-быть правду и выскажутъ.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо, — онъ сказалъ, — я тебя очень послушать радъ, но только гдѣ же могу я такихъ божьихъ людей достать?

А старуха отвѣчаетъ:

— Ты объ этомъ не крушися ни малости: слово сказано, что три праведныхъ въ каждомъ царствѣ есть, и у насъ они, милый, водятся. Вотъ мнѣ помнится, что слыхала я про трехъ угодныхъ пустынниковъ, которые стоятъ уже много лѣтъ на однихъ мѣстахъ и отъ всего земного они ужъ давно отстоялися, а теперь только въ то живутъ, что втроемъ въ одинъ голосъ за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебѣ, не прогнѣвайся: можетъ-быть только по ихъ молитвамъ до сихъ поръ Господь Богъ твое царство и милуетъ.

— Хорошо,— отвѣчалъ король,— я сейчасъ хочу видѣть этихъ угодничковъ.

— Вотъ таковъ же и мой совѣтъ: пошли, чтобы ихъ сыскать и привести сюда съ бережью, и спроси у нихъ самъ, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: имъ все явлено, и они тебѣ всю правду, какъ солнышко, на ладоночку выложатъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Король Доброхотъ совѣта своей мамки послушался, и повелѣлъ поставить для него при пути стулъ со спинкою, да и сѣлъ на него рано утречкомъ, чтобы видѣть людей, когда они въ городъ идутъ, да у всѣхъ у калѣкъ-перехожихъ сталъ спрашивать: не видали ли гдѣ трехъ пустынниковъ, которые отбыли все земное, что имъ было назначено, а теперь только въ то и живутъ, что за одно его царство Господу молятся, и черезъ тѣ ихъ молитвы священныя держава его выше всѣхъ на землѣ стоитъ.

Калѣки-перехожіе, тѣ, что всѣ чудеса въ свѣтѣ Божіемъ видѣли, разсказали королю, что такіе праведные пустынички точно есть, но процвѣли они не въ одномъ мѣстѣ, а стоятъ они уже много лѣтъ, всѣ порознь спасаются. Одинъ, тотъ, что постарше всѣхъ, просіялъ въ самомъ дикомъ тѣсномъ лѣсу, гдѣ онъ сталъ давно на дубу на макушечкѣ, а теперь тотъ дубъ уже высоко возросъ и уперся въ поднебесье, и старца и солнце жжетъ, и буйные вѣтры бьютъ; — этотъ называется старикъ-Дубовикъ, а вѣку ему давно лѣтъ за тысячу. Другой старичокъ — этому средній братъ—процвѣлъ въ безбережной степи посреди ковыля, гдѣ и журавли и драхвы съ головами хоронятся, и верховóго латника съ копьемъ вмѣстѣ не видно; тамъ закопалъ себя старичокъ въ землю по-поясъ и терпитъ, какъ его гложетъ сыпучій червь, а самъ кушаетъ только козявочекъ, которыя сами ему въ ротъ вползутъ; — и этотъ пустынникъ называется старикъ-Полевикъ, а вѣку ему пятьсотъ годовъ.

Третій же старичокъ—этимъ обоимъ самый младшій братъ—потопилъ себя по самую шею посреди невылазныхъ рамедныхъ болотъ и живетъ тамъ съ лягушками, съ змѣями, а въ лицо его жалитъ песья муха, и пискунъ-комаръ давно изъ него уже и кровь всю выпилъ, а старикъ все стоитъ, не шевелится; — имя ему Водовикъ, а вѣкъ его триста лѣтъ безъ единаго. И всѣ эти дивные старцы теперь уже чуть живы, такъ что надо ихъ брать съ большою опаской и бережью, потому что отъ самаго малаго встрясу всѣ они могутъ разсыпаться.

И дали калѣки Доброхоту совѣтъ, чтобы послать за старичками самыхъ учтивыхъ людей, полированныхъ, и чтобы взяли послы каждый съ собою по мягкой плетушкѣ соломенной, въ какихъ носятъ гусей предъ царскимъ теремомъ на льду драться. А въ каждую плетушечку наказали калѣки настлать на донышко сѣна пахучаго и мягкаго, волокнистаго мху съ старой сосны, а сверху присыпать слегка пухомъ и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынничкамъ. И всадить старичковъ надо вѣжливо, поучтивому, и нести во всю дорогу посмѣнно въ плетушечкахъ, потому что свои ножки у нихъ отстоялися и ходить они разучилися, а тѣла у нихъ такъ изветшились, что нести ихъ посыльнымъ нимало не тягостно.

Разослалъ король пятьдесятъ пословъ во всѣ стороны и велѣлъ, чтобы нашли, гдѣ хотятъ, старцевъ: Дубовика, Полевика и Водовика, и чтобъ сняли ихъ съ насиженныхъ мѣстъ бережно, посадили половчѣе въ плетушечки и принесли бы къ королю на закорочкахъ. И которые изъ полсотни людей не найдутъ старичковъ, а безъ пользы даромъ проходятъ, тѣмъ большого наказанія нужаться ненадобно и домой идти весело; а которые счастливы будутъ и праведныхъ старичковъ принесутъ, тѣмъ ждать себѣ большихъ почестей: тѣмъ поставятъ каждому у двора по кресту и по шесту, а наверхъ шеста вздѣнутъ цвѣтной колпакъ, чтобы всѣ, кто мимо пойдетъ, вверхъ глаза бы дралъ да имъ бы завидовалъ. А дорогой чтобы ни о чемъ старичковъ не

смѣть спрашивать, а сказать только имъ, чтобъ они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячаго укропа, потому что зоветъ ихъ самъ король къ себѣ на-очи и хочетъ узнать отъ нихъ только одно: отчего у него все не спорится и не ладится? И какъ только они ему объ этомъ скажутъ, такъ онъ ихъ ни о чемъ больше не станетъ разспрашивать, а наградитъ всѣмъ, что̀ имъ надобно, и въ какой чинъ они захотятъ — въ тотъ онъ ихъ и пожалуетъ. Если они захотятъ при королѣ чтобы быть, то онъ оставитъ ихъ жить у себя на застольщинѣ и дастъ имъ супротивъ другихъ кормы вдоволѣ; а если они, одичавши чрезъ долгій вѣкъ, не поймутъ, какъ въ столицѣ жить и какъ при какихъ церемоніяхъ надо ухмыляться иль морщиться, то король ихъ за то не сказнитъ, а опять назадъ въ свою глушь сошлетъ на тотъ манеръ, какъ самимъ имъ понравится,—хоть въ колымагахъ на тавреной, пушно̀й кошмѣ, хоть опять на мхѣ и на сѣнѣ въ плетушкахъ соломенныхъ.

Пошли послы королевскіе, какъ имъ было указано, и во всѣ концы королевства разсыпались,— въ каждый слѣдъ все по парочкѣ, для того, чтобы какъ найдутъ старичковъ, такъ нести ихъ на закоркахъ, не безъ отдыха, а другъ съ дружкою въ перемѣночку.

Шли они шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще безъ толку, и зашли уже на самый край королевства,— дальше чего и идти нельзя, потому что стоятъ тутъ чужіе стражники, на плечахъ несьи головы. Но чуть только три пары пословъ завернулися, вскорѣ же обрѣли всѣхъ трехъ старичковъ,— одного въ лѣсу, другого въ полѣ, а третьяго посреди рамедныхъ болотъ. Сказали имъ посланцы отъ своего короля поклонъ вѣжливо и стали звать ихъ съ собой по-учтивому; но старички имъ ничего ни въ отвѣтъ, ни въ привѣтъ не промолвили, а только какъ цыплятки начали себѣ тонкими вѣками глазки защуривать. Тогда посланцы сняли ихъ съ насиженныхъ мѣстъ и стали на нихъ грозиться и спрашивать:

— Ну-ка, 'вы, безсѣмянники: нѣтъ ли подъ вами на вашихъ мѣстахъ серебра или золота, или самоцвѣтныхъ камней? Лучше вы, дохлая братія, сами честью откройтеся, а то вѣдь мы вамъ не таковскіе,— запытаемъ, замучаемъ до-смерти.

Поняли старички слова ихъ или не поняли, но только опять ничего не отвѣтили, а послы ихъ за то переворотили на ловкую сторону и на обѣ корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились,—и такъ до трехъ разъ отхлопали, а послѣ того посадили ихъ на сѣно въ плетушечки и наказали, чтобы ни одинъ не смѣлъ королю на нихъ жаловаться. Потомъ прикрыли ихъ сверху лопушинымъ листомъ, чтобы перелетныя птицы ихъ не запачкали, и понесли къ королю на закорочкахъ, другъ съ дружкою ношей мѣняючись.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сошлися всѣ три пары обрѣтшихъ пословъ въ столицу королевскую въ одинъ день на утренней зоречкѣ, когда король шелъ изъ опочивальни королевиной въ свою теплую мыленку. Посланцы, какъ несли старичковъ дорогой въ плетушечкахъ, такъ ихъ у предбанника на землю поставили, а сами въ рядъ позади становилися. Помылся король майораннымъ мыломъ и щелокомъ съ кучерявою мятой, съ душицею, расчесалъ кудри и бороду и вышелъ изъ мыльни показаться народушку, а послы тутъ за-разъ лопухи съ плетушечекъ сняли прочь и Доброхоту старичками челомъ въ землю ударили.

Король сдѣлался радостенъ: велѣлъ пословъ накормить, напоить и въ его собственной банѣ отмыть и хорошенечко выпарить, а самъ подошелъ къ старцамъ съ улыбкой привѣтною; но какъ увидалъ, какіе они сидятъ испитые, тщедушные — въ чемъ душа въ тѣлѣ держится, то отъ страха и руки врознь.

Однакоже, поглядѣвъ на нихъ окомъ благостнымъ, ко-

роль осмѣлѣлъ и сталъ надъ ихъ надъ плетушками разговаривать, что вотъ такъ и такъ, наученъ онъ сызмлада наукамъ и мудростямъ и очень хочетъ, чтобы всѣмъ въ его королевствѣ хорошо было, а никакъ это у него не спорится, не ладится.

— Спрашивалъ, — говоритъ, — я объ этомъ моихъ мудрыхъ бояръ и совѣтчиковъ, да ничего не дошелъ отъ нихъ умнаго: или они не знаютъ, или таятся, а говорятъ все такое, что уже тридцать разъ слышано. Ну те-ка вы,— вы вотъ много лѣтъ все молчали и устремляли умы на высокое, — прошу я васъ честію: скажите вы мнѣ, отчего у меня не спорится и не ладится.

А старики какъ сидѣли, такъ и сидятъ во плетушечкахъ, и какъ молчали они много лѣтъ, такъ и теперь молчатъ и своего слова не сказываютъ.

Терпѣливъ былъ и ласковъ король, но за это разгнѣвался.

— Что же,— говоритъ, — вы молчите, какъ истуканы и чучела? Я посылалъ за вами много людей полированныхъ во всѣ стороны, а вы мнѣ и по одному слову не сказываете. Вы теперь не въ лѣсу и не въ болотѣ, а въ моемъ стольномъ городѣ: здѣсь молчать, когда спрашиваю—значитъ грубительство и за это отъ моего утвержденія по закону васъ будутъ наказывать. Смекните, что я говорю съ вами не ради забавы и прибыли, а для пользы въ великихъ дѣлахъ государственныхъ. Для чего же вы мнѣ противляетесь? Не забудьте, что вы мнѣ вѣрноподданные, и я могу повелѣть, чтобы при мнѣ васъ поломя разсѣчь, или привязать васъ къ конскимъ хвостамъ, да и размыкать васъ по полю.

Но смутился король, что если старичковъ казни предать, тогда ничего отъ нихъ не довѣдаешь, а если сдать ихъ честь-честью съ рукъ на руки палачамъ-молодцамъ и велѣть развести по застѣночкамъ да на дыбѣ потрясти да разспрашивать, то они и одной встряски не выдержатъ— всѣ разсыплются въ прахъ и разлетятся пылью по потолкамъ да по стѣночкамъ.

И опять созвалъ Доброхотъ на совѣтъ всѣхъ своихъ мудрыхъ совѣтчиковъ и спросилъ ихъ: отчего передъ нимъ справедливые старцы упрямятся и что ему съ ними надо сдѣлать, — какъ ихъ понудить, чтобъ они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвѣчаютъ:

— Мы бы знали, что дѣлать, да ты это дѣло самъ испортилъ.

— А чѣмъ я испортилъ?—вопросилъ король.

— А испортилъ ты тѣмъ, что понизилъ высокій санъ— сталъ съ простыми людьми вровняхъ разговаривать: вотъ они черезъ это теперь и зазналися. Тебѣ, кромѣ насъ да стрѣльцовъ, ни съ кѣмъ говорить непригоже, потому что твое дѣло средь всѣхъ людей особливое. Чтобъ исправить теперь ихъ какъ слѣдуетъ, дай ихъ намъ — мы отъ нихъ всю ихъ премудрость довѣдаемъ.

Король, было, совсѣмъ согласился отдать старцевъ боярамъ; но прослышала опять объ этомъ мамка-полонянка-доилица и пришла съ клюкой къ королю, чтобъ его отговаривать.

— Не сердись,—говоритъ,—ты на бѣдныхъ пустынниковъ: вѣдь они одичали и молчатъ уже много лѣтъ. Не хотятъ они и тебѣ говорить не по грубости, потому будто дѣло твое особливое, а они—не прогнѣвайся—опростилися и тебя мнятъ не выше всѣхъ прочихъ въ созданіи, и въ особину на тебя не надѣются!

— Значитъ, глупы они,—отвѣчалъ король,—въ семъ вина тебѣ: вѣдь они сюда съ твоего совѣта и позваны.

— Нѣтъ, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоемъ дворѣ поживутъ — сполируются и тогда ухитрятся, какъ сказать про все неразберихою, — скажутъ такъ, что ничего не будетъ тебѣ и другимъ непріятнаго и все будетъ то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи и не давай ихъ на допросъ своимъ боярамъ-совѣтчикамъ: видишь самъ, чай, что старички они очень слабые, — а бояре твои про-

тивъ слабыхъ усиліе творить очень усердные: они ихъ возьмуть да съ большого усердія запытають и замучають до-смерти. Мой совѣтъ тебѣ—будь обходительнѣй: призови ты сейчасъ лучше всего своего гусляра Разлюляя-гудошника—онъ измигулъ-мужиченко, лядащенькій, ни на міръ, ни въ семью ничего не работаетъ, а однимъ своимъ пустобрехомъ на свѣтѣ живъ; но зато знаетъ онъ всѣ разныя хитрости и всѣ ходы съ подходами. Посмотри-ка, онъ чего занесетъ пустолайкой и въ-разъ у старичковъ правды допросится—обойдетъ ихъ если не лаской, такъ хитростью.

Доброхотъ позвалъ своего плясуна, гусляра Разлюляя-гудошника, и сказалъ ему:

— Ты лядащій мужикъ-измигулъ не работистый, только хари гнешь, да врешь ни знать что̀ пустолайкой, — здѣсь отъ тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсѣмъ на другую стать. Полно тебѣ въ дуракахъ ходить да ерошиться: я теперь тебѣ свое государево великое дѣло приказываю, чтобы ты, какъ умѣешь и вѣдаешь, допытался у старичковъ ихъ откровенія премудрости: отчего у насъ въ королевствѣ не спорится, не ладится.

И закончилъ король Разлюляю рѣшеніемъ:

— Узнаешь премудрость — дамъ тебѣ сто рублей, а не узнаешь—велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, какъ Богъ въ небеси, — что̀ я сказалъ, то̀ и станется.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Разлюляй-измигулъ, гулевой мужиченко, шершавенькій, повсегда онъ одѣтъ въ зипунишечкѣ въ пестренькомъ,— одинъ рукавъ кармазинный, а другой лазоревый, на головѣ у него суконный колпакъ съ бубенчикомъ, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая,—не жнетъ онъ и не сѣетъ, а живетъ не знамо чѣмъ, и питаетъ еще хозяйку красивую да шестерку дѣтей,—на котораго ни глянь, сразу знать.

что всѣ—Разлюляевичи. Ходитъ онъ повсюду болтается и никто разобрать не можетъ: видитъ ли онъ добро въ той темнотѣ, что была до Гороха царя, или свѣтится ему лучшее въ тѣхъ смыслахъ, какіе открылися людямъ послѣ время Горохова. Никто его не чуждается, а всѣ зовутъ его «пустолайкою»; но измигулъ Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легкимъ тычкомъ не гоняется, а людей потѣшаетъ, и какъ устанетъ врать пустолайкою, то соловьемъ свиститъ, то лопочетъ варакушкой, на рукахъ идетъ, бокомъ катится и на всякій на разный манеръ притворяется.

Но какъ выслушалъ Разлюляй королевъ приказъ, позабылъ онъ всѣ свои забавы и шуточки, и началъ проситься отъ этого дѣла прочь,—что «не мнѣ де такое важное дѣло вѣдати»; но король топнулъ ножкой, и пошелъ Разлюляй къ старикамъ и началъ вокругъ нихъ, по обычаю, измигульничать: митусить ногами и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

— Охъ вы, гой еси старички справедливые, треблаженные, божьи молчальнички, разомкните уста свои благовѣстныя и скажите скорѣй, не потайте отъ короля отъ нашего милосерднаго батюшки, отчего у него подъ державой все добро не спорится, не ладится?

А старички какъ молчали, такъ и теперь молчатъ, только, знай себѣ, въ кошолочкахъ гнѣздятся.

Тогда Разлюляй сталъ на другой манеръ измигульничать, и началъ ихъ пробовать жалостью.

— Мнѣ нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мнѣ скажете, отчего не спорится добро, то король обѣщалъ мнѣ дать сто рублей, а если не скажете, то онъ дастъ мнѣ тогда сто плетей. Его слово королевское крѣпко, и сбудется—не забудется. Да вамъ и самимъ, старичкамъ, для себя молчать не совѣтую, потому что король васъ тогда не отпуститъ назадъ ни въ степь, ни въ лѣсъ, ни въ болото, а велитъ васъ подвѣсить въ кошолочкахъ подъ полати въ большой избѣ, гдѣ онъ держитъ частый совѣтъ со

своими вельможами. Что тамъ по всѣ дни наслышитесь — спаси только Господи. Вотъ вы на этотъ счетъ поразду-майте, каково-то вамъ тамъ придется слушать совсѣмъ непривычныя рѣчи до самаго до-вѣку! Выручайте и меня, и себя, отцы, а то нагрѣшите вы съ ними три короба и не годится послѣ того ни къ стру, ни къ смотру, ни въ рай, ни въ адъ, ни въ царство небесное, а такъ и останетесь висѣть подъ полатями.

Такъ напугалъ этимъ Разлюляй старичковъ, что они стали глазами водить во всѣ стороны и изгорѣвшими устами своими начали пошевеливать, а измигулъ Разлюляй-пустобрехъ, какъ увидалъ, что успѣлъ имъ загнать во лбы заговздку здоровую,—сейчасъ побѣжалъ къ королю и говоритъ:

— Что мнѣ отъ твоей милости сказано, я все это уже выполнилъ: старички уже теперь полируются,—стали уже губами двигать и скоро шептать начнутъ,—одѣвайся скорѣй, да иди-ка ихъ слушать, что они высловятъ, какія премудрости.

Какъ пришелъ король да нагнулся къ первой плетушечкѣ, такъ и стало слышно ему, что старикъ Дубовикъ и впрямь полируется,—объ ивовое плетеніе, какъ поросенокъ, всѣми боками трется, а самъ робко пыхтитъ и тихо покрехтываетъ.

Король его и спросилъ: «Отчего на свѣтѣ доброе не спорится и не ладится?»

Старикъ Дубовикъ прошепталъ:

— *Оттого, что люди не знаютъ: какой часъ важнѣе всѣхъ.*

Доброхотъ нагнулся къ другому, къ Полевику, и того спросилъ, а тотъ шепчетъ:

— *Оттого, что не знаютъ: какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ.*

Нагнулся Доброхотъ и къ третьему старичку, а тотъ ему сказалъ:

— *Оттого, что не знаютъ: какое дѣло дороже всѣхъ.*

И такъ молчальникамъ трудно это было проговорить съ

отвычки, что они какъ только сказали, такъ и ослабѣли, и больше не полируются, а лежатъ, едва дышатъ, на донышкахъ. Ничего отъ нихъ король больше никакъ не могъ допытаться-довѣдаться, и еще больше разсердился, потому что сказанныя ими слова стали ему загадками, которыя понимать можно на-двое. Король же привыкъ такъ все брать, чтобы было ему все какъ на ладонкѣ положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказалъ онъ сдѣлать съ старичками точь-въ-точь такъ, какъ имъ Разлюляй пригрозилъ: указалъ Доброхотъ, чтобъ ихъ не носить ни въ лѣсъ, ни въ болото, а подвѣсить ихъ въ кошолкахъ въ большой совѣтной избѣ подъ полатями и держать ихъ тамъ, пока они не скажутъ: «какой самый важный часъ, кто самый нужный человѣкъ и какое дѣло дороже всѣхъ».

Отнесли старичковъ въ совѣтную избу и подвѣсили подъ полатями въ ихъ плетушечкахъ, посыпали имъ пшенной кашки, чтобъ они въ просоночкахъ зоблили, и поставили на верхнемъ полу ведерцо воды съ мѣднымъ ковшикомъ, а сами всѣ спать пошли и разоспались до одури самымъ крѣпкимъ сномъ до самаго до свѣту.

По однако спали не всѣ люди во всю ночь безъ просыпу,—проснулся въ первые пѣтухи сынокъ кравчаго, побѣжалъ въ избу незапертую и укралъ изъ ведра съ водой красный мѣдный ковшъ, чтобы промѣнять его на подторжьѣ на пряники. А потомъ еще не поспалось самому королю Доброхоту-премудрому: все казалось ему, будто его закожныя блошки покусываютъ. Провалялся онъ такъ безъ сна до послѣднихъ пѣтуховъ, и надоѣло ему въ постели барахтаться—безъ сна лежать, только маяться; всталъ онъ горошкомъ, распрямился, нахватилъ себѣ на плечи королевскую глубоньку и пошелъ старичковъ посмотрѣть: живы ли они и здоровы ли, и чего они черезъ ночь, полируясь, надумались?

Пришелъ король въ избу, подставилъ себѣ къ полатямъ приставную скамеечку, но только что глянулъ въ плетушечки,—такъ и ротъ раскрылъ, и завопилъ благимъ голо-

сомъ, и со скамьи на полъ навзничь треснулся. Всѣ плетушечки были пусты-пустёхоньки, и ни отъ одного старичка ничего не осталося, кромѣ смятаго мѣста да насѣдней. Разлетѣлись ли они легкою пылью по стѣнкамъ да по полу, или унесло ихъ по воздуху, но только тутъ, гдѣ они сохранялися, ничего не осталося.

Король такъ испугался, что какъ со скамьи упалъ, такъ и не становится на ноги, а катается по полу и такъ бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благимъ временемъ, уберегутъ самого его слуги вѣрные, такъ что, пожалуй, лиходѣи и его со двора сведутъ и растрясутъ гдѣ-нибудь безъ остаточка!.. Услыхали караульщики, какъ земля дрожитъ, и стали спросонья бить громкій всполохъ по чугунной доскѣ на цѣлый дворъ и кричать благимъ голосомъ: «Ай земля сотрясается—мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевскіе спальники и застольники и начали со страху вокругъ себя на корачкахъ ползать, а потомъ пришли и вылили королю все ведро воды за воротъ, и насилу нашли королевскаго доктора-нѣмчина, который одинъ зналъ, что сдѣлать надобно: онъ поднесъ Доброхоту подъ самый носъ стеклянную столбушечку, а въ столбушечкѣ тертый крѣпкій хрѣнъ, и защекоталъ ему перстами въ подмышечкахъ.

Отъ хрѣну и щёкота королю сразу полегчало: онъ сталъ похохатывать и въ-разъ возвратились ему всѣ его чувства нѣжныя и большія заботы о подданныхъ. Созвалъ онъ опять къ себѣ всѣхъ бояръ и совѣтчиковъ и сталъ спрашивать ихъ: гдѣ дѣлись пустынички, не извелъ ли ихъ кто какою отравой, боясь ихъ правдивыхъ словъ, или не продалъ ли ихъ съ ненасытной душою куда-нибудь въ чужое царство безбожное, гдѣ ихъ станутъ неволить въ римскій костелъ ходить и ѣсть скоромное по середамъ и по пятницамъ.

Бояре, какъ могли, постарались короля успокоивать, и стали ему доводить, что никакого тутъ зла съ умысломъ не случилось, а что просто жилъ, вѣрно, въ палатѣ подъ по-

ломъ жадный хорь, и поѣлъ этотъ жадный хорь старичковъ безъ остаточка.

И стали всѣ короля отвлекать и разсѣевать,—что убиваться ему о такой пустой пропажѣ долго не слѣдуетъ, что «старички были люди ветхіе и свой вѣкъ давно уже отжили».

— Пропоемъ о нихъ панихидочку, вспомянемъ ихъ канономъ на паперти, да у себя по домамъ блинками съ припекою, и будемъ править всѣмъ опять по-старинному, какъ было при дѣдахъ нашихъ и прадѣдахъ. А что никакъ не спорится и не ладится—про то, значитъ, и думать не слѣдуетъ: на землѣ бѣднякамъ всегда будетъ жить тяжело, да никуда они не подѣнутся: вѣдь на небо взлетѣть крыльевъ имъ не дано. Поскулятъ и на томъ успокоятся!

Королю же однако эти слова не понравились, и не повѣрилъ онъ тому, чтобы старичковъ у него въ избѣ хорь изъѣлъ,—а сказалъ онъ такъ:

— Если хорь изъѣлъ, то гдѣ же ихъ косточки? Панихиду о нихъ я согласенъ пѣть, да вѣдь надо пѣть ее надъ могилами.

Тогда приступилъ къ королю судный дьякъ, во всѣхъ дѣлахъ многоопытный, и сказалъ королю, что бояре болтаютъ негожее: не хорь изъѣлъ старичковъ, а ушли они не иначе, какъ своею колдовскою хитростью: пролили изъ ведра воду на полъ, а сами сѣли въ мѣдный ковшикъ и уплыли. Ихъ теперь нигдѣ не сыскать никакими манерами. Отъ лихихъ колдовскихъ людей таковыя дѣла не разъ были во всѣхъ земляхъ, и при всѣхъ дѣдахъ и при прадѣдахъ, и вездѣ на телячьихъ на шкурахъ записаны чертами и рѣзами, со брегами широкими, и въ самыхъ глубокихъ подвалахъ тѣ шкуры положены, чтобы хранить въ поученіе внукамъ и правнукамъ.

А король говоритъ: «хорошо, чему вѣрили дѣды и прадѣды, тому я всему съ охотою вѣрую; но вѣдь не грѣхъ и то узнать: что какъ устроено? Вотъ я хочу, чтобы вы показали мнѣ: черезъ какое подполье старцы въ мѣдномъ ковшѣ сквозь землю въ океанъ-море спустилися? Согнать

сейчасъ со всего королевства плотниковъ и чтобы взломали они въ-разъ всѣ полы во всѣхъ домахъ. Не ломать только въ моемъ теремѣ, да у сѣрыхъ сельскихъ людей, у которыхъ въ жильяхъ полы не стланы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пошли бояре не веселы: не хотѣлось имъ посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотниковъ и ломать половицы въ жилыхъ домахъ, а не смѣли ослушаться короля и не знали, какъ своему горю помочь. Но на ихъ счастье узнала опять обо всемъ объ этомъ королевская мама-чуждянка-доилица, и пришла она къ королю съ прежней смѣлостью и начала говорить ему поучтивому:

— Ты прости меня, неразумную: я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала, и могу тебѣ разсказать, куда дѣлися старчики. Ихъ не хорь изъѣлъ и не сплыли они въ мѣдномъ ковшикѣ, а настращалъ ты ихъ до смерти самъ, что велѣлъ ихъ подвѣсить къ полатямъ въ избѣ, гдѣ держишь совѣтъ свой съ своими боярами. Старчики вѣкъ сидѣть и все слушать васъ забоялись. Я не спала всю эту ночь отъ лихого отъ вереда и слышала, какъ они другъ со дружкой въ потемкахъ скликнулись. По началу всѣ они сразу чирикнули точно будто сверчки подъ загнеточкой, а потомъ зачали въ своихъ плетушечкахъ покачиваться и такъ раскачались во всѣ стороны, что въ-разъ опрокинулись и съ сѣнцомъ вмѣстѣ на полъ и выпали.

— Гдѣ же они теперь?—закричалъ король.

— А теперь ихъ и слѣдъ простылъ: уползли на корачкахъ съ твоего двора и всѣ въ буйной травѣ безъ слѣдочка и скрылися. Теперь ихъ тебѣ ни за что не найти, потому что трава у насъ этотъ годъ очень рослая; да и дѣло до нихъ ужъ теперь не касается.

— Отчего же оно не касается?

— Оттого, что приснился мнѣ вѣщій сонъ, и былъ слы-

шенъ во снѣ таковой глаголъ, что отгадать ихъ премудрость можетъ только одна чистая жалостница, которая всѣхъ равно сожалѣетъ, а сама о себѣ ничего вовсе не думаетъ. Такъ вотъ ты теперь оставь старичковъ, а посылай искать эту дѣвицу.

Король свою маму-чуждянку послушался и сейчасъ же разослалъ дворянъ и боярскихъ дѣтей дѣвицу разыскивать, а на кормы имъ повелѣлъ собрать по всѣмъ дворамъ съ каждаго дыма по шелегу.

Съ неохотой большою и съ тугою боярскія дѣти и дворяне въ подневольный отъѣздъ собиралися; перво-на-перво всѣ они взяли шелеги, а потомъ зачали у себя по домамъ печи топить и въ баняхъ париться. А потомъ долго справляли себѣ лубяныя зобёнки раскрашенныя, да укладывали въ нихъ пироги съ ветчинной начинкой, медовыя оладьи да колобки въ жиру кипяченые, да блины съ разною съ припекой, и когда, наконецъ, напосудились, то кое-какъ съ трудомъ за ворота повыползли и поѣхали въ путь со своими стремянными. А какъ за околицу выѣхали, такъ сейчасъ взяли съ прямого пути въ стороны и разъѣхались къ роднымъ да къ пріятелямъ, и начали тамъ ѣсть досыта, пить до-пьяна, а напившись—кости и зернь метать, и игравъ—подрались и другъ дружкѣ подъ очи синявы намѣтили, а потомъ помирилися, на синія мѣста муки съ медомъ намазали и легли, крѣпко выспались, а какъ хмель прошелъ и синяки позаиндевѣли—послы всѣ назадъ возвратилися и почали разные страхи разсказывать про то, гдѣ будто были и что видѣли, и, предъ иконами ставъ, забожилися, что хоть много на свѣтѣ есть непонятнаго, но нѣтъ нигдѣ такой дѣвушки, которая бы всѣхъ сожалѣла, а о себѣ объ одной не заботилась.

— Къ этакой,—говорятъ,—если бъ была она, весь народъ на одинъ край свѣта сбѣжался бы, и весь свѣтъ бы тогда перекувыркнулся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Услыхавъ такой сказъ, король такъ опечалился, какъ до сихъ поръ и не было: не сталъ онъ совсѣмъ ни ѣсть, ни пить, ни по галлереѣ гулять, дышать чистымъ воздухомъ, а залегъ какъ медвѣдь на зимовочку. И вотъ лежитъ онъ такимъ манеромъ разъ въ сумеркахъ совсѣмъ тощій, у себя въ верхней горницѣ на лежаночкѣ, и едва черезъ силу говоритъ своей бабѣ-доилицѣ:

— Неужели же я такъ и умру, не довѣдавшись: какой часъ важнѣе всѣхъ, какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ и какое дѣло дороже всѣхъ?

А баба ему отвѣчаетъ:

— Если будешь всѣ бояръ разсылать,—пожалуй, что такъ и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать дѣвицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть онъ ее хоть и вѣкъ ищетъ, но безъ нея чтобы не шелъ назадъ. Онъ мужичонко корявый, ледащенькій, говоритъ пустолайкою, и за нимъ никакія дѣла не задержатся, а кормовъ ему отъ казны супротивъ бояръ можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: онъ и такъ пропитается какъ-нибудь одною своею вѣрностью. Вѣрныхъ псовъ-то добрый народушка и весь вѣкъ держитъ на безкормицѣ. Пусть и онъ при всей вѣрности свое счастье испробуетъ. Пускай высѣчетъ себѣ топоромъ въ заказномъ лѣсу хоть костыль съ клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинетъ пенечную обрать конскую, и довольно ему принадлежностей. Пусть идетъ, будто надо ему коней искать: «на росу, молъ, пустили, а они съ росы разбѣжалися». И пусть такъ идетъ куда знаетъ самъ, и проходитъ хоть сквозь цѣлый бѣлый свѣтъ: гдѣ жъ-нибудь на краю свѣта разыщетъ онъ дѣвицу-отгадчицу. Вѣдь сквозь таръ-тара-ры она, небось, не провалится.

— Хорошо,—отвѣчалъ король,—всѣ твои разсужденія умныя, и они мнѣ всегда очень нравятся: пошлемъ Раз-

люляя во мѣсто большихъ бояръ; а только не вздумаю, какое ему посулить за его службу жалованье?

— Обѣщай, что̀ больше, то лучше. Пусть больше зарится, а тамъ, что взаправду дашь—будетъ видно, по его по старанію. И совсѣмъ ничего не дашь—тоже стерпится: на тебя вѣдь ни въ судъ не пойдетъ просить, ни въ полицію. На тебя одинъ Богъ судья: твое дѣло совсѣмъ особливое.

— Это правда, — отвѣчалъ король, — на землѣ мы не судимся, ну, а все-таки надо и намъ межъ людей вести себя съ честностью: что королевскимъ словомъ обѣщано, то ужъ надо и выплатить, все равно какъ по бирочкѣ.

— Ну, такъ пожалуй его опять и въ этотъ разъ въ одностай противъ прежняго: если онъ исполнитъ свою службу и найдетъ дѣвицу-разгадчицу, дай ему въ тѣ поры полныхъ сто рублей, а если не исполнитъ—не сыщетъ дѣвицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, Богъ съ нимъ, пусть идетъ опосля къ своему двору, а ты на него больше не гнѣвайся и пожалѣй его за стараніе.

— А какъ онъ и дѣвицы не найдетъ, и сюда къ намъ со страху совсѣмъ не воротится? Онъ вѣдь пустой человѣкъ, ему вездѣ все равно—въ цѣломъ мірѣ отечество.

— Ну, про это, — сказала старуха, — я, другъ мой, не свѣдуща. Позови къ себѣ изъ приказа посольскаго судового дьяка, который посламъ ярлыки даетъ за печатями; дьякъ тебѣ это дѣло все оборудуетъ.

Пришелъ дьякъ и привелъ съ собою самаго хитраго подьячаго съ приписью и подали королю такой совѣтъ, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а какъ станетъ король отпускать Разлюляя въ послѣдній разъ, то сказать ему, что идетъ онъ посломъ не на цѣлый вѣкъ, а дается ему сроку ходить по свѣту всего три года, и если онъ къ концу третьяго года своей службы не выполнитъ, то ему самому зла не послѣдуетъ на чужой землѣ, а тутъ, дома, его дѣти съ ихъ матерью каждую недѣлю будутъ ставлены на площадь по три утра и будутъ биты въ три прута, а

при томъ битьѣ у нихъ будутъ спрашивать: знаютъ ли, гдѣ ихъ отецъ и когда передъ свѣтлыя королевскія очи воротится?

— Пригрози-ка такъ, — сказалъ дьякъ, — Разлюляй хотя и пустой человѣкъ, а дѣти всякому своя кровь: небось и онъ пожалѣетъ ребятъ и жену, и назадъ придетъ. Таковые разы уже не разъ были и на шкурѣ телячьей записаны чертами и рѣзами, со брегами широкими, и въ подвалъ подъ избой на сохрану положены.

Король молвилъ втишь, что ему самого Разлюляя жаль, но и дьякъ и подьячій съ приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалѣть намъ въ особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпитъ, для другихъ постарается и за то будетъ всѣмъ польза въ будущемъ, а ему это зачтется на тотъ свѣтъ душевнымъ спасеніемъ.

И изволилъ сказать король, чтобы собрать Разлюляя въ путь, а кормовъ ему присудили дать небольшимъ положеніемъ: толоконца за пазуху да узелокъ соли въ тряпочкѣ, а дальше пусть чѣмъ самъ знаетъ, тѣмъ пусть и кормится.

Сытѣе его снаряжать и не стоило, потому что дѣло, за которымъ шелъ онъ посломъ, совсѣмъ ненадежное. Весь народъ о томъ зналъ отъ бояръ сановитыхъ доподлинно. Да кромѣ того Разлюляю нигдѣ кормовъ и не надобно. Оголодаетъ, такъ можетъ либо пѣсню спѣть, либо ударить хорошенечко вприсядку, и вездѣ себѣ хлѣба онъ выпляшетъ, а не выпляшетъ, такъ и самъ возьметъ потихонечку. Вѣдь съѣстное тайно взять не грѣхъ, а благородиться Разлюляю не для чего: на немъ чина большого не кладено; ударятъ по шеѣ — согнется, а запрутъ гдѣ-нибудь — выерзнетъ подворотнею и опять пойдетъ веселехонекъ.

Измигулъ же и нетягъ Разлюляй Разлюляевичъ не дуракъ тоже былъ: не взманила его большая честь, чтобы быть въ послахъ, и началъ онъ сильно отпрашиваться, и до той поры предъ трономъ въ половицу лбомъ стучалъ,

что набѣжала у него на лбу шишка, какъ грибъ, что зовется волвянкою. Представлялъ онъ королю Доброхоту всѣ доводы, что и не уменъ, и не знатенъ онъ, и на всѣ языки не выученъ, и не съ каждыхъ вровняхъ говорить можетъ, а здѣсь безъ него дома ребятъ кормить некому и некому ихъ учить уму-разуму и разуму и почтенію королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтобъ о дѣтяхъ своихъ нимало не плакался, потому что ихъ сошлютъ до его возвращенія къ самому королю на птичный дворъ и приставятъ утятъ стеречь, и будутъ имъ тамъ и кормъ вдоволѣ, и во всѣхъ смыслахъ наученіе; а самаго Разлюляя выпихнули за ворота, какъ онъ дома былъ, въ одномъ зипунишкѣ съ заплатами, въ рукѣ дубиночка, а на плечахъ обрать конская,—будто онъ ходитъ да сбѣглыхъ коней ищетъ.

Нечего было больше дѣлать Разлюляю, и пошелъ онъ искать дѣвицу-разгадчицу. И шелъ онъ все честь-честью самымъ смирнымъ обычаемъ, нигдѣ ничего, кромѣ съѣстного, не кралъ, и когда не давали вина—не пьянствовалъ, а все шелъ впередъ; долго ли, коротко ли, и зашелъ онъ страсть какъ далеко, на самый почти край свѣта. Встрѣчалъ онъ на своемъ пути много разныхъ людей, и звѣролововъ, и коробейниковъ, и пахарей, и у всѣхъ, кого встрѣчалъ, всѣхъ разспрашивалъ, какой часъ важнѣе всѣхъ, какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ и какое дѣло дороже всѣхъ; но никто этого разгадать не могъ. А обратно тѣ, кого онъ разспрашивалъ, сами хотѣли знать отъ него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкою? А Разлюляй говорилъ про волвянку всякому разное: то будто онъ своему королю у Бога довѣчнаго живота просилъ и все въ землю кланялся, то будто самъ за свои грѣхи каялся. Наконецъ, повстрѣчался онъ разъ съ воровскимъ цыганомъ, подъ самую Пасху велнкую, и тоже сталъ у того цыгана про свое дѣло спрашивать; но цыганъ ему засвисталъ и показалъ въ перстахъ загогулину и говоритъ:

— Ты мнѣ прежде самъ скажи: хорошо ли жить у васъ подъ державою и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему разсказалъ, что жить у нихъ очень сладостно, а что шишка у него сдѣлалась отъ большихъ молитвъ; но цыганъ говоритъ:

— Не обманешь, братъ, я и самъ богомоленъ, и посты держу, когда нечего ѣсть, а на лбу у меня нѣтъ еще шишки волвянкою. Признавайся по истинѣ.

— А по истинѣ,—говоритъ Разлюляй,—я въ банѣ мылся да съ полка свалился.

— Что же ты за полокъ-то не уцѣпился?

— Очень угорѣвши былъ.

— Вотъ, я вижу теперь, ты говоришь мнѣ все по совѣсти: ишь какіе вы, братцы, счастливые—васъ и кормятъ, и поятъ, и спины вамъ порютъ—чего еще надобно! Теперь мнѣ съ тобою вдвоемъ ночевать не страшно,—отвѣчалъ цыганъ, зубы скалячи, и обѣщалъ ему завтра натощѣ отгадать всѣ три загадки. Такъ легли они и покрылись зипуномъ Разлюляевымъ, а въ ночи всталъ цыганъ, съѣлъ все толокно, укралъ обратъ, надѣлъ зипунъ, да и былъ таковъ.

Остался Разлюляй въ однихъ порткахъ да въ рубахѣ и поплелся въ пустынный скитъ, гдѣ жилъ высокій попъ Сирахъ, у котораго была одна ряса въ дырахъ, а читалъ онъ все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха попа давно уже и на свѣтѣ нѣтъ, а на его мѣстѣ живетъ новый попъ, хотя ростомъ и низокъ, да зато на немъ сорокъ ризокъ, и онъ поетъ и читаетъ молебны съ акаѳистами, а въ Сирахову книгу Премудрости не заглядываетъ. Ни откудова нѣтъ Разлюляю ни совѣта, ни помощи, только все ему бѣдства множатся, и идетъ онъ самъ подъ собой земли не видитъ и проливаетъ слезы горючія. Тутъ-то надъ нимъ наконецъ Богъ и сжалился — даровалъ ему встрѣчу желанную.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Самъ не свой Разлюляй шелъ все далѣе и зашелъ въ самый темный лѣсъ и заснулъ на мху на поляночкѣ и проспалъ съ полдня до полночи, а въ полночь прокинулся и увидѣлъ онъ тамъ при лунѣ старичка очень стараго, въ долгой рубахѣ до пяточекъ—стоитъ да съ липъ лычко деретъ, а устами поетъ тихо Спасовъ стихъ.

Разлюляй думаетъ: что это—либо сонъ снится мнѣ, либо видѣніе, или такой заправскій старикъ, которому въ ночи спать не хочется? А не лучше ли мнѣ, на всякій разъ, съ старичкомъ поздороваться?..—Взялъ и сказалъ ему по-учтивому:

— Помогай Господь тебѣ, дѣдушка!

Старикъ отвѣчаетъ:

— Будь и ты здоровъ, Какойто Какойтовичъ, и скажи, какъ тебя зовутъ иначе?

Разлюляй ему назвался.

— Хорошо,—говоритъ старичокъ, — Разлюляй—имя веселое; да скажи-ка мнѣ, Разлюляй, для чего ты здѣсь измигульничаешь, зачѣмъ у насъ по лѣсу шляешься? Или вы ужъ свои-то лѣса всѣ повывели?

Разлюляй ему отвѣчалъ, какъ лѣса свели, да притомъ разсказалъ и зачѣмъ посланъ, и что претерпѣлъ, и какъ потерялъ всѣ свои принадлежности; а старикъ ему говоритъ:

— Твое дѣло, братъ, для меня непонятное, ну а только сдается мнѣ, будто я тебѣ въ этомъ дѣлѣ помочь могу.

— Помоги, ради Господа, дѣдушка, а тебѣ Господь Богъ заплатитъ сторицей.

— Да, Господь-то, Господь, всѣмъ намъ батюшка, а по Немъ и всѣ братья мы, а ты, молодецъ, не зѣвай-ка, а полѣзай-ка вотъ этой глухою тропиночкой; теперь ужъ гораздъ ночи убыло, уже волкъ умылся и кочетокъ пропѣлъ. Да иди не борзясь, а съ терпѣніемъ, и не бранись никакъ дурнымъ словомъ, не гони отъ себя своего сохранителя-

ангела. Такъ пройди ты черезъ весь долгій черный лѣсъ и придетъ тебѣ тамъ впоперекъ пути холодная балочка; ты переплынь вплавь безъ страху черезъ холодную балочку, да пройди опять весь красный сосновый боръ и увидишь прогалинку, а на ней посединѣ примѣтный калиновъ кустъ и отъ того куста поворотъ будетъ на полдень, и тамъ ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоитъ больной журавель окалѣченный: одно крыло у него все какъ слѣдуетъ, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая въ лубочекъ увязана. Не то его въ небѣ орелъ подшибъ, не то не знать для чего подстрѣлили княжьи охотники: они убивать и звѣрковъ и птицъ, спаси Господи, какіе досужіе! А у меня есть внучка-дѣвчурочка, тутъ въ лѣсу со мной и выросла, да такая, Богъ далъ, до всѣхъ сердобольная, что не обидитъ козявочку,—вотъ она того журавля нашла, да въ лубочекъ ему хворую ножку и повила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядаетъ его и даетъ ему зернышки, пока журавелько поправится, да дождетъ себѣ по поднебесью въ теплые краи попутчиковъ. Тамъ и сама она, моя внучка-то, отъ поляны отъ той въ стороночкѣ на сухомъ взлобкѣ нашихъ овецъ пасетъ. Ты узнаешь ее: такая дѣвица пригожая, глазомъ посмотришь—вѣкъ не забудешь, сколько свѣтитъ добра изъ ней. Она тамъ либо волну разбираетъ, либо шерсть прядетъ... Все сиротинкамъ готовить къ студеной порѣ на паглинки... Не гордись предъ ней, что ты королевскій посолъ, а спроси ее: она тебѣ можетъ все разсудить, потому что данъ ей отъ Бога свѣтлый даръ разумѣнія.

Разлюляй такъ и вскрикнулъ отъ радости.

— Боже мой!—говоритъ,—вѣдь ее-то мнѣ только и надобно! Про нее, про дѣвицу, мнѣ только и сказано; мнѣ другихъ никого бы не надо и спрашивать.

— Вѣстимо, не надобно. Кто въ суетѣ живетъ, тѣмъ развѣ могутъ быть явлены тайны сердечныя!

— А кто же еще тамъ съ твоею внучкой, какіе люди живутъ вмѣстѣ, дѣдушка?

— Господь съ ней одинъ тамъ, одинъ Господь-Батюшка. Онъ одинъ ее бережетъ, а людей съ ней никакихъ, милый, нѣтути.

— Какъ же она не боится одна въ глухой дебри жить?

Тутъ старикъ слегка понасупился.

— Полно-ка,—говоритъ,—заводить намъ про боязнь да про страхъ рѣчи негожія! Что ей за страхъ, когда она про себя совсѣмъ и не думаетъ!

— Господи! Вотъ это она и есть!—завопилъ Разлюляй.— Вотъ это ее-то одну мнѣ и надобно!

И забылъ Разлюляй про всю усталь свою, побѣжалъ шибко къ дѣвушкѣ. И на долю свою онъ больше не плачется, и на радости не свиститъ соловьемъ, и не прыгаетъ, и не лопочетъ варакушкой, а поетъ благочестный стихъ:

«Какъ шелъ по пути слабый путничекъ,
«А навстрѣчу ему Самъ Исусъ Христосъ».

Пробѣжалъ такъ Разлюляй безъ усталости весь и черный и красный лѣсъ, переплылъ безъ боязни холодную балочку, опозналъ и примѣтный калиновъ кустъ на поляночкѣ и увидѣлъ, что тамъ въ самомъ дѣлѣ стоитъ хромой журавль, одна нога въ лубочкѣ увязана, а самъ тихо поводитъ головой во всѣ стороны и глазами вверхъ на небо смотритъ и крыломъ шевелитъ, ожидаетъ попутныхъ товарищей. Но едва увидалъ журавль, что идетъ Разлюляй—чужой человѣкъ, вдругъ закурлюкалъ и замахалъ живымъ крыломъ и запрыгалъ на здоровой ногѣ ко взлобочку. А тамъ, прислонившись у дерева, стоитъ вѣтвяной шалашъ, а предъ тѣмъ шалашомъ старый пень, а на пнѣ сидитъ молодая, пригожая дѣвушка, съ большою русою косой, въ самотканной сорочкѣ, и прядетъ овечью шерсть, а лицо ея добротою все свѣтится. Вокругъ нея ходитъ небольшое стадо овецъ, а у самыхъ у ея ногъ пріютился старый, подлѣзлый заяцъ, рваныя уши мотаются, а самъ лапками, какъ котъ, умывается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Разлюляй подошелъ къ дѣвицѣ не борзо, не съ наскоку, а сталъ смотрѣть на нее издали, и лицо ея ему черезчуръ свѣтло показалось—все добра полно и вмѣстѣ разума, и нѣтъ въ ней ни соблазна, ни страха заботнаго — точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вотъ видно ему, что встала она при его глазахъ съ пенушка, заткнула недопряденную шерстяную куделю за вѣточку и пошла тихо къ кустику, за которымъ стоялъ Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тутъ изъ ямки мазничку дегтярную и стала мазать драный бокъ дикой козѣ, которая тутъ же лежала прикрыта за кустикомъ, такъ что до этого Разлюляй и не видалъ ея. Тутъ уже Разлюляй и не вытерпѣлъ — вышелъ онъ навстрѣчу къ дѣвушкѣ и поклонился ей по-вѣжливому и заговорилъ съ ней по-учтивому:

— Здравствуй, красная дѣвица, до другихъ до всѣхъ ласковая, до себя беззаботная. Я пришелъ къ тебѣ изъ далекихъ странъ и принесъ поклонъ отъ короля нашего батюшки: онъ меня послалъ къ тебѣ за большимъ дѣломъ, которое для всего царства надобно.

Дѣвица поглядѣла на Разлюляя чистымъ взоромъ и отвѣчала:

— Будь и тебѣ здѣсь добро у насъ. Что есть въ свѣтѣ «король»—не знаю я, и изъ какихъ ты людей — это мнѣ все равно, а за какимъ дѣломъ ко мнѣ пришелъ — не теряй время, про то дѣло прямо и сказывай.

Въ-разъ понялъ Разлюляй, что съ ней кучерявыхъ словъ сыпать не надобно, и не сталъ онъ дробить пустолайкою, а повелъ сразу рѣчь коротко и все на́-чисто.

— Такъ и такъ,—говоритъ,—вотъ что у насъ въ королевствѣ случилося: захотѣлъ нашъ король сдѣлать, чтобы всѣмъ хорошо было жить, а ничего это у насъ не спорится, не ладится, и говорятъ, будто все будетъ неладиться

до той поры, пока не откроемъ премудрости: *какой часъ важнѣе всѣхъ*, и *какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ*, и *какое дѣло дороже всѣхъ?* Вотъ за этимъ-то дѣломъ и посланъ я: и обѣщано мнѣ королемъ моимъ ласковымъ, что если я принесу отгадку, то онъ пожалуетъ мнѣ сто рублей, а если не принесу, то не миновать мнѣ тогда счетныхъ ста плетей. Ты до всѣхъ добра и жалостна, вотъ даже и звѣрки, и птицы къ тебѣ льнутъ, какъ къ матери; пожалѣй же и меня, бѣдняка, красна-дѣвица, отгадай мнѣ премудрость, чтобы не пришлось мнѣ терпѣть на своемъ тѣлѣ сто плетей, мнѣ и безъ бойла теперь уже мочи нѣтъ.

Выслушала дѣвица Разлюляеву рѣчь и не стала его ни измигульникомъ звать, ни разспрашивать: какъ набилъ онъ себѣ на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своихъ ногъ придорожной травки, скрутила ее въ рукахъ и сокъ выжала, да тѣмъ сокомъ лобъ Разлюляю помазала, отчего въ ту же минуту у него во лбу жаръ прошелъ и волвянка принизилась. А потомъ дѣвица подошла опять къ своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и когда нить вела, замѣтно все думала, а какъ стала на веретено спускать—улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задалъ мнѣ дѣло трудное, сверхъ моего простого понятія, а загадалъ дѣло Божіе, самое простое и легкое, на которое въ прямой душѣ отвѣтъ ясенъ, какъ солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку разспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебѣ и отвѣты дамъ.

Разлюляй говоритъ:

— Молви, дѣвица, какой часъ важнѣе всѣхъ?

— *Теперешній*,—отвѣчала дѣвица.

— А почему?

— А потому, что всякій человѣкъ только въ одномъ въ теперешнемъ своемъ часѣ властенъ.

— Правда! А какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ?

— *Тотъ, съ которымъ сейчасъ дѣло имѣешь.*

— Это почему?

— Это потому, что отъ тебя сейчасъ зависитъ, какъ ему отвѣтить, чтобъ онъ радъ или печаленъ сталъ.

— А какое же дѣло дороже всѣхъ?

— *Добро, которое ты въ сей же часъ этому человѣку поступишь сдѣлать.* Если станете всѣ жить по этому, то все у васъ заспорится и сладится. А не захотите такъ, то и не сладите.

— Отгадала все!—вскричалъ Разлюляй, и хотѣлъ сразу въ обратный путь къ королю бѣжать, но дѣвушка его назадъ на минуточку вскликала и спросила:

— А чѣмъ ты, посолъ, увѣришь пославшаго, что отвѣтъ ему отъ меня принесъ, а не самъ собой это выдумалъ?

Разлюляй зачесалъ въ головѣ и задумался:

— Я, — говоритъ, — объ этомъ, признаться, не взгадывалъ.

А дѣвица ему говоритъ:

— Ничего, не робѣй, я тебѣ дамъ для увѣренья его доказательство.

И научила Разлюляя дѣвица такъ учредить, что когда онъ придетъ къ своему королю, то чтобы сказалъ ему смѣло все, не боясь ни лихихъ людей и не ста плетей, а когда скажетъ все, то чтобы не бралъ себѣ ста рублей, а попросилъ ихъ въ тотъ же часъ раздать на хлѣбъ сиротамъ, да вдовамъ, и всей нищей братіи, для которыхъ Христосъ просилъ милосердія. И если король кромѣ ста рублей еще что́ посулитъ или пожалуетъ, то и того чтобы тоже ничего не взялъ, а сказалъ бы ему, что «я, молъ, принесъ тебѣ свѣтлый Божій даръ — простоту разумѣнія, такъ за Божій даръ платы не надобно».

Отвѣчалъ Разлюляй:

— Хорошо; я такъ все и сдѣлаю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ тѣмъ отошелъ Разлюляй отъ дѣвушки, и какъ она его научила, такъ онъ все и сдѣлалъ: пришелъ онъ и сталъ

говорить съ королемъ все по истинѣ, не боясь ни дьяка, ни бояръ, ни обѣщанныхъ ему ста плетей; а потомъ не принялъ отъ него пріобѣщанныхъ ста рублей, а сказалъ ему слово про Божій даръ разумѣнія, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разумѣнье дано намъ отъ Господа.

Тутъ бояре, и дьяки, и подьячіе всѣ поднялися съ свистомъ и съ хохотомъ, и всѣ въ-разъ надъ отвѣтами Разлюляя смѣялися и старалися сбить короля, чтобы онъ не вѣрилъ словамъ Разлюляевымъ, потому что скоморохъ будто самъ эти слова всѣ повыдумалъ. Но однако король Доброхотъ показалъ и свое разумѣніе и на ихъ наученья не подался. Онъ сказалъ имъ:

— Вы въ людяхъ еще различать не умѣете, а я вижу, что эти слова Разлюляй самъ не выдумалъ. Если бы самъ онъ ихъ сложилъ пустолайкою, такъ просилъ бы, чтобъ дать ему пріобѣщанныхъ сто рублей, а онъ, какъ я вижу, мнѣ вѣрный слуга: онъ не хочетъ отъ меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Такихъ слугъ, какъ онъ, у меня до сихъ поръ еще не случалося. Издаю впередъ повелѣнье, чтобы по всей землѣ не смѣть звать Разлюляя измигульникомъ: онъ мнѣ лучше всѣхъ васъ старается. А вотъ васъ бы я всѣхъ распустилъ отъ себя съ большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться безъ челяди. Для того только вы мнѣ и надобны.

И захотѣлъ-было король Доброхотъ править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было въ его землѣ добро каждому въ настоящій часъ, въ теперешній, безъ метанья очей въ непроглядныя отдаленности, да вступилъ ему въ мысли страхъ, что «а ну какъ другіе въ сосѣднихъ земляхъ такъ не сдѣлаютъ? Вѣдь тогда одному-то мнѣ у себя на такой манеръ не управиться посреди другихъ временителей». И рѣшилъ онъ, что лучше ему сидѣть, какъ сидѣлъ, на престолѣ своемъ по-старинному, какъ и всѣ временители, и держать въ одной рукѣ мечъ, а въ другой золотое яблоко. Разлюляю же онъ указалъ, чтобъ отъѣхать

далеко отъ стольнаго города и поселиться жить навсегда тамъ на пасѣкѣ, въ тепломъ омшаникѣ и ѣсть сотовый медъ съ огурцами и съ рѣпою, сколько похочется, а на базаръ не ходить и въ село не заглядывать, и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочкѣ, и про то, что́ слыхалъ отъ ласковой дѣвушки, ни встрѣчному, ни поперечному не разсказывать.

Но зато, когда сталъ Доброхотъ завѣщать свой престолъ королевичу, повелѣлъ онъ дьяку, чтобы списали всю эту исторію безъ одной безъ ошибочки золотою тростію на мѣхѣ и кожѣ, чертами и рѣзами, почертивъ строки безъ зализей, со брегами широкими во всѣ стороны, и прикладать ко-былымъ словамъ въ стать письмена небылишныя, гласныя и согласныя. И указалъ Доброхотъ завернуть этотъ списокъ въ парчу и въ камку и въ холстиночку, и положить на дно въ золотой ларецъ, и убрать въ теремной въ подвалъ подъ семь замковъ и за семью же печатями: пусть лежитъ тамъ до времени, пока перейдутъ временители.

Такъ это все въ аккуратѣ и сдѣлано, и списаніе до сихъ поръ лежитъ подъ печатями, а дѣла въ королевствѣ идутъ все опять по-старинному, и все тамъ опять не спорится, не ладится, а идетъ все какъ было при дѣдахъ и прадѣдахъ. Не пришелъ еще, видно, часъ воли Божіей.

На томъ старая сказка и кончена.

ПОЛУНОЩНИКИ.

Пейзажъ и жанръ.

«Парки бабье лепетанье,
«Спящей ночи трепетанье,
«Жизни мышья бѣготня.
Пушкинъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

...Я былъ грустно настроенъ и очень скучалъ. Уѣхать изъ города на лѣто было еще рано, и мнѣ посовѣтовали сдѣлать непродолжительную прогулку съ цѣлью увидѣть новыя, непримелькавшіяся лица. Я сдался на убѣжденія моихъ друзей и поѣхалъ. Я не зналъ никакихъ порядковъ города, куда держалъ путь, ни нравовъ людей, съ которыми мнѣ тамъ придется встрѣтиться, но фортуна начала благопріятствовать мнѣ съ перваго шага. На первыхъ же порахъ во время путешествія я нашелъ услужливыхъ и опытныхъ людей, которые дѣлали это путешествіе уже не первый разъ, и они научили меня, гдѣ надо пристать и какъ себя пристойнѣе держать. Я все принялъ къ свѣдѣнію и остановился тамъ, гдѣ останавливаются всѣ, кого влечетъ сюда призванье. Учрежденіе это не отель и не гостиница, а оно совершенно частный домъ, приспособленный сообразно вкусу и надобностямъ здѣшнихъ посѣтителей, и называется онъ— «Ажидація».

Мнѣ досталась маленькая комната. Выбирать помѣщеній

здѣсь не принято, а равно не принято и претендовать на ихъ относительныя неудобства. Это все человѣкъ узнаетъ еще во время короткаго переѣзда. Всякій помѣщается здѣсь на томъ мѣстѣ, какое ему отведутъ; а что̀ кому надо отвести—это сразу опредѣляетъ проницательное око очень бойкой женщины, которую называютъ «риндательша», если же нѣтъ на мѣстѣ самой «риндательши», тогда сортировкою посѣтителей занимается состоящая при ней подручная ключница. Обѣ онѣ, повидимому, благороднаго происхожденія, или, по крайней мѣрѣ, это дамы, которыя достаточно видѣли свѣтъ и имѣютъ о немъ надлежащее понятіе. Нынѣшній солидный возрастъ обѣихъ дамъ, кажется, долженъ бы хранить ихъ отъ всякаго злоязычія, а здравый смыслъ и благочестіе начертаны на ихъ лицахъ, хотя, впрочемъ, довольно различными пошибами. Ликъ «риндательши» ударяетъ въ сухой, византійскій стиль, а ключница съ дугообразными бровями принадлежитъ итальянской школѣ. Обѣ эти женщины несомнѣнно умны и относятся къ разряду тѣхъ, о которыхъ сказано: «ихъ же не оплетеши». Другъ другу онѣ улыбались какъ друзья, но въ глазахъ ихъ, казалось, свѣтились какія-то иныя чувства, совсѣмъ несхожія съ искренней дружбой. Наблюдательный человѣкъ могъ подумать, что этихъ женщинъ связываетъ какъ будто какое-то взаимное опасеніе.

Въ ихъ необыкновенномъ домѣ господствуетъ система: какъ къ нимъ «привалитъ» публика, или, какъ ее называютъ—«толпучка», дамы встрѣчаютъ гостей и тотчасъ же ихъ сортируютъ; знакомыхъ лицъ онѣ прямо размѣщаютъ по извѣстнымъ комнатамъ, а незнакомыхъ подвергаютъ предусмотрительному разбору, послѣ чего каждый ожидатель получитъ въ «Ажидаціи» такое помѣщеніе, какого онъ заслуживаетъ *).

*) Слово «Ажидація» здѣсь употребляется въ двухъ смыслахъ: а) какъ названіе учрежденія, гдѣ «ожидаютъ», и б) какъ самое дѣйствіе ожиданія. Въ одномъ случаѣ оно пишется съ прописной буквы, а въ другомъ—со строчной.

Для этого прежде всего всѣхъ ожидателей сначала «собьютъ въ уголъ къ Владычицѣ». Здѣсь «въ ажидаціи» немножко помолятся передъ большимъ образомъ, а ихъ въ это время расцѣнятъ и разсортируютъ.

Довольно большой домъ въ два этажа составляетъ одно помѣщеніе—«для ожидающихъ». Дѣло очевидно ведется очень просто, но основательно: въ особѣ ключницы сосредоточена большая экономическая сила и исполнительная полицейская власть.

Сила нравственная и политическая находится въ рукахъ самой «риндательши». Остальной домашній штатъ «Ажидаціи» состоитъ изъ услуживающихъ лицъ женскаго пола, которыя находятся почти въ постоянныхъ побѣгушкахъ. Кромѣ того есть «куфарка». Весь этотъ подборъ принадлежитъ къ служебнымъ типамъ самаго низшаго сорта. Впрочемъ, у «куфарки» есть драповая тальма, въ которой она, должно быть, служила еще «генералу»,—теперь она ее соблюдаетъ больше для важности, и показывается въ ней публикѣ, или «толпучкѣ».

Мужчинъ усматривается двое: одинъ стоитъ при дверяхъ въ нижнемъ этажѣ, а другой сидитъ у окна въ концѣ коридора за шкафикомъ.

Первый производитъ впечатлѣніе придурковатаго простачка; второй—бойкій жохъ изъ отставныхъ военныхъ.

Размѣщеніе въ «Ажидаціи» отлично приноровлено къ ожидательской цѣли. Въ обоихъ этажахъ вдоль всего зданія идетъ по срединѣ коридоръ, а по сторонамъ — стойлицы.

Это «номера для ожидателей». Здѣсь не называютъ: «пріѣзжающіе» или «прибывающіе», а «*ожидающіе*». Это солиднѣе и соотвѣтственнѣе.

Коридоры наверху и внизу просторны и свѣтлы. Въ концѣ каждаго изъ нихъ по окну. Коридоръ нижняго этажа содержится въ посредственной чистотѣ. Особенной чистоты нѣтъ,—ее здѣсь и не убережешь, потому что сюда входятъ прямо съ надворья и тутъ же раздѣваются и обти-

раютъ обувь. Тутъ же и печурка, гдѣ ставятъ самовары. и ходъ въ кухню, откуда пахнетъ грибнымъ и рыбнымъ. На одной изъ стѣнъ большой образъ Владычицы и рядомъ поменьше образъ, передъ нимъ лампада, аналой и на полу вытертый коврикъ, а напротивъ деревянная скамья со спинкой, изъ такъ-называемыхъ твердыхъ диванов.

Въ разныхъ мѣстахъ фотографическіе и печатные портреты одного и того же духовнаго лица.

Съ прихода всѣ ожидатели идутъ къ Владычицѣ и молятся, или, какъ говорятъ, «припадаютъ». Затѣмъ всѣхъ разводятъ въ ихъ номера.

Знакомые имѣютъ номера излюбленные, которые какъ бы всегда состоятъ за ними. Изъ нихъ нѣкоторые даже и не «припадаютъ» въ коридорѣ, а поздоровавшись съ хозяйками, прямо проходятъ въ «свои номера». Имъ только говорятъ:

—Пожалуйте.

Другихъ, «которые первенькіе, но почище», водворяютъ по усмотрѣнію въ свободныхъ номерахъ перваго и второго этажа.

Это—аристократія необыкновеннаго дома.

Они получаютъ распредѣленіе скоро. Имъ нѣтъ нужды ждать, пока размѣстятъ всѣхъ остальныхъ. Прочихъ ключница беретъ и ведетъ въ общую.

У одного изъ оконъ нижняго коридора за маленькимъ желтымъ шкафикомъ помѣщается отставной военный съ очень серьезнымъ выраженіемъ. Возлѣ него на табуретикѣ сидитъ ребенокъ, мальчикъ лѣтъ девяти, имѣющій въ чертахъ большое сходство съ военнымъ. Передъ мальчикомъ куча вскрытыхъ конвертовъ, съ которыхъ онъ смачиваетъ слюнами марки и переклеиваетъ ихъ въ тетрадь. Дѣлаетъ онъ это скоро и ловко и съ замѣчательною, не дѣтскою серьезностью, которою, повидимому, очень заинтересована стоящая возлѣ него кухарка въ драповой тальмѣ.

Она долго на него смотритъ и наконецъ вздыхаетъ и говоритъ:

— Прелесть какъ ловко,—лапочки будто у мышеночка—такъ и виляютъ!

Отецъ этого прилежнаго отрока, очевидно, имѣетъ здѣсь довольно серьезное значеніе и сидитъ прочно на дебеломъ стулѣ, подъ которымъ постланъ мягкій коврикъ. Военный просматриваетъ какія-то записки и что-то выкладываетъ на маленькихъ счетахъ; но это его не вполнѣ поглощаетъ: онъ все видитъ и слышитъ; мимо него никто не пройдетъ, чтобы онъ не увидѣлъ и не повелъ на него глазомъ и усами.

Шкафикъ у него покрытъ черною, запачканною клеенкою, на которой стоитъ чернильница съ гусинымъ перомъ и лежатъ нарѣзанные листки бумаги.

Въ серединѣ въ шкафѣ есть чистыя поминальныя книжки, лампадное масло, восковыя свѣчи и ладанъ, а также какія-то брошюрки и фотографическіе портреты меньшаго и большаго размѣра.

Воинъ этотъ — человѣкъ солиднаго вѣка и, несомнѣнно, очень твердаго характера.

Прислуга дала ему прозваніе «балыкъ».

Номера нижняго этажа «Ажидаціи» всѣ немножечко съ грязцой и съ кисловатымъ запахомъ, который какъ-будто привезенъ сюда изъ разныхъ мѣстъ крѣпко запеченнымъ въ пирогахъ съ горохомъ. Всѣ «комнатки», кромѣ двухъ, имѣютъ по одному окну, съ худенькими занавѣсками, расщипанными дырками посерединѣ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ удобно можно сколоть булавками. Меблировка скудная, но, однако, въ каждомъ стойлицѣ есть кровать, вѣшалка для платья, столикъ и стулья. Въ двухъ большихъ комнатахъ, имѣющихъ по два окна, стоитъ по скверному клеенчатому дивану. Одна изъ этихъ комнатъ называется «общею», потому что въ ней пристаютъ такіе изъ ожидателей, которые не желаютъ или не могутъ брать для себя отдѣльнаго

номера. Во всѣхъ комнатахъ есть образа и портретики; въ общей комнатѣ образъ значительно большаго размѣра, чѣмъ въ отдѣльныхъ номерахъ, и передъ нимъ теплится «неугасимая». Другая неугасимая горитъ передъ Владычицей въ коридорѣ.

Передъ образами въ номерахъ тоже есть лампады, которыя, впрочемъ, зажигаются при входѣ сюда ожидателей и притомъ, безъ сомнѣнія, на ихъ счетъ, такъ какъ здѣсь же есть кружка «на масло». Лампады возжигаетъ воинъ, имѣющій свой торговый постъ у шкафика.

Нѣкоторые изъ ожидателей не довольствуются огнемъ лампадъ и еще прилѣпливаютъ передъ номерными образами восковыя свѣчки. Это имъ дозволяется и даже поощряется, но не иначе, какъ тогда, когда сами ожидатели находятся въ комнатѣ и не спятъ. При выходѣ же изъ комнаты или при отходѣ ко сну, они обязаты гасить свѣчи, но лампады у нихъ могутъ горѣть во всю ночь.

Бываютъ случаи, что нѣкоторые, помолившись и легши въ постель, оставляютъ прилѣпленныя свѣчи «догорать», но «риндательша» или ея помощница непремѣнно это замѣчаютъ и сейчасъ же постучатъ рукой въ двери и попросятъ погасить.

Наблюдаютъ онѣ за этимъ тщательно и укрыться отъ нихъ никому невозможно.

Въ верхнемъ этажѣ «Ажидаціи» все чище и лучше. Коридоръ такъ же широкъ, какъ и внизу, но несравненно свѣтлѣе. Онъ имѣетъ пріятный и даже веселый видъ и служитъ мѣстомъ бесѣдъ и прогулокъ. Въ окнахъ, которыми заканчивается коридоръ по одну и по другую сторону, стоятъ купеческіе цвѣты: геранъ, бальзамины, волкамерія, красный лопушокъ и мольное дерево, доказывающее здѣсь свое безсиліе противъ огромнаго изобилія моли. На одномъ окнѣ цвѣты стоятъ прямо на подоконникѣ, а у другого окна—на дешевой черной камышевой жардиньеркѣ. Вверху подъ занавѣсками—клѣтки съ птичками, изъ которыхъ одна

канарейка, а другая—чижикъ. Птички порхаютъ, стучатъ о жердочки носиками и перекликаются, а чижикъ даже поетъ. Торговыхъ приспособленій здѣсь никакихъ не видно. Напротивъ, тутъ все имѣетъ претензію казаться чинно и благородно. На стѣнѣ, приблизительно въ такомъ же разстояніи, какъ и въ нижнемъ коридорѣ, помѣщается другой Владычный образъ, тоже большого размѣра и въ бѣленомъ окладѣ съ золоченымъ вѣнцомъ. Онъ въ рамѣ за стекломъ съ отводинами, освѣщенъ лампадою въ три огня и передъ нимъ разостланъ на полу совершенно свѣжій коврикъ съ розовыми букетами и стоитъ аналой, а на немъ крестъ и книга. Книга и крестъ завернуты въ эпитрахиль на зеленой подкладкѣ.

Полъ коридора крашеный и блеститъ. Онъ, очевидно, вымытъ съ мыломъ и натирается воскомъ. Вдоль всего коридора довольно широкая джутовая «дорожка» съ цвѣтною каемкою.

Вдоль стѣнъ противъ образа поставлено одно кресло и нѣсколько легкихъ вѣнскихъ стульевъ съ тростниковыми плетенками. Въ углахъ плевательницы.

Комнаты верхнихъ номеровъ всѣ гораздо лучше омеблированы, чѣмъ внизу. Здѣсь, кромѣ кроватей и стульевъ, есть комодики и умывальники. Нѣкоторыя комнаты передѣлены ситцевыми драпировками на-двое: одна половина образуетъ спальню, другая—что-то въ родѣ гостиной. Тутъ на комодѣ туалетное зеркальце и въ углу образъ, передъ которымъ тоже можно зажигать лампаду, или, по желанію, свѣчку.

Свѣчки, однако, больше зажигаютъ «сѣрые ожидальщики», которые собственно составляютъ «толпучку» и имѣютъ остановку въ нижнихъ номерахъ, а «верхняя публика» почти всегда ограничивается однѣми лампадами.

Кислаго запаха гороховой начинки здѣсь не слышно, и только внутри комодныхъ ящиковъ пахнетъ прогорклою конторскою икрою и семгой, отъ которыхъ и остались въ изобиліи жирныя пятна.

Наверху, также какъ и внизу, есть тоже общая комната,

помѣщающаяся рядомъ съ собственнымъ покоемъ «риндательши». Эта комната имѣетъ, впрочемъ, видъ гостиной. Она уставлена мягкою мебелью и имѣетъ большую образницу, въ которой много образовъ, а передъ ними опять коверъ и аналой съ крестомъ и съ книгою въ эпитрахили. Лампада горитъ «общая», и огонь ея красиво дробится въ широкомъ стаканѣ изъ мелко ограненнаго алмазной гранью хрусталя. Возлѣ образника укрѣплена и припечатана зеленая кружка для доброхотныхъ вкладовъ.

Въ комнатѣ этой ночуютъ только въ такихъ случаяхъ, если число ожидателей бываетъ больше, чѣмъ сколько есть номеровъ. Тогда здѣсь помѣщаютъ «залишнихъ ожидателей» одного пола или какое-нибудь цѣлое семейство; въ остальное же время комната эта считается «бесѣдною» и открыта для всѣхъ прибывающихъ въ домъ ожидателей.

Послѣ ранней обѣдни здѣсь ежедневно служатъ молебенъ, за которымъ всѣ могутъ молиться и подавать свои поминанья и записки. Тѣ же, которые, кромѣ общаго моленія, желаютъ такъ устроить, чтобы еще отдѣльно за себя помолиться въ своемъ номерѣ, должны заявлять о своемъ желаніи особо. Ходатайство объ этомъ надо вести черезъ «риндательшу». Ключница за это не берется. Непосредственныя же просьбы объ этомъ часто не доходятъ.

Свѣчи, масло и все прочее, что нужно къ служенію, требуется наверхъ снизу, и завѣдующій этимъ хозяйствомъ воинъ подаетъ все это въ молчаніи и съ торжественной серьезностью.

Главный надзоръ за учрежденіемъ принадлежитъ самой «риндательшѣ», которая, какъ сказано, живетъ тутъ же на верхнемъ коридорѣ, въ маленькой комнатѣ, рядомъ съ «бесѣднымъ» покоемъ, а внизу правитъ дѣломъ помогающая ей ключница, которая присматриваетъ тоже за кухонной частью и за свѣчнымъ унтеръ-офицеромъ.

Обязанности у обѣихъ дамъ раздѣлены. «Риндательша»,

какъ собственница учрежденія, избрала себѣ часть болѣе умственную: она держитъ кормило корабля. Ей одной извѣстна ея касса и тѣ средства, которыя приходятъ въ нее ей одной открытыми путями. Она даетъ надлежащій тонъ всему своему заведенію и владѣетъ возможностью доставлять особыя душевныя утѣшенія тѣмъ, кто ихъ разумно ищетъ при ея посредствѣ.

Ея часть, такъ-сказать, генеральная, а часть ключницы, помѣщающейся внизу, болѣе обозная, узко-хозяйственная, полная мелочныхъ хлопотъ и отчасти даже непріятностей, потому что она имѣетъ дѣло съ прислугою, избранною изъ людей самаго низшаго качества, и съ ожидателями изъ того слоя общества, который называется «сѣростью». «Сѣрость», выражаемая не однимъ званіемъ и относительною бѣдностью, имѣетъ также очень грубые навыки и не всегда отличается честностью въ разсчетѣ. «Риндательша» удаляется отъ всякихъ непріятныхъ столкованій въ денежномъ родѣ и слыветъ «доброю»; но, по словамъ прислуги, она «большая скрытница» и «ужасно» требуетъ отъ ключницы охраненія всѣхъ своихъ выгодъ и интересовъ. Ключница должна прибѣгать къ разнымъ пріемамъ, чтобы все было заплачено.

—«Сила вся въ ихъ рукахъ»,—говоритъ общій голосъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я прибылъ къ нимъ безъ всякой протекціи. Я могъ бы получить рекомендаціи, но это не входило въ мои скромные и безпритязательные планы. Я искалъ облегченія отъ тоски и томленья духа и явился просто въ чинѣ ожидателя. Какъ человѣкъ средній, я былъ помѣщенъ по непосредственному усмотрѣнію дамъ въ маленькой комнатѣ верхняго этажа.

Не зная, какъ здѣсь лучше вести себя, я присматривался во всемъ къ другимъ и старался дѣлать то, что дѣлаютъ опытные люди. Только такимъ образомъ я и могъ попасть въ господствующій тонъ пріютившаго меня учре-

жденія, что́ было необходимо. Я не хотѣлъ обнаруживать никакого диссонанса въ чувствахъ и настроеніи группы необыкновенныхъ людей, по лицамъ которыхъ было видно, что всѣ они прибыли сюда съ очень большими и смѣлыми надеждами, и хотять, во что бы ни стало, получить что̀ кому нужно. Я «припадалъ» съ ними вездѣ, гдѣ они припадали, и держался сколь можно ближе всѣхъ ихъ обычаевъ, и скоро ощутилъ, что это невыразимо тяжело и неописуемо скучно. Притомъ мнѣ казалось, что здѣсь всѣ особенно другъ друга остерегаются и боятся, и что я пріѣхалъ очевидно напрасно, потому что пребываніе здѣсь не можетъ мнѣ представить ничего интереснаго.

Я ошибался.

Вечеромъ я погулялъ немножко въ одиночествѣ по городу, и это произвело на меня еще болѣе удручающее впечатлѣніе: изобиліе портерныхъ и кабаковъ, группы солдатъ, испитыя тѣни какой-то бродяжной рвани и множество снующихъ по тротуарамъ женщинъ извѣстной жалкой профессіи.

Я долженъ бы помнить, что благодать преобладаетъ тамъ, гдѣ преизбыточествуетъ грѣхъ, но я это забылъ и возвратился домой подавленный и съ окончательно разстроенными нервами; я на́-скоро напился чаю въ «бесѣдной» и потомъ вышелъ постоять на крыльцо, но, кажется, потревожилъ кухарку въ тальмѣ. Она разговаривала съ какою-то военною особою и все повторяла: «Ну такъ что!.. А мнѣ хоть бы что́-шеньки». Чтобы не сердить ее, я ушелъ въ свой номеръ, съ рѣшительнымъ намѣреніемъ уснуть какъ можно крѣпче до утра, а завтра встать пораньше и уѣхать восвояси утромъ же, ничего не дожидаясь.

Усталость и скука сильно клонили меня къ изголовью довольно сносной постели, которую я, впрочемъ, на всякій случай посыпалъ порядкомъ порошкомъ персидской ромашки.

Намѣреніе хорошо спать, однако, не удалось. Сначала мнѣ все страшно казалось: нѣтъ ли въ кровати клоповъ,

съ которыми я въ моей кочевой жизни имѣлъ много непріятныхъ столкновеній на русскихъ ночлегахъ, а потомъ стало лѣзть въ голову желаніе опредѣлить себѣ: въ какую это я попалъ компанію, что это за люди—больше дурные или больше хорошіе, больше умные или больше глупые, простаки или надувалы? И никакъ я этого не могъ разобрать и не зналъ, какъ ихъ назвать и къ какой отнести категоріи. А межъ тѣмъ сонъ развѣялся, и мнѣ, вмѣсто отдыха, угрожала раздражающая тоска безсонной ночи. Но, по счастію, едва все стихло въ коридорахъ, какъ по обѣ стороны моей комнаты пошли ночные звуки. У меня оказалось разговорчивое сосѣдство, на которое я сначала сердился, а потомъ увлекся и началъ слушать.

Справа пришлись у меня сосѣди только досадительные и даже, кажется, не совсѣмъ съ чистою совѣстью. По говору слышно было, что тутъ, должно быть, помѣщены какой-то старичокъ со своею старушкою. Они все что-то перекладывали и бурчали, при чемъ старикъ употреблялъ букву *ш* вмѣсто *с* и *ж* вмѣсто *з*, а также онъ употреблялъ что-то и изъ «штакана» и называлъ это «анкоръ». У нихъ, очевидно, было какое-то безпокойное домашнее обстоятельство, которое они пріѣхали уладить и кому-то угрожать, но при этомъ они и сами ощущали какой-то большой страхъ за себя. Впрочемъ, больше безпокоилась одна старуха, которая была, очевидно, довольно трусливаго десятка, а старикъ былъ отваженъ.

— Ничего, мама, —говорилъ онъ старушкѣ:—ничего, «не робѣй, воробей». Это штарая наша кавкажская поговорка. Ты увидишь, что онъ намъ даштъ—непремѣнно даштъ... плохо-плохо, что четвертную даштъ. Меньше ѣхать не штоило.

— Хорошо, если дастъ!

— Даштъ, нельзя чтобы не далъ, я ужъ шамую задобрилъ и клюшницу тоже. Шама-то вше поняла, какъ я могу ей и вредъ, и польжу шдѣлать,—могу штаратыша вше ужнавать, и она будетъ жа нашъ штаратыша.

— Очень ты ей нуженъ!

— Нѣтъ, мамка, нуженъ. Ей надо жнать, кто шъ какими мышлями пріѣжжаетъ, а я жнаешь... я вше што ешть въ человѣкѣ—вше это могу ужнать и шкажать. Я буду чашто шуда публику шопровождать и шо вшѣми ражговаривать и отъ каждаго его прошлую жижть ужнавать, а они потомъ будутъ ихъ этимъ удивлять, что вше жнаютъ. Я имъ хорошо придумалъ. Я надобный! Ну, давай же анкоръ!

— А ты теперь какъ ей сказался?

— Какъ? Какъ мы шъ тобой рѣшили, такъ я и шкажался: ижъ благородныхъ, кавкажской арміи, брошены— непочтительный шынъ — шкажокъ начиталша... Ну, давай анкоръ!

— Что онъ Богу не молится, ты это сказалъ?

— Да, шкажалъ: шкажалъ, что и Богу не молитша, и что шлужить не жахотѣлъ, а шапоги шьетъ... и у жидовъ швѣчки пошлѣ шабаша убираетъ. Я вше шкажалъ вше шкажалъ, и дай мнѣ жа это шомужки и анкоръ.

А старушка отвѣчала:

— Сёмужки на́, а анкоръ не надо.

— Отчего же не надо? Я именно хочу анкоръ.

— Такъ, нельзя анкоръ,

— Что жа такъ! что жа нельжа!.. Налей, налей мнѣ, мама, штаканчикъ! Я умно, хорошо вждумалъ,—мы теперь ушстроимша.

Она налила, а онъ выпилъ и крякнулъ.

— Тише!—остерегла его старушка.

— Чего ты вше такъ боишыша?

— Всего боюсь.

— Не бойша, вше пуштаки... ничего не бойша.

— Скандалъ можетъ выйти.

— Какой шкандалъ? отчего?

— Еще спрашиваетъ: отчего? будто не знаетъ.

— Да; не жнаю.

— Вѣдь мы съ чужою рекомендаціею пріѣхали.

— Да; ну, такъ што-жъ такое?

— Тѣ, сосѣдніе жильцы, ее теперь небось вѣдь хватились,—своей рекомендаціи-то.

— Можетъ быть, и хватилишь...

— Ну, они сюда и придерутъ.

— Анъ не придерутъ.

— Почему?

— Дай анкоръ, тогда шкажу—почему.

— Пьяница!

— Шовшѣмъ нѣтъ, а я умный человѣкъ. Дай анкоръ.

— Отчего же жильцы не могутъ пріѣхать?

— Налей анкоръ, такъ шкажу.

Она налила, а онъ выпилъ, и сказалъ, что подалъ вчера «подозрѣніе» на какихъ-то своихъ сосѣднихъ жильцовъ, у которыхъ этими супругами, надо думать, была похищена какая-то блистательная рекомендація.

Старушка промолчала; очевидно, средство это показалось ей годнымъ и находчивымъ.

Черезъ минуту она спросила его: совѣтовался ли онъ съ кѣмъ-то насчетъ какого-то придуманнаго сновидѣнія, и что ему сказали?

Старичокъ отвѣчалъ, что совѣтовался, и тотчасъ же понизилъ голосъ и добавилъ:

— Она меня отлично научила, какъ про шонъ говорить.

— А какъ?

— Шмотрѣть на него, какъ онъ шлушаетъ, и ешли онъ вожметъ шебѣ руку въ бокъ, то тогда шейчашъ перештать и больше не шкаживать. Ешли вжалъ руки въ бокъ по-офицершки — жначитъ шердитша. А что-жъ ты мнѣ анкоръ? Вѣдь я бежъ того не ушну.

Я закрылъ голову подушкой и пролежалъ такъ минутъ двадцать. Стало душно. Я опять раскрылъ голову и прислушался. Разговоръ не то продолжается, не то конченъ, и старички даже, кажется, спятъ. Такъ и есть: слышны два сонныя дыханія: одно какъ будто задорится вырабатывать «анкоръ», а другое пускаетъ въ отвѣтъ тоненькое: «пли-пли».

— Encore!

— Пли-пли.

Травятъ кого-то, или даже, можетъ быть, казнятъ—разстрѣливаютъ что-ли кого-то во снѣ.

Будь наше мѣсто свято!

Я тихо всталъ съ постели и поскорѣе завѣсилъ своимъ пледомъ дверь, изъ-за которой до слуха моего доползала эта затѣя.

Жадный тарантулъ и его ехидна, обнявшіеся на супружескомъ ложѣ, для меня исчезли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Зато, чуть стихла эта сцена справа, совсѣмъ другая начала обнаруживаться за стѣною слѣва.

Говорили двѣ дамы; одна, младшая, называла старшую: Марья Мартыновна; а другая, старшая, звала эту: Аичка. (По купечеству въ Москвѣ «Аичка» дѣлаютъ въ ласкательной формѣ изъ имени *Раиса*). Онѣ говорили тихо и такъ мирно и обстоятельно, что я сразу могъ понять даже, какъ онѣ теперь размѣщены въ своей комнатѣ и какъ другъ къ другу относятся.

Старшая, то-есть Марья Мартыновна, вкрадчивымъ, медовымъ голосомъ говорила младшей, Аичкѣ:

— Вотъ, мой ангелъ, я и рада, что вы у меня улеглись на покой въ постельку. Эта комнатка своей чистотой здѣсь изъ всѣхъ выдающаяся и постелька мякенькая. И вы понѣжьтесь, моя милочка. Вы должны хорошенько отдохнуть, иначе вамъ немыслимо. Вставать вамъ ни зачѣмъ не нужно. Я ваши глазурныя очи при лампадочкѣ прекрасно вижу, и что только вы подумаете—я сейчасъ замѣчу и все вамъ подамъ на постельку.

— Нѣтъ, я сама встану и лампадъ закрою, — отвѣчала Аичка молодымъ голосомъ съ московской оттяжкой.

— Анъ вотъ же и не встанете. — вотъ я лампадъ ужъ книжкой и загородила.

— Да ужъ вы извѣстная—пожилая, да скорая.

— Да, я и не могу иначе: у меня вѣдь игла ходитъ въ тѣлѣ.

— Какая игла въ тѣлѣ?

— Самая тонкая, одиннадцатый нумеръ.

— Зачѣмъ же она вамъ въ тѣло попала?

— По моей скорости шила и въ ладонь ее воткнула— она и ушла въ тѣло. Лѣкаря ловили, да не поймали. Сказали: «сама выйдетъ», а она ужъ тридцать лѣтъ во мнѣ по всѣмъ мѣстамъ ходитъ, а вонъ не выходитъ... Вотъ теперь вашимъ глазурнымъ очамъ не больно, и я покойна, и буду здѣсь же у вашихъ ножекъ сидѣть и потихоньку васъ гладить, а сама буду что-нибудь вамъ разсказывать.

— Нѣтъ, не надо меня гладить, я это не люблю! Садитесь въ кресло и изъ кресла мнѣ что-нибудь разсказывайте,— отвѣчала Аичка.

— А я непремѣнно здѣсь хочу! Это мое самое любимое— услужить милой дамѣ, въ чемъ пріятно, и у ея ножекъ посидѣть, и помечтать съ ней о какихъ-нибудь разностяхъ! Воспоминается, какъ еще, бывало, сами мы молоденькими дѣвушками, до невѣстинья, все такъ-то по ночамъ другъ съ другомъ шу-шу про всѣ свои тайности по секрету шушукались, и такъ, бывало, расшалимся, что и заснемъ вмѣстѣ, обнявшись.

— А по-моему женщинѣ съ женщиной обнявшись ласкаться никакой и особенной радости нѣтъ, даже и мечтать не о чемъ.

Ласки, мой ангелъ, сами и мечты привлекутъ, и которыя дружныя, тѣ для того уединясь и мечтаютъ. Разумѣется, не со всякой такая дружба возможна, но если у которой есть настоящій другъ, выдающійся, то «сколько счастья, сколько муки»!... Это испытать и не позабыть!

— Ничего не понимаю.

— Удивляюсь! Но я понимаю: у меня въ дѣвушкахъ былъ такой заковычный другъ, Шура. Ахъ, какая была прелесть пріятненькая, и зато ужъ мы любили другъ друга!

Мамаша, бывало, сердится и говоритъ: «не расточайте вы, дурочки, попусту свои невинныя нѣжности—мужьямъ ласки оставьте». А мы и замужъ не хотѣли, да и что̀ еще ждетъ замужемъ-то! Я только и свѣту видѣла, что до замужества, а ужъ какъ двумъ Пентефріямъ въ жертву досталось, такъ и не обрадовалась.

— Какъ же вы это двумъ достались? Это интересно.

— Одного закопала, а за другого вышла.

— Ахъ... такъ!.. вы за одного послѣ другого вышли!

— Да, а то какъ же?

— Вы сказали, что «двумъ досталась».

— А ужъ ты подумала, что я вмѣстѣ была за двумя разомъ!

Марья Мартыновна разсмѣялась дробнымъ горошкомъ и весело проговорила:

— Ахъ, ты, шалуша, шалуша! Ты думала, что у меня одинъ мужъ былъ праздничный, а другой для будни?

— Да вѣдь это жъ тоже бываетъ.

— Бываетъ, мой другъ, бываетъ. Въ нынѣшнемъ свѣтѣ чего не бываетъ, но со мной не было.

— Иные вѣдь обманываютъ: женатый, да скроетъ про первую жену, и еще разъ женится. Ему за это достанется, а второй женщинѣ ничего.

— Да, если она отведетъ отъ себя, что не знала, то тогда ей особенно выдающагося наказанія нѣтъ, но только все-таки въ судѣ ее защитники-то процыганятъ и прокуроръ о постыдныхъ вещахъ разспрашивать будетъ.

— А какая бѣда, что спрашиваютъ? черезъ это женщина-то, когда о себѣ разскажетъ, такъ послѣ еще всѣмъ интереснѣе дѣлается; да и съ тѣмъ же, съ кѣмъ разведутъ, послѣ опять жить можно.

— Да, но только ужъ придется жить все равно какъ невѣнчанные.

— Извините-съ, настоящій разводъ предъ престоломъ нынче не дѣлаютъ, въ церкви вѣнцовъ не снимаютъ, а только и всего, что въ судѣ прочитаютъ.

— А все ужъ по отдѣльному виду надо прописываться.

— Это не важность!

— Да; по полицейскимъ правиламъ это все равно, но прислуга меньше уважаетъ.

— Платите больше, и отлично уважать будетъ.

— Все—какъ при законѣ—такъ жить нельзя.

— А при капиталѣ какъ хочешь жить можно, такъ это еще и лучше.

— Разумѣется, при твоемъ капиталѣ, какъ выдающемся, и ты молодая вдова, въ двадцать четыре года, такъ тебѣ всѣ пути не заказаны, дѣлай что хочешь. И я тебѣ совѣтъ дамъ: не губи время и дѣлай.

— Совѣтуете?

— Отъ всей моей души совѣтую. Вѣкъ молодой надо чѣмъ помянуть; тоже вѣдь за старикомъ-то ты пять лѣтъ промучилась—это не шутка.

— Не вспоминайте мнѣ про него!

— Прости, милуша, прости! Я не знала, что ты про покойниковъ вспоминать боишься.

— Я его не боюсь, а... мнѣ противно вспомнить, какъ онъ храпѣлъ ночью.

— Да, ужъ мужчина, который если храпитъ—это немыслимая гадость.

— Я, бывало, цѣлыя ночи не сплю, заверну голову одѣяломъ и сижу въ постели. да и плачу. А теперь, если приснится, какъ онъ храпѣлъ, сразу весь сонъ и пропадетъ.

— Да, кто храпитъ, имъ и не стоитъ жениться, тѣмъ больше, что это при твоей молодости, и при капиталѣ, да еще и при выдающейся красотѣ...

— Ну, вы мнѣ про мою красоту много не льстите,—я вѣдь сама себя въ зеркало видывала... Разумѣется, я такъ себѣ,—не уродъ, но аляповата.

— А чѣмъ же вы нехороши?

— Не о томъ, что нехороша, а я не люблю, если ко мнѣ

съ лестью подъѣзжаютъ. Это вѣдь не ко мнѣ, а все къ капиталу.

— Ну, мой другъ, я вѣдь у васъ сколько живу, а вы мнѣ про свой капиталъ до сихъ поръ никогда ничего не объясняли.

— И не обязана. Я и никому никогда о капиталѣ ничего не скажу. Капиталъ—дѣло скрытное.

— Я и знать не стараюсь. Я взялась быть при васъ компаньонкою и по хозяйству — въ томъ и состою, и что вы хотите, я то и дѣлаю: въ садъ — такъ провожаю въ садъ, въ театръ — такъ въ театръ, а сюда захотѣли ѣхать — я и здѣсь пригодна, потому что я и здѣшніе порядки знаю; а о чемъ ваше сердечное прошеніе и желаніе совершенія завтрашней успѣшной молитвы — этого я не знаю.

— И тоже и это вы никогда не узнаете. О чемъ я хочу молить—это мое одно дѣло.

— Да я и не любопытствую.

— Конечно! И если не будете любопытничать, то вамъ же спокойнѣй у меня жить будетъ. А вы мои мечты оставьте,—лучше что-нибудь про себя мнѣ разсказывайте.

— Что же, мой ангелъ?

— Что-нибудь «выдающееся».

— Ишь, шалуша, какъ мое слово охватила!

— Да, я люблю, какъ вы разсказываете.

— Нравится?

— Не то что нравится, а какъ-то... такъ, бывало, у насъ въ домѣ одна монахиня про Гришку Отрепьева разсказывала... сейчасъ смѣшно, и сейчасъ жалостно.

— Да, я говорю грамматически. Это многіе находили. Николай Ивановичъ Степеневъ, деверь вдовы, который всѣми ихъ дѣлами управляетъ, когда, бывало, боленъ послѣ гуляньевъ, всегда, бывало, проситъ меня, чтобы съ нимъ быть и разговаривать.

— А у него не было ли чего другого на умѣ-то?

— Ничего, мой другъ, кромѣ того, что шутитъ надъ

собою и надо мною: «Я, говоритъ, мужъ выпѣвающій, а ты — жена-переносица, — играй мнѣ на чей-нибудь счетъ увертюру».

— Ишь какъ разсказываетъ!

— Хорошо?

— Да что̀ вамъ допрашиваться, говорите грамматически о своей жизни,—вотъ и все.

— А у меня въ жизни, мой другъ, кромѣ горя ничего и нѣтъ выдающагося.

— Ну, вотъ, и разскажите всю эту увертюру: какого вы роду и племени и что̀ вы занапрасно терпѣли. Я люблю слушать, какъ занапрасно страдаютъ.

— А я все такъ страдала. Я вѣдь, не забудь, откупной породы и Бернадакина крестница, потому что папаша у него въ откупахъ служилъ. Большое жалованье онъ получалъ, но говорилъ, что страсть какъ много за то на себя и грѣха принялъ. Впослѣдствіи сталъ страшнаго суда бояться и все пилъ, и умеръ, ничего намъ не оставилъ. А у Бернадакина повсемѣстно много было крестниковъ и не всѣмъ даже давалось на воспитаніе, а только чьи выдающіяся родительскія заслуги. Меня опредѣлили учиться; но у меня объявилась престранная способность: ко всѣмъ рѣшительно понятіямъ развитіе очень большое, а къ наукамъ совсѣмъ никакой памяти не было. Ко всему память и соображенія хорошія, а къ ученью нѣтъ—долбицу умноженія сколько ни долбила, а какъ, бывало, зададутъ задачу на четыре правила сложенія — плюсить или минусить, или въ умѣ составить, напримѣръ, пять изъ семьи — сколько въ отставкѣ? — то я и никакихъ пустяковъ не могу отвѣчать. Тоже и по словесности—выговоръ у меня для всего былъ очень хорошій, окатистый, но постоянно отчего-то особливыя слова дѣлались, и какъ на публичномъ экзаменѣ архирей задалъ мнѣ вопросъ: кто написалъ Апокалипсъ Іоанна Богослова—я и не знала.

— Еще бы! — протянула Аичка. — Да на что это и нужно.

— Рѣшительно ни на что — только сбиваютъ. А тутъ я на шестнадцатомъ году, милуша моя, вдругъ очень выровнялась и похорошѣла, стала рослая, а личико миніатюрное и маленькая родинка у подбородка. Точно я будто француженка. И тутъ со мною самый подлый поступокъ и сдѣлали.

— Кто же въ этомъ виноватъ былъ?

— Все черезъ родныхъ.

— Это ужъ какъ разумѣется.

— А потомъ и пошли меня, бѣдную, мыкать: француженку, да скорѣй меня съ рукъ спихивать, кому попало, за русскихъ. Сейчасъ же вскорѣ мамаша стала просить о помощи и торопиться, чтобы скорѣе пять тысячъ мнѣ въ приданое назначили. Сейчасъ и жениха какого-то нашли мнѣ этакаго хвата, въ три обхвата, и животъ этакій имѣлъ,— ахъ, какой выдающійся! Представь себѣ, такъ весь огурцомъ «а-ля-пузе».

— Чортъ знаетъ, что такое! — сказала въ возбужденіи Аичка.

— Да, мой другъ, ужъ лучше бы и не вспоминать его,— отвѣчала Марья Мартыновна и продолжала:—а я-то тогда еще всего боялась; но меня вѣдь и не спрашивали. Онъ какъ пріѣхалъ, такъ тотчасъ съ мамашей поладилъ и три тысячи приданаго до вѣнца сорвалъ. Что же,—вѣдь не родительскіе, а конторскіе, — Бернадакины. Двѣ тысячи маменька еще себѣ отшибла: «мы, говоритъ, тебя воспитывали и кормили. Надо теперь и о младшей сестрѣ подумать». Я ничего и не спорила, своей пользы не понимала. Съ женихомъ обо всемъ маменька разсуждала и съ тѣмъ уговаривалась, чтобы онъ уважалъ мою сердечную невинность и никогда никакого попрека мнѣ отъ него не было, а между тѣмъ, какъ ему двѣ тысячи не додали, то онъ послѣ только и зналъ, что сталъ попрекать, и ужасно все мотивировалъ и посылалъ, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни за что не хотѣлъ сидѣть. Даже часто ни обѣдать, ни ночевать не приходилъ, и моя эта французская

миліатюрность, и стройность, и родинка, ничего его не только не утѣшали, а даже онъ сталъ меня терпѣть не мочь, и именно за то, чѣмъ могла я понравиться, дѣлалъ мнѣ самыя обидныя колкости.

— «Что мнѣ, говоритъ, съ тобой за удовольствіе? въ кости что-ли я буду играть? я обожаю въ дамѣ полноту въ обхожденіи».

— Значитъ, вы его въ воображеніе не умѣли привести,— вставила Аичка.

— И нельзя.

— Это пустяки!

— Нѣтъ, нельзя.

— Отчего же?

— Хладнокровіе такое имѣлъ, какъ настоящій змѣй, и это, его-то испугавшись, я и иглу въ себя впустила. Онъ на меня топнулъ, а я иглу-то вмѣсто подушки въ себя воткнула. А потомъ когда я больная была, и если, бывало, почувствую гдѣ игла колетъ, и прошу, чтобы скорѣе доктора пригласить, чтобы изъ меня иглу вонъ вытащить, потому что я ее чувствую, такъ онъ и тутъ преспокойно отвѣчаетъ:

— «Для чего такая нетерпѣливость? подожди, можетъ-быть, игла изъ тебя теперь и сама гдѣ-нибудь скоро выскочитъ».

Аичка разсмѣялась и спросила:

— И что же, наконецъ, вышло?

— Наконецъ, то вышло, что у меня игла нигдѣ не вышла, а зато онъ самъ у своей полной дамы закутился и попалъ ему такой номеръ, что онъ померъ, а я тогда ему на зло взяла да сейчасъ и вышла за подлѣкаря.

— Этотъ лучше былъ?

— Еще хуже.

— Неужели опять въ три обхвата?

— Нѣтъ!.. Чего тамъ!—этотъ, напротивъ, весь былъ съ пѣтушій гребешокъ, но зато самый выдающійся язвитель. А маменька пристала: «иди, да иди». «Ты, говоритъ, на

французинку подобна, и онъ къ этой породѣ близокъ». А его всей близости только и было, что его фамилія была Померанцевъ, а лѣкаря его называли «Флёръ-д'оранжъ». А его просто лучше бы звать Антихристъ. Мнѣ даже пророчество было за него не идти.

— Ахъ, это люблю—пророчества! Что же было?

— Я только изъ воротъ къ вѣнцу съ нимъ стала выѣзжать и на передней лавочкѣ въ каретѣ завитый отрокъ съ образомъ сидѣлъ,—видно, что свадьба,—а какой-то прохожій въ воротахъ заглянулъ и говоритъ: «Вотъ кого-то везутъ наказывать».

— Вотъ удивительно! Ну, и какъ же онъ васъ наказывалъ?

— Всего, мой другъ, натерпѣлась. Прежде всего онъ былъ большой хитрецъ и притворялся, будто ему нравится моя миніатюрность, а мои деньги ему не нужны. И пришелъ свататься въ распарадѣ, какъ самый свѣтскій питомецъ: на рукѣ перстень съ брилліантомъ, и комплиментъ такой отпустилъ, что какъ онъ человѣкъ со вкусомъ, то въ женщинѣ обожаетъ гибкую худобу и легкость, а потомъ оказалось, что онъ это вралъ, а кольцо было докторово, и я ему совсѣмъ и не нравилась. Я говорю: въ такомъ случаѣ зачѣмъ же вы врали и притворялись влюбленнымъ? А онъ безъ всякаго стыда отвѣчаетъ: «Золото красиво—съ нимъ намъ милой быть не диво», и объяснилось, что онъ самъ обидѣлся въ томъ, что ожидалъ получить за мною большой капиталъ, а какъ не нашелъ этого, то тоже желаетъ моею худобою пренебрегать, и дѣйствительно такъ началъ жить, что какъ будто онъ мнѣ и не мужъ.

— А за это вы могли на него его начальству жаловаться.

— Я и жаловалась. Главный докторъ его призвалъ и при мнѣ же ему сталъ говорить: «Флёръ-д'оранжъ! что же это?» а онъ началъ въ свое оправданіе объяснять: «Помилуйте, ваше превосходительство,—это немыслимо: въ ней игла ходитъ», и опять и этотъ тоже пошелъ мотивировать.

Главный докторъ даже удивился: велѣлъ мужу выйти, а мнѣ говоритъ: «Что же вы послѣ этого хотите, чтобы я какое распоряженіе сдѣлалъ? Я не могу. Если вы съ иглою, то я только и могу вамъ посовѣтовать: молитесь, чтобы изъ васъ скорѣе игла вышла».

— Ишь какая вы, Мартыновна, на мужское расположеніе къ себѣ несчастная!

— Да, Аичка, да! За что молоденькую ласкали, за эту миліатюрность и легкость, за то самое потомъ отъ мужей ничего я не видала, кромѣ холодности и оскорбленія. Особенно этотъ подлѣкарь,— онъ даже не хотѣлъ меня иначе называть, какъ «индюшка горбатая», и всякую ложь на меня сочинялъ.—«Я, говоритъ, по анатоміи могу доказать, что у тебя желудокъ и потомъ спина, и больше ничего нѣтъ». Но Господь же Богъ истинно милосерднѣйшій,— Онъ меня скоро отъ обоихъ отъ нихъ освобождалъ: сталъ и этотъ Флёръ-д'оранжъ тоже пить и пропадать, и одинъ разъ допился до того, что поѣхалъ дачу нанимать и въ саду повѣсился, а я ни съ чѣмъ осталась и въ люди жить пошла.

— Въ людяхъ жить трудно.

— Ничего, у меня характеръ хорошій: меня всѣ любятъ.

— Ну, это вы только хвалитесь.

— Нѣтъ! правда.

— А вѣдь вотъ вы долго у Степеневыхъ жили, а они васъ за что-то выгнали.

— Извините, Аичка, меня никто и ни откуда не выгонялъ.

— Ну, отпустили. Вѣдь это только такъ, для вѣжливости говорится, а все равно—выгонъ.

— И не отпускали, а я сама ушла.

— Черезъ что же вы ушли? Вѣдь ихъ домъ хорошій, какъ вы говорите—«выдающійся».

— Домъ былъ самый очень выдающійся, да черезъ одну причину началъ портиться, и къ тому же вотъ съ этимъ мѣстомъ вышло замѣшательство.

- Съ которымъ мѣстомъ?

— Вотъ, гдѣ мы съ вами теперь находимся въ нашей сегодняшней «ажидаціи».

— Ну, такъ вотъ вы про это-то теперь и разсказывайте. Да только отсядьте вы отъ меня, пожалуйста, подальше на кресло, а то и я боюсь, что въ васъ иголка.

— Вотъ какая ты мнительная! Но я, мой другъ, теперь вѣдь ужъ тѣльца на себя собрала, и тѣльце у меня — попробуй-ка — крѣпкое, просвирковатое!

— Не буду я къ вамъ касаться: я очень мнительная Подайте мнѣ тоже сюда и мою сумочку съ деньгами.

— Я ее хорошенько въ комодъ прибрала.

— Нѣтъ, дайте—я люблю деньги подъ подушкой имѣть... А теперь сказывайте: отчего вы ушли изъ степеневскаго дома?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

— Тутъ много сдѣлалъ падёжъ бумагъ.

— Вы развѣ на биржѣ обращались?

— Не я, а деверь у Степеневыхъ, у Маргариты Михайловны. У нихъ въ семьѣ вѣдь немного: всего сама она, эта Маргарита съ дочерью, съ Клавдинькой, да сестра ея, Ефросинья Михайловна — обѣ вдовы. Ефросинья-то бѣдная, а у Маргариты мужъ былъ, Родіонъ Ивановичъ, отличный фабрикантъ, но къ рабочимъ былъ строгъ до чрезвычайности, «Иродомъ» его звали, — все на штрафахъ замаривалъ; а другой его братъ, Николай Ивановичъ, къ народу былъ проще, но зато страсть какой предпріятельный: постоянно онъ въ трехъ волненіяхъ, и все спѣшитъ вездѣ постановъ вопросу дѣлать. Сначала онъ болѣе всего мимоноски строилъ, и въ это время страсть какъ распустился кутить съ морскими голованерами. Гдѣ онъ ѣдетъ, тамъ ужъ шумъ и громъ на весь свѣтъ, а домой пріѣдетъ — чтобы сейчасъ ему была такая тишина, какой невозможно. Жена у него была писаная красавица и смиренница, такъ онъ ее до того запугалъ, что она, бывало,

если и одна сидитъ да ложечкой о блюдце стукнетъ, то сейчасъ сама на себя цыкнетъ и сама себѣ пальцемъ пригрозитъ и «дуру» скажетъ. Но онъ съ нею все-таки ужасно обращался и въ гробъ ее сбилъ, а какъ овдовѣлъ, такъ и жениться въ другой разъ не захотѣлъ: сына Петю въ нѣмецкій пансіонъ отдалъ, а самъ сталъ жить съ француженками, и всѣ мимоноски туда сплавилъ. Думали: конченъ нашъ Николай Ивановичъ «выпѣвающій»; но онъ опять выплылъ: присталъ къ какимъ-то въ компанію дѣлать постановъ вопроса, и завели они подземельный банкъ, и опять сталъ таскать при себѣ денегъ видимо и невидимо и пошелъ большія количества тратить на польскую даму, Крутильду Сильверстовну. Ея имя было Клотильда, но мы Крутильдой ее называли, потому что она все, бывало, не прямо, а крутитъ, пока какое-то особенное удареніе ко всѣмъ его чувствамъ сдѣлаетъ, и тогда стоитъ ей, бывало, что-нибудь захотѣть и только на ключъ въ спальнѣ запереться, а его къ себѣ не пустить, такъ онъ тогда на что хочешь сдѣлается согласенъ, лишь бы вслѣдъ за нею достигнуть.

— Вотъ это такъ и слѣдуетъ! — замѣтила Анчка.

— Да, да; это правда. Онъ для нея и по-французски сталъ учиться, а когда сынъ свое ученье кончилъ, онъ его изъ дома прогналъ. Придрался къ тому, что Петя познакомился съ Крутильдиной племянницей, и отправилъ его съ морскими голованерами навкругъ свѣта плыть, а Крутильда свою племянницу тоже прогнала, а та была молоденькая и миліатюрная, а оказалась въ тягости, и Богъ одинъ знаетъ, какія бы ее ожидали послѣдствія. А самъ ужъ не зналъ, чѣмъ тогда своей Крутильдѣ заслужить: ходилъ постоянно завитъ, обритъ и причесанъ, раздушенъ и одѣтъ а-ля-морда, и все учился по-французски. Стоитъ, бывало, передъ зеркаломъ и по ляжкамъ хлопаетъ и поетъ: «Пожелія, пополія». А тутъ вдругъ кто-то въ ихнихъ бумагахъ въ подземельномъ банкѣ портежъ и сдѣлалъ. Страшная кучма народу толпучкой бросилась, чтобы у нихъ свои

деньги вынимать, и онъ до того не въ себѣ домой пріѣхалъ, что кричитъ:

«Запри скорѣй ножницы и принеси мнѣ калитку!»

И еще сердится, что этихъ его словъ не понимаютъ!

Мы думали, что онъ съ ума сошелъ, а онъ это испугался падежá бумагъ и привезъ къ намъ какіе-то пупоны стричь, да такъ все и потерялъ, и за эту стрижку подъ судъ попался, но на счастье свое несчастнымъ банкрутомъ сдѣланъ. Ну, тутъ Крутильда его, разумѣется, было-бросила, а сестра, Маргарита Михайловна, взяла его къ себѣ въ службу и всѣ дѣла ему поручила. Онъ же годъ и два простоялъ хорошо, а потомъ опять гдѣ-то съ голованерами встрѣтился и какъ разъ напосудился и такъ засточертилъ, что никакъ его нельзя было успокоить. Маленькій удержъ недѣли на двѣ сдѣлаетъ, а потомъ опять ударитъ и возвращается домой съ страшными фантазіями, — называетъ одну сестру Бланжей, а другую Мимишкой... не понимаетъ, гдѣ себя воображаетъ. А станешь просить его, чтобы онъ велъ себя степеннѣе, онъ сейчасъ: «Что такое? Какъ ты смѣешь? Давно ли ты на домашняго адвоката курсъ кончила? А я на этихъ увертюрахъ съ дѣтства воспитанъ!» И всегда въ это время у него со мной ссора, а потомъ послѣ ужасно поладитъ и шутитъ: «Мармартынъ, мой Мармартынъ, получай съ меня алтынъ», и опять до новой ссоры.

— А вы зачѣмъ встрѣвали?

— Для золовокъ, — золовки просили.

— Мало ли что! Развѣ можно мужчинѣ препятствовать!

— Ахъ, мой другъ, да какъ же ему не препятствовать, когда онъ въ этихъ своихъ трехъ волненіяхъ невѣдомо чего хочетъ, и ему вдругъ вздумается куда-то ѣхать, и онъ самъ не знаетъ, куда ѣхать.

— Знаетъ, небось.

— Нѣтъ, не знаетъ. «Мнѣ, — говоритъ, — три волненія надоѣли, и я хочу отъ нихъ къ самому чорту въ адъ уѣхать». Золовки пугаются и просятъ меня: «Разговори

его!» Я и говорю: «Туда дороги никто не знаетъ, — сиди дома». — Нѣтъ,—говоритъ,—Мармартынъ, нѣтъ; нужно только на антихристова извозчика попасть, у котораго шестьсотъ-шестьдесятъ-шестой нумеръ, — тотъ знаетъ дорогу къ чорту».

И пристанетъ вдругъ ко мнѣ: «Уйдемъ, Переносица, со мною потихонечку изъ дома и найдемъ шестьсотъ-шестьдесятъ-шестой нумеръ и поѣдемъ къ дьяволу! Что намъ еще здѣсь съ людьми оставаться! Повѣрь, всѣ люди подлецы! Надоѣли они!» И такъ упроситъ, что даже со слезами, и жаль его станетъ.

— И неужели вы съ нимъ ѣздили? — спросила Аичка.

— Да что, мой другъ, дѣлать. По просьбѣ золовокъ, случалось, — отвѣчала Марья Мартыновна. — Какъ своя въ домѣ у нихъ привыкла, и когда, бывало, сестры просятъ: «видишь, какой случай выдающійся, прокатись съ нимъ за городъ, досмотри его», — я и ѣздила, и всѣ его глупыя шутки и надсмѣшки терпѣла. Но только въ послѣдній разъ, когда докончальный скандалъ вышелъ, онъ меня взялъ насильно.

— Какъ же онъ могъ васъ насильно взять?

— Я въ лавкѣ себѣ сапоги покупала и очень занялась, а приказчикъ обмануть хочетъ и шабаршитъ: «Помилуйте... первый сортъ... фасонъ бамбе, а товаръ до того... даже Миллера». А онъ входитъ — и вдругъ ему увертюра московскаго воспоминанія въ лобъ вступила:

— «Я, — говоритъ, — матъ-Переносица, ѣхалъ, и тебя увидалъ, и очень нужное дѣло вспомнилъ: отбери мнѣ сейчасъ шесть паръ самыхъ дорогихъ сапожковъ бамбе и поѣдемъ ихъ одной дамѣ мѣрить». Я говорю: «Ну васъ къ Богу!» а онъ говоритъ: «Я иначе на тебя сейчасъ подозрѣніе заявлю».

— Ишь какой, однако, прилипчивый!

— Ахъ, ужасный! совершенно вотъ какъ піявокъ или банная листва, — такъ и не отстанетъ. И чего ты хочешь: какъ его образумить? Во-первыхъ, кутила, а во-вто-

рыхъ, бабеляръ, и еще какой бабеляръ! Какъ только напосудится, такъ и Крутильду забылъ, и сейчасъ новое удареніе къ дамской компаніи, и опять непремѣнно не какія попало дамы, а все чтобы выдающіяся, напримѣръ, ѣздовщицы съ аренды изъ цирка или другія прочія выдающіяся сужекты своего времени. А угощать благородно не умѣль: въ какомъ хочешь помѣщеніи дезгардьяжъ надѣлаетъ, всего, чего попало, натребуетъ и закричитъ: «Лопайте шакецъ-а-гу!» Многія, бывало, обидятся и ничего не хотятъ, или еще его «свиньей» назовутъ, но ему все ничего, шумитъ;

— «Глядите, инпузоріи, въ пространство, что я могу: я не плотецъ Скопицынъ, который съ деньгами запирался, а я со всѣми увертюрами живу!» И сейчасъ и начнетъ свою первую обыкновенную увертюру: всю скатерть съ приборами на полъ, а платить—«убирайся къ чорту».

Того и гляди, что его когда-нибудь отколотятъ.

Я это и говорю его сестрамъ: «какъ хотите, а по-моему его надо молитвою избавить отъ его безстыдства», и Афросинья сейчасъ этому и обрадовалась; но онъ самъ ни за что и слышать не хотѣлъ о молитвахъ.

— «Постановъ вопроса, говоритъ, такой: что я — порченый что-ли, чтобы меня отмаливать? Я въ духовныхъ дѣлахъ самъ все знаю: я пилъ чай у преосвященнаго Макаріуса и у патріарха въ Константинополѣ рахатъ-лукумъ ѣлъ, и послѣ нихъ мнѣ теперь въ молитвахъ даже самъ Мономахъ не можетъ потрафить».

Разумѣется, надо было сразу не пощадить на самое выдающееся; но вдова Маргарита Михайловна Степенева хоть и богачка, а замялась въ неопредѣленномъ наклоненіи. Я вашего капитала, разумѣется, вполнѣ не знаю...

— Это вамъ и не надо знать, — оторвала Аичка: — вы ведите свои исторіи, а меня врасплохъ не испытывайте.

— Конечно. Я только такъ къ слову сказала, я и не любопытна, но все равно на то же вышло. У Маргариты Степеневой, какъ я вамъ сказала, есть дочь Клавдія, молодая и прекрасивая этакая дѣвица, собой видная, — кра-

соты видъ въ родѣ англичанскаго фасона, но съ буланцемъ... Воспитывалась она въ иностранномъ училищѣ для дѣвицъ женскаго пола, вмѣстѣ съ одною нѣмочкою, и сдѣлалась ея заковычнымъ другомъ, а у той былъ двоюродный ея братъ, докторъ Ферштетъ; онъ, этотъ Ферштетъ, ее и испортилъ.

— Спуталъ?—спросила живо Анчка.

— Нѣтъ,—отвѣчала Марья Мартыновна: — спутать онъ ее не могъ, потому что она безчувственная, но разныя пустыя мысли ей вперилъ.

— Про что же?

— Да вотъ, напримѣръ, насчетъ повсемѣстнаго бѣдствія людей. Самъ онъ такой неслыханный оригиналецъ былъ, что ничего ему не нужно; такъ и назывался: «безсчетный лѣкарь». Ко всѣмъ онъ шелъ, а что ему кто заплатитъ, или даже ничего не заплатитъ, это ему все равно, всѣхъ одинаково лѣчилъ и къ бѣднымъ даже еще охотнѣе ходилъ и никогда не отказывался, а если дадутъ, такъ онъ сунетъ въ карманъ и не считаетъ, чтобы не знать, кто сколько далъ. Вотъ онъ ее этимъ безразличіемъ плѣнилъ и къ такой простотѣ ее свелъ, что она обо всемъ образѣ жизни людей стала иначе думать и все она начала желать чего-то особеннаго, чего невозможно и что всѣхъ огорчаетъ.

— Непочтительная что-ли стала?

— Нельзя даже понять — какъ она, почтительная или непочтительная, но только стало ей нравиться все удивительное. Вотъ этотъ ея подругинъ братъ въ ниверситетѣ учился, и весь свой курсъ вышелъ, а служить нигдѣ не захотѣлъ. Всѣ этимъ огорчились, а ей это хорошо.

— Отчего же онъ служить не пошелъ?

— Такъ разсудилъ, что «на службѣ, говоритъ, можно получать различныя порученія, какихъ я дѣлать не хочу, надо въ пустякахъ для угожденія много время тратить, и уважать кого не стоитъ, и бояться, какъ бы съ дурной стороны не представили, — а я-де ни съ кѣмъ ни въ какую общественную исторію попадать не хочу, а хочу лучше самъ по своимъ понятіямъ людямъ услуживать». И такъ безъ

всякихъ чиновъ и остался, и всю зиму и лѣто въ одной прохладной шинелишкѣ ко всѣмъ бѣднымъ ходилъ, пока въ прошломъ году простудился и умеръ, и семью какъ есть ни съ чѣмъ оставилъ. Спасибо, нѣмцы при похоронахъ сговорились между собою и все семейство устроили. По Клавдинькиному это все и превосходно, и Клавдинька какъ только съ нимъ познакомилась, такъ сдѣлалась отъ всѣхъ своихъ семейныхъ большая скрытница и все начала евангеліе читать, и все читала, читала, а потомъ всѣ наряды прочь и начала о бѣдныхъ убиваться. Сидитъ и думаетъ. Спросишь: «что ты все думаешь? чего тебѣ недостаетъ?» А она отвѣчаетъ :«у меня все есть и даже слишкомъ больше, чѣмъ надобно, но отчего у другихъ ничего нѣтъ необходимаго?» Ей скажешь: «Что же тебѣ до этого? это отъ Бога такъ, чтобы было кому богатымъ людямъ служить и чтобы богатые имѣли кому отъ щедротъ своихъ помогать»,—а она головою замахаетъ, и опять все думаетъ и доведетъ себя до того, что начнетъ даже плакать.

— О бѣдныхъ?—воскликнула Аичка.

— Да!

— Что же они ей лучше богатыхъ что-ли?

— И я это самое ей говорила: чего? Если тебѣ жаль, поди въ церковь и подай на крыльцѣ. Отъ состраданія нечего плакать. А она отвѣчаетъ: «Я не отъ состраданія плачу, а отъ досады, что глупа и зла, и ничего придумать не могу». Ну и стала все думать, и придумала.

Аичка сказала:

— Это интересно.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Стала она такъ жить, что начала не надѣвать на себя ни золота, ни дорогихъ нарядовъ. «Для чего мнѣ это?— говоритъ:—это совсѣмъ ненужное, и нисколько не пріятно и не весело; да это даже и имѣть стыдно».

— Отчего же ей это стыдно?—спросила Аичка.

— Для чего на ней дорогія вещи будутъ, когда на другихъ и самыхъ простыхъ одеждъ нѣтъ.

— Такъ это же вѣдь нарочно такъ и дѣлаютъ, для отлички другъ отъ друга.

— Ну да! какъ же иначе и разобрать, кто котъ — кто поваръ? А для нея мать сдѣлала тальму изъ фонъ-горской козы и морской травы цвѣта плющъ покрыла, а она ее и не надѣла.

— Это почему?

— «Стыдно, говоритъ, такую роскошь носить»—простое пальто ей больше нравится. Сшила себѣ сама черное кашемировое платье и бѣлые рукавчики и воротнички и сама ихъ моетъ и гладитъ, и такъ англичанкою и ходитъ, а лѣтомъ въ свѣтленькомъ ситцѣ, а что ей мать подаритъ деньгами или шелковье, она сейчасъ пойдетъ шелковье все продастъ и всѣ деньги неизвѣстно кому отдастъ. Мать сначала, бывало, шутя спрашиваетъ:

— «Что же ты это, Клавдичка, на молитвы что-ли все раздаешь?»

— «Нѣтъ, говоритъ, маменька, зачѣмъ же мнѣ покупныя молитвы? Это долженъ всякъ для себя, а я просто такъ отдаю тѣмъ, которымъ трудно заработать сколько нужно, или нечѣмъ за ученье платить, когда ихъ дѣтей исключаютъ».

Мать ей и не перечила: — «Что же, говоритъ, отдавай, если хочешь: пусть за тебя бѣдные Бога молятъ».—Но ей никакъ не потрафишь сказать.

— «Я, говоритъ, маменька, это совсѣмъ не для того, а просто мое сердце не терпитъ, когда я вижу, какъ я счастлива, а люди живутъ бѣдственно».

— «Вотъ потому-то и нехорошо, что ты все ходишь, эту бѣдственность смотришь: ты на нихъ насмотришься и себя этимъ и разстраиваешь».

— «Все равно,—говоритъ,—мама, если я на нихъ хоть и смотрѣть не буду, такъ я знаю, что они есть и страдаютъ, и что я должна дѣлать облегченіе въ ихъ жизни».

— «Ну, поступи членомъ въ общество и ѣзди съ хорошими дамами; я тебѣ столько денегъ дамъ, что можешь больше всѣхъ графинь и княгинь сыпать».

Не захотѣла.

— «Я знаю,—говоритъ,—что̀ нужно дѣлать».

— «Такъ скажи, что̀ такое?»

Она молчитъ.

— «Отчего же ты такая грустная и такая печальная? На тебя смотрѣть больно! Отчего это?»

— «Это, мама, оттого, что я еще очень зла: я себя еще не переломила и борюсь».

— «Съ кѣмъ, мой ангелъ?»

— «Съ собою, мама. Не обращайте на меня вниманія, мнѣ скоро легче будетъ. Я какъ-нибудь перейду на свою сторону, а теперь я не на своей сторонѣ,—я себѣ противна».

Дядя Николай Ивановичъ хоть шабарша, но онъ любилъ ее и говоритъ:

— «Не приставайте къ ней: она иначе не можетъ; это въ ней все отъ рояльнаго воспитанія. Я знаю, что̀ съ ней надо сдѣлать: надо дать ей развязку на веселыхъ увертюрахъ».

Взвился и привезъ ей театральный билетъ въ ложу на «Африканскаго Мавра».

Хоть и великій постъ былъ, но для нея поѣхали. А она у нихъ въ театрѣ и разрыдалась.

— Это еще чего?

— «Я,—говоритъ,—вамъ говорила, что я не могу видѣть дикія грубости!—Въ чемъ вамъ представляется занимательность, я въ томъ же самомъ вижу ужасъ и горе».

— «Какой же ужасъ? Въ чемъ тутъ горе?»

— «Какъ же не ужасъ: такой огромный, черный мужчина душитъ слабую женщину и по какой причинѣ?»

Николай Ивановичъ говоритъ:

— «Ты этого еще не понимаешь: за любовь отъ ревности самый образованный человѣкъ долженъ изъ вашей сестры всю кровь пролить».

— «Не правда это, — говоритъ, — какой это образованный человѣкъ: это глупость, это звѣрство! Не должно это такъ быть и не будетъ,—я не хочу это видѣть!»

И уѣхали изъ театра, и такъ и пошло съ ней съ этихъ поръ во всѣхъ междометіяхъ. Благородныя удовольствія, театръ или концерты, или оперы, все это ей не нравится, а назоветъ къ себѣ безпортошныхъ ребятишекъ, дастъ имъ мармеладу и орѣховъ и на фортепіанахъ имъ заиграетъ и поетъ, какъ лягушки по дорожкѣ скачутъ, вытянувши ножки, и сама съ ними утѣшена и плачетъ, и пляшетъ. Этакая красавица, а лягушкой прыгаетъ!..

Видѣвши это, мать своего священника приходскаго на духу упросила поговорить съ ней, и онъ на Пасхѣ, когда пріѣхалъ съ крестомъ и какъ сталъ послѣ закусывать, то началъ Клавдинькѣ выговаривать:

— «Нехорошо, барышня, нехорошо, вы въ заблужденіи».—А она ему брякъ на-отрѣзъ:

— «Да, — говоритъ, — благодарю васъ, благодарю, вы правы—и мнѣ тоже кажется, что мы живемъ въ большомъ заблужденіи, но теперь я уже немножко счастливѣе».

— «Чѣмъ-же-съ?»

— «Тѣмъ, что я уже собой недовольна; я теперь уже не на своей сторонѣ; я себя осуждаю и вижу, гдѣ свѣтъ».

Онъ говоритъ:—«Не много ли вы на себя берете?»

Она замялась и отвѣчаетъ:—«Я не знаю».

А батюшка говоритъ: — «То-то и есть! А мы знаемъ, что на свѣтѣ должны быть и богатые, и бѣдные, и это такъ повсемѣстно».

Она отвѣчаетъ:—«Это, къ несчастію, правда».

— «Такъ и нечего бредить о томъ, чтобы у насъ всѣ были равны».

А она вся стынетъ и виски себѣ третъ и шопотомъ говоритъ:—«Бредятъ невольно».

А батюшка говоритъ:—«Да, бредятъ невольно, а однако и за невольный бредъ иногда далеко очутиться можно. Не идите противъ религіи».

— «Я не иду, я люблю религію».

— «А зачѣмъ противнаго желаете?»

— «Развѣ желать въ жизни простоты и чтобъ не было терзающей бѣдности противно религіи?»

— «А вы какъ думаете? Да Христосъ-то признавалъ нищихъ или нѣтъ?»

— «Признавалъ».

— «Такъ что же, вы Ему хотите возражать?»

— «Я вамъ отвѣчаю, а не Христу. Христосъ самъ жилъ какъ нищій, а мы всѣ живемъ не такъ, какъ Онъ жилъ».

Священникъ всталъ и говоритъ:

— «Такъ вотъ вы какая!»—и оборотился къ матери ея и сказалъ:

— «Маргарита Михайловна! Откровенно вамъ скажу, уважая васъ какъ добрую прихожанку, я съ вашей воспитанной дочерью поговорилъ; но, уважая себя, я нахожу, что съ нею, сударыня, не стоитъ разговаривать. Вамъ одно остается: молиться, чтобы она не погибла окончательно».

Маргарита Михайловна, вся красная и въ слезахъ, извиняется и проситъ у него прощенья, что это вышло какъ на смѣхъ.

Священникъ смягчился и отвѣчаетъ:

— «Мнѣ, разумѣется, Богъ съ нею, пусть что̀ хочетъ болтаетъ, теперь этихъ глупыхъ мечтаній въ обществѣ много, и мы къ нимъ наслышавшись; но попомните мое слово, это новое, но стоитъ стараго зла—ингилизма, и дочь ваша идетъ дурнымъ путемъ! дурнымъ! дурнымъ!»

Маргарита Михайловна ему скорѣе красненькую, но онъ не подкупился, деньги подъ большой палецъ зажалъ, а указательнымъ все грозится и свое повторяетъ:

— «Дурнымъ путемъ, дурнымъ!»

Маргарита Михайловна сама разсердилась и, какъ онъ вышелъ, говоритъ ему вслѣдъ:

— «Какой злюка сталъ!»

А Клавдинька безъ гнѣва замѣчаетъ:

— «Вы, другъ мой, мама, сами виноваты, зачѣмъ вы ихъ безпокоите. Онъ такъ и долженъ былъ говорить, какъ говорилъ».

— «А кого же мнѣ на тебя, какую власть просить?»

— «Ну, полноте, мамочка, зачѣмъ на меня власть просить, чѣмъ я вамъ непокорна?»

— «Въ очень во многомъ, въ самомъ важномъ ты непокорна: грубить ты мнѣ не грубишь, но ты не одѣваешься сообразно нашему капиталу, чтобы всѣ видѣли; не живешь, а все съ бѣдностью возишься, а богатства стыдишься, которое твой дѣдъ наживалъ и за которое отецъ столько грѣха и несправедливости сдѣлалъ».

А Клавдинька тутъ одною рукою мать за руку схватила, а другою закрыла свои вѣщія звѣницы и, какъ актриса театральная, вдругъ дрожащимъ голосомъ закричала:

— «Мамочка! мама!.. Милая! не говорите, не говорите! Ничего не будемъ объ отцѣ,—такъ страшно вспомнить!»

— «Разумѣется, — царство ему небесное, — онъ былъ аспидъ, а я тебя сама избаловала, и за то, думала, пусть хоть духовный отецъ тебя наставитъ».

— «Мама! да вы сами меня лучше всѣхъ можете наставить».

— «Нѣтъ, я не могу и не берусь!»

— «Почему?»

— «Мнѣ тебя жаль!»

— «Ну, вотъ я и наставлена. Вы меня пожалѣли и этимъ меня и наставили! Я вѣдь люблю васъ, мама, и ничего не сдѣлаю такого, что̀ можетъ огорчить мать-христіанку. А вѣдь вы, мама, христіанка?»

И глядитъ ей въ глаза, и ластитъ ее, и такъ и поладятъ, и все такъ, потихоньку, что̀ только сама она съ собой вздумаетъ, то̀ съ матерью и сдѣлаетъ. Ужъ не только на представленіе «Мавра» отклонила смотрѣть, а даже въ оперу «Губинотовъ» слушать—и то говоритъ: «не надо, мама; пѣсни хороши, когда ихъ поютъ отъ чувства для скорби или для веселости, а этакъ, за деньги—это пустяки, и за

такія трилюзіи стыдно деньги платить, лучше отдадимъ ихъ босымъ дѣтямъ». И мать сейчасъ съ нею въ этомъ согласна и улыбается: «На, отдавай, ты какая-то божія». А та ей съ большимъ восхищеніемъ: «О, если бы такъ! если бы я въ самомъ дѣлѣ была божія!» и вдругъ опять со смѣхомъ шутя запоетъ и запляшетъ: «Вотъ,—говоритъ,—вамъ даровой театръ отъ моей радости». А мать ужъ не знаетъ, какъ и навеселиться. И стало ужъ Клавдинькѣ такое житье, что дѣлай все, что ей угодно, у матери и позволенія не спрашивай.

— «Я, говоритъ, вѣрю, что она меня любитъ и ничего такого, что̀ меня огорчитъ, она нѐ сдѣлаетъ».

Стала Клавдинька ходить въ искусственные классы, гдѣ разныя учебныя моды на оба пола допущены, и пристряла къ тому, чтобы изъ глины рожи лѣпить, и научилась. Всѣ, всѣ, какія только есть принадлежности, она возьметъ и вылѣпитъ, а потомъ на фарфорѣ научилась красить, и весь домъ намусорила, а въ собственную въ ея комнату хоть и не входи, да и не позволяетъ, и прислуги даже не допускаетъ. Намѣшаетъ въ тазу зеленой глины, вывалитъ все на доскѣ, какъ тѣсто, и пойдетъ пальцами вылѣпливать.

— Это однако вѣдь трудно,—замѣтила Аичка.

— Ничего не трудно, — отвѣчала нетерпѣливо Марья Мартыновна.—Обозначитъ сначала носъ и ротъ, а потомъ и всѣ остальныя принадлежности—вотъ и готово. А фарфоръ нарисуетъ, но безъ мужика обойтись не можетъ,—выжигать русскому мужику отдаетъ. А потомъ всѣ эти предметы въ магазины продавать несетъ. Мать и тетка, разумѣется, сокрушаются: ей ли такая крайность, чтобы рукодѣлье свое продавать! При такомъ капиталѣ и такія послѣдствія! А выручитъ деньги—и неизвѣстно куда ихъ отнесетъ и неизвѣстнымъ людямъ отдастъ. А тогда, знаешь, какъ разъ такое время было, что разомъ дѣйствовали и поверхностная комиссія, и политическій компотъ. Кому же она носитъ? Если бѣднымъ, то я, бѣдная женщина,

сколько лѣтъ у нихъ живу, и отъ матери и отъ тетки подарки видѣла, а отъ нея ни на грошъ. Одинъ разъ сама прямо у нея попросила: «что же, говорю, ты, Клавдичка, мнѣ отъ своихъ праведныхъ трудовъ ничего не подаришь? хоть бы купила на смѣхъ ситчику по нѣтовой землѣ пустыми травками». Такъ она и шутки даже не приняла, а твердо отрѣзала: «вамъ ничего не надобно, вы себѣ у всѣхъ выпросите». Господи помилуй! Господи помилуй! Этакое безчувствіе! Правда, что я не горжусь,—если у меня нѣтъ, я выпрошу, но какое же ей до этого дѣло! Такъ же и противъ матери: въ самые материны именины, вообрази себѣ, розовый цвѣтокъ ей сорвала и поднесла: «Другъ мой, мама!—говоритъ:—вамъ вѣдь ничего не нужно». И вообрази себѣ, та соглашается: «У меня, говоритъ, все есть, мнѣ только твое счастье нужно»,—и цѣлуетъ ее за эту розу. А Клавдинька еще разговариваетъ:

— «Мамочка! что̀ есть счастіе? Я съ вами живу и счастлива, но въ свѣтѣ есть очень много несчастныхъ».

Опять, значитъ, за свое,—даже въ именинный день! Тутъ я уже не вытерпѣла и говорю:

— «Вы, Клавдинька, хоть для дня ангела маменькинаго нынче эту заунывность можно бы оставить вспоминать, потому что въ этомъ вѣдь никакой выдающейся пріятности нѣтъ».

Но мать, представь себѣ, сама за нее заступилась и говоритъ мнѣ:

— «Оставь, Марья Мартыновна, и скажи людямъ, чтобы самоваръ отсюда убирали.—А въ это время, какъ я вышла, она даритъ Клавдинькѣ пятьсотъ рублей: «отдай, говоритъ, своей гольтепѣ-то! Кто они тамъ у тебя такіе, Господи! можетъ, страшно подумать».

— А вы какъ же это видѣли?—спросила Аичка.

— Да просто въ щелочку подсмотрѣла. Но Клавдинька вѣдь опять и изъ этихъ денегъ никому изъ домашнихъ ничего не удѣлила.

— Отчего же?

— Вотъ оттого дескать, что «здѣсь всѣ сыты».

— Что-же, она это и правильно.

— Полно, мой другъ, какъ тебѣ не стыдно!

— Ни крошечки.

— Нѣтъ, это ты меня дразнишь. Я знаю... Будто человѣку только и надо, если онъ сытъ? И потомъ сколько разъ я ни говорила: «ну, прекрасно, ну, если ты только къ чужимъ добра, зачѣмъ же такъ скрытна, что никто не долженъ знать, кому ты помогаешь?

— «Добръ,—отвѣчаетъ,—тотъ, кто не покоится, когда другіе безпокойны, а я не добра. Вы о добротѣ какъ должно не понимаете».

— «Ну, прекрасно, я о добротѣ не понимаю, но я понимаю о скрытности: для чего же ты такъ скрываешся, что никакими слѣдами тебя услѣдить нельзя, куда ты все тащишь и кому отдаешь? Развѣ это мыслимо или честными правилами требуется?

А она, вообрази, съ улыбкою отвѣчаетъ:

— «Да, это мыслимо и честными правилами требуется!»

— «Такъ просвѣти же,—говорю,—матушка: покажи, гдѣ эти правила, въ какой святой книжкѣ написаны?»

Она пошла въ свою комнату — выноситъ маленькое евангеліе.

— Все съ евангеліемъ!—перебила Аичка.

— Да, да, да! Это постоянно! У нея все сейчасъ за евангеліе и оттуда про текстъ, какого никогда и не слыхивала; а только понимать какъ должно не можетъ, а выведетъ изъ него что-нибудь совсѣмъ простое и обыкновенное, что даже и не интересно. Такъ и тутъ подаетъ мнѣ евангеліе и говоритъ:

— «Вотъ сдѣлайте себѣ пользу, почитайте тутъ», — и показываетъ мнѣ строчки—какъ надо, чтобы правая моя не знала, что̀ дѣлаетъ лѣвая моя, и что угощать надо не своего круга людей, которые могутъ за угощенье отплатить... И прочее.

Я знаю, что съ ней не переспоришь, и отвѣчаю: «Еван-

геліе—это книга церковная и премудрость ея запечатана: ее всякому нельзя понимать».

Она сейчасъ возражать: — «Нѣтъ, то-то и дѣло, что евангеліе для всѣхъ понятно».

— «Ну, а я все-таки, — говорю,—я евангеліе лучше оставлю, а у батюшки спрошу, и въ какомъ смыслѣ мнѣ священникъ про это скажетъ, такъ я только съ ними, съ духовными, и согласна».

И точно, дѣйствительно я захотѣла ее оспорить и пошла къ ихъ священнику. Я ему въ прошломъ году пахучую ерань услужила — у его матушки сѣра очень кипитъ, такъ листокъ въ ухо класть,—а теперь зашла на рынокъ и купила синицу; перевязала ее изъ клѣтки въ платочекъ и понесла ему, такъ какъ онъ приходящихъ безъ презента не любитъ и жаловался мнѣ разъ, что у нихъ во всемъ домѣ очень много клоповъ и никакъ вывести не могутъ.

— «Вотъ, — говорю, — вамъ, батюшка, синичка: она и поетъ, и клопа истребляетъ. Только, пожалуйста, не надо ее ничѣмъ кормить,—она тогда съ голоду у васъ вездѣ по всѣмъ щелямъ клоповъ выберетъ».

— Неужли это правда?—спросила Анчка.

— Что это?

— Насчетъ синицы, что она клоповъ выберетъ?

— Какъ же! всѣхъ выберетъ.

— Удивительно!

— Что ты, что ты! Это самое обыкновенное: бывало, наши откупные и духовные всегда для этого синицъ держатъ. И священникъ меня поблагодарилъ.

— «Знаю, говоритъ. Старинный способъ! Перепусти синичку въ клѣточку, а когда она оглядится, я ее по комнатѣ летать выпущу,—пусть ловитъ; а то нынче персидскій порошокъ стали продавать такой гадостный, что онъ ничего и не дѣйствуетъ. Во всемъ подмѣси».

Я сейчасъ же къ этому слову и пристала, что теперь, молъ, ужъ ничего не разберешь, что какое есть. И раз-

сказываю ему про Клавдюшины выходки съ евангеліемъ и говорю:

— «Неужто же,—говорю я,—въ евангеліи, дѣйствительно, такое правило есть, что знакомства съ значительными людьми надо оставить, а все возись только съ одной бѣдностью?»

Онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— «А ты слушай, дубрава, что лѣсъ говоритъ; они берутся не за свое дѣло: выбираютъ сужекты, а не знаютъ, какъ ихъ понять, и выводятъ суетная и ложная».

— «А вы отчего же,—спрашиваю,—о такихъ ихнихъ ложныхъ сужектахъ никому не доводите?»

— «Доводили, — говоритъ, — матушка, и не разъ доводили».

— «Такъ какъ же они смѣютъ все-таки отъ себя разсуждать и утверждать все свое на евангеліи?»

— «Такое ужъ стало положеніе; ошибка сдѣлана: наможены книжки и всякому ни по чемъ въ руки дадены».

— «И зачѣмъ это?»

— «Ну, это долго разсказывать. Раньше негодовали, что слабо учатъ писанію, а я и тогда говорилъ: «учатъ хорошо и сколько надо для всякаго, не мечите бисеръ—попрутъ»; вотъ они его теперь и попираютъ. И вотъ, говоритъ, и пошло—и неурожай на поляхъ, и на людяхъ эта непонятная боль—виоліемція».

Словомъ, очень хорошо говорилъ, но помощи не подалъ. Даже и побывалъ у нихъ послѣ этого, но, прощаясь съ нею, сказалъ только:

— «Пересаливаете, барышня, пересаливаете!»

А она вскоряхъ и еще лучше сдѣлала: взяла, да и пропала.

— Такъ совсѣмъ и пропала?—удивилась Аичка.

— Нѣтъ, прислала матери депешъ, что у нея одна бѣдная подруга заболѣла въ черной оспѣ и у нея престарѣлая мать и за ней никто ходить не хочетъ, такъ вотъ докторъ Ферштетъ и взялся лѣчить, а наша Клавдичка ее навѣстила и осталась при ней сестрой милосердной ухажи-

вать, а домой депешъ прислала, у матери прощенія проситъ, что боится заразу занести.

Аичка вздохнула и сказала:

— Повѣрьте, она испорчена.

— Да, все можетъ быть; а поговори съ ней, такъ у нея опять и это тоже будто по евангелію. А сколько мать перемучилась—рябая или безъ глазъ дочь вернется,—это ей ничего. И когда она благополучно вернулась, то опять просили священника съ нею поговорить, и онъ ей опять сказалъ: «Пересаливаете! жестоко пересаливаете». А она ему шутитъ:

— «Это лучше; а если соль разсолится—это хуже. Тогда чѣмъ ее сдѣлать соленою?»

Но священникъ ей на этомъ хорошо осадилъ:

— «Тексты, говоритъ, барышня, мало знать,—надо знать больше. Разсаливается соль не наша, которую всѣ нынѣ употребляютъ, а слабая соль палестинская; а наша соль елтонка крѣпкая,—она не разсаливается. А вотъ у насъ есть о соли своя пословица: что «недосолъ на столѣ, а пересолъ на спинѣ». Это бы вамъ знать надобно. Недосоленное присолить можно, а за пересолъ наказываютъ».

Но она хоть бы что, весь страхъ потеряла.

Тогда я говорю ея матери:

— «Ее простой священникъ ничего и не можетъ пристрастить, это очевидно; на нее теперь надо ужъ что-нибудь выдающееся». И упоминаю про «здѣшняго».

А сестра ея Ефросинья и себя не слышитъ отъ радости, и много стала разсказывать, что въ здѣшнемъ мѣстѣ бываетъ.

— «Попробуемъ, — говорю, — обратимся, пригласимъ, кстати и для Николая Ивановича тоже вѣдь это очень хорошо, для его воздержанія».

Но Маргарита Михайловна какъ-то замялась и что-то, вижу, утаиваетъ и неправильно отвѣчаетъ:

— «Въ моемъ горѣ,—говоритъ,—съ нею никто не можетъ».

— «Отчего это не поможетъ?»

— «Оттого, что она вѣдь и сама все руководитъ себя по евангелію».

— «Полноте, пожалуйста,—говорю,—у васъ это въ душѣ отчаяніе, а отчаяніе—смертный грѣхъ. Другое дѣло, если вамъ жаль денегъ; такъ вѣдь ему нѣтъ положенія, сколько денегъ давать, а сколько дадите, да и то онъ себѣ вѣдь совершенно ничего не береть, даже ни малости, а все для добрыхъ дѣлъ,—такъ вѣдь Клавдія Родіоновна и сама добрыя дѣла обожаетъ».

— «Не о деньгахъ,—говоритъ,—а...»

— «Хлопоты что-ли?»

— «И не хлопоты, а какую же вѣру онъ у насъ встрѣтитъ?.. вотъ съ чѣмъ совѣстно: вѣдь не только Клавдинька, а и деверь Николай Ивановичъ—онъ въ церковь ктиторомъ только для ордена пошелъ, а о своемъ воздержаніи онъ молить и не захочетъ».

— «Да, голубчикъ мой, вѣдь на это же средство есть: мы ему вѣдь и не скажемъ, что о немъ молятся: мы дадимъ видъ, будто это для Клавдиньки».

— «А Клавдинька еще хуже обидится».

— «А мы и отъ нея скроемъ; ей мы скажемъ, что это для дяди».

— «Вотъ все, значитъ, такъ и начнется у насъ обманомъ, и будетъ ли это угодно?»

— «Что же такое? да, сначала будетъ будто немножко обманъ, а кончится все въ ихъ пользу».

Маргарита стала соглашаться, а я кую желѣзо пока горячо и предлагаю, что сама готова съѣздить и все въ здѣшнемъ мѣстѣ уладить.

— «Я, молъ, найду выдающихся лицъ, которыя все знаютъ, и съѣзжу, и приглашу, и въ каретѣ навстрѣчу ему выѣду. Вамъ только и хлопотъ, что мнѣ на расходъ выдать».

А она отвѣчаетъ:

— «Не о томъ рѣчь, а что если онъ дѣйствительно всѣ

принадлежности-то въ человѣкѣ насквозь видитъ, такъ я боюсь, и удивляюсь, какъ это вамъ не страшно. Или вы объ безгрѣшныя?»

И я, и сестра ея Ефросинья Михайловна стали ее успокоивать, что и мы не безгрѣшныя, но что этого не надо бояться, потому что онъ хоть на что ни прозритъ—все видитъ, но онъ все въ себѣ и задержитъ, а на весь свѣтъ не скажетъ. Да, наконецъ, и какіе же у васъ особенные грѣхи?

А она говоритъ:

— «Есть».

— «Что же это за грѣхъ?»

— «А я,—говоритъ,—и сама не знаю, а только всегда, когда что-нибудь противъ Клавди завожу, то это выходитъ дурно».

— «Ну, это искушеніе. А еще что-жъ?»

— «А еще вонъ деверь Николай Ивановичъ въ безбракѣ съ Крутильдой живетъ и для угожденія ей законнаго сына Петю отъ себя выгналъ. Я его жалѣю конфузить».

— «Матушка,—говорю,—да вѣдь это же онъ для женскаго угожденія! Вѣдь это же влюбленные мужчины и всѣ надъ дѣтьми своими подлости дѣлаютъ, — это такіе невыдающіеся пустяки!»

— «Нѣтъ, это,—говоритъ,—не пустяки, чтобъ свое дитя прогнать. Я постоянно того и гляжу, что у Клавдиньки съ дядею за его несправедливость съ Петей, можетъ самый горячій скандалъ выйти».

Я поняла, что она умомъ всюду вертится и боится того, чтобы не обнаружилось, что въ ея дорогой Клавдинькѣ заключается; но въ этотъ разъ я на своемъ не настояла: не поспѣлъ еще тогда часъ воли Божіей.

Заботилась она опять, чтобы Клавдію развлекать: пробовала опять брать ложи на «Губинотовъ» и Бурбо слушать, но изъ силъ съ нею выбилась и говоритъ мнѣ:

— «Милый другъ нашъ, Марья Мартыновна, мы тебя за

свою семьянку считаемъ и къ тебѣ прибѣгаючи: ты бы пустилась разъ подсмотрѣть, куда она ходитъ и кому свои деньги отдаетъ, и отчего удовольствій никакихъ не желаетъ».

Я говорю: «извольте, я для васъ готова».

И послѣ этого сразу же, какъ только Клавдинька со двора, и я сейчасъ за нею, какъ полицейскій аргентъ, и все издали. Она пѣшкомъ — и я пѣшкомъ, она на гонку—и я въ слѣдующемъ агонѣ, она на извозчика — и я тоже, но изъ глазъ ее не выпускаю. Разъ, два, три такимъ манеромъ за ней погонялась, и наконецъ выслѣдила, что чаще всего она проникаетъ въ бѣдный домикъ, и въ одну квартирку юркнула съ свертками. Я сейчасъ къ дворнику, дала ему на чай и стала разспрашивать: кто въ этой квартиркѣ живетъ?—Говоритъ: «одна бѣдственная старушка обитаетъ». Кто же къ ней ходитъ? — «Приходятъ, говоритъ, одна барышня, да племянникъ ейный». Молодой, спрашиваю, племянникъ? — «Молодой!» — И вмѣстѣ сходятся?—«Бываютъ и порознь, бываютъ и вмѣстѣ».

Поймала голубку!..

— Ее вы поймали, а меня не жмите; я вамъ сказала, что хоть вы и просвирковатая, а я вашей иголки боюсь,— отозвалась съ усиленной полусонной оттяжкой Аичка.

— Ахъ, ты, пріятненькая! дай мнѣ только хоть твое мармеладное плечико-то поцѣловать...

— Ни за что на свѣтѣ! мои плечи не для такихъ поцѣлуевъ созданы. Продолжайте разсказывать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Взворотилась я домой къ Степеневымъ и, какъ умѣла, все имъ передала.

— Ну, да ужъ я думаю, вы сумѣете!

— Конечно, сумѣла. Парень съ дѣвкою такой выдающейся у старухи сходятся,—что тутъ еще угадывать, чѣмъ они занимаются? Я, впрочемъ,—не думай,—я не матери,

а только теткѣ Ефросиньѣ Михайловнѣ сказала, а она вспомнила, что у нихъ мать была раскольница и хоть по поведенію своему была препочтенная, но во всѣхъ книгахъ у своего же дворника «дѣвкой» писалась, то ей и стало Клавдію жалко, и она дала мнѣ тридцать рублей и просила:

— «Молчи, другъ мой Мартыновна, никому объ этомъ грандеву не разсказывай: тайно бо содѣянное — тайно и судится. Ежели это уже сдѣлалось, то пусть погуляетъ, ея фигура миліатюрная, ничего незамѣтно будетъ, а мы тѣмъ часомъ ей жениха найдемъ. Тогда ужъ она не станетъ капризничать.

Стала тетка Ефросинья Михайловна ходить по свахамъ, Клавдинькѣ жениховъ выспрашивать, и успѣхъ былъ очень порядочный, даже, можно сказать, выдающійся; но она, вообрази себѣ, кто ни посватаетъ, обо всѣхъ одинъ отвѣтъ:

— «Я не знаю его образъ мыслей; нужно, чтобы мы были другъ другу по мыслямъ».

Вотъ вѣдь у нихъ—не то, чтобы какъ слѣдуетъ человѣкъ по своему роду или капиталу подходилъ, или по наружности личности нравился, а у нихъ чтобы себѣ по мыслямъ добирать!

А потомъ вдругъ сама объявляетъ, что ей по мыслямъ пришелъ Ферштетовъ родственникъ, докторъ.

Мать-то Маргарита—полная,—какъ услышала это, такъ и брякъ съ ногъ, сѣла на полъ.

Клавдинька ее поднимать, а она приказываетъ:

— «Оставь!.. Убивай меня здѣсь! Онъ изъ нѣмцевъ?»

— «Да, мама».

— «А какой онъ вѣры?»

— «Реформаторъ».

— «Что такое еще за реформаторъ, съ кѣмъ родниться приходится?»

Дядя же Николай Ивановичъ, былъ подвыпивши и говоритъ:

— «Реформаторы, это я знаю: это тѣ самые, которыхъ вѣшаютъ».

— «Господи!»

А Клавдинька обернулась на него въ полъ-оборота и говоритъ:

— «Перестаньте, дяденька, мою мать тревожить и себя стыдить. Реформатская церковь есть».

Николай Ивановичъ говоритъ:

— «А это другое дѣло, но постановъ вопроса такой: я, какъ выдающійся членъ въ домѣ и петріотъ, желаю, чтобы ты выходила за правильнаго человѣка настоящей православной вѣры».

А она отвѣчаетъ:

— «Ну, полно вамъ, дядя, что́ вы за богословъ! вы такъ говорите, а сами и никакого православія отличить не можете».

— «Нѣтъ, это ты лжешь! Я старостой былъ и своему батюшкѣ даже набрюшникъ выхлопоталъ».

Тогда Клавдюшенька ласково его потрепала и говоритъ:

— «Вотъ только-то всего вы и знаете, какъ набрюшники выхлопатывать. Встаньте-ка лучше съ этого табурета да подите велите себя обчистить, а то вы всѣ глиною замарались».

Николай Ивановичъ ушелъ и все покончилось, но на другой день опять приходитъ къ ней въ высшемъ градусѣ и видитъ кругомъ рожи съ рожками да съ козлиными ножками, и опять ей началъ говорить:

— «Когда это можно было ждать, чтобы дѣвушка, наслѣдница купеческаго рода, и этакое уродство лѣпила! На что они кому-нибудь, эти болвашки?»

А она нимало не злобится и говоритъ:

— «Вы мнѣ что-нибудь другое закажите, я вамъ по вашему заказу другое сработаю».

Дядя говоритъ:

— «Я согласенъ и могу тебѣ бюстру заказать, но только божественное».

— «Закажите».

— «Сдѣлай моего ангела Николу, какъ онъ Арія въ щеку бьетъ. Я приму и заплачу».

— «Лучше сдѣлайте, какъ онъ о бѣдныхъ хлопоталъ или осужденныхъ юношей отъ казни избавилъ».

— «Нѣтъ, этого я не могу. Я самъ бѣднымъ подаю и видѣлъ, какъ казнятъ... Это тоже необходимо надобно... ихъ священникъ провожаетъ... А ты представь мнѣ, какъ святитель посреди собора Арія по щекѣ хлопнулъ».

Сейчасъ и пошелъ у нихъ новый споръ, пошелъ и о казни, и о пощечинѣ, и Клавдинька въ концѣ говоритъ:— «Я этого не могу».

— «Почему? Развѣ тебѣ не все равно?»

— «Во-первыхъ, мнѣ это не равно, потому что хорошо то̀ работать, что̀ нравится, а мнѣ это не нравится; а во-вторыхъ, слава Богу, теперь извѣстно, что этой драки совсѣмъ и не было».

Николай Ивановичъ сначала удивился, а потомъ и сталъ кричать:

— «Не смѣй этого и говорить!.. Потому что это было, да, было! Онъ его при всѣхъ запалилъ».

А Клавдія говоритъ:—«Нѣтъ!»

Дядя говоритъ:—«Ты это только для того со мной споришь, чтобы мнѣ досадить, потому что я его уважаю».

А Клавдія отвѣчаетъ:

— «А мнѣ кажется, что я его уважаю больше, чѣмъ вы, и хочу, чтобы и вы то знали, за что его уважать должно».

И чтобы споръ порѣшить, Николай Ивановичъ вздумалъ ѣхать ко всенощной, а оттуда къ какому-то профессору спрашивать у него: было ли дѣйствіе съ Аріемъ? И поѣхалъ, а на другой день говоритъ:

— «Представьте, я вчера съ профессоромъ на блеярдѣ игралъ и сдѣлалъ ему постановъ вопроса объ Аріѣ, а онъ дѣйствительно подтверждаетъ, что наша ученая правду говоритъ — угодника на этомъ соборѣ дѣйствительно совсѣмъ не было. Мнѣ это большая непріятность, со мной черезъ это страшный переломъ религіи долженъ выйти, потому что я этотъ фактъ больше всего обожалъ, и вчера

какъ заспорилъ, то этому профессору даже блеярдный шаръ въ лобъ пустилъ; теперь или онъ на меня жалобу подастъ и я долженъ за свою вѣру въ тюрьмѣ сидѣть, или надо ѣхать къ нему прощады просить. Вотъ какая мнѣ катастрофа отъ Клавдіи сдѣлана!»

Сѣлъ и зарыдалъ.

Тутъ Ефросинья Михайловна за него вступилась и говоритъ сестрѣ:

— «Какъ ты себѣ хочешь, Маргаритенька, а что же это такое въ самомъ дѣлѣ, что отъ Клавдюши уже всѣ плачутъ; теперь и мнѣ въ твоемъ домѣ жутко, хоть со двора бѣги».

— Тогда и Маргарита согласилась и ко мнѣ обращается:

— «Съѣзди,—говоритъ,—пожалуйста, Мартыновна, и пригласи».

Я отвѣчаю:

— «И давно бы такъ: благо теперь такой выдающійся случай, что окончательно всѣ принадлежности можно спутать, такъ что изъ нихъ никто и не разберетъ, для кого это дѣлается: Николай Ивановичъ будетъ думать, что это для Клавдиньки, а Клавдинька пусть думаетъ, что для Николая Ивановича».

И Маргарита, и Ефросинья меня расцѣловали.

— «Ты,—говорятъ,—у насъ умница, прокатись, милая, и все какъ должно обдѣлай, чтобы мнѣ безъ хлопотъ, только деньги выдать».

— «Извольте, но только напишите привѣтственное письмо отъ себя и отъ Николая Ивановича, какъ отъ выдающагося члена фамиліи, чтобы мнѣ было съ чѣмъ пріѣхать приглашать. Безъ этого немыслимо».

Онѣ согласились; но только вышло затрудненіе, кто это письмо напишетъ, потому что старухи пишутъ куриляпкою и своего руки подчерка совѣстятся, а у меня *те*, *ши* и *ша*, *те* всегда въ одинъ видъ сливаются, и въ другой разъ смысла не выходитъ. Да и не знаемъ, какъ ему надо под-

писывать: просто его высокопреподобію, или высоко-оберъ-преподобію.

Вздумали: позовемъ Клавдиньку,—она больше всѣхъ катехизисъ учила и должна всѣ формы духовнаго обращенія знать.

Но только попросили Клавдиньку, чтобы пришла изъ своей комнаты письмо написать, съ нею сейчасъ опять сразу же непріятность готова: пришла, сѣла и перо въ руки взяла, а какъ только узнала, къ кому, — опять перо положила и руку вытерла и встала.

Мать спрашиваетъ, что̀ это значитъ, а она извиняется:

— «Я,—говоритъ,—мама, не знаю, какъ къ этимъ господамъ писать принято, а потомъ, мнѣ кажется, что если позволите сказать вамъ мое мнѣніе, то мнѣ кажется, зачѣмъ призывать лицо изъ такой отдаленности, а своихъ ближнихъ лицъ этого званія устранять. Вѣдь они всѣ одно и то же могутъ исполнить, зачѣмъ же обижать ближнихъ?»

Старуха и задумалась.

Ну, я вижу, что это пойдетъ опять множественный разговоръ въ неопредѣленномъ наклоненіи, и скорѣй перебила.

— «Оставьте,—говорю,—я слетаю въ мѣховой магазинъ на линію, тамъ всегда ажидацію сбиваютъ, и должны знать, какъ къ нему письма писать!»—и полетѣла.

Тамъ сразу написали, и я къ Николаю Ивановичу понеслась, чтобы онъ подписалъ.

— Вотъ хлопотунья вы!—протянула Аичка.

— Да, внутри себя съ иголкой... я ужъ всегда этакая развязная и живая. Но представь ты себѣ... я не знаю, ты вѣришь или не вѣришь въ искушенія?

— Какъ же, вѣрю, а въ другой разъ не вѣрю.

— Завсегда вѣрь; я всегда вѣрю, и они какъ нарочно бываютъ, когда человѣкъ къ вѣрѣ близится. Такъ и тутъ, вообрази, что̀ случилось!..

Николая Ивановича я въ ихъ магазинѣ не застала. При-

казчики говорятъ, что онъ опять въ угарѣ и пошелъ съ галантерейными голанцами въ «Паганистанъ» завтракать и шары катать. Я въ «Паганистанъ» и посылаю съ швейцаромъ письмо, чтобы Николай Ивановичъ подписалъ, а онъ уже всѣхъ голанцевъ разогналъ и одинъ сидитъ, черный кофе съ коньякомъ пьетъ и къ себѣ меня въ кабинетъ требуетъ. Я вхожу и вижу, что у него рожа бургонская, потому что онъ не только отъ вчерашняго еще не прохладился, а на старыя дрожжи еще много и новаго усердія подбавилъ. Сталъ читать и ничего уже не разбираетъ. Держитъ листокъ и самъ спрашиваетъ меня:

— «Про что это здѣсь настрочено это къ Корифеямъ посланіе,—я ничего не понимаю».

Я говорю:—«Это въ вашемъ же желаніи, о выдающемся благочестіи, чтобы Клавдинькѣ дать полезную назидацію».

А онъ отвѣчаетъ: — «По мнѣ теперь все равно; если Арію плюхи не дано, такъ не надо никому и назидаціи».

А я и ухватилась за это.

— «Вотъ,—говорю,—мы въ этомъ же и сдѣлали политическій компотъ, чтобы ее, нашу ученую, и упровергнемъ и покажемъ ей плюху во всю щеку румянца. Такъ и такъ: я вотъ кого на нее привезть хочу и только за вами дѣло стало, чтобы вы письмо подписали и встрѣтить поѣхали. Вамъ это не трудно будетъ надѣть на себя на одинъ часъ свои принадлежности».

— «Нѣтъ,—говоритъ,—теперь такой постановъ вопроса, что я въ выдающемся родѣ разстроенъ, у меня въ подземельномъ банкѣ самыя вредныя послѣдственныя дѣла вскрываются, и если еще узнаютъ ко всему этому, что я особенное благочестіе призываю, то непремѣнно подумаютъ, что я совсѣмъ прогорѣлъ, и это мнѣ всего хуже. А вашъ женскій политическій компотъ я и знать не хочу, а поѣду, все остальное промотаю и на сестру векселей напишу».

Я вижу, что онъ въ такомъ безразсудкѣ, и домой его зову, но онъ и слышать не хочетъ.

— «Да ты,—говоритъ,—что это... давно что ли на домашняго адвоката экзаменъ сдала? такъ я тебя сейчасъ же или по домашнему побью, или такой постановъ вопроса сдѣлаю, что позову изъ общей залы политическаго аргента и тебя за компотъ подъ надзоръ отдамъ. А если хочешь всего этого избавиться, то отправимся со мною вмѣстѣ, заѣдемъ въ родительный домъ».

— «Зачѣмъ,—говорю,—батюшка, зачѣмъ въ родительный домъ?»

— «Мы тамъ захватимъ съ собою одну знакомую дежурную акушерку, Марью Амуровну».

— «Да что ты, осатанѣлъ, что-ли! мнѣ не нужно дежурную акушерку».

Но онъ вѣдь такой неотстойчивый, что какъ прицѣпится, то точно піявокъ или банная листа. Къ чему онъ затѣялъ эту акушерку, и пошелъ ее выхвалять такъ, что я даже понять не могу, на какомъ она иждивеніи.

— «Марья Амуровна,—говоритъ,—въ акушеркахъ состоитъ только для принадлежности званія, а она живетъ въ свое удовольствіе: поѣдемъ съ ней въ отель Лангетеръ и будемъ безъ всего дурного антруи клюко пить, и она будетъ одна танцовать».

— «Такъ зачѣмъ же,—говорю,—антруи ѣхать? Я не хочу, вдвоемъ поѣзжайте».

— «Нѣтъ,—говоритъ,—теперь къ женскому полу кто вдвоемъ ѣздитъ—гоненіе; Марьѣ Амуровнѣ могутъ быть непріятности, а ты будешь при насъ въ родѣ родственной дамы за ширмой торчать. Я тебѣ за это на караганчатомъ мѣху тальму дамъ».

И какъ присталъ, какъ ущемилъ меня: ѣдемъ и ѣдемъ антруи, такъ и не отпалъ какъ піявокъ, и я должна была ѣхать, и все его безобразіе видѣла; до самаго утра они короводились, а я за ширмой спала, пока акушерка дальше и больше начала съ нимъ спорить, и онъ съ нею поссорился, и она одна уѣхала. Тогда я насилу могла уговорить

его выйти и въ карету сѣсть. Но и то дорогой все назадъ рвется,—говоритъ:

— «Мнѣ еще рано, вѣдь я полунощникъ».

Я говорю:—«Какая же теперь полнощь! Посмотри на часы-то на каланчѣ: вѣдь ужъ утро!»

А онъ отвѣчаетъ:—«Эти часы невѣрно стрѣлку показываютъ, а я по тому сужу, что фиміазмы слышу; это значитъ ночные фортепьянщики съ ящиками ѣдутъ,—стало быть до утра еще далеко».

И вдругъ ему показалось, будто ему въ «Лангетерѣ» чужую шляпу надѣли. Никакъ его не могу переспорить, что на немъ его собственная шляпа, которая и была.

— «Нѣтъ,—говоритъ,—я отлично помню, что у меня былъ надѣтъ круглый цимерманъ, а зачѣмъ теперь на мнѣ плоскій цилиндръ? Это, можетъ-быть, какой-нибудь вашъ политическій компотъ дѣйствуетъ, а съ меня такъ монументальную фотографію снимутъ и я потомъ долженъ буду за тебя или еще за какую-нибудь другую фибзу отвѣчать и послѣдую въ отдаленныя мѣста, даже и самимъ ангеламъ невѣдомыя... Нѣтъ, ты меня въ компотъ не запутаешь. Я тебѣ самъ политическій процессъ сдѣлаю и буду кричать:—Спаси, Господи...»

И началъ городового звать.

Чтобы его утихомирить, я уже и говорю ему:—«Чортъ съ тобою совсѣмъ, возвращайся въ «Лангетеръ», я на всѣ ваши виды согласна.

Онъ и успокоился.

— «Хорошо,—говоритъ,—вотъ это я люблю. Мы теперь и не будемъ возвращаться, а поѣдемъ съ тобою на танцовальный вечеръ. Этихъ хозяевъ осуждаютъ, для чего къ нимъ честныя дамы не ѣздятъ,—ну, вотъ я къ нимъ тебя и привезу вмѣсто честной дамы. Тамъ до поздняго утра безобразить можно... Но только смотри—дома объ этомъ типунъ... ни слова!»

— «Да ужъ, разумѣется, говорю, типунъ. Что мнѣ за

радость про свой срамъ-то разсказывать, куда ты меня, несчастную, возишь».

А онъ ласковый сдѣлался и говоритъ:

— «А ты, если хочешь покойна быть,—не думай ничего дурного: это мѣсто общественное, тутъ пальтошниковъ нѣтъ, а разная публика и при ней популярные совѣтники и интригантусы; мы здѣсь въ своей компаніи всю анкогниту видимъ и называемъ себя: «дружки». Три мускатера: Тупасъ, Тушасъ и Тулясъ, а я у нихъ командиръ. Тупасъ—это веселый голанецъ; а Тушасъ химикомъ съ завода считается, но онъ не химикъ, а вотъ именно самый популярный совѣтникъ, онъ присовѣтуетъ; а Тулясъ—интригантусъ, онъ всѣхъ и спутаетъ. Ему стоитъ чью-нибудь карточку показать—и все сдѣлаетъ, познакомится, спутаетъ и въ руки доставитъ».

— «Господи! да это насчетъ чего же?»

А онъ отвѣчаетъ:—«Насчетъ чего хочешь и не хочешь».

— «Жалованье большое вамъ идетъ?»

— Аргенту,—говоритъ,—и интригантусу идетъ, а я по своему благородному желанію изъ чести поступилъ, а теперь назадъ вонъ выйти уже невозможно.

Публика же въ этомъ ихъ обществѣ все оказались больше одни кукоты да кукотки, и кукоты всѣ неглиже какъ попало, а кукотки однѣ разодѣты въ шелковье, а нѣкоторыя скромно, будто въ траурѣ, и всѣ подходятъ къ Николаю Ивановичу, какъ знакомыя, и кричатъ: «Командиръ», «Командиръ», и меня нисколько не конфузятся, а руки подаютъ и зовутъ вѣжливо: «метеву-плясъ», то-есть значитъ: садитесь на мѣсто. А ему—вообрази, какъ только онъ увидалъ аргента и интригантуса,—опять постановъ вопроса о компотѣ въ голову лѣзетъ, и онъ мнѣ шепчетъ на ухо:

— «Ты, пожалуйста, пей и не отказывайся, а то у меня этотъ интригантусъ теперь передъ глазами вертится, и если я на тебя разсержусь, то я ему могу про компотъ разсказать, а онъ послѣ, пожалуй, и меня самого запутаетъ».

Я ни жива, ни мертва. Думаю: пьяный все сказать можетъ,—но пью по-неволѣ и не знаю, чѣмъ дѣло кончится. А компанія у нихъ ужаснѣйшая: голанецъ этотъ, какъ арбузъ комышенскій, а аргентъ и интригантусъ сами небольшіе, но съ страшными усами, а Николаю Ивановичу и всѣхъ еще мало и онъ набираетъ еще въ компанію кого попадя и мнѣ рекомендуетъ: «этотъ актеръ—я его, говоритъ, люблю: онъ въ томъ состарѣлся, что при столахъ всѣхъ смѣшитъ». И цѣлуетъ его: «Пей, мамочка!»—«Этотъ сочинитель: онъ мнѣ къ именинамъ нѣжную эпитафію напишетъ». «Этотъ—художникъ: онъ мнѣ планъ садовой керамиды Крутильдѣ на дачу сдѣлаетъ, а этотъ въ оперѣ генералъ-басъ, лучше Петрова пѣть можетъ»... А потомъ на минуту мужчинъ броситъ и къ траурнымъ кукоткамъ по-французски... да все плохо у него выходитъ,—все вставляетъ: «команъ-диръ», да «команъ-диръ», а тѣ ему—«трешепете», да «тре-журавле»,—и вѣерами его хлопаютъ, а онъ тыръ-тыръ-тыръ, и пермете муа сортиръ, и заикнется, и спятится. И опять скорѣй по-русски чего-нибудь требуетъ: все ему подавайте, что нужно и что никому не нужно, а французинки только «пасе», да «перепасе», не столько ѣдятъ, сколько ковыряютъ, а фиціанты все еще тащутъ и расковыренное назадъ уносятъ, а за буфетомъ втройнѣ счетъ приписываютъ, а онъ знай командуетъ: «клюко, корнишонъ, брадолѣсъ, цыгаръ такихъ, да цыгаръ этакихъ!» И все «пасе» да «перепасе», и отъ ѣды отпали, а только пьютъ, чокаются и заспорили про театральныхъ.

Актеръ сталъ генералъ-баса упровергать и говоритъ, что противъ Петрова ему никогда не спѣть, и такую Ругнѣду развели, что всѣ кукотки ушли, а маскатеры ужъ одинъ другого крошатъ какъ попало и все ни во что не считаютъ. Кто-то кричитъ уже, что про Петрова совсѣмъ и вспоминать не стоитъ. А другой перекрикиваетъ: «я Тумберлика всѣмъ предпочитаю». А третій: «я Кальцонари и Бозю слушалъ»... «А я помню еще какъ Бурбо выходила въ «Трубедурѣ», а Лавровская въ «Волшебномъ

Стрѣльцѣ». Тутъ кто-то про Лавровскую сказалъ: «А зачѣмъ она когда поетъ, то глазами моргаетъ?» А Николай Ивановичъ за нее заступился и закричалъ, что онъ всѣхъ выше одну Лавровскую обожаетъ, и сталъ ее представлять: заморгалъ вѣками и запѣлъ женскимъ голосомъ:

Мѣдный конь въ полѣ палъ!
Я пѣшкомъ прибѣжалъ!»

А одному военному это не понравилось и онъ говоритъ:

— «Лучше нашу кавказскую полковую»,—и завелъ:

«Въ долинѣ Драгестанна
Съ винцомъ въ груди
Заснулъ отрадно я».

А другіе раздѣлились и хватили подтягивать кто кому попало, и завели такую кутиню, что стало невозможности, и вдобавокъ вдругъ у Николая Ивановича съ оффиціантами возъярился споръ изъ-за цыгаръ и дѣло до страшнаго рубкопашнаго боя угрожается. Онъ спрашивалъ какое-то «Буэно-Густо», и палили, а когда ящикъ потребовалъ, то оказалась надпись «Гуэно-Бусто», или будь оно пусто, а Николай Ивановичъ взялъ всѣ цыгары разломалъ и расшвырялъ и ногами притопалъ. Это ужъ такой обыкновенный конецъ его поведенія, чтобы сдѣлать рубкопашную.

Тогда сейчасъ, чтобы этого не допустить, явился нѣмецъ или еврей изъ-за буфета и начинаетъ его стыдить по-французски, а онъ, когда до денегъ дошло, уже не хочетъ затруднять себя по-французски, а высунулъ впередъ кукишъ и по-нѣмецки спрашиваетъ:

— «Это хабензи гевидѣлъ?»

— «То-есть, значитъ, вы не хотите платить?»

— «Нѣтъ,—говоритъ:—подавай мнѣ счетъ!»

А когда подали счетъ, такъ онъ не принимаетъ: «Тутъ, говоритъ, все присчитано».

Провѣряетъ.—«Что это писано: «салатъ съ агмарами»—я это не требовалъ... «Огурцы капишоны»—не было ихъ».

Еврей ему ужъ по-русски говоритъ:

— «Помилуйте, какъ же не было! — Вѣдь этакъ можно сказать, что и ничего не было подано».

— «Нѣтъ,—говоритъ,—этакъ со мной не разговаривать! Я что̀ видѣлъ на столѣ, за то плачу. Вотъ я вижу, что на столѣ лежитъ рыба-фишъ и изволь бери за нее шишъ, я за нее плачу, а супъ братаньеръ здѣсь не былъ и ты его приписалъ, и я не плачу».

— «Да какой супъ братаньеръ?.. про него и не писано».

— «Ну, все равно, ты другое приписалъ».—И такъ заспорилъ — что̀ хочешь съ нимъ дѣлай, онъ ни гроша не платитъ.

Я говорю этому хозяину:

— «Сдѣлайте милость, теперь его оставьте... вѣдь это онъ только теперь этакъ... а завтра пришлите ему въ кладовую счетъ... онъ вообще господинъ очень хорошій».

А еврей отвѣчаетъ:

— «Мы знаемъ, что онъ вообще господинъ очень хорошій, но только зачѣмъ онъ такой дурной платитъ!»

Однако выпустили. Думаю, наконецъ, съ миромъ изыдемъ, анъ нѣтъ: въ швейцарской захотѣлъ-было что-то дать швейцару изъ мелочи и заспорилъ:

— «Не мои калоши,—говоритъ,—мнѣ подали: мои были на пятакахъ съ набалдашниками!»

Шумѣлъ, шумѣлъ и всю мелочь опять назадъ въ карманъ сунулъ и ничего не далъ, и уѣхалъ.

На воздухѣ дремать сталъ и въ просоньяхъ все крестится и твердитъ: «сан-петь, сан-петь».

Я его все потрогиваю—какъ бы онъ не умеръ—онъ и очнулся.

— «Я, говорю, испугалась, чтобы ты не умеръ».

— «И я,—говоритъ,—испугался: мнѣ показалось, что у меня тузъ и дама самъ-пикъ и король самъ-бубенъ»...

«Эге! думаю, батюшка: вонъ ты ужъ какъ залепеталъ!»

— «Высуньтесь,—говорю, вы, Николай Ивановичъ, въ окошко—вамъ свѣжесть воздуха пойдетъ».

Онъ высунулся и подышалъ, и говоритъ:

— «Да, теперь хорошо... теперь уже нѣтъ фиміазмы. Значитъ, всѣ фортепьянщики проѣхали... и вонъ мелочныя лавочки ужъ открываютъ. Утро, благослови, Господи! Теперь постановъ вопроса такой, что ты вылѣзай вонъ и ступай домой, а я одинъ за заставу въ простой трактиръ чай пить поѣду».

Я говорю:—«Отчего же не дома пить чай?»

— «Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,—отвѣчаетъ:—что ты за домашній адвокатъ, я за заставу хочу и буду тамъ ждать профессора: я съ нимъ теперь объ Аріи совсѣмъ другой постановъ вопроса сдѣлаю».

— «А какъ же,—говорю,—письмо подписать?

А онъ меня—къ чорту.

Я даже заплакала, потому что какъ же быть? Все, что я претерпѣла, значитъ, хинью пошло. Начинаю его упрашивать, даже руку поцѣловала, а онъ хоть бы что!

— «Не задерживай,—говоритъ,—вотъ тебѣ рубль, иди въ мелочную лавку, пускай за меня лавочникъ подпишетъ: они это дѣйствуютъ».—А самъ меня вонъ изъ кареты пихаетъ.

Я и высѣла и вошла въ лавочку. Лавочникъ крестится,—говоритъ: «первая покупательница, Господи благослови», а подписать за Николая Ивановича не согласился.—Говоритъ: «Конечно, это дѣло пустое, но мы нынѣче полиціи опасаемся, и даже чернилъ въ лавкѣ не держимъ». На мое счастье тутъ читальщикъ вбѣжалъ, покислѣе квасу захотѣлъ напиться, и онъ мнѣ совѣтъ далъ вскочить въ церковь къ вынимальщику, который просвиры подписываетъ. Тотъ, говоритъ, подпишетъ. Онъ и подписалъ, да на что-то, глупецъ, ненужныя слова прибавилъ: Николай Степеневъ *и всѣхъ сродниковъ ихъ*».

Я этого тогда, спасибо, и не досмотрѣла.

Довольно съ меня, намучилась, сунула письмо за лифъ и домой пришла и все поведенье его степенства сестрамъ разсказала, начиная съ Марьи Амуровны, но подъ клятвою, и говорю:

— «Теперь сами думайте, что̀ съ нимъ дѣлать».

Маргарита Михайловна, однако, еще и тутъ не рѣшалась,—все держалась наклоненія неопредѣленнаго, думала, что для нея довольно того будетъ, если она у него довѣренность назадъ отберетъ. «Но впрочемъ,—прибавила,—если Клавдинька не откажется отъ своей жизни и простоты и чтобы за реформатора замужъ идти, то я согласна: поѣзжайте и просите».

Позвали Клавдиньку.

— «Клавдія! можетъ-быть, ты ночью обдумалась и не будешь стоять на томъ, что тебѣ Ферштетовъ братъ по мыслямъ, тогда скажи, мы Марью Мартыновну и не пошлемъ».

А та со всегдашнею ловкостью отвѣчаетъ:

— «Нѣтъ, мамочка, я не могу это отдумать: онъ честный и добрый человѣкъ, и я его потому люблю, что могу съ нимъ согласно къ одной цѣли жизни идти».

— «Какая же это цѣль жизни вашей: чтобы не столько о себѣ, какъ о другихъ заботиться?»

— «Да, мама, чтобы заботиться не только о самихъ себѣ, но и о другихъ».

— «Это, значитъ, чужія крыши крыть».

Тогда Маргарита Михайловна обратилась ко мнѣ и говоритъ:

— «Въ такомъ разѣ, Марья Мартыновна, поѣзжайте».

Тутъ я въ первый разъ видѣла, какъ Клавдинька себѣ измѣнила.

Скрытница, скрытница, однако покраснѣла и твердо заговорила:

— «Мама! Если вы эту непонятную посылку дѣлаете для меня, то увѣряю васъ... это ни къ чему не поведетъ».

— «Ничего, ничего! Пусть это будетъ».

— «Да вѣдь, родная, изъ этого ровно ничего не выйдетъ!»

— «Ну, это мы еще увидимъ. У людей польза была, и намъ поможетъ. Поѣзжайте, Марья Мартыновна».

Клавдинька еще просить стала, чтобы оставить, но мать отвѣтила:

— «Наконецъ, что тебѣ за дѣло: я просто для себя желаю въ выдающемся родѣ молиться! Надѣюсь, я имѣю на это право?»

— «Ну, какъ вамъ угодно, мама!» — отвѣтила Клавдинька и ушла къ себѣ своихъ лѣсныхъ чертей лѣпить, а я отправилась творить волю пославшаго и думала все здѣсь просто обхлопотать, вотъ какъ и ты теперь смѣло надѣешься.

— Да вы про меня не безпокойтесь! — отозвалась Аичка.—Я смѣла и знаю, почему я могу быть смѣла: я капиталу не пожалѣю, такъ кого захочу, того къ себѣ, куда вздумаю, туда въ первомъ классѣ въ купэ и выпишу.

— Ну, я не знаю, сколько ты намѣрена не пожалѣть, но однако и съ капиталомъ иногда шишъ съѣшъ.

— Полноте, съ капиталомъ-то... всякому можно сказать: «хабензи гевидѣлъ».

— Нѣтъ, какъ ототрутъ, такъ и не «гевидишь».

— Какъ же это меня отъ собственнаго моего капитала ототрутъ?

— Да, да, да! такъ и я тогда поѣхала, такъ и мнѣ тогда все казалось очень легко.

— А отчего же тяжело-то сдѣлалось?

— Оттого, что ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ не можетъ себѣ всего представить, что̀ можетъ быть при большой ажидаціи.

— Да вы это не закидывайте, чтобы услугу свою выставлять, а разсказывайте: что же такое было съ вами самое выдающееся?

— «Хабензи» увидишь.

— Ну... послушайте... вы этакъ со мною не смѣйте... я это не люблю.

— А отчего же?

— А оттого же, что вы моихъ шутокъ не повторяйте,

а разсказывайте мнѣ: какъ вы сюда пріѣхали и что за этимъ начинается.

— Ну, начинаются басомпьеры.

— Вотъ и постойте: начинаются «басомпьеры» —что же это такое за басомпьеры?.. Вы, кажется, на меня дуетесь? такъ вы не дуйтесь и тоже и не говорите сердитымъ голосомъ: я вѣдь при своемъ капиталѣ ничего не боюсь, и я васъ не обидѣла, а баловать, кто у меня служитъ, я не люблю. Говорите же, что же это такое басомпьеры?

— Люди такъ называемые.

— Вотъ и разсказывайте.

Бѣдная Марья Мартыновна вздохнула и, затаивъ въ себѣ вздохъ на половину, продолжала повѣствованіе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

— Начались мои муки здѣсь,— заговорила снова Марья Мартыновна,—съ перваго же шага. Какъ я только высѣла и пошла,— сейчасъ мнѣ попался очень хорошій человѣкъ извозчикъ — такой смирный, но рѣчистый — очень хорошо говорилъ. И вотъ онъ видитъ, что мнѣ здѣсь мѣсто не знакомое, кланяется и говоритъ:

— «Пожелавъ вамъ всего хорошаго, осмѣлюсь спросить: вѣрно вамъ нужно къ пѣвцу или въ Ажидацію?»

Я даже не поняла и говорю:

— «Что такое за пѣвецъ, зачѣмъ мнѣ къ нему?»

— «Онъ,—говоритъ,—все аккордомъ дѣлаетъ».

И это мнѣ извозчикъ говорилъ очень полезное и хорошо, но я не поняла, что значитъ: «аккордъ», и отвѣчала:

— «Мнѣ нужно просто—гдѣ собирается ажидація».

Извозчикъ тихо говоритъ:

— «Просто ничего не выйдетъ, а пѣвецъ лучше вамъ устроитъ аккордъ, такъ какъ онъ его сопровождающій и всегда у него при локтѣ».

— «Ну,—я говорю,—вѣрно это какой-нибудь аферистъ, а я съ такими не желаю, и тебя слушать не намѣрена.

— «Ну, садитесь,—говоритъ,—я васъ за двугривенный свезу въ Ажидацію».

И привезъ меня сюда честно, но мнѣ и здѣсь какъ-то дико показалось. Внизу я тогда никого не застала, кромѣ мальчика, который съ конвертовъ марки склеиваетъ. Спросила его:

— «Здѣсь ли ожидаютъ?»

Онъ шопотомъ говоритъ: — «Здѣсь».

— «А гдѣ же старшіе?»

Не знаетъ. И все, о чемъ его ни спрошу, все онъ не знаетъ: видать—школеный, ни въ чемъ не проговорится.

— «А зачѣмъ,—говорю,—столько марокъ собираешь? Это знаешь ли?»

Это знаетъ.

— «За это,—отвѣчаетъ,—въ Ерусалимѣ бутыль масла и цибикъ чаю даютъ».

Умный, думаю, мальчишка,— какой хозяйственный, но все-таки, чѣмъ его дѣтскія рѣчи здѣсь слушать, пойду-ка я лучше въ храмъ, посмотрю, не тамъ ли сбиваютъ ажидацію, а кстати и боготворной иконѣ поклонюсь.

Около храма—вижу—кучка людей, должно быть тоже съ ажидаціей, а какіе-то люди еще все подходятъ къ нимъ и отходятъ, и шушукаются,— ни дать, ни взять, какъ пальтошники на панеляхъ. Я сразу ихъ такъ и приняла за пальтошниковъ и подумала, что, можетъ быть, и здѣсь съ прохожихъ монументальныя фотографіи снимаютъ, а послѣ узнала, что это они-то и есть здѣшней породы басомпьеры. И между ними одинъ ходитъ этакой аплетическаго сложенія, и у него страшно выдающійся бугровый носъ. Онъ подходитъ ко мнѣ и съ фономъ спрашиваетъ.

— «По чьей рекомендаціи и гдѣ пристали?»

Я говорю: — «Это что за спросъ! Тебѣ что за дѣло?»

А онъ отвѣчаетъ: — «Конечно, это наше дѣло; мы всѣ при немъ отъ Моисея Картоныча».

— «Брысь! Это еще кто такой Моисей Картонычъ и что онъ значитъ?»

— «Ага!—говоритъ,— а вамъ еще неизвѣстно, что̀ онъ значитъ! Такъ узнайте: онъ въ болотѣ на цаплиныхъ яйцахъ сидитъ—живыхъ журавлей выводитъ».

Я ему сказала, что мнѣ это не интересно, и спросила: не знаетъ ли онъ, гдѣ риндательша?

Онъ качнулъ головой на церковь.

— «А скоро ли, спрашиваю, кончатъ вечерню?»

— «У насъ ноньче не вечерня, а всенощная».

— «Не можетъ быть,— говорю,— завтра нѣтъ никакого выдающагося праздника».

— «Да, это у васъ нѣтъ, а у насъ есть».

— «Какой же у васъ праздникъ?»

— «А право,—говоритъ,—въ точности не знаю: или семь спящихъ дѣвъ, или теченіе головы Потоковы».

— «Ну,— говорю,— я вижу, что хотя вы и возлѣ святыни чего-то ожидаете, а сами мерзавцы».

— «Да, да,— отвѣчаетъ,— а вамъ, пожелавъ всего хорошаго, отходи, пока не выколочена».

Я больше и говорить не стала, вошла въ храмъ и отстояла службу, но и тутъ все замѣчаю, будто шепчутъ аргенты, — и напало на меня безпокойство, что непремѣнно какъ сунутся къ боготворной иконѣ, такъ у меня вытащатъ деньги. Вышла я и возвратилась сюда и помѣстилась вотъ точно такъ же здѣсь, только въ маленькой-премаленькой комнаткѣ, за два рубля, и увидала тутъ въ коридорѣ самыхъ разныхъ людей и стала слушать. Одинъ офицеръ изъ Ташкента пріѣхалъ и оттуда жену привезъ: такъ съ нею вѣдь какое невообразимое несчастіе сдѣлалось: они по страшной жарѣ въ тарантасѣ на верблюдѣ ѣхали, а верблюдъ идетъ неплавно, все дергаетъ, а она грудного ребенка кормила, и у нея отъ колтыханья въ грудяхъ изъ молока кумысъ свертѣлся!.. Ребенокъ отъ этого кумыса умеръ, а она не хотѣла его въ песокъ закопать и получила черезъ это родъ помѣшательства. И они вотъ эти-то желали, чтобы имъ завтра получить самое первое благословеніе и побольше денегъ. То-есть, разу-

мѣется, не сама сумасшедшая этого добивалась, а ея мужъ. Этакой, правду сказать, съ виду непріятный, и съ красными глазами, такъ около всѣхъ здѣшнихъ и юлитъ, чтобы ему устроили полученіе, и всѣхъ подговариваетъ: «Старайтесь, — что Богъ дастъ — все пополамъ». А его и слушать не хотятъ. Зачѣмъ дѣлить пополамъ, когда всякъ самъ себѣ все радъ получить! Ну, а я какъ денежнаго благословенія у него себѣ просить не намѣрена, то по самолюбію своему и загордячилась — думаю: что мнѣ такое?—мнѣ никто не нуженъ! Такъ все и надѣялась своимъ бабскимъ умомъ сама обхватить и достигнуть выдающейся цѣли своей ажидаціи: но въ комъ сила содержится и что есть самое выдающееся, того и не поняла.

— А что же здѣсь самое выдающееся?—полюбопытствовала Аичка.

— Вотъ отгадай.

— Я не люблю отгадывать: впрочемъ, вѣрно—благословеніе?

— То-то и есть: благословеніе, но какое? Всякій говоритъ «благословеніе», а что именно такое заключаетъ въ себѣ благословеніе, это не всякій понимаетъ. Ты вѣдь священную исторію, небось, учила?

— Учила, да ужъ все позабыла.

— Какъ это можно! все позабыть это немыслимо.

— Ну вотъ, а я забыла.

— Ну вспомни про Исава и Якова. Ихъ Богъ еще въ утробѣ не сравнилъ: одного возлюбилъ, а другого возненавидѣлъ.

Аичка разсмѣялась.

— Чего же ты, милушка, смѣешься?

— Да что вы какіе пустяки врете!

— Нѣтъ, извини, это не пустяки.

— Да какъ же, развѣ я не понимаю... въ утробѣ ребенокъ ничего не пьетъ и не ѣстъ, а только потѣетъ. Въ чемъ же тутъ причина, за что можно ихъ одного возлюбить, а одного возненавидѣть? Это только мать можетъ

ненавидѣть, которая стыдится тяжелой быть, а Богъ за что это?

— Ну, ужъ за что возненавидѣлъ Богъ—объ этомъ ты не у меня, а у духовныхъ спроси; но первое благословеніе всегда бываетъ самое выдающееся. Яковъ надѣлъ себѣ на руки овечьи паглинки и первое выдающееся благословеніе себѣ и сцапалъ, а Исаву осталось второе. Второе благословеніе—это уже не первое. Въ здѣшнемъ мѣстѣ ужъ замѣчено, что самое выдающееся—это то, гдѣ его раньше получать. Тамъ и исполненіе будетъ и въ деньгахъ, и отъ виѳліемціи, а что позже пойдетъ, то все будетъ слабѣе. «Сила его исходяще и совѣщающе».

— Вотъ это я помню, что объ этомъ я гдѣ-то учила,— вставила Аичка.

— Нѣтъ, а я хотя объ этомъ и не учила, а взяла да свою записку сверху другихъ и положила, но риндательша меня оттолкнула и говоритъ: «Пожалуйста здѣсь не распоряжайтесь». Однако онъ мое письмо прочиталъ и говоритъ:

— «Вы сами, или нѣтъ, Степенева?»

— «Никакъ нѣтъ,—говорю,—я простая женщина».

Онъ перебилъ:

— «Всѣ простые, но вѣдь есть еще Ступины—или Стукины».

— «Нѣтъ,—отвѣчаю,—я не отъ тѣхъ,—я отъ Степеневыхъ. Домъ выдающійся».

— «Кто у нихъ боленъ?»

— «Никто, — отвѣчаю, — не боленъ: всѣ, слава Богу, здоровы».

— «Такъ о чемъ же вы просите?»

Отвѣчаю:—«Я по ихъ порученію: просятъ васъ къ себѣ и желаютъ на добрыя дѣла пожертвовать».

— Хорошо, — говоритъ, — я послѣ завтра буду и ожидайте».

Я благословилась и съ первымъ отходомъ ѣду назадъ съ ажидаціей. И на душѣ у меня такая побѣдная ра-

дость, что никому я не кланялась и ничего не дала ни пѣвцу, ни сѣвцу, ни риндательшѣ, а все такъ хорошо и легко обдѣлала. Всѣмъ, кто вмѣстѣ со мною возвращается, я какъ сорока болтаю: вотъ послѣ-завтра онъ у насъ первыхъ будетъ, мнѣ велѣлъ себя ждать съ каретою. Разспрашиваютъ: какъ моя счастливая фамилія? А я по своей простотѣ ничего дурного не подозрѣваю и всѣмъ, какъ дура, откровенно говорю, что моя фамилія ничтожная, а счастливая фамилія — это выдающіеся купцы Степеневы. Тутъ еще споръ вышелъ изъ-за того, что это фамилія выдающаяся или не выдающаяся. Только одинъ поваръ вступился:

— «Я,— говоритъ,— знаю фруктовщиковъ Степеневыхъ, такъ тѣ выдающіеся: я черезъ нихъ у генерала мѣста лишился за то, что они мнѣ фальшивый сыръ подвернули».

А другіе пассажиры совсѣмъ будто никакихъ Степеневыхъ не знаютъ, а я имъ сдуру и пошла все расписывать,— совсѣмъ и въ понятіи не имѣю, что̀ изъ этого при человѣческой подлости можетъ выйти.

— А что же выйдетъ?—протянула Аичка.

— Ахъ, какой фортъ ангейль вышелъ! Вдругъ на меня напалъ ташкентскій офицеръ и началъ кричать: «Замолчите вы, пустозвонка! мнѣ васъ скверно слушать, вы меня раздражаете! Я этому человѣку въ его святость совсѣмъ не вѣрю: я вотъ къ нему со своею больною двѣнадцать рублей проѣздилъ, а онъ мнѣ всего десять рублей подалъ! Это подлость! Пьетъ изъ ушата, а цѣдитъ горсточкой; а его подлокотники въ трубы трубятъ и печатаютъ. Это базаръ!»

Всѣ отъ его крика даже присмирѣли, потому что видъ у него сдѣлался очень жадный: женѣ онъ швырнулъ два баранка, какъ собаченочкѣ, а самъ ходитъ и во всѣ стороны глаза мечетъ.

Люди тихо говорятъ:—«Не отвѣчайте ему,—это петріотъ механику строитъ».

Но одинъ лавочникъ его призналъ и пояснилъ:

— «Никакой онъ, — говоритъ, — не петріотъ, а просто мошенникъ, и которую онъ несчастную женщину при себѣ за жену возитъ—она ему вовсе не жена, а съ постоялаго двора дурочка».

И точно, только-что мы пріѣхали и стали выдѣзать, къ нему сейчасъ два городовыхъ подошли и повели его въ участокъ, потому что эту женщину родные разыскиваютъ.

Повздыхали всѣ: ахъ, ахъ, ахъ! Какая низость! Какой обманъ! И подивились, какъ онъ ничего этого не прозрѣлъ! А потомъ испугались. Да и гдѣ можно все это проникать въ такой сутолокѣ! И разсыпались всѣ по своимъ домамъ.

Пріѣзжаю и я прямо къ Маргаритѣ Михайловнѣ и говорю ей: «Креститесь и радуйтесь, Богъ милость послалъ. Послѣ-завтра на нашей улицѣ праздникъ будетъ и васъ счастье осѣнитъ: я согласіе получила и утромъ мнѣ надо ѣхать встрѣчать его на ажидаціи».

Всѣ тутъ обрадовались, и Маргарита Михайловна, и Ефросинья Михайловна, и начали меня разспрашивать: «узнала ли я, чѣмъ его принимать и просить». Я говорю: я все узнала, но не надо ничего особенно выдающагося, кромѣ чаю съ простой булкой и винограду; а если откушать согласится, то надо супъ съ потрохами.

— «А можетъ-быть, какого-нибудь вина превосходнаго?»

— «Вина,—говорю,—можно подать только превосходной мадеры, но самое главное вы сейчасъ разрѣшите, кто поѣдетъ его встрѣчать на ажидацію: вы ли сами, или я, или Николай Иванычъ, если онъ въ своей памяти. По моему, всѣхъ лучше Николай Иванычъ, такъ какъ онъ мужчина и членъ въ домѣ выдающійся. Только если онъ теперь опять не съ буланцемъ».

Рѣшили, что Николай Иванычъ и я вдвоемъ поѣдемъ. Какъ-нибудь ужъ его на этотъ часъ уберечь можно. Оттуда Николай Иванычъ пусть съ нимъ вмѣстѣ въ карету усядется, а я назадъ на пролеткахъ пріѣду.

На счастіе наше, Николай Иванычъ ввечеру явился въ раскаяніи и въ забытьи: идетъ и самъ впереди себя руками водитъ и бармутитъ:

— «Дорогу, дорогу... идетъ гласъ вышивающій... уготовьте путь ему въ пустынѣ... о Господи!»

Да и застрялъ въ углу, и началъ искать чего-то у себя по карманамъ.

Я подошла и говорю: — «Чего, опять вчерашняго дня, небось, ищете? Удаляйтесь скорѣй на покой».

А онъ отвѣчаетъ:

— «Подожди... тутъ у меня въ карманѣ очень важный сужектъ былъ, и теперь нѣтъ его».

— «Какой же сужектъ?»

— «Да вотъ Твердомасковъ мнѣ съ Крутильды пробный портретъ безбилье сдѣлалъ, и я его хотѣлъ сберечь, чтобъ никому не показать, да вотъ и потерялъ. Это мнѣ непріятно, что его могутъ разсматривать. Я поѣду его разыскивать».

— «Ну ужъ, — говорю, — это нѣтъ. Попалъ домой—теперь типунъ, больше не уѣдешь»,—и мы его на всѣ два дня заперли, чтобъ опомнился.

И спала я послѣ этого у себя ночь какъ въ раю, и все вокругъ меня летали безплотные ангелы,—ликовъ не видно, а этакъ все машутъ, все машутъ!

— Какіе же они сами?—полюбопытствовала Аичка.

— А вотъ похожи какъ пѣвчіе въ формѣ и въ такихъ же халатикахъ. А какъ сонъ прошелъ и начался другой день, то начались опять и новыя мученія. Съ самаго ранняго утра стали мы хлопотать, чтобы все къ завтрему приготовить. И все уже они безъ меня и ступить боятся: мы съ Ефросиньюшкой вдвоемъ и въ курятную потроха выбирать ходили, чтобы самые выдающіеся, и Николая Иваныча наблюдали, а на послѣ-завтра, когда встрѣчѣ быть, я сама до свѣта встала и побѣжала къ Мирону-кучеру, чтобы онъ закладывалъ карету какъ можно лучше.

А онъ у нихъ престрашный грубіянъ и искусный отвѣт-

чикъ, и ни за что не любитъ женщинъ слушаться. Что ему ни скажи, на все у него колкій отвѣтъ готовъ:

— «Я самъ все формально знаю».

Я ему говорю:

— «Теперь же, нынѣче ты не груби, а хорошенько закладывай, нынѣче случай выдающійся».

А онъ отвѣчаетъ:

— «Ничего не выдающее. Мнѣ все равно: заложу какъ слѣдно по формѣ, и кончено!»

Но еще больше я безпокоилась, чтобы безъ меня Клавдинька изъ дома не ушла или какую-нибудь другую свою трилюзію не исполнила, потому что всѣ мы знали, что она безвѣрная. Твержу Маргаритѣ Михайловнѣ:

— «Смотри, мать, чтобы она не выкинула чего-нибудь выдающагося».

Маргарита Михайловна сказала ей:

— «Ты же, Клавдюша, пожалуйста нынѣче куда-нибудь не уйди».

Она отвѣчаетъ:—«Полноте, мама, зачѣмъ же я буду уходить, если это вамъ непріятно».

— «Да вѣдь ты ни во что не вѣришь?»

— «Кто это вамъ, мамочка, такія нелѣпости наговорилъ, и зачѣмъ вы имъ вѣрите!»

А та обрадовалась.

— «Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, ты во что-нибудь вѣруешь?»

— «Конечно, мама, вѣрую».

— «Во что же ты вѣруешь?»

— «Что есть Богъ и что на землѣ жилъ Іисусъ Христосъ, и что должно жить такъ, какъ учитъ Его Евангеліе».

— «Ты это истинно вѣришь—не лжешь?»

— «Я никогда не лгу, мама».

— «А побожись!»

— «Я, мама, не божусь; Евангеліе вѣдь не позволяетъ божиться».

Я вмѣшалась и говорю:

— «Отчего же не побожиться для спокойствія матери?»

Она мнѣ ни слова; а та ее уже цѣлуетъ съ радости и твердитъ:

— «Она никогда не лжетъ, я ей и такъ вѣрю, а это вотъ вы всѣ хотите, чтобы я ей не вѣрила».

— «Что вы, что вы!—говорю я:—во что вы хотите, я во все вѣрю!»

А сама думаю: вотъ при немъ вся ея вѣра на повѣркѣ окажется. А теперь съ ней разводовъ разводить нечего, и я бросилась опять къ Мирону посмотрѣть, какъ онъ запрягаетъ, а онъ уже запрегъ и подаетъ, но самъ въ простомъ армякѣ.

Я зашумѣла:

— «Что же ты не надѣлъ армякъ съ выпухолью?»

А онъ отвѣчаетъ:

— «Садись, садись, не твое дѣло: выпухоль только зимой полагается».

Вижу его, что онъ злой-презлой.

Николай Иванычъ сѣлъ смирно со мною въ карету, а двѣ дамы дома остались, чтобы насъ встрѣтить, а между тѣмъ съ нами начались такія выдающіяся приключенія, что превзошли все; что было у Исава съ Яковомъ.

— Что же это случилось?—воскликнула Аичка.

— Отхватили у насъ самое выдающееся первое благословеніе.

— Какимъ же это манеромъ?

— А вотъ это и есть Моисей Картонычъ!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пріѣхали мы съ Николаемъ Иванычемъ въ каретѣ,—онъ со всѣми принадлежностями, съ ктиторской медалью на шеѣ и съ иностраннымъ орденомъ за шахово подношеніе, а я одѣта по обыкновенію, какъ слѣдуетъ, скромно, ничего выдающагося, но чисто и пристойно. А народу совокупилась непроходимая куча, и стоитъ нѣсколько каретъ съ

ажидаціей, и на простыхъ лошадяхъ, и на стриженыхъ,— на козлахъ брумы съ хлопальными арапниками и полицейскіе со всѣми въ рубкопашню бросаются—хотятъ всѣхъ по ранжиру ставить, но не могутъ.

Помощникъ пристава тутъ же, какъ встрепаный воробей, подпрыгиваетъ и уговариваетъ публику:

— «Господа! не безобразьте!... всѣ увидите. Для чего невоспитанность!»

Я думаю, вотъ этотъ образованный! и подхожу къ нему и прошу, чтобы велѣлъ нашу карету впереди другихъ поставить, потому что намъ назначена первая ажидація: но онъ хоть бы что́!.. на всѣ мои убѣдительныя слова и вниманія не обратилъ, а только все топорщится воробьемъ и твердитъ: «что̀ за изверги христіанства! что за свинская невоспитанность!» А я вдругъ замѣчаю, что здѣсь же въ толпучкѣ собрались всѣ мои третьёводнишніе знакомые, съ которыми я назадъ ѣхала, и особенно та благочестивая старушка, у которой весь домъ отъ виѳіемціи боленъ, и я ей все разсказывала.

— «Вотъ и вы,—говоритъ,—здѣсь?»

— «Какъ же, — отвѣчаю я, — здѣсь; къ намъ вѣдь къ первымъ обѣщано».

— «Вы вѣдь отъ Степеневыхъ, кажется?»

— «Да, отвѣчаю, — я отъ Степеневыхъ, — въ ихъ каретѣ, — Миронъ кучеръ».

— «Ахъ! — говоритъ, — Миронъ кучеръ...»

А тутъ весь народъ вдругъ вздрогнулъ и стали креститься, и ужъ какъ попрутъ, то ужъ никто другъ друга и жалѣть не сталъ, но всѣ какъ дикій табунъ толпучкою одинъ другого задавить хотятъ... Раздался такой стонъ и пискъ, что просто сказать, какъ будто бы всѣ люди озвѣрѣли и другъ друга задушить хотятъ!

Помощникъ ужъ не можетъ и кричать больше, а только стонетъ: «что за изверги христіанства! что за скоты безъ разума и безъ жалости!» А городовые пустились-было въ рубкопашную, но вдругъ протиснулись откуда-то эти та-

мошнія бургонскія рожи, — эти басомпьерь, — тѣ которые про спящихъ дѣвъ говорили,—и вразъ смяли всѣхъ, и городовыхъ, и ожидателей! Такъ и смяли! Обхватили его и прутъ прямо къ какимъ знаютъ каретамъ, и кричатъ: «сюда, сюда!» — и даже, я слышу, Степеневыхъ называютъ, а межъ тѣмъ въ чью-то не въ нашу карету его усадили и повезли.

— Я стала кричать:

— «Позвольте! вѣдь это немыслимо,—это... не отъ Степеневыхъ карета... у насъ Миронъ кучеръ называется!»

А межъ тѣмъ его обманомъ усадили въ другую карету, съ той самой старушкой, съ моей-то съ благочестивой попутчицей, у которой всѣ въ виѳлеемціи, и увели къ ней!

Аичка вмѣшалась и сказала:

— Что же—это такъ и слѣдовало.

— Почему?

— У нея больные, а у васъ нѣтъ.

Мартыновна не стала спорить и продолжала:

— Я къ помощнику, говорю:

— «Помилуйте, господинъ полковникъ, что же это за безпорядокъ!»

А онъ еще на меня:

— «Вамъ, — говоритъ, — еще что̀ такое сдѣлали? Язычница! вы больше всѣхъ лѣзли. Что вамъ на любимую мозоль, что-ли, кто наступилъ? Вотъ аптека, купите себѣ пластырю».

— «Не въ аптекѣ,—говорю,—дѣло, а въ томъ, что мнѣ была назначена первая ажидація, а ея нѣтъ».

— «Чего же вы ее не ухватили,—ажидацію-то?»

— «Я бы ухватила, а отъ полиціи порядка не было — вы видѣли, что мнѣ и подойти было немысли́мо, у меня выхватили...

— «Что у васъ выхватили?»

— «Отсунули меня...»

— «А у васъ ничего не украдено?»

—«Нѣтъ, не украдено, а сдѣланъ обманъ ажидаціи».

А онъ на это рукою махнулъ.—«Экая важность!—говоритъ: — это и часто бываетъ».

И больше никакого вниманія.

— «Ну, васъ,—говоритъ,—совсѣмъ, отстаньте».

Я къ Николаю Иванычу, который въ каретѣ усѣлся, и говорю ему:—«Что же здѣсь будемъ стоять, надо за ними рѣзво гнаться, и взять хоть со второй ажидаціи».

Онъ отвѣчаетъ, что ему «все равно», а Мирошка сейчасъ же спорить:

— «Гнаться,—говоритъ,—нельзя».

— «Да вѣдь вотъ еще ихъ видно на мосту. Поѣзжай за ними, и ты ихъ сейчасъ догонишь».

— «Мнѣ нельзя гнаться».

— «Отчего это нельзя? Ты вѣдь всегдашній грубецъ и искусный отвѣтчикъ».

— «То-то и есть, — говоритъ, — что я отвѣтчикъ: я и буду въ отвѣтѣ; ты будешь въ каретѣ сидѣть, а меня за это формально съ козелъ снимутъ да въ полиціи за клинъ посадятъ. Во всю мочь гнать не позволено».

— «Отчего же за ними вонъ въ чьей-то каретѣ какъ рѣзво ѣдутъ?»

— «Оттого, что тамъ лошади не такія».

— «Ну, а наши какія? Чѣмъ хуже?»

— «Не хуже, а тѣ—аглицкіе тарабахи, а наши—тамбовскіе ѳетюки: это разница!»

— «Да ужъ ты извѣстный отвѣтчикъ, на все отвѣтишь, а просто ихъ кучеръ лучше умѣетъ править».

— «Отчего же ему не умѣть править, когда ему ихъ экономка при всѣхъ здѣсь цѣлый флаконъ вишневой пунцовки дала выпить, а мнѣ дома даже поклеванникъ съ чаемъ не дали допить».

— «Ступай и ты такъ поспѣшно, какъ онъ, тогда и я тебѣ дома цѣльную бутылку пунцовки дамъ».

— «Ну,—говоритъ,—въ такомъ разѣ формально садись скорѣй».

Сѣла я опять въ карету и погнали. Мпронъ поспѣваетъ

куда они на тарабахахъ, туда и мы на своихъ ѳетюкахъ, не отстаемъ; но чуть я въ окно выгляну — все мнѣ кажется, будто всѣ кареты, которыя ѣдутъ—это все съ ажидаціей. Семь каретъ я насчитала, а въ восьмой увидала—двѣ дамы сидятъ, и закричала имъ:

— «Отстаньте, пожалуйста,—это моя ажидація!»

А Николай Ивановичъ вдругъ рванулъ меня сзади изо всей силы, чтобы я сѣла, и давленнымъ, злымъ голосомъ шипитъ:

— «Не смѣйте такъ орать! мнѣ стыдно!»

Я говорю:—«Помилуйте! какой съ безстыжей толпучкой стыдъ!»

А онъ отвѣчаетъ:

— «Это не толпучка, а моя знакомая блондинка; она мнѣ можетъ черезъ одно лицо самый непріятный постановъ вопроса сдѣлать».

И опять такъ меня рванулъ, что платье затрещало, и я его съ сердцовъ по рукѣ, а по дверцамъ локтемъ, да и вышибла стекло такъ, что оно зазвонило въ дребезги.

Къ намъ сейчасъ подскочилъ городовой и говоритъ:

— «Позвольте узнать, что за насиліе? О чемъ эта дама шумятъ?»

Николай Иванычъ, спасибо, ловко нашелся:

— «Оставь,—говоритъ,—насъ,—эта дама не въ своемъ умѣ, я ее везу въ сумасшедшій домъ на свидѣтельство».

Городовой говоритъ:—«Въ такомъ разѣ прослѣдуйте!»

Опять погнались, но тутъ какъ разъ вповперекъ погребальный процессъ: какъ на зло какого-то полкового мертвеца съ парадомъ хоронить везутъ, — духовенство много выступаетъ — всѣ по парамъ другъ за другомъ въ линію, архирей позади, а потомъ гробъ везутъ; солдаты протяжно тащатся и двѣ пушки всѣмъ вслѣдъ волокутъ, точно всей публикѣ хотятъ разстрѣлъ сдѣлать, а потомъ ужъ каретъ и конца нѣтъ, и по большей части всѣ пустыя. Ну, пока все это передъ своими глазами пропустили, онъ, конечно, уѣхалъ и тарабахи скрылись.

Поѣхали опять, да не знаемъ, куда ѣхать; но тутъ, спасибо, откуда-то взялся человѣкъ и говоритъ:

— «Прикажите мнѣ въ кучеромъ на козлы сѣсть — я сопослѣдователь и знаю, гдѣ первая ажидація».

Дали ему рубль, онъ сѣлъ и поѣхалъ, но куда ѣдемъ— опять не понимаю. Степеневыхъ домъ въ Ямской слободѣ, а мы пріѣхали на хлѣбную пристань, и тутъ дѣйствительно оказалась толпучка народу, собралась и стоитъ на ажидаціи... Смотрѣть даже ужасти, сколько людей! А самого-то его уже и не видать, какъ высѣлъ,— и говорятъ, что насилу въ домъ проводили отъ ожидателей. Теперь за нимъ и двери заключили, и два городовыхъ не пущаютъ, а которые загрубятъ, тѣхъ пожмутъ и отводятъ.

Но однако, впрочемъ, всѣ ожидатели ведутъ себя хохошо, ждутъ и о разныхъ его чудесахъ разговариваютъ,— гдѣ что имъ сдѣлано, а все больше о выигрышахъ и о виѳліемціи, а у меня мой сударь Николай Иванычъ вдругъ взбеленился.

— «Что мнѣ, говоритъ, тутъ съ вами, ханжами стоять! У меня виѳліемціи нѣтъ, а еще, пожалуй, опять за банкрута сочтутъ!.. Я не хочу больше здѣсь съ вами тереться и ждать. Оставайся здѣсь и жди съ каретою, а я лучше хоть на простой конкѣ на волю уѣду».

Я уговариваю:—«У Бога,—говорю,—всѣ равны. Вѣдь эта ажидація для Бога. Если хотите что-либо выдающееся сподобиться, то надо терпѣливо ждать».

Кое-какъ онъ насилу согласился одинъ часъ подождать и на часы отмѣтилъ.

Часъ этотъ, который мы тутъ проманежились, я весь языкъ свой отбила, чтобы Николая Иваныча уговаривать, и за этими разговорами не замѣтила, что уже сдѣлался выходъ изъ подъѣзда, и его опять въ ту же самую секунду въ другую карету запихнули и помчали на другую ажидацію. Боже мой! второе такое коварство! Какъ это снесть! Мы опять за ними слѣдомъ, и опять намъ въ тре-

тій разъ та же самая удача, потому что Николай Иванычъ съ орденами и со всѣми своими принадлежностями нейдетъ на видъ, а прячется, а меня въ моемъ простомъ видѣ всѣ прочь оттираютъ.

А въ концѣ концовъ Николай Иванычъ говоритъ:

—«Ну, ужъ теперь типунъ! я не намѣренъ больше позади всѣхъ въ свитѣ слѣдовать. Ты сиди здѣсь и ѣзди, а я не хочу».

И съ этимъ всѣ свои принадлежности снимаетъ и въ карманъ прячетъ.

Я говорю:—«Помилуйте, какъ же я одна останусь?!. это немыслимо...»

А онъ вдругъ дерзкій сталъ и отвѣчаетъ:—«А вотъ ты и размышляй о томъ, что мыслимо, а что немыслимо, а я въ трактирѣ хоть водки выпью и закушу миногой».

—«Такъ вотъ,—говорю,—и подождите же, Богу помолитесь на тощакъ, а тогда кушайте; тамъ все уже приготовлено, не только миноги, а и всякая рыба, и потроха выдающіеся, и прочія принадлежности».

Онъ меня даже къ чорту послалъ.

— «Очень мнѣ нужно!—говоритъ.—Не видалъ я, поди, твои потроха выдающіеся!»—и вмѣсто того, чтобы забѣжать въ трактиръ, сѣлъ на извозчика да и совсѣмъ уѣхалъ.

Тутъ я даже заплакала. Много я въ моей жизни низостей отъ людей видѣла, но этакой выдающейся подлости, чтобы такъ и силомъ оттирать, и обманно чужимъ именемъ къ себѣ завлекать и запихнувши въ карету увозить—этого я еще и не воображала.

Въ отчаяніи разсказала это другимъ, какъ это сдѣлано, а другіе и не удивляются, говорятъ: «вы не огорчайтесь, это съ нимъ такъ часто дѣлаютъ».

А какъ только онъ вышелъ, такъ смотрю—эти же самые, которые такъ хорошо говорили, сами же въ моихъ глазахъ какъ тигры рванулись и въ четвертый разъ подхватили его, запихнули въ карету и повезли.

Я просто залилась слезами и кричу Мирошкѣ:

—«Миронъ, батюшка, да имѣй же хоть ты Бога въ сердцѣ своемъ, бей ты своихъ ѳетюковъ безъ жалости, чтобы мнѣ хоть на пятую ажидацію шибче всѣхъ подскочить, и не давай другимъ ходу! Я тебѣ двѣ пунцовки дамъ».

Миронъ отвѣчаетъ:—«Хорошо! формально дамъ ходу!» И такъ нахлесталъ ѳетюковъ во всю силу, что они понеслись шибче тарабаховъ, и въ одномъ мѣстѣ старушонку съ ногъ сшибли, да скорѣй въ сторону, да боковымъ переулкомъ—опять догнали, и какъ передняя карета стала подворачивать, Миронъ ей на-перерѣзъ и что-то вразъ имъ и обломалъ... Такъ зацѣпилъ, что чужая карета на бокъ, а наша только завизжала.

Кучера стали ругаться.

Городовые нашихъ лошадей сгребли подъ уздицы и Мироновъ адресъ стали записывать.

А онъ ужъ опять выходитъ, но тутъ я скорѣй дверцы настежь и прямо къ нему:

—«Такъ и такъ,—говорю,—что же вы изволили намъ обѣщать къ купцамъ Степеневымъ... Они люди выдающіеся и съ самаго утра у нихъ всеобщая ажидація».

А онъ на меня смотритъ, какъ голубокъ въ усталости или въ большомъ изумленіи, и говоритъ:

— «Ну, такъ что-жъ такое? Вѣдь я уже сегодня у Степеневыхъ былъ».

— «Когда же?—говорю.—Помилуйте! Нѣтъ, вы еще не были».

Онъ вынулъ книжку, поглядѣлъ и удостовѣряется:

— «Степеневы?»

— «Да-съ».

— «Купцы?»

— «Выдающіеся купцы».

— «Да, вотъ они... выдающіеся... Они у меня и зачеркнуты... Въ книжечкѣ ихъ имя зачеркнуто. Значитъ, я у Степеневыхъ былъ».

— «Нѣтъ,—говорю,—помилуйте. Это немыслимо. Я отъ васъ ни на минуту не отстаю съ самаго утра».

— «Да я у самыхъ первыхъ у Степеневыхъ былъ. И семейство помню: старушка такая въ темномъ платочкѣ меня къ нимъ возила».

Я догадалась, кто эта старушка! Это та, передъ которой я о выдающейся фамиліи Степеневыхъ говорила.

— «Это,—говорю,—обманъ подведенъ; она не отъ Степеневыхъ, Степеневы совсѣмъ не тамъ и живутъ, гдѣ вы были».

Онъ только плечомъ воздвигнулъ и говоритъ:

— «Ну, что-жъ теперь дѣлать! Теперь еще подождите; я здѣсь справлюсь и съ вами поѣду».

Я опять осталась ждать на шестую ажидацію, и тутъ я только поняла, какіе бываютъ на свѣтѣ народы, какъ эти басомпьеры! Ихъ совокупившись цѣлая артель и со старостой, который надо мною про семь спящихъ дѣвъ-то ухмылялся—это онъ и есть, аплетическаго сложенія, съ выдающимся носомъ. Бродяжки они, гольтепа, работать не охотники, и нашли такое занятіе, что подсматриваютъ... и вдругъ скучатся толпучкой и никому сквозь ихъ не пролѣзть... Если имъ дашь, они къ той каретѣ такъ его и насунутъ, а не дашь—станутъ отодвигать... и...

— Типунъ!—пошутила Аичка.

— Типунъ. Мнѣ уже послѣ старушка одна разсказала: «Полно тебѣ, — говоритъ, — дурочкой-то во слѣдъ ѣздить. Неужли не видишь—въ комъ сила! Подзови мужчину въ зеленой чуйкѣ да дай ему за труды—онъ его къ тебѣ вразъ натиснетъ. Они вѣдь съ этого только кормятся».

Я подманила этого промыслителя и дала ему гривенникъ, но онъ малый смирный—недоволенъ моей гривной, а проситъ рубль. Дала рубль—онъ къ нашей каретѣ ходъ и открылъ, понапёръ, понапёръ и впихнулъ его въ самыя дверцы и крикнулъ:

— «Съ Богомъ!»

Получила и возу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я было-хотѣла отдѣльно отъ него ѣхать, какъ недостойная, но онъ, препростой такой, самъ пригласилъ:

— «Садитесь, говоритъ, вмѣстѣ, ничего».

Простой-препростой, а лицо выдающееся.

Слушательница Марьи Мартыновны перебила ее и спросила:

— Чѣмъ же его лицо выдающееся?

И мнѣ, признаться, очень любопытно было это услышать, но разсказчица уклонилась отъ отвѣта и сказала:

— Вотъ завтра сама увидишь, — и затѣмъ продолжала: —Я сѣла на переднемъ сидѣньѣ и смотрю на него. Вижу, усталъ совершенно. Зѣваетъ голубчикъ и все изъ кармана письма достаетъ. Много, премного у него въ карманѣ писемъ, и онъ ихъ все вынимаетъ и раскладываетъ себѣ на колѣни, а деньги сомнетъ этакъ, какъ видно, что онѣ ему ничего не стоющія, и равнодушно въ карманъ спущаетъ и не считаетъ, потому что онъ вѣдь изъ нихъ ничего себѣ не беретъ.

— Почемъ вы это знаете?—протянула Аичка.

— Ахъ, мой другъ, да въ этомъ даже и сомнѣваться грѣшно, за это и Богъ накажетъ.

— Я и не сомнѣваюсь, а только любопытствую—у него, говорятъ, крали—кто-жъ это знаетъ?

— Не думаю... не слышала.

— А я слышала.

— Что же—онъ, вѣрно, свои доложилъ.

— То-то.

— Да вѣдь это видно. Его и занимаетъ... Распечатаетъ, прочитаетъ, а деньги въ карманъ опуститъ и крандашемъ отмѣтитъ, и опять новое письмо распечатаетъ, а между тѣмъ и шутитъ препросто.

— О чемъ же, напримѣръ, шутитъ?

— Да вотъ, напримѣръ, спрашиваетъ меня: — «Что же

это значитъ? я у Степеневыхъ, значитъ, еще не былъ?»

— «Навѣрно,—говорю,—не были».

Онъ головой покачалъ, улыбнулся и смѣется:

— «А можетъ быть, вы меня туда во второй разъ везете?»

— «Помилуйте,—говорю:—это немыслимо».

— «Съ вами,—отвѣчаетъ,—все мыслимо».

Потомъ опять читалъ, читалъ и опять говоритъ:

— «А у кого же это однако, я былъ вмѣсто Степеневыхъ? Вотъ я теперь черезъ это замѣшательство не знаю, кого мнѣ теперь въ своей книжкѣ и вычеркнуть».

Я понимаю, что ему досадно, но не знаю, что̀ и сказать.

Аичка перебила:

— Какъ же онъ такой святой, а ничего не видитъ, что̀ съ нимъ дѣлаютъ!

— Ну, видишь, онъ полагалъ такъ, что Степеневы—это тѣ первые, у которыхъ онъ былъ по обману, и они его о сынѣ просили, что сынъ у нихъ ужасный грубіянъ — познакомился съ легкомысленною женщиной и жениться хочетъ, а о другихъ невѣстахъ хорошаго рода и слышать не хочетъ.

— Отчего же такъ?—спросила Аичка.

— Долгъ, видишь, обязанность чувствуетъ воздержать ее въ степенной жизни.

— Просто, небось, въ красоту влюбился.

— Разумѣется... Что-нибудь выдающееся... Но я опять къ своему обороту; говорю, что у настоящихъ Степеневыхъ сына выдающагося нѣтъ...

— «А невыдающійся что же такое дѣлаетъ?»

Я отвѣчаю, что у нихъ и невыдающагося тоже нѣтъ.

— «Значитъ, совсѣмъ нѣтъ сына?»

— «Совсѣмъ нѣтъ».

— «Такъ зачѣмъ же вы путаете: «выдающагося», «невыдающагося?»

— «Это, извините, у меня такая поговорка. А у Степеневыхъ не сынъ, а дочь, и вотъ съ ней горе».

Онъ головой, уставши, покачалъ и спросилъ:

— «А какое горе?»

— «А такое горе, что она всему капиталу наслѣдница, и молодая, и очень красивая, но ни за что какъ слѣдуетъ жить не хочетъ».

Онъ вдругъ вслушался и что-то вспомнилъ:

— «Степеневы, говоритъ... Позвольте, вѣдь это именно ихъ братъ Ступинъ?»

Я не поняла, и онъ затруднился.

— «Вѣдь мы это теперь къ Ступинымъ?»

— «Нѣтъ, къ Степеневымъ: Ступины — это особливые, а Степеневы—особливые; вотъ ихъ и домъ и на воротахъ сигналъ: «купцовъ Степеневыхъ».

Онъ остро посмотрѣлъ, какъ будто отъ забытья прокинулся и спрашиваетъ:

— «Для чего сигналъ?»

— «Надпись, чей домъ обозначено».

— Ахъ, да, вижу, надпись.

И вдругъ всѣ остальные не распечатанные конверты собралъ и въ нутреной карманъ сунулъ и сталъ выходить у подъѣзда.

А народу на ажидацію у нашего подъѣзда собралось видимо и невидимо. Всю улицу запрудили толпучкой и еще за нами слѣдомъ четыре кареты подъѣхали съ ажидаціей.

Мы за нимъ двери въ подъѣздѣ сильно захлопнули, и тутъ случилась большая досада; одной офицершѣ, которая въ домъ насильно пролѣзть хотѣла, молодецъ два пальца на рукѣ такъ прищемилъ, что съ ней даже сдѣлалось въ родѣ обморока.

А только-что это уладили, полицейскій звонится, чтобы Мирона за задавленіе старухи и за полòмъ чужого экипажа въ участокъ брать протоколъ писать. Мы скорѣй спрятали Мирона въ буфетную комнату и я ему свое обѣщанье — пунцовку — дала, а внутри въ домѣ ожидало еще больше выдающееся.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Онъ вошелъ, разумѣется, чудесно, какъ честь честью, и сказалъ: «миръ всѣмъ», и всѣхъ благословилъ, и хозяйку Маргариту Михайловну, и сестру ея Ефросинью Михайловну, и слугъ старшихъ, а какъ коснулось до Николая Иваныча, то оказывается, что его, милостивѣйшаго государя, и дома нѣтъ. Тогда маменька съ тетенькой бросились къ Клавдичкѣ, а Клавдичка хоть и дома, но, изволите видѣть, къ службѣ выходить не намѣрена.

Онъ спрашиваетъ:—«Дочка ваша гдѣ?»

А бѣдная Маргарита Михайловна, вся въ стыдѣ, отвѣчаетъ:

— «Она дома, она сейчасъ!»

А чего «сейчасъ», когда та и не думаетъ выходить!

Раньше этого была съ матерью ласкова и обнимала ее и ни слова не сказала, что не выйдетъ, а тутъ, когда мы уже пріѣхали и мать къ ней внѣ себя вскочила и стала говорить:

— «Ѣдетъ, ѣдетъ!»

Клавдичка ей преспокойно отвѣчаетъ:

— «Ну, вотъ, мама, и прекрасно; я за васъ теперь рада, что вамъ удовольствіе».

— «Такъ выди же его встрѣчать и подойди къ нему!»

Но она тихую улыбку сдѣлала, а этого исполнить не захотѣла.

Мать говоритъ:—«Значитъ, ты хочешь сдѣлать мнѣ непріятность?»

— «Вовсе нѣтъ, мама, я очень рада за васъ, что вы хотѣли его видѣть, и это ваше удовольствіе исполняется».

— «А тебѣ, стало быть, это не удовольствіе?»

— «Мнѣ, мамочка, все равно».

— «А какъ же ты говорила, что и ты въ Бога вѣришь?»

— «Конечно, мама, вѣрю, и мнѣ кромѣ Его никого и не надобно».

— «А исполнять по вѣрѣ, стало быть, тебѣ ничего и не надобно?»

— «Я, мамочка, исполняю».

— «Что же ты исполняешь?»

— «Всѣмъ повелѣнное: ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ лица и никому зла не дѣлать».

— «Ахъ, вотъ въ чемъ теперь твоя вѣра? Такъ знай же, что ты мнѣ большое зло дѣлаешь».

— «Какое?.. Что вы, мама!.. Ну, простите меня».

— «Нѣтъ, нѣтъ! Ты меня срамишь на весь нашъ родъ и на весь городъ. Въ малярихи или въ прачки ты, что-ли, себя готовишь? Что ты это на себя напустила?»

А та стоитъ да глинку мнетъ.

— «Брось сейчасъ твое лѣпленье!»

— «Да зачѣмъ это вамъ, мама?»

— «Брось! сейчасъ брось! и сними свой фартукъ и выйди со мною, а то я съ тебя насильно фартукъ сорву и всю твою эту глиномятную антиллерію на полъ сброшу и ногами растопчу!»

— «Мамочка, — отвѣчаетъ, — все, что̀ вамъ угодно, но выходить я не могу».

— «Отчего?»

— «Оттого, что я почитаю, что все это не слѣдуетъ».

Тутъ мать уже не выдержала и—чего у нихъ никогда не было—браннымъ словомъ ее назвала:

— «Сволочь!.. гадина!»

А дочь ей съ ласковымъ укоромъ отвѣчаетъ:

— «Мамочка! мама!.. вы послѣ жалѣть будете».

— «Выходи сейчасъ!»

— «Не могу».

— «Не можешь?»

— «Не могу, мама».

А та—хлопъ ея фигуру на полъ и начала ее каблуками топтать. А какъ дочь ее захотѣла-было обнять и успокоить, то Маргарита-то Михайловна до того вспылила, что прямо ее въ лицо и ударила.

— Эту статую?—спросила Аичка.

— Нѣтъ, другъ мой, саму Клавдиньку. «Не превозносись!» Клавдинька-то такъ и ахнула и обѣими руками за свое лицо схватилась и зашаталась.

— За руки бы ее!—замѣтила Аичка.

— Нѣтъ, она этого не сдѣлала, а стала просить только:

— «Мамочка! пожалѣйте себя! Это ужасно, вѣдь вы женщина! Вы никогда еще такой не были».

А Маргарита Михайловна задыхается и говоритъ:

— «Да, я никогда такой не была, а теперь вышла. Это ты меня довела... до этого. И съ этой поры... ты мнѣ не дочь: я тебя проклинаю и въ комиссію прошеніе пошлю, чтобы тебя въ неисправимое заведеніе отдать».

И вотъ въ этакомъ-то положеніи, въ такомъ-то разстройствѣ, сейчасъ послѣ такого представленія — къ нему на встрѣчу!.. и можешь ли ты себѣ это вообразить, какое выдающееся стенаніе!

Онъ, кажется, ничего не замѣтилъ, что къ нему не всѣ вышли, и сталъ передъ образами молебенъ читать, — онъ вѣдь не поетъ, а все отъ себя прочитываетъ,—но мы никто и не молимся, а только переглядываемся. Мать взглянетъ на сестру и видъ даетъ, чтобы та еще пошла и Клавдиньку вывела, а Ефросинья сходитъ да обратный видъ подаетъ, что «не идетъ».

И во второй разъ Ефросинья Михайловна пошла, а мать опять все за ней на дверь смотритъ. И во второй разъ дверь отворяется, и опять Ефросинья Михайловна входитъ одна и опять подаетъ мину, что «не идетъ».

А мать мину дѣлаетъ: отчего?

Маргарита Михайловна мнѣ мину даетъ: иди, дескать, ты уговори.

Я—мину, что это немыслимо!

А она глазами: «пожалуйста», и на свое платье показываетъ: «дескать, платье подарю».

Я пошла.

Вхожу, а Клавдинька собираетъ глиняные оскребки своего статуя, котораго мать сшибла.

Я говорю:—«Клавдія Родіоновна, бросьте свои трелюзіи—утѣшьте мамашу-то, выйдите пожалуйста».

А она мнѣ это же мое послѣднее слово и отвѣчаетъ:

— «Выйдите пожалуйста!»

Я говорю:—«Жестокое въ васъ сердце какое! Чужихъ вамъ жаль, а мать ничего не стóитъ утѣшить, и вы не можете. Вѣдь это же можно сдѣлать и безъ всякой безъ вѣры».

— Разумѣется,—поддержала Аичка.

— Ну, кончено! Господи, вѣдь не во все же вѣришь, о чемъ утверждаютъ духовные, но не препятствуешь имъ, чтобы другіе имъ вѣрили.

Но только-что я ей эту назидацію провела, она мнѣ повелѣваетъ: «Выйдите!»—А за что? — «За то, говоритъ, что вы—воплощенная ложь и учите меня лгать и притворяться. Я не могу васъ выносить: вы мнѣ гадкое говорите.»

Я вернулась и какъ только начала объяснять миною все, что́ было, то и не замѣтила, что онъ уже читать пересталъ и подошелъ къ жардинверкѣ, сломалъ съ одного цвѣтка вѣточку и этой вѣточкой сталъ водой брызгать. И самъ всѣхъ благодаритъ и поздравляетъ, а ничего не поетъ. Все у него какъ-то особенно выдающееся.

— «Благодарю васъ,—говоритъ, — что вы со мной помолились. Но гдѣ же ваши прочіе семейные?»

Вотъ и опять лгать надо: о Николаѣ Ивановичѣ и солгали, сказали, что его къ графу въ комиссію потребовали.

— «А дочь ваша, гдѣ она?»

Ну, тутъ уже Маргарита Михайловна не выдержала и молча заплакала.

Онъ понялъ, и ее какъ ангелъ обласкалъ, и говоритъ:

— «Не огорчайтесь, не огорчайтесь! въ молодости много необдуманнаго случается, но потомъ увидятъ свою пользу и оставятъ».

Старуха говоритъ:

— «Дай Богъ! дай Богъ!»

А онъ успокаиваетъ ее:

— «Молитесь, вѣрьте и надѣйтесь, и она будетъ такая-жъ, какъ всѣ».

А та опять:

— «Дай Богъ».

— «И дастъ Богъ! По вѣрѣ вашей и будетъ вамъ. А теперь если она не хочетъ къ намъ выйти, то не могу ли я къ ней взойти?»

Маргарита Михайловна, услыхавъ это, отъ благодарности ему даже въ ноги упала, а онъ ее поднимаетъ и говоритъ:

— «Что̀ вы, что̀ вы!.. Поклоняться одному Богу прилично, а я человѣкъ».

А я и Ефросинья Михайловна тою минутою бросились обѣ въ Клавдинькину комнату и говоримъ:

— «Скорѣе, скорѣе!.. ты не хотѣла къ нему выйти, такъ онъ теперь самъ къ тебѣ желаетъ придти».

— «Ну, такъ что же такое?—отвѣчаетъ спокойно».

— «Онъ тебя спрашиваетъ, согласна ли ты его принять?»

Клавдинька отвѣчаетъ:

— «Это домъ мамашинъ; въ ея домѣ всякій можетъ идти куда ей угодно».

Я бѣгу и говорю:—«Пожалуйте».

А онъ мнѣ ласково на отвѣтъ улыбнулся, а Маргаритѣ Михайловнѣ говоритъ:

— «Я вамъ говорю, не сокрушайтесь; я чудесъ не творю, но если чудо нужно, то всегда чудеса были, и есть и будутъ. Проводите меня къ ней и на минуту насъ оставьте, мы съ ней должны говорить въ одномъ вездѣприсутствіи Божіемъ».

— «Конечно, Боже мой! развѣ мы этого не понимаемъ! Только помоги, Господи!»

— Ну, я бы не вытерпѣла, — сказала Аичка, — я бы подслушала.

— А ты погоди, не забѣгай.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Мы его въ Клавдинькину дверь впустили, а сами скорѣе обѣжали вокругъ черезъ столовую, откуда къ ней въ комнату окно есть надъ дверью, и вдвоемъ съ Ефросиньей Михайловной на столъ влѣзли, а Маргарита Михайловна, какъ грузная, на столъ лѣзть побоялась, а только къ дверному створу ухо присунула слушать.

Онъ, какъ вошелъ, сейчасъ же положилъ ей свою руку на темя и сказалъ по-духовному:

— «Здравствуй, дочь моя!»

А она его руку своею рукою взяла да тихонько съ головы и свела и просто пожала, и отвѣчаетъ ему:

— «Здравствуйте».

Онъ не обидѣлся и началъ съ ней дальше хладнокровно на «вы» говорить.

— «Могу ли я у васъ сѣсть и побесѣдовать?»

Она отвѣчаетъ:

— «Если вамъ это угодно, садитесь, только не запачкайтесь: на васъ одежда шелковая, а здѣсь есть глина».

Онъ посмотрѣлъ на стулъ и сѣлъ и не замѣтилъ, какъ рукавомъ это ея маленькое евангельице нечаянно столкнулъ, а безъ всякаго множественнаго разговора, прямо спросилъ ее:

— «Вы лѣпленіемъ занимаетесь?»

Она отвѣчаетъ: — «Да, лѣплю».

— «Конечно, вы это дѣлаете не по нуждѣ, а по желанію?»

— «Да, и по желанію, и по нуждѣ».

Онъ на нее посмотрѣлъ выразительно.

— «По какой же нуждѣ?»

— «Всякій человѣкъ имѣетъ нужду трудиться; это его назначеніе и въ этомъ для него польза».

— «Да, если это не для моды, то хорошо».

А она отвѣчаетъ:

— «Если кто и для моды сталъ заниматься трудомъ вмѣсто того, что прежде ничего не дѣлалъ, то и это тоже не плохо».

Понимаешь, вдругъ сдѣлала такой оборотъ, какъ будто не онъ, а она ему будетъ давать назидацію. Но онъ ее сталъ строже спрашивать:

— «Мнѣ кажется, вы слабы и нездоровы?»

— «Нѣтъ,—говоритъ она:—я совершенно здорова».

— «Вы, говорятъ, мяса не ѣдите?»

— «Да, не ѣмъ».

— «А отчего?»

— «Мнѣ не нравится».

— «Вамъ вкусъ не нравится?»

— «И вкусъ, и просто я не люблю видѣть передъ собою трупы».

Онъ и удивился.

— «Какіе, — спрашиваетъ, — трупы?»

Она отвѣчаетъ:—«Трупы птицъ и животныхъ. Кушанья, которыя ставятъ на столъ, вѣдь это все изъ ихъ труповъ».

— «Какъ! это жаркое или соусъ — это трупы! Какое пустомысліе! И вы дали обѣтъ соблюдать это во всю жизнь?»

— «Я не даю никакихъ обѣтовъ».

— «Животныхъ, — говоритъ, — показано употреблять въ пищу».

А она отвѣчаетъ:—«Это до меня не касается».

Онъ говоритъ:

— «Стало-быть, вы и больному не дадите мяса?»

— «Отчего же, если ему это нужно, я ему дамъ»

— «Такъ что же?»

— «Ничего».

— «А кто васъ этому научилъ?»

— «Никто».

— «Однако, какъ же вамъ это пришло въ голову?»

— «Васъ это развѣ интересуетъ?»

— «Очень! потому что эта глупость теперь у многихъ распространяется, и мы ее должны знать».

— «Въ такомъ разѣ я вамъ скажу, какъ ко мнѣ пришла эта глупость».

— «Пожалуйста!»

— «Мы жили въ деревнѣ съ няней и некому было зарѣзать цыплятъ, и мы ихъ не зарѣзали, и жили, и цыплята жили, и я ихъ кормила, и я увидала, что можно жить, никого не рѣзавши, и мнѣ это понравилось».

— «А еслибъ въ это время къ вамъ пріѣхалъ больной человѣкъ, для котораго надо зарѣзать цыпленка?»

— «Я думаю, что для больного человѣка я бы цыпленка зарѣзала».

— «Даже сама!»

— «Да, — даже сама».

— «Своими, вотъ этими, нѣжными руками!»

— «Да, — этими руками».

Онъ воздвигъ плечами и говоритъ:

— «Это ужасъ, какая у васъ непослѣдовательность!»

А она отвѣчаетъ, что для спасенія человѣка можно сдѣлать и непослѣдовательность.

— «Просто мракобѣсіе! Вы, можетъ-быть, и собственности не хотите имѣть?»

— «При какихъ обстоятельствахъ?»

— «Это все равно».

— «Нѣтъ, не равно; если у меня два платья, когда у другой нѣтъ ни одного, то я тогда не хочу имѣть два платья въ моей собственности».

— «Вотъ какъ!»

— «Да вѣдь это такъ же и слѣдуетъ, это такъ и указано!»

И съ этимъ ручку изволитъ протягивать къ тому мѣсту, гдѣ у нея всегда ея маленькое евангельице лежитъ, а его тутъ и нѣтъ, потому что онъ его нечаянно смахнулъ, и теперь онъ ее самъ остановилъ,—говоритъ:

— «Напрасно будемъ объ этомъ говорить».

— «Отчего же?»

— «Оттого, что вы только къ тому все и клоните, чтобы доказывать, что прямое криво».

— «А мнѣ кажется, какъ будто вы все только хотите показать, что кривое прямо!»

— «Это, — говоритъ, — все мракобѣсіе въ васъ, оттого что вы не несете въ семействѣ своихъ обязанностей. Отчего вы до сихъ поръ еще дѣвушка?»

— «Оттого, что я не замужемъ».

— «А почему?»

Она на него воззрилась.

— «Какъ это почему? Потому что у меня нѣтъ мужа».

— «Но вы, быть-можетъ, и бракъ отвергаете?»

— «Нѣтъ, не отвергаю».

— «Вы признаете, что самое главное призваніе женщины жить для своей семьи?»

Она отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, я иного мнѣнія».

— «Какое же ваше мнѣніе?»

— «Я думаю, что выйти замужъ за достойнаго человѣка очень хорошо, а остаться дѣвушкою и жить для блага другихъ—еще лучше, чѣмъ выйти замужъ».

— «Почему же это?»

— «Для чего же вы меня объ этомъ спрашиваете? Вы навѣрно сами это знаете: кто женится, тотъ будетъ нести заботы, чтобы угодить семьѣ, а кто одинъ, тотъ можетъ имѣть заботы шире и выше, чѣмъ о своей семьѣ».

— «Вѣдь это фраза».

— «Какъ,—говоритъ,—фраза!»—И опять руку къ столику, а онъ ее опять остановилъ и говоритъ:

— «Не трудитесь доказывать: я знаю, гдѣ что̀ сказано, но все же надо умѣть понимать: родъ человѣческій долженъ умножаться для исполненія своего назначенія».

— «Ну такъ что-же такое?»

— «И должны рождаться дѣти».

— «И рождаются дѣти».

— «И надо, чтобы ихъ кто-нибудь любилъ и воспитывалъ».

— «Вотъ, вотъ!—это необходимо!»

— «А любить дитя и пещись о его благѣ дано одному только сердцу матери».

— «Совсѣмъ нѣтъ».

— «А кому же?»

— «Всякому сердцу, въ которомъ есть любовь Божія».

— «Вы заблуждаетесь: никакое стороннее сердце не можетъ замѣнить ребенку сердце матери».

— «Совсѣмъ нѣтъ; это очень трудно, но это возможно».

— «Но вѣдь заботиться объ общемъ благѣ можно и въ бракѣ».

— «Да, но это еще труднѣе, чѣмъ не вступать въ бракъ».

— «Итакъ, у васъ нѣтъ ничего жизнерадостнаго».

— «Нѣтъ, есть»,

— «Что же такое?»

— «Пріучаться жить не для себя».

— «Въ такомъ случаѣ, вамъ всего лучше идти въ монастырь».

— «Для чего же это?»

— «Тамъ ужъ это все приноровлено къ тому, чтобы жить не для себя».

— «Я совсѣмъ не нахожу, чтобы тамъ это такъ было приноровлено».

— «А вы развѣ знаете, какъ живутъ въ монастыряхъ?»

— «Знаю».

— «Гдѣ же вы наблюдали монастырскую жизнь?»

А она уже его перебиваетъ и говоритъ:

— «Извините меня... развѣ не довольно, что я вамъ отвѣчаю на все, о чемъ вы меня допрашиваете обо мнѣ самой, но я не имѣю обыкновенія ничего разсказывать ни о комъ другомъ», — и сама берется при немъ мять свою глину, какъ бы его тутъ и не было.

— Ишь какая, однакоже, она шустрая! — замѣтила Аичка.

— Да чѣмъ, мой другъ?

— Ну все, однако, какъ хотите — этакъ отвѣчать можетъ, и онъ ее не срѣжетъ.

— Ну нѣтъ... онъ ее срѣзалъ, и очень срѣзалъ!

— Какъ же именно?

— Онъ ей сказалъ: «Неужто вы такъ обольщены, что вамъ кажется, будто вы лучше всѣхъ понимаете о Богѣ?» А она на это отвѣчать не могла и созналась, что: «я, говоритъ, о Богѣ очень слабо понимаю и вѣрую только въ то, что̀ мнѣ нужно».—«А что вамъ нужно?»—«То, что есть Богъ, что воля Его въ томъ, чтобы мы дѣлали добро и не думали, что здѣсь наша настоящая жизнь, а готовились къ вѣчности. И вотъ, пока я объ этомъ одномъ помню, то я тогда знаю, чего во всякую минуту Богъ отъ меня требуетъ, и что̀ я должна сдѣлать; а когда я начну припоминать: какъ кому положено вѣрить? гдѣ Богъ и какой Онъ?— тогда у меня все путается и позвольте мнѣ не продолжать этого разговора: мы съ вами не сойдемся».

Онъ говоритъ:—«Да, мы не сойдемся, и я вамъ скажу— счастье ваше, что вы живете въ наше слабое время, а то вамъ бы пришлось покоптиться въ кострѣ».

А она отвѣчаетъ: — «И вы бы меня, можетъ-быть, проводили?»

И сама улыбнулась, и онъ улыбнулся и ласково ей говоритъ:

— «Послушайте, дитя мое: вашу мать такъ сокрушаетъ, что вы не устроены, а долгъ дѣтей свою мать жалѣть».

Ее все будто вдругъ погнуло и на глазахъ слезы выступили.

— «Умилосердитесь, — говоритъ:—неужто вы думаете, что я, проживши двадцать лѣтъ съ моею матерью, понимаю ее и жалѣю меньше, чѣмъ вы, пріѣхавши къ намъ сейчасъ по ея приглашенію!»

А онъ говоритъ: — «Ну и хорошо, и если вы такая добрая дочь, такъ изберите же себѣ достойнаго жениха».

— «Я его уже избрала».

— «Но этотъ выборъ не одобряетъ ваша мать».

— «Мама его не хочетъ узнать».

— «Да что-жъ ей его и узнавать, когда онъ иновѣрецъ!»

— «Онъ христіанинъ!»

— «Полноте! отчего вамъ не уступить матери и не выбрать себѣ мужа изъ своихъ людей, обстоятельныхъ и извѣстныхъ ей и вашему дядѣ?»

— «Чѣмъ же не обстоятеленъ тотъ, кого я выбрала?»

— «Иновѣрецъ».

— «Онъ христіанинъ, онъ любитъ всѣхъ людей и не различаетъ ихъ породы и вѣры».

— «А вотъ и прекрасно: если ему все равно, то пусть и приметъ нашу вѣру».

— «Для чего же это?»

— «Чтобы еще тѣснѣе соединиться во всемъ съ вами».

— «Мы и такъ соединены тѣсно».

— «Но отчего же не сдѣлать еще тѣснѣе?»

— «Оттого, что тѣснѣе того, чѣмъ мы соединены, насъ ничто больше соединить не можетъ».

Онъ посмотрѣлъ на нее внимательно и говоритъ:

— «А если вы ошибаетесь?»

А она вдругъ порывисто отвѣчаетъ:

— «Извините, я совершеннолѣтняя, и я себя чувствую и понимаю: я знаю: что я была до извѣстной поры и чѣмъ я стала теперь, когда во мнѣ зародилась новая жизнь, и я не промѣняю моего теперешняго состоянія на прежнее. Я люблю и почитаю мою мать, но... вы вѣрно знаете, что «тотъ, кто *въ насъ*, тотъ больше всѣхъ», и я принадлежу ему, и не отдамъ этого никому, ни даже матери».

Сказала это и даже задохнулась и покраснѣла.

— «Извините, — добавила, — я вамъ, кажется, отвѣтила рѣзко, но зато я больше уже ничего не могу дополнить»,— и двинула стулъ, чтобы встать.

И онъ тоже двинулся и отвѣтилъ:

— «Нѣтъ, отчего же, если вы ужъ такъ соединены... чувствуете новую жизнь...»

А она встала и строго на него посмотрѣла и говоритъ:

— «Да, мы такъ соединены, что насъ нельзя разъединить. Кажется, больше говорить не о чемъ!»

Онъ отъ нея даже откачнулся и тихо сказалъ:

— «Мнѣ кажется, вы на себя... наговариваете!»

А она ему преспокойно:

— «Нѣтъ! все, что̀ я говорю, все то̀ и есть!»

А Маргарита Михайловна въ это же самое мгновеніе— «ахъ!» да и съ ногъ долой въ обморокъ, а я, какъ самая глупая овца, забыла, что стою на концѣ гладильной доски, и спрыгнула, чтобъ помочь Маргаритѣ, а гладильная доска перетянулась, да Ефросинью Михайловну сронила и меня другимъ концомъ пониже поясницы, и всѣ трое ниспроверглись и лежимъ. Грохотъ этакой на весь домъ сдѣлался. И онъ это услыхалъ, и всталъ и весь въ волненіи сказалъ Клавдинькѣ:

— «Какія ужасныя волненія!.. И все это черезъ васъ!..»

Она ему ни словечка.

Тогда онъ вздохнулъ и говоритъ:

— «Ну, я не могу терять больше времени и ухожу».

А Клавдинька ему тихо въ отвѣтъ:

— «Прощайте».

— «Прощайте, — и ничего болѣе? Прощаясь со мною, вы не имѣете сказать мнѣ отъ души ни одного слова?»

И она, — вообрази, — вдругъ сдобрилась и подала ему обѣ руки,—и онъ радъ и взялъ ее за руки и говоритъ ей:

— «Говорите! говорите!»

А она съ ласкою ему отвѣчаетъ:

— «Пренебрегите нами, у насъ всего есть больше, чѣмъ нужно; спѣшите скорѣе къ людямъ бѣдственнымъ».

Даже изъ себя его вывела, и онъ, какъ будто задыхаясь, ей отвѣтилъ:

— «Благодарю васъ-съ, благодарю!» — и попросилъ, чтобы она и провожать его не смѣла.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

А когда онъ изъ дому на видъ показался, Клавдинька вернулась и прямо пришла въ темную, гдѣ мы лежали

повержены, двери распахнула и кинулась къ матери, а что мы съ Ефросиньей никакъ подняться не можемъ — это ей хоть бы что! Ефросиньѣ Михайловнѣ девятое ребро за ребро заскочило, а мнѣ какъ-будто самый сидѣльный хвостикъ переломился, а кромѣ того и досадно, и смѣхъ разрываетъ.

«Хороша, думаю, дѣвушка! объяснилась... и ужъ сама не скрываетъ»...

Такъ въ этакомъ-то неслыханномъ постыдномъ безпорядкѣ все и кончилось. Мы и не видали, какъ онъ сѣлъ и вся ажидація разсѣялась, и опять обманъ былъ, опять онъ въ чужую карету сѣлъ и не замѣтилъ—сталъ письма доставать. Такъ его и увезли, а наши служащіе въ домѣ всѣ ужасно были обижены, потому что все это вышло не такъ, какъ ждали, и потомъ всѣ, оказалось, слышали, какъ Клавдія сама, хозяйская дочь и наслѣдница, при всѣхъ просила: «пренебрегите нами»... Чего еще надо! Онъ и вправду, я думаю, этого никогда еще ни отъ кого не слыхивалъ. Всѣ его только просятъ и молятъ со слезами, чтобы онъ осчастливилъ, чтобы пожаловалъ, а она какъ будто гонитъ: «нами пренебрегите и ступайте къ бѣдственнымъ». Молва поднялась самая всенародная. Кучеръ Миронъ, какъ всегдашній грубіянъ, да еще двѣ пунцовки выпивши, вывелъ на дворъ своихъ ѳетюковъ, чтобы ихъ пѣтой водой попрыскать, а ѳетюки его сытые—храпятъ, кидаются и грызутся, а Миронъ старается ихъ словами унять, а въ конюшню назадъ ни за что вести не хочетъ.

— «Я, говоритъ, — слава-те, Господи! Я формально знаю, какъ и что велитъ законъ и религія: всегда первона-перво хозяевъ прыскаютъ, а потомъ на тотъ же манеръ и скотовъ».

Насилу у него лошадей отняли и спать его уложили, какъ вдругъ Николай Иванычъ пріѣзжаетъ и въ самомъ выдающемся градусѣ.

— Скверный мужчина! — отозвалась Аичка.

— Преподлецъ!—поддержала Марья Мартыновна и про-

должала: — съ этимъ опять до тѣхъ поръ безпокоились, что безъ всѣхъ силъ сдѣлались, и какъ пали въ сумерки, гдѣ кто достигъ по диванамъ, такъ тамъ и уснули. Но мнѣ и во снѣ это снилося, какъ Клавдинька отличилась съ своимъ безстыдствомъ... Николай Иванычъ на весь домъ храпитъ и Ефросинья тоже ничкомъ дышитъ, а мнѣ даже не спится, будто какъ что меня поднимаетъ, — и не даромъ. Прислушиваюсь и слышу, что Маргарита Михайловна тоже не спитъ... ходитъ...

И такъ это она меня, моя Маргарита, заинтересовала, что я лежу и присапливаю, будто сплю, а о снѣ и не думаю, а все на нее однимъ глазкомъ гляжу и слушаю, куда она пойдетъ.

А она неслышной стопою тихонечко по всѣмъ комнатамъ, у жердинверки остановилась, съ цвѣтковъ будто сухіе листики обираетъ въ руку, потомъ канарейкѣ сахарокъ въ клѣткѣ поправила, лоскуточекъ какой-то маленькій съ полу подняла, а сама, вижу, все слушаетъ, всѣ ли мы спимъ крѣпко, и потомъ воровски, потихонечку — топъ-топъ и вышла.

Я сейчасъ же вскочила на диванъ и уши навострила... Слышу, она кружнымъ путемъ черезъ залъ къ Клавдинькиной комнатѣ пошлепала.

Такъ во мнѣ сердце и заколотилось... Что у нихъ будетъ?

Горошкомъ я съ дивана спрыгнула, туфли сбросила да подъ мышку ихъ, и въ однихъ чулкахъ черезъ другой кругъ обѣжала и въ гардеробную, — оттуда тоже въ Клавдинькину комнату надъ дверью воловье око есть. Опять тамъ тихонечко все взмостила, поставила на столъ стулъ и стала на него и гляжу.

Въ комнатѣ пол-темно. Лампа горитъ, но колпакъ такъ сноровленъ, что только въ одно мѣсто свѣтъ отбиваетъ, гдѣ она руками лѣпитъ... Все это она сама себѣ всегда и зажигаетъ, и гаситъ, и на конфоркѣ воду грѣетъ — все безъ прислуги.

И теперь такъ — весь домъ въ покоѣ отдыхаетъ, а она, завистная работница, какъ ни въ чемъ не бывало, опять уже всѣ свои принадлежности расправила.

Мнетъ да приставляетъ, да чортъ знаетъ что̀ вылѣпливаетъ, и я даже на фигуру ея посмотрѣла, что она сама на себя высказала, но нѣтъ еще, — ничего не замѣтно,— вся высокая и стройная.

Мать вошла, а она не видитъ, а у меня сердце токъ-токъ-токъ! — такъ и толчется... Что будетъ? — прибьетъ ее старуха что-ли, и какъ та — съ покорностью ли это выдержитъ, или, помилуй Богъ, забудется, да и сама на мать руку подниметъ? Тогда я тутъ и нужна окажусь, потому что по крайней мѣрѣ я вскочу да схвачу ее за руки и подержу — пусть мать ее хорошенько поучитъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Все дыханіе я въ себѣ затаила.

Маргарита Михайловна постояла въ полутемнотѣ и ближе къ ней подходитъ...

Тогда госпожа Клавдинька вздрогнула и глину свою уронила.

— «Мамочка! — говоритъ — вы не спите! какъ вы меня испугали!»

Маргарита удерживаетъ себя и отвѣчаетъ:

— «Отчего же это тебѣ мать страшна сдѣлалась?»

— «Зачѣмъ вы, мама, такъ говорите: вы мнѣ вовсе не страшны! Я вамъ рада, но я занялась и ничего не слыхала... Садитесь у меня, милая мама!»

А та вдругъ обѣими руками, ладонями ея голову обхватила и всхлипнула:

— «Ахъ, Клавдичка моя! дитя ты мое, дочка моя, сокровище!»

— «Что вы, что вы, мама!.. Успокойтесь».

А старуха ея голову крѣпко зацѣловала, зацѣловала и вдругъ сама ей въ ноги сползла на колѣни и завопила:

— «Прости меня, ангелъ мой, прости, моя кроткая! я тебя обидѣла!»

Вотъ, думаю, такъ оборотъ! Она же къ ней пришла и не строгостью ее пристрастить, а еще сама же у нея прощенія просить.

Клавдинька ее сейчасъ подняла, въ кресло посадила, а сама передъ нею на колѣни стала и руки цѣлуетъ.

— «Я, — говоритъ, — милая мама, ничаго и не помню, что вы мнѣ осердясь сказали. Вы меня всегда любили, я весь вѣкъ мой была у васъ счастливая, вы мнѣ учиться позволили...»

— «Да, да, другъ мой, дура я была, я тебѣ учиться позволила, и вотъ что изъ этого ученья вышло-то!»

— «Ничего, мамочка, дурного не вышло».

— «Какъ же «ничего»?.. Что̀ теперь о насъ люди скажутъ?»

— «Что, мама?.. Впрочемъ, пусть что хотятъ говорятъ... Люди, мама, вѣдь рѣдко умное говорятъ, а гораздо чаще глупое».

— «То-то «все глупое». Нѣтъ, ужъ если это случилось, то я согласна, чтобы скорѣе твой грѣхъ скрыть: выходи за него замужъ, я согласна».

Клавдія изумилась.

— «Мама! милая! вы ли это говорите?..»

— «Разумѣется, я говорю; мнѣ твое счастье дорого, только не уходи отъ меня изъ дома,—тоска мнѣ безъ тебя будетъ».

— «Да никогда мы не уйдемъ отъ васъ...»

— «Не уйдешь? Онъ тебя отъ меня не уведетъ?»

— «Да ни за что, мама!»

Старуха такъ и заклохотала:

— «Вотъ, вотъ!—вотъ, говоритъ—опять ты всегда такая добрая... А онъ добрый ли?»

— «Онъ гораздо меня добрѣе, мама!»

— «Почему же такъ?»

— «Онъ смерти не боится».

— «Ну... для чего же такъ... Пусть живетъ».

— «Вамъ жаль его?»

А та заморгала и сквозь слезы говоритъ:—«Да!»

И опять обнялись и обѣ заплакали.

Вѣришь, что даже мнѣ и то стало трогательно!

Аичка поддержала:

— Да и очень просто—растрогаютъ!

— А Клавдинька-то и пошла тутъ матери не спѣша и спокойно разсказывать: какой у него братъ былъ добрѣйшей души, и этотъ тоже,—ко всѣмъ идетъ, ни съ кѣмъ не ссорится, ничего для себя не ищетъ и всѣмъ все прощаетъ, и никого не боится, и ничего ему и не надобно.

— «Кромѣ тебя?»

А она законфузилась и отвѣчаетъ:

— «Мама!.. я его такъ уважаю... онъ меня научилъ жить... научилъ чувствовать все, что людямъ больно... научилъ любить людей и ихъ Отца... и... и вотъ я... вотъ я... счастлива на вѣки!»

— «Ну и пусть ужъ такъ... пусть. А только все-таки... зачѣмъ... ты такъ себя допустила?»

— «До чего, мама?»

— «Да ужъ не будемъ лучше говорить. Пусть только будетъ ваша свадьба скорѣй—я тогда опять успокоюсь... Я вѣдь тебѣ все простить готова... Это меня съ тобою только... люди разстраиваютъ, сестра... да эта мать-переносица Мартыниха».

—«Богъ съ ней, мама: не сердитесь на нее,—она несчастная».

— «Нѣтъ, она мерзкая выдумщица... по всѣмъ домамъ бѣгаетъ и новости затѣваетъ... я ее выгоню...»

— «Что вы, что вы, мама! Какъ можно кого-нибудь выгонять! Она безпріютная. Вы лучше дайте ей дѣло какое-нибудь, чтобы она занятіе имѣла, и не слушайте, что она о комъ-нибудь пересуживаетъ. Она вѣдь не понимаетъ, какое она зло дѣлаетъ».

—«Нѣтъ, понимаетъ; онѣ приступили ко мнѣ съ сестрой,

что ты странная, и такъ мнѣ надоѣли, что и мнѣ ты стала казаться странною. Что же дѣлать, если я такая слабая... Я повѣрила и послала ее приглашать, и отъ этой общей ажидаціи сама еще хуже разстроилась».

—«Все пройдетъ, мама».

— «Ахъ, нѣтъ, мой другъ... ужъ это, что съ тобою сдѣлалось, такъ это... не пройдетъ».

Клавдинька на нее недоумѣнно смотритъ:

— «Я васъ,—говоритъ,—не понимаю».

— «Да я и не стану говорить, если тебѣ это непріятно, но я и о томъ думаю: какъ же это онъ провидецъ, а его обманомъ въ чужую карету—обмануть можно?»

— «Ахъ, не станемъ, мама, спорить объ этомъ!»

— «Я ему хотѣла пятьсотъ рублей послать,—а теперь пошлю завтра за непріятность тысячу».

— «Посылайте больше, мама,—мнѣ жаль его».

— «Чего же его-то жаль?»

— «Какъ же, мама... какое значеніе на себя взять: какая роль!.. Люди видятъ его и теряютъ смыслъ... бѣгутъ и давятъ другъ друга какъ звѣри, и просятъ: *денегъ... денегъ*!! Не ужасно ли это?»

— «Ну, это мнѣ все равно.. только нехорошо, что теперь сплетни пойдутъ; а я не люблю, кто о тебѣ дурно говоритъ. И за то вотъ я деверя Николая Иваныча, какой онъ ни есть, и кутила, и бабеляръ, а я его уважаю, потому что онъ самъ съ тобою въ глаза спорится, а за глаза о тебѣ никому ничего позволить не хочетъ.—Сейчасъ, говоритъ, прибью за нее!»

— «Дядя добрякъ, мнѣ жаль его,—онъ во тьмѣ.»

— «И для чего это все необыкновенное затѣяли! У насъ все было весь вѣкъ по обыкновенному: свой, бывало, придетъ и попоетъ, и закуситъ, и въ карты поиграетъ, и на все скажетъ:—Господь проститъ».

— «Простое, мама, во всѣхъ случаяхъ всегда самое лучшее».

— «Да, онъ тебя крестилъ, онъ пусть и перевѣнчаетъ.

А Мартыниха пусть къ намъ и не приходитъ, чтобы никакихъ выдающихся затѣй отъ нея больше не было».

Вотъ что было-выходило мнѣ за мои хлопоты, но дѣло рѣшилось иначе, и совсѣмъ неожиданно.

— Кто же его рѣшилъ?—спросила Аичка.

— Кошка, да я немножко, — продолжала Марья Мартыновна.

Но Клавдинька, къ чести ея приписать, и въ концѣ опять за меня заступилась, стала просить, чтобы меня какою-нибудь выдающеюся прислугою въ домѣ оставили.

Старуха ей отвѣчаетъ:

— «Изволь, и хотя мнѣ это непріятно, но для тебя я ее оставлю».

Но во мнѣ уже сердце закипѣло.

«Нѣтъ ужъ, думаю я, голубушки, я и безъ васъ проживу: я птичка-невеличка, но горда, какъ самый горделивый звѣрь, и у меня кромѣ васъ по городу много знакомства есть,—я въ услуженіе лакейкой никуда не пойду»... И честное тебѣ слово даю, что я въ ту же минуту хотѣла потихоньку отъ нихъ, не прощаясь, со двора сойти, потому что я, ей Богу, какъ звѣрь горда; но вообрази же ты себѣ, что это не вышло. Ко всему этому случаю подпалъ еще другой, который и задержалъ. Пока я стояла на стулѣ и, на столѣ взгромоздившись, слушала ихъ совѣты, жирный котъ разыгрался, подхватилъ мои войлочныя туфли, которыя я на полу оставила, и началъ, мерзавецъ, швырять ихъ лапой по всему полу.

Отъ этакаго пустяка—а меня просто ужасъ обхватилъ: задѣнетъ, думаю, мерзавецъ, туфлею за какое-нибудь легкое стуло или табуретку и загремитъ, и онѣ тогда сейчасъ сюда взойдутъ, и какова я имъ покажусь на своей каланчѣ? куда мнѣ тогда и глаза дѣвать и что́ выдумать и сказать: зачѣмъ я это въ здѣшнемъ мѣстѣ, вскочивши на столъ, случилась?

Снялась я съ великимъ страхомъ, чтобъ не упасть, и стала кругомъ на полу ползать—туфли свои искать. Ползла

ползла, весь полъ выползла, а туфлей не нашла. А между тѣмъ страхъ боюсь, что теперь мать съ дочерью совсѣмъ поладили и сейчасъ выйдутъ и увидятъ, что меня нѣтъ на томъ диванѣ, гдѣ я спала. И какъ тогда мнѣ при нихъ да черезъ Николая Иваныча комнаты идти? Что подумать могутъ? Бросилась я безъ туфлей бѣжать и вернулась на свое мѣсто благополучно. Николай Иванычъ безъ воротничковъ спитъ и не храпитъ, и не ворочается; а я въ однихъ чулкахъ легла на диванъ и только-что притворилась, что будто сплю, какъ Маргарита съ дочерью и взаправду входятъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Маргарита Михайловна спокойнымъ голосомъ съ прохладою велитъ, чтобы всѣ лампы зажечь и чай подавать, и стала всѣхъ будить къ чаю, а какъ ко мнѣ подошла, я говорю:—«я сейчасъ сама встану», и начинаю туфли искать.

А она какъ на грѣхъ спрашиваетъ:—«Что ты ищешь?»

— «Туфли ищу».

— «Гдѣ же ты ихъ приставила?.

— «На мнѣ онѣ были, на ногахъ».

— «Куда же онѣ съ ногъ могли дѣться?»

— «И сама не знаю».

— «Женихъ, что-ли, приходилъ тебя разувать, — такъ вѣдь это только на святкахъ бываетъ».

— «Нѣтъ, — я говорю, — женихи ко мнѣ не ходятъ, а это, быть можетъ, надсмѣшка».

— «Ну, вотъ еще! Кто будетъ надсмѣхаться? Ищите, пожалуйста, всѣ Мартыновнины туфли!»

И что это ей за неотступная забота припала искать — ужъ и не понимаю. А въ это самое время, какъ на грѣхъ, вдругъ Николай Ивановичъ выбѣгаетъ въ трехъ волненіяхъ изъ своихъ комнатъ и, должно быть, еще не проспавшись или въ испугѣ кричитъ:

— «У-е-ля хамъ? У-е-ля хамъ?»

Золовки ему отвѣчаютъ:

— «Что ты, батюшка! что ты!.. Какой Хамъ?»

А онъ даже трясется отъ злости и отвѣчаетъ:

— «Хамъ значитъ женщина!»

Маргарита Михайловна его перекрестила и говоритъ:

— «Какая женщина?»

— «Которая мнѣ гадость сдѣлала».

— «Что сдѣлала? какую гадость? Небось сказать нельзя?»

А онъ, какъ козелъ, головой замоталъ и въ самомъ повелительномъ наклоненіи:

— «Я,—говоритъ,—всѣмъ такой постановъ вопроса даю: какая это фибза меня разбудила и на постели у меня вотъ эту свою туфлю оставила?»

И показываетъ въ рукѣ мою туфель...

Ну, разумѣется, всѣмъ смѣшно стало.

А я отвѣчаю:

— «Это туфля моя, но надо знать, какъ она туда попала».

А онъ и не слушаетъ.

— «Это всякому,—говоритъ,—извѣстно, какъ попадаетъ».

А тутъ мальчишка Егорка, истопникъ, весь блѣдный, бѣжитъ и кричитъ:

— «У насъ въ ванной кто-то чѣмъ-то съ печки швыряется».

Пошли туда, а тамъ въ ванной въ водѣ другая моя туфля плаваетъ, а на печкѣ на краю проклятый котъ сидитъ.

— «Господи! — воскликнула я: — что же это! если всѣ меня выживаютъ, то мнѣ лучше самой уйти».

А Николай Иванычъ поспѣшаетъ:

— «И сдѣлай свою милость, уйди! У насъ безъ тебя согласнѣй будетъ», — и съ тѣмъ повернулъ меня лицомъ къ зеркалу и говоритъ:

— «Вѣдь ты только посмотрись на себя и сдѣлай постановъ вопроса: пристойно ли тебѣ своими туфлями заигрывать!»

То-есть, чортъ его знаетъ, что онъ такое въ своей пьяной

безпамятности понималъ, а тѣ дуры такое ко мнѣ приложеніе приложили, что будто я и у него въ комнатѣ, и въ ванной вездѣ его преслѣдую.

А можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ?—протянула Анчка.

— Полно, пожалуйста! Будто же я этакъ могла сдѣлать, что вдругъ одна моя нога въ комнатѣ, а другая въ ванной!.. Вѣдь это же и немыслимо такъ растерзать себя! Но представь себѣ, что вѣдь старая дура обидѣлась и начала шептать:

— «Я,—говоритъ,—никого не осуждаю, но для чего же это... непремѣнно въ моемъ домѣ... и послѣ посѣщенія»...

Я и не вытерпѣла, и съ своей стороны фехтовальное жало ей въ грудь вонзила:

— «Полно,—говорю,—пожалуйста, что такое вашъ домъ, да еще послѣ посѣщенія!.. Проводили этакаго посѣтителя такъ, что чуть его не выгнали»,—и разсказала, какъ Клавдія его просила ихъ домомъ пренебречь, а спѣшить къ людямъ бѣдственнымъ.

А Николаю Ивановичу это и за-любо стало.

— «Такъ,—говоритъ,—и слѣдовало: чего онъ взаправду все здѣсь? Ему надо къ неурожайнымъ полямъ ѣхать и большой урожай вымолить, для умноженія хлѣбовъ. Съ нашей сытостью ему взаправду и возиться бы стыдно».

Я отвѣчаю:

«Что же вы все мнѣ говорите про стыдное! Не я дѣлаю что-то стыдное въ вашемъ домѣ... а поищите стыднаго при себѣ ближе...»

А Николай Иванычъ, какъ всегда, любитъ срывать свое зло на комъ попало, и вдругъ кинулся на меня, какъ ястребъ на цыпленка, и началъ душить меня...

Ахъ, Боже мой!—пожалѣла Анчка.

— Да, да, да,—продолжала Марья Мартыновна.—Золовки у него меня даже отнять не могли. Задушилъ бы, — но Клавдія вошла и сказала: «дядя, прочь!» Совершенно какъ на щуделя крикнула. Онъ и оставилъ. Тогда Маргарита выноситъ изъ спальни пятьсотъ рублей и говоритъ мнѣ:

— «Вотъ тутъ, Марья Мартыновна, пятьсотъ рублей отъ меня вамъ награжденія, и какъ вамъ угодно — хоть эти деньги за свою обиду примите, хоть на Николая Иваныча жалуйтесь, но я, Богъ съ вами, на васъ не сержусь, и если хотите проститься съ нами по-хорошему, я вамъ и еще дамъ, но уходите».

— «Я,—говорю,—жаловаться не пойду, потому что я православная».

А Николай Иванычъ зарычалъ:

— «Не потому, а ты знаешь, что, пожаловавшись, ты меньше получишь».

— «Можете,—говорю,—располагать какъ хотите, а я не желаю, чтобы на судѣ произносили священный типъ личности наравнѣ съ госпожи Клавдіи дѣвичьими секретами».

Но тутъ онъ опять какъ сорвется... а Клавдія его схватила и вывела и сама вышла, а Маргарита подаетъ мнѣ еще триста рублей и говоритъ:

— «Другъ сердечный, на, возьми это скорѣй себѣ и уходи. Хорошаго ждать теперь нечего».

— «Я,—говорю,—и не жду».

— А деньги взяли?—спросила Аичка.

— Неужли же имъ ихъ оставила!

— То-то! А то Клавдинька ихъ своимъ «бѣдственнымъ» сволокла бы!

— Разумѣется!

Помолчали.

— Такъ-то вы и называете, что простились, «по-хорошему»?—спросила Аичка.

— Да, уложила свои вещи, все забрала, а имъ сказала, ошибкою, вмѣсто «покойной ночи»—«упокой васъ Господи», да и уѣхала.

— И не жалѣете, что такъ вышло?

— И не жалѣю, да и жалѣть-то грѣхъ: они сами себя на все осудили. Каковъ отъ нихъ былъ пріемъ святой ажидаціи, таково же и имъ отъ Бога наклоненіе. Былъ домъ выдающійся въ великолѣпіи, а теперь одна катастрофія за

другою слѣдуетъ, и жительство ихъ спускается до самаго обыкновеннаго положенія. И все черезъ Клавдіи Родіоновны рояльное воспитаніе; и никто этого не останавливаетъ—такъ всѣхъ она въ свои прелюзіи и привлекаетъ.

— Неужли всѣ стали лѣпить принадлежности?—спросила Аичка.

— Нѣтъ, это она одна лѣпитъ, и ей теперь даже заказы бюстровъ заказываютъ, а она своихъ семьянъ привела, гораздо въ худшія послѣдствія.

— Что же такое, напримѣръ, съ ними сдѣлалось?

— А, напримѣръ, вотъ что сдѣлалось: начать съ того, что Николай Иванычъ, возвратившись разъ изъ своего маскатерства, забылъ, про что онъ позабылъ.

— Ну!

— А это оказалось впослѣдствіи, что онъ позабылъ у себя въ карманѣ депешъ о томъ, что къ нему завтрашній день сынъ его Петруша изъ кругосвѣта возвращается. Онъ и возвратился, и пріѣхалъ утромъ на извозчикѣ, когда его никто не ждалъ, и отецъ тогда только вспомнилъ про депешъ и принялъ сына какъ нельзя хуже, и даже совсѣмъ не желалъ-было его видѣть.

— «Мнѣ,—говоритъ,—никакой заатлантическій дуракъ не нуженъ».

Но Клавдія этого Петрушу обласкала, а дядѣ только лѣвою рукою однимъ пальцемъ погрозила, а потомъ и начала Петинькой руководствовать и привела его къ тому, что онъ вдругъ, самъ безпріютный, да сталъ еще просить у отца позволенія жениться на той самой Крутильдиной племянницѣ, за которую его отецъ выслалъ. Отецъ объ этомъ, разумѣется, и слышать не хотѣлъ, да и немыслимо было это допустить, потому что у той въ это время еще одинъ проступокъ былъ,—и вотъ чего мы всѣ объ этомъ не знали, а Клавдія Родіоновна знала, потому что она, какъ оказалось, за этою особой слѣдила и отыскала ее въ напасти и содержывала у той старушки, куда я ее прослѣдовала, и тамъ ее отъ всѣхъ бѣдъ укрывала и навѣщала и навела-

таки своего двоюроднаго брата на то, что «вотъ ты предъ ней виноватъ, потому что черезъ то, что ты ее покинулъ, она еще разъ пала, и ты долженъ это загладить, и ее взять и никогда ни въ чемъ ее не укорять, потому что ты самъ всѣмъ ея бѣдамъ виновникъ». И все опять ему изъ евангелія, и что онъ будто ни на комъ другой, кромѣ этой, жениться не смѣетъ, и тѣмъ кончила, что сбила его на свое— Петька согласился. И тогда она явилась просить за нихъ дядю и стала ему доказывать, что та очень хорошаго сердца, а проступокъ ея былъ именно чрезъ то, что она была брошена.

Старикъ говоритъ:

— «Стало быть, постановъ вопроса такой, что это потвоему хорошо?»

— «Не хорошо,—отвѣчаетъ Клавдія;—но это такое, что вы должны простить, потому что все это произошло черезъ васъ; оттого, что кто безпомощную бросаетъ—тотъ и виноватъ за нее».

— «Гдѣ же это писано?»

А она сейчасъ было за евангеліе, но онъ ее за руку.

— «Оставь»,—говоритъ.

— «Нѣтъ, не оставлю, и если вы будете жестоки и потребуете, чтобы еще разъ также ее оставить, то съ нею можетъ быть худшее».

— «Что же,—спрашиваетъ,—худшее?»

Она говоритъ:

— «Вы это лучше знаете, что ожидаетъ тѣхъ, кого вы сбиваете съ честнаго пути, а потомъ бросаете. Но вы знайте, что вашъ сынъ теперь не въ вашихъ рукахъ».

— «А въ чьихъ же?»

— «Въ тѣхъ рукахъ, съ Кѣмъ вы не смѣете спорить: Петя послушаетъ не васъ, а Того, Кто не дозволилъ пускать соблазнъ въ міръ».

— «Такъ ты его бунтуешь?»

— «Я не бунтую,—говоритъ Клавдія,—а я говорю, что другъ друга бросать нельзя! Отъ этого—страданье и грѣхъ.

Послѣ этого Петрушѣ нельзя будетъ жить съ чистой совѣстью, и я его убѣдила и еще буду убѣждать, чтобы онъ почиталъ волю Небеснаго Отца выше воли отца земного. А вы если не хотите слушать, что я вамъ говорю о вѣчной жизни, то вы умрете вѣчной смертью».

И заговорила, заговорила, и такъ его пристрастила и умаяла, что онъ, какъ рыба на удочкѣ, ротъ раскрылъ и отвѣчать не умѣетъ.

А тутъ и Петруша сталъ за ней то же самое повторять, что его совѣсть три года во всѣхъ мѣстахъ мучила и теперь покою не даетъ, и что онъ эту преступной дѣвушки вину на своей совѣсти почитаетъ и желаетъ ея и свою жизнь исправить.

Тутъ Николай Иванычъ сталъ губы кусать и вдругъ говоритъ:

— «А это вѣдь точно,—пожалуй, можно и умереть, мы дѣйствительно всѣ грѣшные: зришь на молодую мамзель и сейчасъ свое исполняешь, какъ бы ее такъ обратить, чтобы она завтра была уже не мамзель, а гутъ-моргенъ. Это подлость всей нашей увертюры; а Клавдя прямо идетъ!» — и благословилъ сыну подзакониться, и вдругъ даже мальчика ихъ, своего внучка, очень любить сталъ и безъ стѣсненія всѣмъ рекомендовать началъ: «вотъ это сынъ мой—европей, а это мой внукъ подъевропникъ». Но Крутильда свою гордость выдержала и этого не перенесла, взяла и за своего Альконса замужъ вышла, а на Николая Ивановича векселя подала, чтобы его въ тюремное содержаніе.

— Вотъ эта хорошій типунъ сдѣлала,—отозвалась, засмѣясь, Аичка.

— Да. Но Клавдинька дядю въ тюрьму не допустила,—у матери уйму денегъ выпросила: «это, сказала, будетъ мнѣ за приданое», и та за него заплатила, и домъ продали, а сами стали жить круглый годъ на фабрикѣ. Такъ и теперь всѣ круглый годъ живутъ въ этой щели, и Клавдинькѣ это очень нравится.

— И красота ея, стало быть, такъ тамъ и вянетъ?— спросила Аичка.

— Разумѣется, такъ у дуры все и завянетъ, но однако до сихъ поръ еще очень хороша, злодѣйка.

— А какъ же ея Ферштетъ?

— Ахъ, съ нимъ оборотъ такъ еще всего чище!

— Вышла она за него или не вышла?

— Ничего не вышла!..

— Спятился?..

— Нѣтъ, онъ не спятился, а они оба себя одинъ въ другомъ превзошли, и потомъ она его на тотъ свѣтъ и отправила.

— Какимъ же это манеромъ?

— Да никакимъ!

— Что же однако было?

— Да ничего, и не было. «Мы,—говоритъ,—нашли, что намъ не нужно на себя никакихъ обязательствъ и имѣть семью тоже ненадобно». Рѣшили остаться друзьями по своей вѣрѣ и довольно съ нихъ.

— Что за уроды!

— Оглашенные!

— А какъ же она его уморила?

— Ничего никто не зналъ. Вдругъ она приходитъ домой блѣдная и ничего не разсказываетъ, а потомъ оказалось, что онъ умеръ.

— Вотъ и разъ!

— Да. Дитя какое-то бѣдное такую заразность въ горлѣ получило, что никто его въ домѣ лѣчить не хотѣлъ, а онъ по примѣру брата пошелъ и для другихъ все о болѣзни списалъ, а самъ заразился и умеръ.

— Очень она убивалась?

— Не знаю, какъ сказать,—точно каменная. Мать говорила: «Что же, всѣ твой грѣхъ знаютъ: если ты Бога не стыдилась, такъ ужъ людей и стыдиться не стоитъ,—иди, простись съ нимъ, поцѣлуй его во гробѣ. Тебѣ легче будетъ». А она тутъ только зарыдала и на плечи матери

вскинулась и говоритъ: «Мамочка! я съ нимъ уже простилась»...

— Призналась?

— Да;—«когда, —говоритъ,—онъ уходилъ туда, я его живого поцѣловала; прости мнѣ это».

— Значитъ, всего на всего и было, что разъ одинъ поцѣловала?

— Такъ она сказала.

— Ну, а это-то... про что она раньше-то еще сознавалась?

— Что таксе?

— Ну, вотъ, что вы разсказывали...

— Ахъ, это про родительный въ неопредѣленномъ наклоненіи?

— Да.

— А это такъ и осталось въ неопредѣленномъ наклоненіи.

— Какъ же это такъ вышло?

— Такъ, совсѣмъ ничего не вышло.

— Значитъ, вы тогда на нее все наврали?

— И вовсе не то значитъ, а значитъ только то, что я ожидала правильно, чего слѣдуетъ по сложенію всѣхъ вѣроятностей, а у нихъ все верченное, и «новую жизнь» она въ себѣ оказывается нашла по божеству, какъ будто Христосъ ихъ соединяетъ въ однѣхъ вѣчныхъ мысляхъ. Подумай только, какъ смѣть этакое выдумать и такую святость себѣ приписывать!

Апчка не скоро процѣдила въ отвѣтъ:

— Нѣтъ, это пустяки, — а откудова только у нихъ берется терпѣніе, чтобы этакъ жить!

— Ужасть! ужасть!.. Ничѣмъ, ничѣмъ ихъ изъ себя не выведешь... Какое хочешь огорченіе и обиду — они все снесутъ, какъ будто горе земное до нихъ совершенно и не касающее!..

— Донимать ихъ, я думаю, какъ слѣдуетъ не умѣютъ.

— Это можетъ быть.

— Нѣтъ, навѣрно!

— А ты что бы имъ хотѣла?

— На сковородку бы ихъ босыми ножками, да пожаривать.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Ну, такъ, говорятъ, будто это жестокости.

Аичка ничѣмъ не отозвалась. Или она засыпала, или, можетъ-быть, стала думать о чемъ-то «въ сторону».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Марья Мартыновна встала, куда-то прошлась и опять сѣла на мѣсто.

Въ это время Аичка вздохнула и, повидимому, какъ будто ни къ тому, ни къ сему промолвила:

— Словесницы безплодныя!

Марья Мартыновна поняла, къ чему это, и подхватила:

— Да, ужъ именно! Другая какая-нибудь... этакая простой души — живетъ и втихомолочку чего только она ни дѣлаетъ и потихоньку во всемъ на духу покается, и никто ничего не знаетъ, а эти,—что ступятъ, то стукнутъ, а потомъ вдругъ лишатся всякаго счастья и впослѣдствіи коротаютъ вѣкъ не для себя, а сами остаются въ неопредѣленномъ наклоненіи... Нѣтъ, ты мнѣ этотъ постановъ вопроса рѣши: что съ ними дѣлать, чтобы ихъ вывести?

Но Аичка снова молчала, и Марья Мартыновна опять сама заговорила:

— Ну, пускай такъ, какъ ты говоришь, что не знаютъ, что съ ними дѣлать, я съ этимъ съ тобою согласна; но отчего же они такіе особенные, что ни слезъ у нихъ нѣтъ, ни моленья и жалобы, а принимаютъ все, что надъ ними учинится, какъ будто это такъ и надобно?

— Притворяются.

— И я тоже думаю! Гдѣ же, скажи на милость, только-что вышла такая катастрофа—женихъ умеръ, а она въ тотъ же день, какъ его схоронили, сѣла работать и завела

еще школу, чтобы даромъ бѣдныхъ дѣтей учить. Но только одно хорошо, что хоть ты и говоришь, что съ ними не знаютъ, что дѣлать, но и имъ тоже повадки заводить что хотятъ не даютъ: ей школу скоро прикончили. И замѣтъ, она и тутъ тоже опять ничего не томилась и не жаловалась.

— Они закоренѣлые.

— То-то и есть! Что же съ ними подѣлаешь, когда они такіе безпечальные? Ей школу прикрыли, а она теперь всѣмъ людямъ, чѣмъ только можетъ, услуживаетъ, и книжки дѣтямъ раздаетъ, и сама съ ними садится гдѣ попало читать.

— И этого не надо позволять.

— И было непозволеніе, становой и изъ-за книжекъ пріѣзжалъ, чтобы всѣмъ ея книжкамъ повальный обыскъ сдѣлать, но посмотрѣлъ книжечки и всѣ ей оставилъ, да еще началъ и извиняться.

— «Я,—говоритъ,—приказаніе исполнилъ, а мнѣ самому совѣстно».

— Вонъ тебѣ какъ!

— Да еще что!—Какъ она ему отвѣтила, что не обижается, и руку свою подала, такъ онъ у нея и руку поцѣловалъ, и говоритъ:

— «Простите меня, вы праведница».

— А замужъ она, стало-быть, такъ ужъ и не пойдетъ?

— Мать ее спрашивала: не дала ли она обѣтъ, чтобы послѣ смерти перваго жениха ни за какого другого не выходить? Она отвѣчала, что «обѣта не давала». По-ихнему вѣдь тоже и обѣтъ давать будто не слѣдуетъ. Старуха добивалась, что, можетъ-быть, она въ разговорахъ покойнику обѣщалась ни за кого не выходить? И этого, говоритъ, нѣтъ.

— «Ну, такъ, можетъ-быть, еще обрадуешь меня, выйдешь замужъ?»

И на это тотъ же отвѣтъ:

— «Не знаю, мама, но только не думаю».

— «Отчего же?»

— «Со мной, мама, жить очень трудно».

Сама такъ и созналась, что съ нею жить — адъ. А потомъ въ день именинъ матери такой даръ поднесла, что говоритъ:

— «Мамочка! я ваша! я сегодня, въ вашъ день, рѣшилась и подарила себя служить вамъ и бѣднымъ людямъ. Я замужъ не пойду».

Такъ и остается, и такъ и живетъ теперь вѣковушею. Вмѣсто того, чтобы народить своихъ дѣтей, да ихъ въ ласкѣ нѣжить и имъ свой остатокъ капитала передать, она собрала опять безпортошную дѣтвору, да одѣваетъ ихъ, да поетъ имъ про лягушку на дорожкѣ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Собесѣдницы умолкли: Марья Мартыновна, вѣроятно, наслаждалась удовольствіемъ, что довела до конца сказаніе, въ которомъ ея главный врагъ, Клавдинька была опозорена; а Аичка не отзывалась,—можетъ-быть, потому, что опять куда-то перенеслась и о чемъ-то думала.

Это и подтвердилось.

Послѣ довольно продолжительной паузы она вздохнула и сказала:

— Какъ мнѣ это все-таки, однако, удивительно!

— Что такое?

— Представьте, что я у себя точно такого же дурака знаю.

— Мужчину?

— Да, и очень интересный, а вотъ и въ немъ сидитъ точно такая же глупость.

— Что же, какъ онъ въ своемъ полѣ уродуетъ?

— То же самое, какъ и эта: ничего ему не нужно— ни вкусно ѣсть, ни носить красивое платье и ничто на свѣтѣ.

— И любовь женская не нужна?

— Представьте—тоже не нужна!

— Этого никогда быть не можетъ! Это при какомъ хочешь положеніи изъ моды не выходитъ!

— Нѣтъ, то-то и есть, что выходитъ!

— Ни за что не повѣрю!

— Да какъ же вы не вѣрите, когда я васъ увѣряю!

— А я, моя дорогая, не вѣрю. Мужчину женской фигурой всегда соблазнить можно.

— А я вамъ, моя дешевая, говорю, что и не соблазните.

Марья Мартыновна какъ будто поперхнулась, но оправилась и договорила:

— Разумѣется, мое время прошло.

— Хоть бы ваше и время не прошло, и хоть бы въ васъ иголки не было, а ничего не убѣдите.

— Отчего же это?

— Оттого, что у нихъ все нечеловѣческое—они красоту совсѣмъ не обожаютъ, а ищутъ все себѣ чего-то по мысли, и потому, если изъ нихъ кого полюбить, то съ ними выйдетъ только одно неудовольствіе.

— А онъ тебѣ очень нравится?

— Почему вы знаете?

— Неужли же не видно!—Ты тѣмъ все и портишь, что свои чувства ему оказала.

— Ничего я не порчу, а я ему просто противна.

— Какъ нищему гривна?

— Нѣтъ, совсѣмъ противна.

— Какъ же этакая молодая, богатая—и противна? Что же это за дуракъ выдающійся!

— Не дуракъ, а вотъ въ этомъ же самомъ родѣ, какъ ваша Клавдинька: все тоже смотритъ въ евангеліе, и все чтобъ ему жить просто, да чтобъ работать и о гольтепѣ думать,—и въ этомъ все его пустое удовольствіе.

— И будто ужъ нельзя его всѣмъ твоимъ капиталомъ привлечь?

— Ахъ, да на что ему капиталъ, когда ему больше того, что есть, ничего не надобно! Ему вкусный кусокъ положите,

а онъ отвѣчаетъ: «не надо, я уже насытился»; за здоровье попросите выпить, а онъ отвѣчаетъ: «зачѣмъ же пить?—я не жажду».

— Ну, что это взаправду за уродство!

— Да; я такъ жить ни за что не хочу.

— Разумѣется; пусть онъ себѣ беретъ такую и жену, къ ихъ фасону подходящую.

Но Раичка, услыхавъ это, вскрикнула:

— Что-о-о!—И сейчасъ же рѣзко добавила, что она этого никогда не позволитъ.

— Лучше на столѣ подъ полотномъ его увпжу, чѣмъ съ другою!

— Что же,—и это можно,—успокоила ее мирнымъ тономъ Мартыниха.

Раичка понизила голосъ.

— То-есть, что же... развѣ вы это можете?

— Подъ полотно положить?

— Да... но вѣдь за это отвѣчать можно.

— Стоитъ только ему рубашку выстирать да на ночь дать одѣть... вотъ и все.

— Ишь какая вы вредная!

— Да вѣдь я это для тебя же!—сконфуженно остановила ее Мартыниха.

— Нѣтъ, а какъ вы смѣли для меня это подумать! Рубашку вымыть!

— Ну оставь, пожалуйста: видишь, чай, что я пошутила!

— Пошутила!.. Нѣтъ вы думали, что ужъ влюбленную дуру нашли, и я вамъ дамъ такое порученіе, что въ вашихъ рукахъ буду! Я не дура!

— Да кто жъ тебѣ говоритъ, моя дорогая, что ты дура!

— То-то и есть, моя дешевая!

— Фу ты Господи!

— Да, да, да.

— Такъ какъ же, ты жить хочешь?

— Чтобы онъ былъ мой мужъ и жилъ какъ я хочу, и больше ничего.

— Такъ ты бы ему лучше прямо такъ и изъяснила, что: «люблю и женись!»

— И вотъ представьте же себѣ, что я уже до этой низости дошла, что и изъяснилась.

— И что же онъ—возвеличился?

— Нимало, а только пожалъ мнѣ руку и говоритъ: «Раиса Игнатьевна, вы на этотъ счетъ ошибаетесь!» Меня даже въ истерику и въ слезы бросило, и я говорю: «Нѣтъ, я васъ люблю, и весь капиталъ вамъ отдамъ». А онъ...

Аичка вдругъ всхлипнула и заплакала.

— Полно, полно, пріятненькая, убиваться! — попросила ее Марья Мартыновна.

— Не гладьте меня, я не люблю! — скапризничала Аичка.

— Ну, хорошо, хорошо, я не буду. Что же онъ тебѣ сказалъ?

— Не вѣритъ, дуракъ.

Послышались опять слезы.

— Ну, значитъ, онъ или безчувственный, или безпонятный,—рѣшила Марья Мартыновна.

— Нѣтъ, онъ не безчувственный и даже очень понятный; а онъ говоритъ: «вы въ вашихъ чувствахъ ошибаетесь — это вы мою презрѣнную плоть любите и хотите со мною своихъ свиней пасти, а самого меня вы не любите и не можете меня полюбить, потому что мы съ вами несогласныхъ мыслей и на разныхъ хозяевъ работаемъ; а я хочу работать своему хозяину, а свиней съ вами пасти не желаю».

— Что же это такое?.. И къ чему это?.. Какихъ свиной пасти, и на какихъ разныхъ хозяевъ работать?—протянула недоумѣнно Марья Мартыновна.

— А вотъ въ томъ и дѣло, что если не понимаете, то и не спорьте! — дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ откликнулась Аичка и черезъ минуту еще сердитѣе добавила: — По-ихнему, любовью утѣшаться—это значитъ «свиней пасти».

— Тьфу!

Мартыновна громко плюнула и вскрикнула:

— Свиньи! Ей-Богу, они сами свиньи!

— Да,—отвѣчала Аичка,—и онъ еще хуже говорилъ... Онъ отвѣтитъ...

— За что, пріятная, за что? Что онъ еще... чѣмъ тебя оскорбилъ?

— Онъ меня ужасно оскорбилъ... онъ сказалъ, что я не христіанка, что со мною христіанину жить нельзя и нельзя дѣтей въ христіанствѣ воспитывать...

— Ахъ, за это отвѣтитъ!

— Да; я ему это и сказала: «Я говѣю и сообщаюсь, а вы никогда... Кто изъ насъ—христіанъ?»

— Онъ отвѣтитъ.

— А я своего характера не переломлю!

— И не ломай! Что ихъ еще баловать!

— Я ему сказала, что я ожесточусь, и лучше кому захочу, тому все богатство и отдамъ, но только я по-своему отдамъ, а не по-ихнему.

— Вотъ я теперь тебя и поняла... зачѣмъ ты сюда пріѣхала! Конечно, тебя тутъ на рукахъ носить будутъ!

— Очень мнѣ нужно ихъ ношенье! Но только вы ничего и не поняли!

— Нѣтъ, ты теперь проговорилась.

— Ни капли я не проговорилась. Я, просто, буду пробовать: вѣрно ли это, что здѣсь можно умолить, чтобъ въ немъ сердце затомилось и все стало — какъ я хочу.

Но Марья Мартыновна на этомъ Аичку перебила.

— Ангелъ мой!—воскликнула она живо:—здѣсь умолить можно все; здѣшнее мѣсто — все равно, что гора Ѳаворъ; но только должно тебѣ знать, что Богъ вѣдь на зло молящему не помогаетъ!

Аичка совсѣмъ разсердилась.

— Что вы за глупости говорите!—вскричала она:—какое же здѣсь «на зло молящее», когда я хочу его отъ безсе-

мейнаго одиночества въ законъ брака привесть и потомъ такъ сдѣлать, чтобы онъ любилъ непремѣнно все то, что всѣ люди любятъ.

— Да, то-есть, чтобы онъ не косоротился бы къ простотѣ, а искалъ бы себѣ прямо не одно душеполезное, но и тѣлополезное?

— Вотъ и только!

— Да, если только въ этомъ, то это, конечно, благословенный законъ супружества, и въ такомъ случаѣ Богъ тебѣ навѣрно поможетъ!

— Да,—а вы, пожалуйста, теперь ужъ дальше замолчите, потому что скоро будетъ разсвѣтъ, и я очень разстроилась, и буду блѣдная.

Шехерезада умолкла. Сосѣдки больше ничего не говорили и, можетъ быть, уснули; послѣдовавъ ихъ благоразумному примѣру, заснулъ передъ утромъ немножко и я, но потомъ вскорѣ снова проснулся, оставилъ на столѣ деньги за свою «ажидацію» и уѣхалъ изъ Рима, не видавъ самого папы...

А поѣздка эта все-таки принесла мнѣ пользу: стало веселѣе. Я какъ будто побогатѣлъ впечатлѣніями,—и теперь, когда мнѣ случается возвращаться ночью по купеческимъ улицамъ и видѣть тепляющіяся въ ихъ домахъ разноцвѣтныя лампады, я уже не воображаю себѣ тамъ однѣхъ безстыжихъ притворщицъ или робкихъ и безнадежныхъ плаксъ «темнаго царства», а мнѣ сдается, будто тамъ уже дышетъ бодрый духъ Клавдиньки, дающій рессурсъ къ жизни во всякомъ положеніи, въ которомъ Высшей волѣ угодно усовершать въ борьбѣ со тьмою все рожденное отъ свѣта.

ЮДОЛЬ.

РАПСОДІЯ.

«Совѣща Богъ смиритися горѣ и юдоліямъ исполнитися въ равень земную».

Варухъ, V. 7.

Теперь (съ наступленіемъ весны 1892 года) мы можемъ сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положеніе, какое подготовили намъ наше плохое хозяйство и неурожай прошлаго лѣта!.. Бѣда сошла съ рукъ сравнительно легко. Страданія поселянъ, описываемыя корреспондентами современныхъ изданій, конечно были велики и, какъ говорятъ,—«вопіютъ къ Небу»; но «ужасъ» впечатлѣнія, какое эти описанія производятъ, очень слабъ въ сравненіи съ тѣмъ, что сохраняетъ въ несвязныхъ отрывкахъ память о прошлыхъ голодовкахъ, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людямъ «избывавшимъ отъ глада».

О томъ, что было при историческихъ голодовкахъ, упоминаемыхъ въ лѣтописяхъ и исторіи, то болѣе или менѣе извѣстно по тѣмъ описаніямъ, но у насъ были голодовки въ позднѣйшей порѣ, которую въ литературѣ принято именовать «глухою порою»,—и онѣ не описывались, а потому воспоминанія объ этихъ голодовкахъ, хотя и не очень обстоятельныя, думается, были бы не излишни.

Сотрудникъ одной изъ нынѣшнихъ петербургскихъ газетъ, посѣтивши неурожайныя мѣстности Россіи зимою 1892 года, имѣлъ случай бесѣдовать о той порѣ съ извѣстнымъ старожиломъ Орловской губерніи, — помѣщикомъ и владѣльцемъ знаменитаго хрустальнаго завода генераломъ С. И. Мальцевымъ, и «генералъ, помнящій старинныя голодовки», въ разговорахъ съ упомянутымъ писателемъ «удивлялся, какъ мы далеко ушли впередъ». Въ удивленіи этомъ онъ отмѣчалъ то, что «теперь о голодѣ говоритъ вся Россія, и раньше всѣхъ на него указало само правительство. Не то было 40—50 лѣтъ тому назадъ. Тогда также случались неурожаи, но о нихъ могли знать лишь министры да развѣ сама голодающая масса. «Я тогда,—говорилъ генералъ Мальцевъ,—представилъ проектъ обезпеченія народнаго продовольствія. Императоръ Николай Павловичъ весьма сочувственно отнесся къ проекту, и я рѣшилъ напечатать его, но *ни одна типографія* не согласилась взять мою рукопись для набора...» Генералу «удалось напечатать свой проектъ только благодаря покровительству принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго». (См. *Недѣля* 19-го апрѣля 1892 г., № 16).

Съ такими необыкновенными усиліями могъ быть напечатанъ сорокъ лѣтъ тому назадъ «проектъ» о мѣрахъ противъ голода въ народѣ; но описаній, какъ люди переживали этотъ голодъ, совсѣмъ не могло появиться въ печати, и, что̀ еще удивительнѣе—ихъ вѣроятно никто и не писалъ, потому что они не появлялись даже и въ послѣдующіе за тѣмъ годы, когда положеніе русской печати стало сравнительно немножко свободнѣе.

Во время страшнаго по своимъ ужасамъ «голоднаго (1840) года» я былъ ребенкомъ, но однако я кое-что помню,—по крайней мѣрѣ по отношенію къ той мѣстности, гдѣ была деревенька моихъ родителей — въ Орловскомъ уѣздѣ Орловской же губерніи. Значительно болѣе того, что я помню изъ тогдашняго времени, какъ непосредственный свидѣтель событій, я слышалъ многое послѣ отъ старшихъ,

которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались къ этому ужасному времени со своими воспоминаніями въ разсказахъ по тому или другому подходившему случаю.

Разумѣется, всѣ эти нынѣшнія *мои* воспоминанія охватываютъ одинъ небольшой районъ нашей ближайшей мѣстности (Орловскій, Мценскій и Малоархангельскій уѣзды) и отражаются въ моей памяти только въ той формѣ, въ какой они могли быть доступны «барчуку», жившему подъ родительскимъ крыломъ, въ защищенномъ отъ бѣдствія господскомъ домѣ,—и потомъ воспоминанія эти такъ неполны, безсвязны, отрывочны и поверхностны, что они отнюдь не могутъ представить многостороннюю картину народнаго бѣдствія, но въ нихъ все-таки, можетъ быть, найдется нѣчто пригодное къ тому, чтобы представить хоть кое-что изъ тѣхъ обстоятельствъ, какими сопровождалась ужасная зима въ глухой, безхлѣбной деревенькѣ сороковыхъ годовъ.

Словомъ, я рѣшился набросать на бумагу то, что уцѣлѣло въ моей памяти о давней голодовкѣ, относящейся къ той порѣ, о которой упомянулъ генералъ Мальцевъ, и, приступая къ этому, я впередъ прошу у моихъ читателей снисхожденія къ скудости и отрывочности моего описанія. Я предлагаю только то, что могу вспомнить и о чемъ теперь можно говорить безстрастно и даже съ отрадою, къ которой даетъ возможность нашъ нынѣшній благополучный выходъ изъ угрожавшей намъ бѣды.

Воспоминанія мои будутъ не столько воспоминанія объ общей голодовкѣ 1840 года, сколько частныя замѣтки о томъ, что случилось голодною зимою этого года въ нашей деревенькѣ и по сосѣдству.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Первыми предвозвѣстительницами горя — какъ это ни странно—были старухи, которыя видѣли нехорошіе сны. Это началось съ половины Великаго поста. Самою страшною сновидицею была наша птичница, гордая женщина изъ

вольныхъ однодворокъ, по имени Аграфена Петровна. Я помню, какъ отецъ одинъ разъ, придя къ столу, за которымъ всѣ мы сидѣли у вечерняго чая, сказалъ матери, что сейчасъ, когда онъ распоряжался работами, староста Дементій объявилъ ему, что мужики боятся сѣять «яровые», потому что птичница Аграфена и другія старухи на деревнѣ «пророкаютъ голодъ», и поэтому страшно, что сѣмена въ землѣ пропадутъ.

— Но вѣдь это глупо!—возразила мать.

Отецъ пожалъ плечами и отвѣтилъ:

— Да; это не разумно, но я не могу однако забыть, что во время большого неурожая въ мое дѣтство у насъ объ этомъ тоже заговорили еще передъ весною и притомъ также съ бабьяго голоса, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ вышелъ неурожай. Мужикамъ я, разумѣется, не позволю не сѣять ярового, и если они не захотятъ, то я засѣю ихъ поля собственными сѣменами и потомъ изъ будущаго урожая отберу у нихъ сѣмена назадъ. Я ужъ это объявилъ Дементію и приказалъ ему, чтобы повѣстилъ сновидящимъ старухамъ, которыя станутъ пророкать о голодномъ годѣ, что я этихъ пророчицъ отряжу на всю весну индѣятъ и утятъ отъ коршуновъ караулить. А тебѣ совѣтую о томъ же самомъ построже сказать Аграфенѣ, такъ какъ она всѣмъ этимъ пророчествамъ, говорятъ, самая главная заводчица.

Матушка была характера скораго и нетерпѣливаго: она сейчасъ же велѣла позвать къ себѣ Аграфену съ тѣмъ, чтобы вопросить ее: отчего она начала пророчествовать голодный годъ, и потомъ сказать ей, чтобы болѣе не пророчила.

А какъ я и братъ мой и старшая сестра были въ это время уже просвѣщены грамотою и знали по «ста-четыремъ священнымъ исторіямъ», что пророчество есть «свыше посылаемый даръ дивный и таинственный», то намъ, разумѣется, было въ высшей степени любопытно знать, какъ этотъ даръ спустился на нашу Аграфену, и какъ наша мать возбранитъ въ ней этому дару.

Аграфена же и сама по себѣ была личность интересная и пользовалась во дворѣ особыми правами, присвоенными ей превосходствомъ рожденія, возвышавшаго ее среди совершенно безправныхъ крѣпостныхъ людей. Аграфена, какъ сказано, была изъ людей вольныхъ и вышла замужъ за нашего крѣпостного сапожника Абрама, который вскорѣ умеръ, оставивъ ей двухъ дѣтей: сына Егорку и дочь Василису или Васёнку, которой теперь только исполнилось четыре года. Оба они, какъ рожденные отъ крѣпостного отца, были «крѣпки своему владѣльцу». Со смертью мужа Аграфена могла отъ насъ удалиться, но ради любви къ своимъ «крѣпостнымъ» дѣтямъ оставалась при нихъ и служила какъ крѣпостная, но, въ отличіе отъ крѣпостныхъ «понёвницъ», она носила красную юбку, какія въ нашемъ мѣстѣ носили однодворки, а крѣпостныя не носили. Кромѣ того Аграфена была честна и горда,—она не сносила ни малѣйшаго подозрѣнія и считала себя въ правѣ вступаться за свою честь.

Ее надо было все «гладить по головкѣ»,—иначе она грубила.

Такъ случилось и тутъ, когда матушка позвала ее не въ урочное время изъ ея жаркой птичной избы въ покои.

Аграфена пришла недовольная и нехотя отвѣчала на вопросы, предложенные ей для претекста о сколотняхъ и пахтаньѣ, а когда матушка спросила ее: «Какіе ты видишь сны?—Аграфена отвѣчала ей:

— Какіе приснятся.

— А зачѣмъ же ты голодъ пророчишь?

— А отчего же не пророчить? Вѣстимо ужъ, что когда хлѣба не будетъ, такъ голодъ будетъ.

— Да почему?.. Что тебѣ снится... что дѣлается?

— Что ни снится и что ни дѣлается, а все теперь будетъ къ голоду, и я съ дѣтьми пропаду... уйду отселева. И слава-те, Господи!—отвѣчала Аграфена и ничего болѣе не пояснила, а между тѣмъ слова ея тутъ же были поддержаны обстоятельствами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Приближалось Благовѣщеніе, когда у насъ было въ обычаѣ печь при церквахъ «черныя просвиры» изъ ржаной муки, подсѣяной на чистое сито. Муку эту приходское духовенство собирало съ прихода и за сборомъ этимъ разъѣзжалъ на своей лошади высокій, старый дьячокъ, имя котораго я теперь позабылъ, но его всѣ называли «Аллилуй». Онъ во всемъ причтѣ пользовался авторитетомъ по церковному хозяйству и обыкновенно передъ праздниками обметалъ вѣникомъ иконостасъ и собственноручно мылъ полъ въ алтарѣ и чистилъ лампады, и подъ его же надзоромъ усердныя бабы *по обѣщанію* вымывали полы въ остальной церкви; онъ же и «отстрѣливалъ голубей», которые прилетали на колокольню и марали колокола; а его дьячиха—престарѣлая «Аллилуева жена», пекла «благовѣщенскія просвиры», о которыхъ надо сказать два слова въ объясненіе.

«Благовѣщенскія просвиры»—это совсѣмъ не то же самое, что обыкновенныя просфоры, которыя изготовлялись для проскомидіи. Проскомидійныя просфоры изготовлялись изъ пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и дѣлались высокенькія, столбушками, по общепринятому образцу, и печатались «именословною печатью» на верхней коркѣ, а эти,—благовѣщенскія,—дѣлались просто «кулабушками» или «катышками» изъ «черной», сборной муки и уподоблялись настоящимъ просфорамъ только тѣмъ, что наверху у нихъ тоже оттискивалась именословная печать. Онѣ не требовались какимъ-либо церковнымъ правиломъ, а только *допускались*, или, точнѣе сказать, были терпимы во уваженіе «крѣпкой привычки народа».

Люди требовали, чтобы эти просфоры сыпали въ толпу сверху съ колокольни, и въ толпѣ ихъ ловили руками,—кто только схватитъ.

При этомъ разгуливалась сила и удаль: просвиры не «по

чести», а «силомъ» брали,—«кто сколько вырветъ», а оттого людямъ этотъ обычай нравился.

Просфорня-вдовица «благовѣщенскихъ просвиръ» печь не могла, потому что она была старушка слабенькая, и вымѣсить въ дежѣ большой растворъ была не въ состояніи. А потому она ѣздила только собирать на просвиры и приходила съ печатью ихъ «знаменить», но ставила ихъ и выдѣлывала Аллилуева жена.

Никакимъ обычаямъ и правиламъ это было не противно.

Въ этотъ годъ Аллилуй по обыкновенію объѣхалъ съ просфорнею прихожанъ и собралъ муки и промѣнялъ ее у мельника на муку одинаковаго размола (такъ какъ изъ сборной муки разнаго поля и неровнаго размола печь неудобно, потому что она неровно закисаетъ и трудно подходитъ), а затѣмъ Аллилуева жена растворила въ домѣ муку и ночью подбила тѣсто, которое всходило прекрасно, какъ слѣдуетъ, а еще послѣ затопила печь и передъ тѣмъ, какъ наступила пора разваливать тѣсто и «знаменать просвиры печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой была печать; но едва она вышла со своего двора, какъ увидала мужа, безпокойно бѣжавшаго къ дому священника, съ лицомъ до неузнаваемости измѣненнымъ отъ ужаса. Дьячиха окликнула мужа и хотѣла его разспросить, но онъ сердито замахалъ на нее обѣими руками и еще сильнѣе напрягся бѣжать къ Ипполитову дому. Но такъ какъ Аллилуева жена была родомъ изъ Сѣвскаго уѣзда, гдѣ уже есть «глуховскій духъ поведенціи», то-есть уже ощущается малороссійскій обычай женскаго господства въ семействѣ, то она забыла, зачѣмъ шла, а переняла Аллилуя на пути и сказала:

— Это еще что за новости! Или я тебѣ не законная жена? Говори, что случилось!..

Аллилуй отвѣчалъ, что случилась бѣда.

— А какая?

— А такая, что баба Дулеба стала, вымывши амвонъ,

начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины сквозь двери въ алтарь просунулась...

— Кто же это видѣлъ?

— Никто кромѣ меня не видалъ.

— Ну такъ и иди съ Господомъ Богомъ,—отпусти бабъ и займися самъ одинъ какимъ-нибудь дѣломъ посерьезнѣе, а на это и языкъ прикуси.

— Хорошо,—отвѣчалъ Аллилуй:—дай мнѣ чепурушечку выпить, и я взаправду послушаю тебя — прикушу языкъ.

Дьячиха налила ему чепурушечку, и Аллилуй подкрѣпился и пошелъ опять къ храму, а жена его тоже, поправясь маленькой чашечкой, вышла вмѣстѣ съ нимъ и отправилась къ учрежденной вдовицѣ,—звать ее «знаменить». Тутъ онѣ тоже между собою покалякали, и когда вышли вдвоемъ, имѣя при себѣ печать на знаменованія, то Аллилуева жена на половинѣ дороги къ дому вдругъ услыхала ни на что не похожій ударъ въ нѣсколько младшихъ колоколовъ, и тотчасъ же увидала людей, которые бѣжали къ колокольнѣ и кричали: «Аллилуй разбился!»

Несчастная женщина бросилась туда и нашла своего мужа простертымъ на землѣ и при послѣднемъ издыханіи: онъ лежалъ не дыша, съ закатившимися подъ лобъ глазами и съ окровавленнымъ ртомъ, изъ котораго торчалъ синій кусочекъ закушеннаго зубами языка.

Дѣло произошло такъ, что Аллилуй, не желая болѣе видѣть неловкихъ деревенскихъ бабъ, пошелъ исполнить другую работу и хотѣлъ очистить засиженные птицами колокола; онъ дѣлалъ это держась за веревочки и стоя сапогами на перилахъ, съ которыхъ онъ покачнулся, упалъ и разбился до смерти. Пришелъ священникъ, отецъ Ипполитъ, по фамиліи Мирдаровъ, — далъ Аллилую такъ-называемую «глухую исповѣдь», а потомъ положилъ ему въ ротъ причастіе и тутъ же сразу прочелъ ему и отходную.

Все это было дѣломъ непродолжительнымъ, но и химическій законъ въ дежѣ съ растворенною мукою тоже не медлилъ и совершалъ безостановочно свое дѣло: назначенное

для благовѣщенскихъ просфоръ тѣсто ушло изъ дежи и расползлось на полу. Въ него только ноги перепачкали люди, принесшіе Аллилуево тѣло, а просфоръ печь было не изъ чего... Весь приходъ остался безъ просфоръ, а это составляло случай въ жизни крестьянъ небывалый, потому что у насъ все были люди набожные и ни одинъ крестьянинъ не выходилъ сѣять безъ того, чтобы у него въ «сѣвалкѣ», т.-е. въ круглой лубочной коробкѣ съ зернами, не было благовѣщенской просфоры.

Теперь же первый разъ приходилось сѣять безъ просфоръ, а это добра не обѣщало. При томъ случай съ бабой-дулебой, которая просунулась въ алтарь, тоже огласился: Аллилуева жена, когда стала въ голосъ «причитать» надъ мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего пагубнаго самовластія и раскричала на весь крещеный міръ, что мужъ ея Аллилуй былъ человѣкъ праведный и не хотѣлъ утаить, что «дулеба» въ алтарь просунулась, а она его отвела отъ этого, и за то Господь покаралъ ее праведно: взялъ отъ нея совсѣмъ къ себѣ на тотъ свѣтъ Аллилуя.

Тутъ, узнавъ этакую вещь отъ Аллилуевой жены, ахнуло и все приходское христіанство, и были такія мнѣнія, что бабу-дулебу надлежитъ убить за то, что она «въ елтарь сунулась»; но дулеба, къ счастію, скоро объ этомъ услыхала и хорошо собою распорядилася, потому что пристала къ бѣглымъ, проходившимъ «въ вольный Николаевъ градъ», бывшій тогда для многихъ русскихъ людей «градомъ убѣжища». Этимъ дулеба спасла людей отъ грѣха, а себя отъ преждевременной смерти. Во всякомъ же случаѣ люди были окончательно обезкуражены какъ тѣмъ, что у нихъ въ приходѣ «баба въ елтарь вскочила», такъ и тѣмъ, что послѣ этого пришлось сѣять безъ просвиръ, — даромъ это въ судьбахъ міра пройти не могло, — и предчувствія, что годъ предстоитъ «голодный», стали переходить въ увѣренность.

О томъ, что предстоящее лѣто можетъ принести хорошій

урожай, съ мужиками нельзя было и спорить: они вѣровали, что годъ будетъ голодный, и не хотѣли сѣять ни овса, ни гречи, ни проса.

— Для чего сѣять, когда все пропадетъ, и сѣмянъ не сберешь!

Въ нѣсколькихъ господскихъ имѣніяхъ такое упорство крестьянъ было строго наказано; но мужики претерпѣвали, но не сѣялись; кое-гдѣ они «скрыли сѣмена», побросавъ ихъ въ мѣшкахъ въ картофельныя ямы или овины, или спустили въ подполья избъ и въ другія скрытныя мѣста.

Мой отецъ къ крутымъ, понудительнымъ мѣрамъ не обращался, т.-е. «людей не стегалъ», какъ говорили мужики, но онъ настоялъ на томъ, что крестьяне должны были вспахать свои участки земли въ яровыхъ клинахъ и засѣяли ихъ выданными имъ заимообразными сѣменами, съ обязательствомъ возвратить сѣмена изъ урожая. Но возвращать было не изъ чего: просфорное тѣсто ушло не даромъ,—никакого урожая не было. Все посѣянное пропало.

И какъ пропало! съ какою-то злою ироніею или съ насмѣшкою, «точно шутъ сшутилъ».

Взошло все густо и сильно, всклочилось такъ, что уже на Юрьевъ день (23 апрѣля), когда скотъ выгнали первый разъ съ образами въ поле, земля была укрыта сплошною, рослою зеленью,—и зелень была такая ядреная, что ею не только наѣдались до-сыта тонкогубыя овцы, но и коровы прибавили отъ себя удоя. Къ Вознесеньеву дню грачъ въ темно-синихъ озимыхъ зеленяхъ прятался, и сообразно тому «княземъ восходилъ» брошенный «въ грязь» овесъ, и поднимались изъ земли посѣянные злаки, какъ вдругъ, въ то время, когда наступила пора разсаживать на грядахъ вырощенную въ разсадникахъ капусту, стали слышаться жалобы, что «стало сушить». Разсаду и другія огородины «отливали водой», которую таскали на себѣ въ худыхъ ведрахъ бабы, а ребятишки въ кувшинчикахъ; но «было не отлиться», — сушь «лубенила землю», и послышалось ужасное слово:

— Сожгло!..

Тутъ, увидѣвъ бѣду, «ударились къ Богу», начали «звать поповъ и служить на поляхъ молебны».

Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлѣба, то на яровые, но засуха стояла безотмѣнно.

Стали обращаться къ колдунамъ и знахарямъ—къ домороченнымъ мастерамъ черной и бѣлой магіи, изъ которыхъ одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на листъ глухой крапивы и дули пылью по вѣтру, а другіе выносили откуда-то свои обглоданныя избенными прусаками иконки въ лѣсъ и тамъ передъ ними шептали, обливали ихъ водою и оставляли ночевать на деревѣ,—но дождя все-таки не было и даже прекратились росы.

Бѣда становилась неминучею... Провозглашено было «покаяніе» и объявленъ запретъ на всякія удовольствія и радости.

Веревки на вислыхъ качеляхъ, на улицѣ, закинули вверхъ, чтобы не качалися; не позволяли дѣвкамъ «водить танки» и «играть (пѣть) пѣсни»; били ребятъ, которые играли въ казанки и въ свайку. Только одинъ пастухъ, «косолапый Ѳонька», имѣлъ право «вызывать на дудкѣ», но и его самодѣльная липовая дудка, вызывая коровъ, издавала слишкомъ унылые и непріятные звуки: это замѣтили, должно-быть, сами коровы и не шли на вызовъ косолапаго Ѳоньки, потому что онъ уже давно ихъ обманывалъ, и выгонялъ ихъ на поле, на которомъ имъ нечего было взять.

Въ народѣ стало усиливаться мрачное озлобленіе: мужья ни за-что и ни про-что били женъ, старики обижали ребятъ и невѣстокъ, и всѣ другъ друга укоряли хлѣбомъ и одинъ на другого все призывали «про́пасть»: — «О, нѣтъ на васъ пропасти!»

Явилась и она, явилась «пропасть» — совершилось общественное преступленіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пришелъ откуда-то «незнамый человѣкъ»; переночевавъ у мужичка, онъ послушалъ разсказовъ о горѣ-злосчастіи

отъ бездождія и сказалъ, что онъ это дѣло знаетъ, — что въ этой бѣдѣ попы не помогутъ, а надо выйти въ поле съ зажженной свѣчой, сдѣланной изъ сала опившагося человѣка, «схороненнаго на распутьѣ дорогъ, безъ креста и безъ пастыря».

«Незнамый человѣкъ» былъ запасливъ, и въ сумкѣ у него какъ разъ оказался огарокъ такой свѣчи, какая требовалась. Прежде она была у него длинная, но онъ ее уже «пожегъ во многихъ мѣстахъ», гдѣ было такое же бездождіе и вездѣ будто тамъ «дожди пролили».

Захожему собрали съ міра яицъ и шесть гривенъ денегъ и пошли съ нимъ «молитвить» на поле ночью.

Онъ «читалъ Отчу» и еще какую-то молитву и «махалъ навкрестъ» зажженной свѣчой изъ человѣчьяго сала, и велѣлъ къ утру ждать росы, а «со полденъ тучи»,—но только чтобы «ей не мѣшать», а то она можетъ поворотить въ другую сторону.

Затѣмъ этотъ человѣкъ тутъ же и ушелъ темной ночью.

Росы къ утру не было, но о полдняхъ небо потемнѣло и начало будто тучиться. Вскорѣ и въ самомъ дѣлѣ за Долгимъ лѣсомъ, принадлежавшимъ сосѣднему имѣнію, стало густѣть и появилась туча, но какая-то удивительная: вышла и стала на одномъ мѣстѣ и дальше не двигалась.

Три мужика, бывшіе на полѣ, долго не могли понять причину, почему туча не шла далѣе, но наконецъ—доглядѣлись и поняли.

Этому виноватъ былъ Егоръ Кожіёнъ, — шорникъ, который ходилъ по деревнямъ со своею работою. Онъ былъ хорошій мастеръ и отлично шилъ шлеи и хомуты, но человѣкъ былъ необстоятельный, и на выработанныя деньги пьянствовалъ иногда съ такимъ великимъ усердіемъ, что пропивалъ съ себя все и внутри себя утрачивалъ весь разумъ и тогда страдалъ отъ разнообразныхъ страховъ, безпокойно разыгрывавшихся въ его воспаленномъ мозгу.

Болѣе всего пьянаго Кожіёна преслѣдовалъ «черный быкъ», который обыкновенно стремился на него откуда-

то издалеча и все хотѣлъ поднять его на рога и перекинуть черезъ свою спину въ тартарары.

Увидавъ этого хронически преслѣдовавшаго врага, Егоръ Кожіёнъ сейчасъ же отъ него бѣжалъ куда глаза глядятъ но быкъ вдругъ неожиданно опять появлялся передъ нимъ впереди, и тогда Кожіёнъ останавливался въ ужасѣ, трясся, махалъ руками и кричалъ: «Тпружи! тпружи!» Если ему удавалось увернуться, то онъ бросался въ противоположную сторону, а какъ и тамъ тоже появлялся тотъ же самый призракъ его больного воображенія, то шорникъ метался по полямъ изъ стороны въ сторону, до тѣхъ поръ пока гдѣ-нибудь быкъ его настигалъ, и тогда Кожіёнъ старался ужъ только о томъ, чтобы пасть ему между рогами и обхватить руками его за шею.

Это было отчаянное, но единственное средство спасенія, которое уже не разъ избавляло Кожіёна отъ смерти на рогахъ чудовища. Какъ онъ, бывало, заляжетъ у быка между рогъ, такъ тотъ его носитъ на головѣ пока измается, и тогда сброситъ его на землю, а самъ убѣжитъ, а Кожіёнъ послѣ выспится, чувствуетъ себя какъ послѣ качки на морѣ и «кунѣжится»—ищетъ, чтобы его пожалѣли: «Преставьте,—проситъ,—меня либо къ Матери Божіей—она мнѣ заступница, либо пойдемте въ кабакъ—мнѣ цѣловальникъ въ долгъ дастъ».

Его находили недостойнымъ вести къ образу и обыкновенно отводили въ кабакъ, гдѣ онъ опохмѣлялся у знакомаго цѣловальника и поправлялся.

То же самое заходило у него и теперь, когда его примѣтили въ полѣ три мужика, наблюдавшіе тучу за Долгимъ лѣсомъ. Егоръ въ ужасѣ бѣжалъ отъ своего быка и махалъ на него руками, крича: «Тпружи! тпружи!»

Онъ бѣжалъ теперь какъ разъ противъ тучи, и ни къ кому прямѣе, какъ къ ней, относились его отгоняющіе крики и жесты, и... его не стало.

О ту пору какъ съ Кожіёномъ это въ послѣдній разъ сдѣлалось, на томъ же полѣ, гдѣ былъ онъ и три мужика,

случились еще двѣ небольшія крестьянскія дѣвочки, которыя пришли на заросшую межу ломать полынь для вѣниковъ. Завидѣвъ скакавшаго и кричавшаго Кожіёна, дѣвочки испугались и залегли въ полынь, и видѣли, какъ Кожіёнъ упалъ на межу, и какъ къ нему тутъ же вскорѣ подошли три мужика и подняли его и старались поставить его на ноги, но онъ не становился, а плакалъ и голосилъ: «Ведите меня къ Божіей Матери!» Тогда третій мужикъ взялъ Кожіёна за ноги и всѣ втроемъ они шибко пронесли его въ лѣсъ, гдѣ есть густо заросшій оврагъ, и тамъ сразу произошло какое-то несогласіе, и Кожіёнъ навздрыхъ закричалъ: «за что меня лобáните?..» И съ тѣмъ все утихло, а потомъ мужички къ ручейку спустились и у того ручья мыться стали.

Перепуганныя же дѣвчонки все на межѣ въ полыни сидѣли до вечера, притаившись какъ зайчики, и сами себѣ не могли сказать — чего онѣ испугались; а когда солнце стало заходить за тотъ самый лѣсъ, куда унесли Кожіёна «лобáнить»,—дѣвчонкамъ сдѣлалось «еще больше ужасно», и онѣ выскочили и бросились бѣжать въ деревню безъ вѣниковъ, — за что̀ ихъ встрѣтили съ строгостью, — оттрепали за косы и пообѣщали еще выдрать крапивою», — отчего онѣ и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще худшаго.

Такъ Кожіёна быкъ забодалъ и на рогахъ забросилъ.

Съ той поры уже никто и нигдѣ не видалъ шатающагося шорника Егора,—и какъ не нуженъ былъ ему паспортъ, такъ не нужна была ему и могила; но въ память его были совершены нѣкоторыя немаловажныя дѣла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

У насъ на чищобѣ, недалеко за гуменникомъ, стоялъ дрянной сараишко, который называли «старымъ половнемъ», хотя онъ никогда никакого «гуменнаго» назначенія не исполнялъ и даже для него не годился.

Сараишко этотъ сгородили для себя смоленскіе «копачи», или «грабари», приходившіе выкорчевывать пни отъ сведеннаго на этомъ мѣстѣ лѣса. Копачи, окончивъ свою работу, ушли, а сгороженный ими дрянной сараишко оставался неразобраннымъ, можетъ быть потому, что дрянной матеріалъ, изъ котораго онъ былъ сколоченъ, не стоилъ и разбора.

Крыша сарая давно вся сотлѣла и просѣтилась, воротища упали и висѣли на одной «пяткѣ», и никто въ этотъ сарай не ходилъ, кромѣ солдатки Наташки, которую впрочемъ велѣно было гонять отовсюду. И вдругъ въ одну ночь этотъ такъ-называемый «старый половень» *сгорѣлъ какъ свѣчка!*

Было тихо и темно, и вдругъ въ то самое время, когда мы поужинали, — значитъ, часу въ одиннадцатомъ, — небо озарилось теплымъ и очень пріятнымъ желтовато-розовымъ свѣтомъ.

Сначала всѣмъ показалось, что это будто такъ восходитъ «рыжая луна»; но оказалось, что это старый половень горитъ.

На пожаръ успѣли сбѣжаться многіе, но половня не растаскивали и не заливали, такъ какъ отецъ считалъ его ничего не стоющимъ; но хозяину, однако, былъ интересъ узнать: отчего могла загорѣться эта необитаемая и никому ненужная постройка?

Думали сначала на цыганъ, или на поляковъ, но ни цыганъ, ни поляковъ нигдѣ не видали; потомъ падала мысль на поводырей слѣпого Нефеда, которые курили трубку, но Нефедъ и его слѣпой товарищъ и ихъ поводыри, оказалось, «пѣли Лазаря», гдѣ-то далеко у Чудотворца на праздникѣ, и тогда староста Дементій—старовѣръ и врагъ куренія—подалъ мысль, что не виновенъ ли въ этомъ кто-нибудь изъ молодыхъ «трубокуровъ», и это первое подозрѣніе Дементій обобщилъ съ другими извѣстными ему подозрѣніями насчетъ маленькой солдатки Наташки, — шустрой бабенки съ огромнымъ гепоттée всесвѣтной куртизанки, изъ-за ко-

торой въ деревнѣ было много безпорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми.

Дементій Васильичъ непремѣнно хотѣлъ по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего онъ, какъ коренной «начальникъ» стараго фасона, былъ большой любитель; но когда онъ захотѣлъ «пострекать» кучеряваго спротинку Вукола, то отколь ни возьмись появилась сама солдатка Наташка и закричала:

— Не смѣй трогать Вукошку — это не онъ... я видѣла, кто половень сжегъ.

И Наташка вдругъ, не обинуясь, назвала трехъ самыхъ обстоятельныхъ хозяевъ въ деревнѣ...

И тѣ были призваны и повинились, что они дѣйствительно были въ «старомъ половнѣ» со свѣчой *изъ Кожіенова сала*, и, вѣроятно, какъ-нибудь по неосторожности, и проч.

Дѣло было уже не въ томъ, какъ они заронили огонь въ половнѣ, а въ томъ: отчего было произнесено упоминовеніе о «свѣчѣ изъ Кожіенова сала?»

Все это сейчасъ же окуталъ густой мракъ самой тщательно скрываемой тайны: отецъ взялъ всѣхъ трехъ мужиковъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся съ ними на ключъ вмѣстѣ со старостою Дементіемъ. И о чемъ они тамъ говорили—никто не слышалъ; но, конечно, всѣ отлично знали, въ чемъ это дѣло, и обстоятельнѣе всѣхъ изслѣдовали его именно женщины, имѣвшія смѣлость спуститься на самое дно глубокаго оврага въ Долгомъ лѣсу, и тамъ подъ хворостомъ и сухою листвою прошлогодняго листопада разсмотрѣли сильно разложившійся трупъ, который вся деревня единогласно признала за трупъ шорника Кожіёна. Изъ кожіёнаго тука все «нутреное сало» было уже «соскоблено», и изъ него, по всѣмъ вѣроятіямъ, надѣлано достаточное количество свѣчъ, сожженныхъ въ разныхъ мѣстахъ, можетъ-быть, съ подобнымъ же результатомъ, какъ случилось и у насъ въ половнѣ.

Тогда отецъ увидѣлъ, что дѣло можетъ принять очень

серьезный оборотъ и поѣхалъ къ сосѣду, которому принадлежалъ Долгій лѣсъ. Помѣщикъ этотъ, старикъ, бывшій когда-то морякъ и капитанъ 2-го ранга, жилъ нелюдимо въ сообществѣ трехъ крѣпостныхъ женщинъ, вмѣстѣ съ которыми и самъ состоялъ подъ надзоромъ четвертой, которая дирижировала весь кругъ его жизни. Событіе въ Долгомъ лѣсу вывело моряка изъ его зависимаго состоянія и подвигло къ собственной иниціативѣ, по которой онъ условился съ отцомъ такъ, чтобы: есть или нѣтъ въ лѣсу убитый — о томъ имъ обоимъ благородно и чинно ничего не знать, и кто такой тамъ есть—этого не разыскивать, а для освѣженія чувства въ людяхъ, которые, очевидно, очень набожны, но только не знаютъ, что имъ дѣлать,—пригласить изъ трехъ селъ трехъ священниковъ... и сдѣлать это какъ бы... при опасно больномъ консиліумъ... Отслужить соборне три молебна въ саду, на лугу и на полѣ, и быть всѣмъ вмѣстѣ, дворянамъ и мужикамъ... и потомъ — угощеніе.

Отецъ на это согласился и все предположенное къ исполненію «для освѣженія чувствъ въ народѣ» должно было происходить «на общихъ межахъ», по-сосѣдски, но «выходъ» долженъ былъ быть отъ насъ, и у насъ же быть «консиліуму» и угощенію.

— Такъ какъ у васъ,—сказалъ отцу морякъ:—есть дома законная супруга, а у меня на этотъ счетъ одно беззаконіе.

И торжество было отправлено у насъ. Приглашенъ былъ еще одинъ сосѣдъ, майоръ Алымовъ, тоже холостякъ и съ «репутаціей», но молодой по лѣтамъ, говорунъ и щеголь довольно дурного тона. Капитанъ 2-го ранга, вѣроятно, нехорошо былъ о немъ наслышанъ и не хотѣлъ съ нимъ сближаться, — ему даже непріятно было стоять рядомъ съ майоромъ за молебномъ, и Алымовъ это замѣтилъ и «начихалъ на него»: онъ отошелъ отъ горделиваго моряка и, переступя поближе къ дьячкамъ, сталъ задувать съ ними вмѣстѣ не въ тактъ, но очень громкимъ и звонкимъ голо-

сомъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Разъ отъ раза онъ все хваталъ это смѣлѣе и громче, и очень этимъ угодилъ и крестьянамъ, и духовенству, съ представителями котораго онъ еще болѣе сошелся за столомъ, гдѣ опять нѣсколько разъ поднимался и пѣлъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Этимъ Алымовъ ввелъ у насъ прошеніе о дождѣ въ такое распространеніе, что послѣ у насъ въ домѣ всѣ по цѣлымъ днямъ пѣли: «Даждь дождь землѣ, Спасе!» Но больше всѣхъ въ этомъ упражнялись мы, дѣти: мы въ своемъ молитвенномъ напряженіи даже превзошли старшихъ тѣмъ, что устроили себѣ изъ нянииныхъ фартуковъ ризы, а изъ свивальниковъ орари, и все облачались да пѣли: «Даждь дождь». Намъ это очень нравилось, но прислугѣ мы надоѣли, и служеніе наше было разстроено тѣмъ, что нянька отобрала у насъ облаченія и сказала:

— Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нуженъ: настала пора убирать, а убирать нечего: *голодный годъ пришелъ уже!*

Это было для насъ ужасное открытіе! Мы и не замѣтили, что *онъ уже пришелъ*. Когда же это случилось? Мы все еще просили «отвратить праведный гнѣвъ, на ны движимый», и напитать людей, «яко же птицѣми онѣми», а тутъ уже все кончено: готово созрѣвшее поле, на которомъ «стоитъ колосъ отъ колоса такъ, что не слыхать человѣческаго голоса, а сжатый снопъ отъ снопа—день ѣзды»...

Пришелъ голодный годъ! «Съѣдимъ, что зародилось, и умремъ», говорили мужики и пекли еще изъ новины лепешки и наварили къ Успенью браги, а съ Богородичнаго Рождества нѣкоторые несмѣло стали отлучаться... Спросите — куда? Сначала былъ еще стыдъ въ этомъ сознаваться—отлучки эти скрывались: люди уходили изъ села и возвращались домой въ потемочкахъ, «чтобы сумы не было видно»,—но голодъ и нужда возрастали, и къ Покрову всѣ другъ о другѣ стали знать, что всѣмъ ѣсть нечего, и что «всѣмъ надо идти побираться».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кто хотѣлъ бы составлять себѣ представленіе о деревенскомъ голодѣ, бывшемъ въ сороковомъ году, по тѣмъ явленіямъ, какія можно было наблюдать прошлой зимою, 1892 года, когда народныя страданія были облегчаемы дружными усиліями разумныхъ и добрыхъ людей, тотъ получилъ бы очень невѣрное понятіе о томъ, какъ страдалъ народъ при тѣхъ порядкахъ безпомощія, о которыхъ вспомянулъ генералъ Мальцевъ. Такихъ заботъ, какія прилагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающимъ крестьянамъ по одному человѣколюбію и сострадапію, тогда и въ поминѣ ни у кого не было, да никакое оказательство въ смыслѣ общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумѣется, не могло прокормить всѣхъ голодныхъ. «Казеннымъ» или такъ-называемымъ «государственнымъ крестьянамъ» тогда дали что-то изъ «запасныхъ магазиновъ» на «обсѣмененіе полей»; но это была помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди изъ названной категоріи на этотъ «заимобразъ» тоже не могли прокормиться. Но о томъ, чтобы кормить ихъ *до сытости*, и не считали нужнымъ заботиться: разсказывали, будто графъ Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаты», и что «до новины они могутъ *одну зиму какъ-нибудь перебиться*», и это будто бы послужило достаточнымъ успокоеніемъ чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне въ то время считались за «любимыхъ дѣтей» правительства. Что же касалось людей другихъ сословій, то съ этими было еще меньше хлопотъ: о мѣщанахъ нечего было и говорить, такъ какъ они земли не пашутъ и хлѣба не сѣютъ, — стало-быть, у нихъ неурожая и не было, и притомъ о нихъ давно было сказано, что они «всѣ воры» и, какъ воры, они, стало быть, могутъ достать себѣ все, что имъ нужно; а помѣщичьи «крѣпостные» люди были въ такомъ положеніи, что о нихъ нечего было и без-

покопться,—они со дня рожденія своего навѣки были предоставлены «попеченію владѣльцевъ», и тѣ о нихъ пеклись... Злополучные крѣпостные люди были всѣхъ другихъ несчастнѣе: они не только страдали безъ всякой помощи, но еще съ связанными руками и съ тряпицей во рту. Они даже не имѣли права отлучиться, и нерѣдко ихъ жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшія исключенія были тамъ, гдѣ помѣщики скоро ужаснулись раскрывшагося передъ ними деревенскаго положенія и, побросавъ свои деревни, сбѣжали зимовать куда-нибудь въ города и городишки,—«все равно куда, лишь бы избавиться отъ своихъ мужиченковъ» (т.-е. чтобы не слыхать ихъ просьбъ о хлѣбѣ). Безъ господъ крестьянамъ по крайней мѣрѣ открывалась свобода брести куда глаза глядятъ и просить милостыню подъ чужими окнами. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ большихъ экономіяхъ «своимъ крестьянамъ» давали хлѣба и картофеля въ долгъ или со скидкой противъ цѣны, за которую отпускали «чужимъ людямъ», но и это все было недостаточно, такъ какъ и по удешевленной цѣнѣ покупать было не на что.

Разумѣется, я говорю только о той мѣстности, гдѣ я тогда жилъ, въ Орловской губерніи. Можетъ быть, что въ другихъ мѣстахъ было и иначе.

Я говорю *только* о томъ, что самъ видѣлъ или о чемъ слышалъ въ тогдашнее время.

Самымъ ужаснымъ тогда казалось, что люди въ нашемъ мѣстѣ были связаны крѣпостною неволею: черезъ это они не могли никуда отлучиться и ничего себѣ промыслить. Среди мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ въ Курской и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Орловской губерніи по мѣстамъ происходило такъ, что дѣти и старики «ходили въ-поборъ», а взрослые работали на барщинѣ, и работали работы неспѣшныя, какъ-то: сѣкли про запасъ хворостъ или рыли канавы,—съ чѣмъ со всѣмъ можно было подождать, а ѣли «сборное», т.-е. то, что старики или ребятишки гдѣ-нибудь «напросятъ Христа ради». Въ большихъ экономіяхъ кре-

стьянамъ было гораздо лучше, уже по тому одному, что тамъ по крайней мѣрѣ не стѣсняли людей, и мужики поползли «съ топорами» (т.-е. плотничать) въ Кіевъ, въ Харьковъ и въ Нѣжинъ, и «съ лошадёмъ» подряжались везти «лагуны» (съ саломъ) или «бунты» (съ пенькою) въ Таганрогъ и въ Одестъ. И въ первомъ, и во второмъ отходѣ заработокъ ихъ былъ самый ничтожнѣйшій, или лучше сказать — никакого. Работали они больше только «изъ одного прокорма», и то считалось еще хорошо, если работникъ прокормится и назадъ домой вернется «съ лошадёмъ», а не съ однимъ «кнутикомъ». А то случалось, что онъ придетъ да обрадуетъ домашнихъ, что «кобылу» или «мерина ободралъ въ ухабѣ». Крестьяне, которые «нашли ряду» и успѣли уѣхать ранѣе, пока лошади ихъ еще не обезсилѣли отъ изнурительной безкормицы, кое-какъ справлялись, и на дорогѣ, въ самомъ пути отъѣдались сами и откармливали лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже сталъ санный путь и лошади давно заморены на безкормицѣ,—у этихъ все «рушилось»: лошади у нихъ запрокидывались кверху ногами въ первомъ раскатѣ и «падали». Какъ безподрѣзныя сани пойдутъ въ раскатъ и ударятъ клячу по исхудалымъ булдыжкамъ,— она тотчасъ же и упадетъ, и лежитъ. Ее «поднимаютъ» мужики, кто за хвостъ, кто за плечи. Поднимутъ, установятъ и поддерживаютъ, а потомъ тронутъ: «ну, матушка!» Но она пройдетъ нѣсколько шаговъ, и опять хлопнется, ноги вверхъ задеретъ и даже не бьется. Чуть только не проситъ, чтобы ее ужъ и не трогали, — что «мнѣ-де уже все равно какъ околѣть, лишь бы только поскорѣе».

Иногда, бывало, видишь, что какъ только лошадь поднимутъ, такъ она тутъ же сію минуту опять и падаетъ. Мужики, даже самые жестокіе, тутъ плакали какъ дѣти и жалѣли лошадей, — не били ихъ, а все, бывало, уговариваютъ лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!»—да сами

во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтятъ и подсобляютъ, а сами все плачутъ.

Страшное это представляло зрѣлище, какъ они, бывало, плетутся по дорогамъ длинными вереницами, и сами взъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсѣмъ одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже—кто кого жалче.

Во всякомъ случаѣ извѣстная художественная группа Рѣпина, изображающая поволжскихъ бурлаковъ, представляетъ гораздо болѣе легкое зрѣлище, чѣмъ тѣ мужичьи обозы, которые я видѣлъ въ голодный годъ, во время моего дѣтства.

Въ глубокихъ ухабахъ или подъ раскатами столбовыхъ дорогъ то-и-дѣло, бывало, валяются ободранныя «падла» и надъ ними стаями вѣются черныя птицы, высматривающія—какъ бы имъ ухватить что-нибудь изъ того, что̀ можетъ остаться послѣ зубовъ страшно освирѣпѣвшихъ отъ голода собакъ. Собаки тогда рыскали очень далеко отъ домовъ и дичали совершенно какъ волки. Крестьяне, какъ извѣстно, и въ «довольное время» не любятъ кормить своихъ сторожевыхъ собакъ, и держатся того взгляда, что «песъ самъ о себѣ промыслитель», а въ голодный годъ собакъ и нечѣмъ было кормить. На ихъ собачье счастье лошадей околѣвало множество и трупы ихъ, или, по-мужичьи, «коневое падло», валялись безъ перевода и по полямъ, и по задворкамъ. Псамъ только надо было имѣть чутье да ноги, чтобы не пропасть съ голода. Но удивительно было, какъ они далеко узнавали о каждой павшей скотинѣ! Бывало, гдѣ ни выволокутъ падло, собаки ужъ знаютъ, и черезъ часъ-два собачьи слѣды такъ и наплетутъ черезъ всѣ поля сѣть по снѣгу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собакъ непремѣнно есть какое-то свое имъ свойственное средство сообщать другъ другу новости о событіяхъ, совершающихся за предѣлами ихъ слуха, зрѣнія и обонянія. Въ самомъ дѣлѣ, чутье едва ли могло достигать на такія далекія разстоянія, откуда сбѣгались собаки тер-

зать падаль! Приходилось видѣть знаемыхъ деревенскихъ собакъ, прибѣгавшихъ верстъ за двѣнадцать и за пятнадцать. Въ началѣ зимы, когда лошадей дохло много, собаки такъ хорошо отъѣлись, что волки ихъ боялись, и онѣ не подпускали волковъ къ пиру; но потомъ, когда всѣ лошади переколѣли, голодъ собакъ сталъ ужасенъ, и волки пошли рвать ихъ. Впрочемъ, псамъ все-таки было лучше, чѣмъ травояднымъ. Коровъ своихъ крестьяне «до послѣдняго берегли» и «воспитывали крышами». Сгребутъ, бывало, съ крышъ давно почернѣвшую солому и иногда «попарятъ ее въ корчажкѣ»—вотъ и кормъ. Солить было нечѣмъ: тогда соль составляла «правительственную регалію», и была такъ дорога, что плоховатые мужики и въ «ровные»-то года часто ѣли сныть несоленую. (У Тургенева мужикъ говоритъ, что надобно осиротѣлую дѣвчонку взять. Баба отвѣчаетъ: «намъ самимъ сныть посолить нечѣмъ». А мужикъ говоритъ: «А мы ее несоленую!»—и дѣвчонку взяли). Коровъ «ходячихъ» не рѣзали. Станетъ она «падать» или «заваливаться», идучи на водопой — ее все еще поднимаютъ и ведутъ до дому, «поддерживаютъ» и опять «крышей воспитываютъ». И такъ водятся съ ней до тѣхъ поръ, пока у нея «титьки высохнутъ». Тутъ уже, значитъ, ждать отъ нея больше нечего—«воспитаніе» ея кончено и остается ей «ножъ воткнуть». Зарѣзанную полуиздохшую корову поскорѣе «требушили» и потомъ волокли «въ копоть», т.-е. разнимутъ ея трупъ на частички и повѣсятъ эти разсѣченныя части «надъ дымомъ», чтобы ихъ «прокурило» и «духъ отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертнаго разложенія былъ какой-то особенный, вѣроятно болѣзненный, запахъ, котораго «утроба человѣческая не принимала». А потомъ, когда дымъ все это «прокуритъ»—вонь нѣсколько измѣняла свой характеръ и мясо воняло иначе,—менѣе противно: тогда его, бывало, варятъ и ѣдятъ.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что̀ «дымить», а впереди ждало положеніе гораздо болѣе тяжкое.

Здѣсь однако мнѣ припоминается, какое горе бывало въ крестьянскомъ дворѣ, когда дѣлалась очевидною неминуемая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».

Какъ, бывало, доходитъ послѣдній кормъ, такъ «безкормной коровѣ» отъ мужиковъ выходитъ рѣшеніе, что ее надо «приколоть»... Тогда всѣ бабы принимаются «выть», а на нихъ глядя, завоютъ всѣ дѣти, и всѣ стараются «коровушку покрыть», т.-е. увѣряютъ мужиковъ, будто она еще можетъ жить; но мужики этому не внемлютъ, и какъ замѣтятъ, что подойникъ пустъ, такъ сейчасъ же и берутся исполнять свое рѣшеніе.

Это ужасныя минуты въ крестьянской избѣ, которыхъ нѣтъ средствъ описать, а ихъ надо видѣть.

Послѣ ссоры и спора изъ-за коровы между бабами и мужиками—въ избѣ вдругъ пропадаетъ хлѣбный ножъ!..

Нѣтъ его, да и только! Бабы говорятъ: «ребята затащили»,—мужики дерутъ ребятъ за виски; ребята говорятъ: «мамка скрала»,—мужики мнутъ мамкѣ потылицу... Всѣмъ дѣла много, а ножъ все-таки не отыскивается.

Идутъ занимать ножъ къ сосѣду, но и у сосѣда ножъ пропалъ! Бабы рѣжутъ хлѣбъ какими попало ножевыми «аскретками», а настоящіе хлѣбные ножи всѣ «пропали». Ихъ ищутъ-ищутъ и не находятъ. Мужики понимаютъ, что это значитъ, и долго не разговариваютъ, а идутъ за ножемъ на другой конецъ деревни и тамъ гдѣ-нибудь пригодный ножъ находятъ. Тутъ же дѣлаютъ и уговоръ еще о живой коровѣ: какъ дѣлить ея «тушу», кому передъ, кому задъ, кому нутро или студни. Объ этомъ уговариваются, чтобы не пропадала «убоина», и заразъ нѣсколько коровъ въ деревнѣ не рѣжутъ. Сегодня рѣжетъ одинъ сосѣдъ, а другой поджидаетъ, если есть чѣмъ издыхающую «воспитывать».

Когда мужикъ добудетъ ножъ и возвращается въ избу, онъ молча начинаетъ водить ножъ по желѣзистому кирпичу на загнеткѣ. Видъ у него тогда мрачный, и бабы начинаютъ его бояться и уже не воютъ, а тихо плачутъ;

но мужика и это выводитъ изъ терпѣнія. Къ тому же мать или другая старуха, которая не боится тукманки, гдѣ-нибудь за угломъ причитаетъ. Мужикъ спѣшитъ точить ножъ и, пощупавъ его на ладони, уходитъ звать на помощь сосѣда. Съ «уборкой» буренки надо спѣшить, потому что она того и гляди околѣетъ, и тогда выйдетъ не «убоина», а «падло».

Потомъ настаетъ въ избѣ жуткая тишина... Со двора все слышно, какъ мужики путаютъ корову возжами и потомъ бьютъ ее долбней по головѣ. Безъ этого они убить большую скотину не умѣютъ. А потомъ, когда этотъ ужасный стукъ долбни по черепу прекратится, — мужикъ перекрестится и всунетъ коровѣ ножъ въ горло... И всѣ стоятъ вокругъ въ тишинѣ и смотрятъ, какъ кровь бьетъ и зарѣзанная еще дрыгаетъ связанными ногами и смотритъ. Потомъ тишина кончена и закричатъ: «давай нòчвы!» Тутъ всему дѣлу развязка: бабы уже работаютъ спокойно; носятъ разрубленныя части своей бурёнки по избамъ и вѣшаютъ ихъ на деревянныхъ крючьяхъ и на лыковыхъ веревкахъ подъ потолками и надъ дверями черныхъ избъ (гдѣ дымъ идетъ). Тутъ это мясо коптилось или какъ будто бы коптилось. На самомъ же дѣлѣ орловскіе мужики мяса коптить не умѣли, да и негдѣ было имъ его коптить какъ надобно; а они только добивались, чтобы отъ него «не дюжо смердѣло».

Такъ пріѣли весь рогатый скотъ, и ко Срѣтенью (2 февраля) во всемъ селѣ, о которомъ разсказываю, осталась только одна корова у старосты, да двѣ у дворовыхъ; но лошадей еще оставалось на сорокъ дворовъ штукъ восемь, и то не у крестьянъ, а у однодворцевъ, которые жили въ одномъ порядкѣ съ крѣпостными. Однако всѣ эти лошади содержались на одной соломѣ и ни для какой работы не годились. Ихъ даже нельзя было гонять на водопой къ колодцу, потому что онѣ завязали въ сугробахъ и падали, и люди должны были ихъ вытаскивать и волочь домой—что̀ было очень трудно.

Но не будемъ болѣе говорить о скотахъ, а посмотримъ что̀ случалося съ самими сынами человѣческими, отбывавшими здѣсь же безпомощно и безропотно всѣ выпавшія на ихъ долю злоключенія «голоднаго года».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Изобразить въ общихъ чертахъ состояніе духа деревенскихъ людей за все время ужасной зимы сорокового года— я не умѣю. Была и унылость, и отчаяніе, и стоны, и неимовѣрное мужество... все это «человѣкомъ» и «часомъ», т.-е. каждый человѣкъ переносилъ свое мученіе сообразно своему характеру и не во всякую минуту одинаково. Съ виду даже, пожалуй, незамѣтно было, что люди переживаютъ *особенное страданіе*: жизнь въ крестьянскихъ избахъ плелась почти такая же безотрадная, какъ и всегда. Тѣ же стоны и кряхтѣнье стариковъ, не слѣзающихъ съ остылыхъ печей; тотъ же дымъ и вонь, а часто и снѣгъ, пролѣзающій по угламъ, съ наружной стороны изб̀ъ во внутреннюю; тѣ же слабые писки голыхъ и еле живыхъ ребятъ со вспухшими животами и красными отъ дыма глазами; но зимняя картина въ орловской деревнѣ никогда и не была другою... Я ее всегда видѣлъ именно этакою. Мнѣ гораздо легче вспомнить и удобнѣе, кажется, передать нѣкоторые, *особенные случаи*, которые уцѣлѣли въ памяти и которые я изложу одинъ отъ другого въ отдѣльности.

Прежде всего вспоминается мнѣ хилая дѣвочка Васёнка, которую «Богъ взялъ», и я съ этого начну мои рапсодіи, но такъ какъ мать Васёнки жила на дворовомъ положеніи, то прежду я скажу коротко о положеніи людей дворовыхъ, которое отличалось отъ крестьянскаго. Дворовымъ людямъ, которые въ обыкновенное время почитали себя несчастнѣе крестьянъ, въ голодовку выходило лучше, чѣмъ крестьянамъ, потому что дворовыхъ, не имѣвшихъ земли и состоявшихъ на работѣ при помѣщичьихъ дворахъ, помѣщики должны были кормить и кое-какъ кормили. Въ обыкновен-

ное время имъ отпускали на мужчину 1 п. 30 ф. въ мѣсяцъ, а на женщину 1 п. 20 ф. и на дѣтей (съ 5 до 15 лѣтъ) по 20 ф. ржаной муки. Болѣе не давали ничего: приварокъ и соль они должны были припасти себѣ сами, и гдѣ-то они этимъ дѣйствительно раздобывались. Въ голодный годъ во многихъ мѣстахъ этимъ людямъ сдѣлали страшную обиду: «сняли ихъ съ мучной мѣсячины на печеный отвѣсъ», т.-е. стали давать имъ по 3 ф. хлѣба въ день на мужчину и по 2 ф. на женщину, а мальчикамъ и дѣвочкамъ по полтора фунта. Притомъ если варили щи или кашу, то въ эти дни хлѣбный отвѣсъ уменьшался на половину. Этимъ уже дворовые люди были страшно недовольны, потому что они своимъ «отвѣснымъ хлѣбомъ» дѣлились со своими родственниками, голодавшими на деревнѣ, и это составляло ихъ священное право «помогать на деревню».

Дворовымъ и комнатной прислугѣ съ Введенія (21 ноября) мѣсячину и отвѣсъ тоже стали выдавать не «чистымъ хлѣбомъ», а съ примѣсью, но съ примѣсью очень съѣдобною, по преимуществу съ картофелемъ, и только въ случаѣ недостатка картофеля, — съ конопляным жмыхомъ, который если свѣжъ и не горекъ, то вкусъ хлѣба не очень портитъ. Во всемъ хозяйствѣ теперь только намъ къ столу подавали чистый и притомъ «обрушенный» ситный хлѣбъ, муку для котораго содержали въ кади, въ кладовой подъ замкомъ, и отпускали ее въ кухню для выпечки.

Хлѣбъ этотъ былъ, конечно, гораздо лучше крестьянскаго пирога, и мы, дѣти, это знали и, ѣвши такой хлѣбъ, чувствовали что-то въ родѣ стыда по тому случаю, что мы пресыщались вкуснымъ хлѣбомъ, и даже кормили имъ нашу собачку Фиделькy, тогда какъ на деревнѣ дѣти сосали жмыхъ...

Въ дѣтскихъ сердцахъ нашихъ какъ будто раздавался голосъ Бога, вопрошающаго о братѣ...

Пекла нашъ «господскій хлѣбъ» та птичница Аграфена, изъ однодворокъ, о которой упоминалось выше,—та, кото-

рая видѣла сны и первая запророчила быть голодному году. Она — напоминаю опять — имѣла право уйти отъ насъ, но жила на положеніи крѣпостной, потому что у нея были дѣти, прижитыя съ крѣпостнымъ мужемъ, и въ числѣ ихъ была та Васёнка, которую «Богъ взялъ», о чемъ сейчасъ и будетъ предложено, какъ это случилось.

Испеченный Аграфеною ситный хлѣбъ опять принимали отъ нея по вѣсу, требуя на каждый пудъ муки опредѣленное по опыту количество припеку, на что пекарки-бабы очень жаловались и находили это требованіе несправедливымъ, потому что «всякая мука даетъ свой припекъ неровно». Но имъ не вѣрили и усчитывали ихъ на золотники, точно дѣло шло о золотѣ. И «свой братъ» и «своя сестра», такіе же дворовые и крѣпостные, поддерживали въ господахъ это недовѣріе, постоянно донося на пекарокъ, будто тѣ «отнимаютъ тѣста отъ господскихъ хлѣбовъ своимъ дѣтямъ на лепешки». По такимъ доносамъ ключницею дѣлались внезапные обыски, и одинъ разъ у птичницы Аграфены, которая имѣла четырехлѣтнюю дочь Васёнку, страдавшую «кишкою», дѣйствительно нашли «шматокъ тѣста съ ладонь», спрятанный между грязными подушками постели, на которой стонала ея больная дѣвочка. Я помню, какъ объ этомъ «довела» дѣвочка, бывшая въ «выносушкахъ», по имени Агашка, и передъ матушкою стояли разомъ эта Агашка и ключница, производившая обыскъ, и Аграфена, а на столѣ въ видѣ поличья лежалъ «шматокъ тѣста», которое она отняла отъ барскихъ хлѣбовъ и хотѣла спечь изъ него лепешку Васёнкѣ. Аграфену уличали Анна и Агашка, и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и «грубила». А грубость ея выражалась тѣмъ, что она очень страшно кляла свою дѣвочку Васёнку. Это зашло такъ далеко, что матушка забыла о дѣлѣ по существу и начала сердиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. Матушка говорила ей, что она не имѣетъ права такъ клясть дѣвочку и желать ея смерти! Но Аграфена этому кощунственно не вѣрила и, скребя ногтями свои локти, отвѣчала:

— Что еще за право надо, когда я ей родительница! Возьму ее да и убью!

— И судиться будешь.

— Ну такъ и что жъ такое!

— Тебя не помилуютъ.

— Да и не надобно!.. И такъ-то ужъ у васъ надоѣло!

И проговоривъ это съ дерзостью, Аграфена нетерпѣливо повернулась и ушла.

Ее не останавливали: ея однодворчество было для нея все равно, что «римское гражданство».

Матушка сказала, чтобы ей простили шматокъ тѣста и не попрекали ее этимъ, и тѣмъ дѣло о шматкѣ въ господскомъ домѣ было окончено, но въ птичной избѣ, гдѣ пекли хлѣбы, оно продолжалось и окончилось только наканунѣ Николина дня (5 декабря), когда четырехлѣтняя Васёнка была найдена надъ птичною избой возлѣ трубы, въ гнѣздильной плетушкѣ, и совершенно закоченѣвшая. А нашла Васёнку опять та же Агашка, которая въ этотъ разъ была послана ключницею наверхъ птичной избы обобрать въ покинутыхъ галочьихъ гнѣздахъ забытыя «подкладухи» (каменныя яички). Тутъ Агашка, шаря въ полутьмѣ руками подъ застрѣхою, нащупала въ заиндевѣвшемъ хворостѣ что-то такое, что̀ инстинктивно показалось ей чрезвычайно страшнымъ. Агашка вскрикнула и, не попавъ на приставную лѣстницу, свалилась прямо съ потолка избы на полъ сѣней, а когда прибѣжала въ горницу, то заговорила, что «на птичной избѣ подъ застрѣхой въ хворостинахъ, близко къ трубѣ, сидитъ что-то страшное». Тогда послали на верхъ взрослую дѣвушку съ фонаремъ — и та нашла тамъ Васёнку... Дѣвочка была въ одной рубашкѣ и босая, но ножки обвертѣла хлопочками, которые нашла въ выставленномъ сюда изъ избы плетеномъ гнѣздѣ, на которомъ въ свое время сидѣли на яйцахъ насѣдки. Васёнка подвинула одно изъ такихъ гнѣздъ подъ застрѣху, усѣлась въ него, а головкою прислонилась къ заиндевѣвшимъ хворостиннымъ

рѣшетинамъ соломенной кровли и такъ закоченѣла, но она еще была жива, и когда ее принесли въ избу, она даже какъ будто бы смотрѣла, но только глазки у нея были «какъ сонные».

Когда ее принесли въ избу, то сейчасъ же прибѣжали въ господскій домъ сказать объ этомъ случаѣ барынѣ. Это, разумѣется, произвело смятеніе, въ которомъ всякій по-своему обнаруживалъ свою находчивость. А такъ какъ это произошло въ то время, когда мы только отпили утренній чай и матушка перемывала въ полоскательницѣ чайныя чашки, посерединѣ которыхъ стоялъ чайникъ со спитымъ чаемъ и съ двумя кусочками сахару, составлявшими «положенье» для няни и ключницы, то матушка велѣла отнести этотъ чай въ птичную и сама поспѣшила туда же, а за нею, въ общей суматохѣ, проникли туда и мы.

Тамъ мы увидѣли, что наша мать и нѣсколько женщинъ стояли вокругъ Аннушки, которая сидѣла на скамейкѣ и держала на колѣняхъ застывшую дѣвочку, а матушка, нагнувшись къ ней, старалась влить Васёнкѣ въ ротикъ съ ложечки чаю.

Стоя близко къ самому центру дѣйствія, я видѣлъ, какъ матушка достигла чего хотѣла,— она влила въ ротикъ Васёнки чайную ложечку тепловатаго чаю, и дѣвочка этотъ чай какъ будто проглотила, но вдругъ на губкахъ у дитяти что-то запѣнилось и затѣмъ все вылилось вонъ, а въ горлышкѣ что-то щелкнуло и въ животикѣ забурчало.

Аннушка ослабила руки, которыми держала ребенка, и, вскинувъ на матушку испуганными глазами, прошептала:

— Отходитъ!

Послали какъ можно скорѣе принести изъ матушкина образника плисовую шапочку угодника Митрофанія, но когда стали ее надѣвать на головку Васёнки, увидали, что она уже умерла.

Шапочку однако все-таки надѣли, и Анна въ этой же шапочкѣ положила дѣвочку на лавку подъ образъ, а возлѣ нея поставили ковшикъ съ водою, чтобы «душка ея обмылась».

Это для меня было трогательно и занимательно, потому что до этой поры я еще не былъ при разлученіи человѣческой души съ тѣломъ, и я не ожидалъ, чтобы это происходило такъ просто.

Аграфены во все это время дома не было: она ходила на деревню къ своей бѣдной сестрѣ-солдаткѣ, которая тоже умирала.

Матушка послала за Аграфеной, а сама ушла, но я притаился и остался въ птичной.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Этотъ первый случай, «какъ духъ уходилъ, и никто не видѣлъ, куда онъ идетъ», врѣзался у меня въ памяти на всю мою жизнь, и тихая «смёрточка» тихой Васёнки тогда вдругъ показалась мнѣ страшнымъ укоромъ, вставшимъ противъ самыхъ близкихъ и дорогихъ мнѣ людей, до которыхъ сердце мое не желало бы допустить никакой укоризны. Я бросился въ уголъ, гдѣ стояли гусиныя гнѣзда, и горько заплакалъ о Васёнкѣ... Я все вспоминалъ, какъ, бывало, зайдешь въ эту избу, среди дня, когда она жарко натоплена и въ ней стоитъ густой запахъ свѣже-испеченаго хлѣба,— караваи хлѣба лежатъ на столѣ, покрытые бѣлымъ закатникомъ, въ кошелкахъ гогочутъ гуси и тикаютъ цыплятки, а Аграфены нѣтъ, и только одна терпѣливая Васёнка лежитъ на грязной постели подъ грубымъ веретьемъ и смотритъ тихо и безропотно или вдругъ скажетъ:

— Мамки нѣтъ... она ушодцы!—и сама снова умолкнетъ, и опять лежитъ тихо-претихо.

Теперь она уже совсѣмъ умолкла и затихла навѣки. Ей теперь хорошо; но сколько она должна была перестрадать и перемучиться, пока застыла подъ застрѣхой! Какой ужасъ! И что̀ такое могло ее побудить оставить постельку, на которой она всегда такъ терпѣливо лежала, и лѣзть на холодный чердакъ, чтобы тамъ закоченѣть въ страшной стужѣ?

Я былъ твердо увѣренъ, что тутъ есть какая-то тайна, которую отгадать страшно, и получилъ въ этомъ еще бо̀ль-

шее удостовѣреніе, когда въ избу съ надворья, въ облакѣ морознаго пара, вошла вдова Аграфена.

Она посмотрѣла на свою умершую дѣвочку и на всѣхъ, которые ее укладывали «подъ святые», и молча, съ совершенно безчувственнымъ лицомъ, пошла въ противуположную сторону къ печи и стала грѣть возлѣ нея руки.

Въ это время опять вошла матушка, неся въ рукахъ дѣтскую рубашечку съ голубою лентою. Увидя Аграфену, матушка тронула ее за плечо и сердито показала ей на мертваго ребенка.

Аграфена посмотрѣла и опять ни слова не отвѣчала.

— Видишь или нѣтъ?—строго спросила матушка, и только тутъ Аграфена отвѣтила ей дерзко:

— Что̀ видѣть-то?.. Ну и вижу!

— Это твой вѣдь ребенокъ?

— Ну и мой! Что жъ такое? Былъ мой, а теперь пускай будетъ Божій! Господь его принялъ, и слава Богу.

— Ты безчувственная!

— Ну такъ что-жъ такое хоть и безчувственная!.. Богъ взялъ дитя—что̀ тутъ еще чувствовать! Его воля.

Матушка покачала головою и, погрозивъ Аграфенѣ пальцемъ, вышла и унесла съ собою на груди шапочку Митрофанія; а какъ только барыня ушла—Аграфена подошла къ дѣвушкамъ и, обхвативъ ихъ всѣхъ трехъ сразу одной охапкой, толкнула къ дверямъ и сказала:

— Сгиньте, доносчицы!

Я не трогался и не шевелился.

Аграфена меня не замѣчала: она стала возлѣ Васёнки, послюнила пальцы и этими пальцами разгладила ей на лобикѣ ея льняные волоса, потомъ вдругъ икнула, опустилась на лавку, и у нея полились слезы; но это было не долго: она вытерла лицо грязной тряпкой и подошла къ стоявшей въ углу коробьѣ.

Здѣсь она увидала меня и, казалось, немного удивилась, но однако не сказала мнѣ ни слова, а, порывшись въ коробьѣ, достала оттуда конецъ полотна, нитки и наперстокъ

и пошла къ столу, чтобы что-то кроить, но въ это время въ избу вбѣжала дѣвочка Агашка и сказала, что мать моя сама пришлетъ Васёнкѣ саванъ и покровецъ.

Аграфена ничего не отвѣтила, но завернула нитки и ножницы опять въ полотно и снова все это положила въ коробью, и тутъ, нагнувшись надъ коробьею, вдругъ зарыдала.

Я робко приблизился къ ней и, самъ плачучи, обвилъ руками ея шею, но она меня отодвинула и сказала:

— Не замай! не замай! — и опять заголосила.

Мнѣ показалось страшно съ нею оставаться, и я пошелъ домой, гдѣ теперь всѣ были заняты судьбою Васёнки и притомъ всякій по-своему: матушка отрѣзала холстъ на саванъ Васёнкѣ, а дѣвушки шили эту никогда до той поры мною невиданную вещь «на живую нитку». Матушка каждой изъ нихъ напоминала, чтобы непремѣнно шить «на живую нитку».

Я очень интересовался, почему дѣвушки должны были шить на живую нитку, когда имъ въ другихъ случаяхъ такое шитье ставилось въ вину, и мнѣ объяснили, что это такое правило, что «на мертвыхъ всегда надо шить на живую нитку».

Я тогда былъ въ такомъ возрастѣ, когда дѣти «набираются впечатлѣній», и все новое меня очень интересовало.

Я давно слыхалъ слово «саванъ» и привыкъ чувствовать въ его звукѣ что-то зловѣщее, но никогда савана не видалъ, и теперь напрасно всматривался, какъ его шили, потому что ничего не могъ разобрать въ кучкѣ полотна, которая вертѣлась у швеи на колѣняхъ; но потомъ мнѣ удалось его увидать. Когда большія дѣвушки пошли обѣдать, рѣзвая дѣвчонка Роська, оставшаяся дежурной по дѣвичьей комнатѣ, наложила Васёнкинъ саванъ на себя и стала передъ отворенными дверями въ нашу дѣтскую, такъ что мы ее увидали, и сначала мнѣ показалось, будто я вижу «козу», которая ходитъ плясать съ медвѣдями, но по-

томъ я понялъ, что это и есть саванъ... Я испугался и, закричавъ отчаяннымъ голосомъ, убѣжалъ къ старшимъ.

Васёнку я не видалъ въ ея погребальномъ уборѣ, приготовленномъ для нея на живую нитку; но когда я легъ спать, то, прежде чѣмъ заснуть, мнѣ привелось услыхать разъясненіе, какъ она попала на чердакъ. Всему дѣлу виновницею оказалась ея мать, Аграфена, или, точнѣе сказать, ея «сибирный карахтеръ» (такъ доносила матушкѣ старостиха Домна). «Аграфена узгордилась, чтобы никто на нее не смѣлъ думать, что она дочкѣ шматокъ тѣста отъ господской дежки беретъ». И она будто Васёнку взяла и выгнала, чтобы та шла въ общую людскую избу, пока хлѣбъ высидится, а сама Аграфена къ сестрѣ на деревню пошла и тамъ задержалась, потому что сестрѣ горшокъ накидывала; а Васёнка побоялась идти въ людскую избу, потому что тамъ въ сѣняхъ бѣлая телка, которая бодалась, и спряталась на чердакъ въ гнѣзда и тамъ застыла.

И Васёнку схоронили, а на Аграфену не сердились, и даже, когда подходилъ Васёнкѣ девятый день, Аграфенѣ велѣли выдать полпуда муки на блины и приказали дать ей лошадь, чтобы она могла поѣхать съ сыномъ своимъ, девятилѣтнимъ Егоркою, на кладбище; но Аграфена муку взяла и отнесла ее на деревню къ сестрѣ, а на лошади не поѣхала, а пошла съ Егоркою пѣшкомъ, хотя день былъ прескверный: холодъ и метель.

Пошли они утромъ, но не возвратились засвѣтло, а метель разыгралась, и думали, что вдова съ сыномъ остались переждать погоду у кого-нибудь изъ дьячковъ. Но на другой день ее не нашли на Поповкѣ, а потомъ и ее, и сына отыскали въ овражкѣ—мать съ сыномъ сидѣли обнявшись и оба замерзли.

Повидимому, они шли домой и сбились съ дороги; но нѣкоторые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, чтобы его «ослобонить».

Истину въ этомъ дѣлѣ открыть было невозможно, и дьячокъ Меркурій, которому заказывали дѣлать надписи на крестахъ,

написалъ на крестѣ, покрывшемъ семейство горделивой Аграфены: «Боговинися душа».

Никто не могъ понять въ точности, что̀ такое это значило, но всѣ находили, что это «что-то значитъ».

А дьячокъ Меркурій только кивалъ значительно головою и произносилъ: «гмъ!» — а внятнѣе ничего не сказывалъ.

Смерть Васёнки, Аграфены и Егорки была первымъ трагическимъ случаемъ изъ всѣхъ событій голодной зимы въ нашей деревнѣ, но драма эта совершилась втайнѣ и «предана волѣ Божіей».

Другія событія, которыя я припоминаю, случились позже и не такъ близко, какъ это. Но здѣсь еще надо вставить отрывокъ о хитромъ помѣщикѣ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Хитрый помѣщикъ былъ не кто иной, какъ майоръ Алымовъ, о которомъ вскользь уже упомянуто. Его почему-то не называли по имени и отчеству, а титуловали *по чину:* «майоръ». Онъ былъ молодой, холостой, бравый, сильный, плечистый, съ огромнѣйшими черными усами «въ-розметъ» и съ бойкими, но непріятными манерами дурного тона, которыми онъ и оттолкнулъ отъ себя сосѣда-моряка при мслебнѣ о дождѣ для земли алчущей.

Алымовъ служилъ въ какомъ-то полку и вышелъ въ отставку по какой-то «исторіи». Это, должно-быть, имѣло общественное значеніе, потому что при всякомъ случаѣ, когда мои родители знакомили съ кѣмъ-нибудь майора Алымова, то непремѣнно къ громко произнесенной рекомендаціи его прибавляли потише, что онъ «вышелъ по исторіи». Майоръ былъ холостъ и постоянно «лыталъ и судьбы пыталъ» или, проще сказать — искалъ выгодныхъ невѣстъ для законнаго брака, а до устройства себѣ искомаго семейнаго положенія онъ жилъ одинъ въ своей небольшой деревушкѣ, гдѣ у него былъ очень скромный до-

микъ, въ пять комнатъ, и вся усадьба, устроенная его матерью «по-однодворчески», а не по-дворянски. То-есть, домикъ у Алымова былъ построенъ однимъ фасадомъ въ садъ, гдѣ не было никакихъ иныхъ деревьевъ, кромѣ фруктовыхъ, а всѣми другими тремя сторонами этотъ домикъ выходилъ во дворъ, обнесенный всѣми хозяйственными службами, — закутами, сараями, амбарами и амбарушками.

Такой способъ постройки въ нашихъ мѣстахъ назывался «въ кольцо» и имѣлъ ту выгоду, что и люди, и животныя— всѣ были у хозяина передъ глазами; но зато кромѣ ихъ уже ничего другого видно не было.

Отъ этого на такихъ усадьбахъ не ходитъ вѣтеръ, — тепло, хозяйственно и очень скучно.

Алымовъ, по выходѣ въ отставку, уже нѣсколько лѣтъ сидѣлъ на этой усадьбѣ и велъ свое небольшое хозяйство аккуратно, почему у него было довольно всего, что только нужно въ его положеніи домовитаго холостого помѣщика и «женишка». А женишокъ этотъ, по памятному мнѣ опредѣленію моей няньки, былъ притомъ человѣкъ «довольно будто простенькій, но и довольно будто хитренькій». Онъ, напримѣръ, не подражалъ большинству помѣщиковъ, которые бывали часто очень требовательны къ своимъ людямъ и за всякую неисполнительность наказывали ихъ сурово и даже жестоко. Алымовъ хотѣлъ быть «добрымъ бариномъ»; онъ хотѣлъ «жить такъ, чтобы въ деревнѣ ему своихъ людей нечего было бояться», и «чтобы люди его хвалили». Но онъ достигъ только одной половины этой программы, т. е. онъ у себя въ домѣ своихъ людей нимало не боялся, но похвалъ себѣ отъ нихъ не дождался, а люди его говорили о немъ, что онъ «шишиморa».

Алымовъ былъ очень скупъ и изъ-за скупости будто бы и не женился, а только все сватался и на женихов-скомъ положеніи ѣздилъ изъ одного помѣщичьяго дома въ другой, заставляя принимавшихъ его хозяевъ кормить его, съ кучеромъ, казачкомъ «Валеткой», тройкою лоша-

дей и лягавою собакою, которая называлась «Интендантъ». Она была замѣчательна тѣмъ, что вездѣ умѣла отыскивать съѣстные припасы и вездѣ ихъ очень ловко крала.

У Алымова, также какъ и у насъ, въ этотъ годъ не уродилось въ поляхъ ничего, и надо было купить ржи, чтобы засѣять озимыя поля—свои и крестьянскія.

Это требовало большихъ расходовъ, и притомъ это была такая надобность, которой нельзя было отвести; но Алымовъ, однако, съ этимъ справился: онъ уѣхалъ изъ дома въ самый сѣнъ и возвратился домой «по грудкамъ» когда земля уже замерзла и была запорошена мелкимъ снѣгомъ. А чтобы не нести покоръ на своей душѣ, что онъ бросилъ крестьянъ на жертву безкормицы, онъ ихъ утѣшилъ:

— Братцы!—сказалъ онъ «своимъ людишкамъ» по возвращеніи:—я объ васъ хлопоталъ,—хотѣлъ найти озимыхъ сѣмянъ, да не нашелъ; но вы какъ-нибудь перебьетесь... Не правда ли? Я нашелъ отличныя сѣмена *яровой ржи* и купилъ цѣлыхъ десять четвертей. По осени ихъ везти неспособно было изъ Дмитровки, а теперь готовьтесь: какъ санный путь встанетъ—поѣзжайте на пяти подводахъ, берите по двѣ четверти на лошадь и привозите домой, ссыплемъ въ одинъ мой амбаръ, а по веснѣ, что Богъ дастъ,—запашемъ и засѣемъ всѣ земли — мои и ваши, и будетъ чудесно... не правда ли?

Мужики отвѣчали:—Можетъ, и правда! А сами подумали: «Вѣрно, брешетъ, — вѣрно, что-нибудь крутитъ, шишимора!»—однако поѣхали и яровую рожь привезли.

А какая она такая будетъ и годится ли—то имъ было не вѣдомо, и потому они дѣлали все это съ неудовольствіемъ.

Прибыли на дворъ, выпрягли лошадей и оставили рожь на санкахъ,—ссыпать было поздно.

А когда пришли ссыпать на другой день, то увидали нѣчто необыкновенное: господинъ ихъ захотѣлъ Божье зерно все перепортить.

Алымовъ начиталъ въ «Трудахъ Экономическаго Общества» что-то необыкновенное о «навозной жижѣ», въ которой рекомендовалось мочить сѣмена и потомъ ихъ высушить, и отъ посѣва такихъ сѣмянъ урожай бываетъ отмѣнный.

Шишимора сейчасъ же устроилъ у себя на скотной избѣ ящикъ, величиною въ два большихъ корыта,—навелъ тамъ жижицы на мѣшаномъ конскомъ и иномъ пометѣ и велѣлъ въ немъ «зерно макать да просушивать», и тогда только въ амбаръ ссыпать.

Затѣя эта мужикамъ очень не понравилась и показалась глупою, а оттого и руки у нихъ не поднимались, чтобы «добро не знамо въ чемъ мочить»; но дѣлать было нечего—власть господская выше, и мужики своему «шишиморѣ» повиновались, все помочили, обсушили и ссыпали,—амбарь заперли и ключъ ему принесли и у самыхъ образовъ на стѣнку повѣсили. А шишимора сейчасъ же опять велѣлъ заложить свою тройку въ сани, взялъ казачка Валетку и собаку «Интенданта» и поѣхалъ свататься на цѣлую зиму. И выѣздъ этотъ онъ производилъ съ повсемѣстнымъ успѣхомъ, которому очень помогала его «продувная штука», «какъ онъ оплёлъ мужиковъ».

Оплетаніе же заключалось въ томъ, что яровая рожь, припасенная на сѣмя, была «припоганена» посредствомъ замачиванья ея въ навозной жижѣ, и что теперь за эту рожь уже бояться нечего, такъ какъ мужики ее, «поганую» отъ мочки въ навозѣ, на снѣдь уже не украдутъ.

— А что же они зимой будутъ ѣсть?—спрашивали майора.

— Сдѣлайте вашу милость!—отвѣчалъ Алымовъ,—объ нихъ, пожалуйста, не безпокойтесь! Они свое дѣло знаютъ. Но я ихъ, впрочемъ, *такъ* не оставляю: я имъ сказалъ: «Братцы! вѣдь это всего только до весны... вы до весны какъ-нибудь перебейтесь!» Они, не безпокойтесь: они перебьются!

И всѣмъ это казалось очень забавнымъ: люди съ воображеніемъ представляли себѣ—какъ тамъ у него мужики при-

дутъ къ амбару, гдѣ ссыпана рожь, маканная въ навозной жижѣ, и понюхаютъ они, чѣмъ пахнетъ, и увидятъ, что рожь есть, а ѣсть ее нельзя... Вотъ и смѣхъ! Не правда ли?—вотъ они и пойдутъ прочь и «какъ-нибудь перебьются».

Этого человѣка не презирали и не порицали, а напротивъ находили его пишиморскій поступокъ очень забавнымъ, и продолжали всюду принимать Алымова и кормить его. Но мы теперь оставимъ майора путешествовать изъ дома въ домъ, а сами посмотримъ, какъ обходились и что̀ выдумывали тѣ, кому было предоставлено: «какъ-нибудь перебиваться».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Передъ Рождествомъ Христовымъ прошла молва, что началось людоѣдство. Извѣстно, что и въ 1892 году въ деревняхъ объ этомъ пробовали говорить; но теперь писаря и старшины читаютъ газеты и знаютъ, что о такихъ событіяхъ пишется, а потому ложь скоро опровергается; но тогда было другое дѣло. Пришелъ кто-то откуда-то и сталъ сказывать, будто бы съ отчаянія и съ голоду люди убиваютъ другихъ людей и варятъ ихъ въ золовыхъ корчагахъ и съѣдаютъ. По преимуществу такія продѣлки приписывали матерямъ, которыя будто бы дѣлали это изъ состраданія. Глядитъ-глядитъ, будто бы, мать на своихъ дѣтей, какъ они мучатся голодомъ, и заманитъ къ себѣ чьего-нибудь чужого ребенка, и зарѣжетъ его, и сваритъ, и накормитъ своихъ дѣтей «убоиной». Указывали даже очень недалекія селенія, гдѣ, будто, навѣрное совершились всѣ такія происшествія, и описывали подробности этихъ случаевъ. Такъ, въ одномъ селѣ, которое было отъ насъ въ десяти верстахъ, одна баба будто бы долго терзалась, глядя на томленіе умиравшихъ отъ голода четырехъ дѣтей, да и говоритъ имъ съ вечера въ потемочкахъ (огня въ деревняхъ тогда многіе по-бѣдности «не свѣтили»):

— Спите, дѣтки мои, голубяточки, и если вы спать будете, то я вамъ завтра сварю убоинки.

Старшая изъ дѣтей этой бабы уже понимала нужду своего бѣднаго житья и говоритъ:

— Гдѣ же ты, мамка, возьмешь намъ убоинки?

А мать отвѣчаетъ:

— Это не ваше дѣло: вы уже только засните, а я побѣгу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмахъ у волка вырву.

Дѣвочка и раздумалась о томъ, какъ мать будетъ впотьмахъ у волка изъ зубовъ мясо вырывать, и говоритъ:

— Страшно, мамушка!

А баба отвѣчаетъ:

— Ничего не страшно: спите! Вотъ какъ вы не спите да голосите, такъ мнѣ это гораздо страшнѣе!

А было это какъ разъ въ сочельникъ.

Дѣти же у бабы были погодочки—всѣ малъ-мала-меньше: старшей дѣвочкѣ исполнилось только пять лѣтъ, а остальныя всѣ меньше, и самый младшій мальчишка былъ у нея у грудей. Этотъ ужъ едва жилъ—такъ онъ извелся, тянувши напрасно изсохшую материну грудь, въ которой отъ голода совсѣмъ и молока не было. Очевидно, что грудной ребенокъ неминуемо долженъ было скоро умереть голодною смертью, и вотъ на него-то мать и возымѣла ужасное намѣреніе, о которомъ я передамъ такъ, какъ о немъ разсказывали въ самомъ народѣ.

Какъ только баба обманомъ угомонила дѣтей и ея старшіе ребятишки уснули съ голоднымъ брюхомъ, она взяла своего грудного мальчика, дрожавшаго въ ветошкахъ, положила его къ себѣ на колѣни и дала ему въ ротикъ грудь, а возлѣ себя положила на столъ хлѣбный ножикъ. Изнуренный ребенокъ, несмотря на свою усталость, взялся за грудь, но какъ молока въ груди не было, то онъ только защелкалъ губенками и сейчасъ же опять оторвался и запищалъ... Тогда мать пощекотала у него пальцемъ подъ шейкой, чтобы онъ поднялъ головку, а другою взяла ножъ и перерѣзала ему горло.

Убивъ дитя, она будто сейчасъ же положила его въ ночвы,

а потомъ разняла на части, посовала въ горшокъ и поставила въ печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на загнѣткѣ въ золѣ сожгла, и ночвы и столъ вымыла, и тогда побудила старшую дѣвочку и сказала ей:

— Вотъ тутъ въ печи стоитъ горшокъ варится... Въ немъ, гляди, для васъ полно убоины... достаньте его и все мясушко съѣшьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?

Дѣвочка говоритъ:

— Мамушка рòдная! ты зачѣмъ же одна въ кусочки пойдешь, когда у насъ убоинка варена! Съѣшь убоинки!

Но мать только поблѣднѣла и руками замахала:

— Нѣтъ,—говоритъ,—я не хочу—вы одни ѣшьте!—и съ этимъ толкнула дверь ногой и ушла.

А дѣвочка сейчасъ же высунула емками горшокъ изъ печи, перебудила своихъ младшихъ,—сѣли за столъ и начали ѣсть.

И всего своего братца они съѣли бы безъ остаточка, но только кому-то изъ нихъ къ концу стола попалась нераскинувшаяся въ кипяткѣ ручка или ножка ребенка, и они по этой ножкѣ или ручкѣ узнали, что ѣдятъ «человѣчину»...

Тутъ они бросились бѣжать вонъ изъ избы, но только что отворили дверь, какъ смотрятъ—мать ихъ въ сѣнцахъ виситъ удавившись, подцѣпивъ веревку за рѣшетину въ снятой крышѣ.

Въ другомъ же селѣ вышло будто дѣло еще страшнѣе: тамъ будто бы «внучки съѣли свою бабушку».

Обѣ эти новости принесъ въ деревню и разсказывалъ всѣмъ на удивленье и на страхъ сухорукій Ефимъ, у котораго было особенное, очень пріятное положеніе. Его называли «прощенникъ», потому что онъ когда-то, еще при прежнихъ господахъ, сдѣлалъ очень большой грѣхъ: укралъ и одинъ, ни съ кѣмъ не подѣлясь, съѣлъ цѣлый артосъ, и за это онъ былъ три года скорченъ, но потомъ госпожа ѣздила куда-то къ святынѣ и возила этого Ефима съ собой, и онъ тамъ исцѣлился. «Богъ его простилъ»: корча отъ него была отнята, но для памяти о его грѣхѣ у него рука усохла,

такъ что работать ему было невозможно. Съ тѣхъ поръ Ефимъ не жилъ осѣдло, а все ходилъ по святымъ мѣстамъ, «молился и презвищалъ». Ефимъ былъ мастеръ разсказывать, но въ основѣ его разсказовъ часто бывало много вздора и вралъ онъ ничѣмъ не стѣсняясь, какъ будто ему и не было прощенія. Точно такъ же онъ навралъ и о сваренномъ ребенкѣ, и о старухѣ, которую съѣли внучки. Но навралъ онъ не все отъ своего ума, а взялъ нѣчто и отъ другихъ людей, среди которыхъ оба эти разсказа сложились эпически, и въ основу ихъ фабулы легли нѣкоторыя дѣйствительныя происшествія, которыя въ ихъ натуральной простотѣ были гораздо болѣе ужасны, чѣмъ весь приведенный вымыселъ съ Ефимовой раскраской.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ дѣйствительности было вотъ что: довольно далеко отъ насъ, — верстъ болѣе чѣмъ за сто, — была деревня, гдѣ крестьяне такъ же голодали, какъ и у насъ, и тоже всѣ ходили побираться кто куда попало. А такъ какъ въ ближнихъ къ нимъ окрестныхъ селеніяхъ нигдѣ хлѣба не было, то многіе крестьяне отбивались отъ дома въ дальнія мѣста и разбредались цѣлыми семьями, оставляя при избѣ какую-нибудь старуху или дѣвчонку, которой «покидали на пропитаніе» ранѣе собранныхъ «кусочковъ».

Одна изъ такихъ крестьянскихъ семей, удалившись въ поборъ, оставила въ избѣ дѣвочку лѣтъ тринадцати, которую съ собою нельзя было взять, потому что она недомогала, и притомъ у нея совсѣмъ не было ни обуви, ни одежи.

Ей «покинули» сколько могли корочекъ и охапки три хворосту, чтобы она могла имъ понемножку топить избу, и оставили ее на волю Божью. Несчастная абандона коротала дни одинокая въ пустой и почти холодной избѣ, для согрѣванія которой было очень мало топлива. Она сидѣла днемъ подъ окошечкомъ, пряла какую-то посконь и

томилась и отъ голода, и отъ стужи, и отъ немощи, и отъ одиночества, и въ этомъ положеніи ее навѣщала только одна подруга,—такихъ же лѣтъ дѣвочка изъ сосѣдней избы. Разумѣется, и эта дѣвочка была такая же бѣдная, но та, первая—была тихая и покорная, а эта, вторая—очень бойкая и, какъ увидимъ, слишкомъ предпріимчивая.

Она и надѣлала бѣдъ, изъ которыхъ сложились потомъ разнообразныя легенды, ходившія по округу и еще сохраняемыя, можетъ-быть, и доселѣ.

У этой, второй дѣвочки-«озорницы» недавно умерла мать, и отецъ ея отложилъ новую женитьбу «до урожая», а пока онъ самъ уходилъ побираться съ двумя мальчиками, а «озорницу» онъ жалѣлъ таскать, потому что ей было не во что одѣться.

Ей также «покидали кусочковъ и топливца», и она оставалась «при избѣ». А какъ одной въ избѣ сидѣть скучно, то «озорница» приходила скучать къ смирной сосѣдкѣ.

Вдвоемъ имъ было веселѣе и теплѣе и дни коротать, и ночь спать.

Дѣвочки ладили между собою, несмотря на то, что рѣзвая, приходя къ тихой, не давала ей покоя и не разъ ее забижала; но это все было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что она одинъ разъ устроила.

Однажды, въ холодный и солнечный день, утромъ, когда обѣ дѣвочки встали,—хворая хозяйка начала набивать хворостомъ печь, а озорница убѣжала «свою избу провѣдать» и долго не возвращалась; но потомъ хворая слышитъ, что кто-то отворилъ дверь, которая вела съ надворья въ сѣни, и сейчасъ же въ сѣняхъ послышалось блеяніе ягненка.

Немощная дѣвочка удивилась, потому что во всемъ ихъ концѣ деревни давно уже ни ноги овечьей въ живыхъ не осталось, и ягненку взяться было неоткуда. Уцѣлѣло же нѣсколько овецъ только у двухъ «богатѣевъ», но это было въ дворахъ на противоположномъ концѣ деревни. Оттуда сюда забѣжать ягненку было далеко, да и незачѣмъ.

Но однако больной ясно было, что у нея въ сѣняхъ есть

ягненокъ, и что онъ пришелъ туда не своею охотою, а его кто-то тащитъ и въ то же время запираетъ за собою дверь съ надворья.

Больная стоитъ у печи и смотритъ на дверь, а дверь вдругъ распахнулась и съ клубомъ холоднаго облака врывается въ избу сосѣдняя озорница, а передъ собою толкаетъ маленькаго чернепькаго ягненочка.

Больная спросила ее:

— Чей это баранчикъ?

А озорница ей отвѣчаетъ:

— Развѣ не видишь, что мой!?

— Нѣтъ, исправди чей?

— Да вотъ исправди и есть, что мой.

— Чего ты врешь!

— Ничего не вру: въ моихъ рукахъ, такъ стало-быть мой. Давай мнѣ, дѣвушка, поскорѣй ножъ — я его зарѣжу!

Та удивилась.

— Что ты,—говоритъ,— выдумала!.. Уйди ты!

— Ну, какъ же, такъ я сейчасъ и ушла!—поддразнила озорница, и добавила:—Мы эту барашку сейчасъ обдеремъ и спечемъ, и ѣсть будемъ.

А сама увидала въ эту минуту на столѣ хлѣбный ножъ, схватила его, зажала барашка въ колѣни и перерѣзала ему горло.

Хворая было-бросилась, чтобы отнять барашка, да уже поздно было: барашекъ трепеталъ и фыркалъ кровью.

Дѣвочки побранились, и хозяйка хотѣла выгнать гостью вонъ изъ избы вмѣстѣ съ зарѣзаннымъ ягненкомъ; но озорница ее не послушалась и не пошла вонъ, а схватила изъподъ лавки рогожу и хотѣла закрыть ею окно, чтобы никто случайно не заглянулъ въ это окно и не увидалъ, что̀ тутъ дѣлается; но едва она зацѣпила на веретено одинъ уголъ рогожи, какъ замѣтила, что къ окну снаружи прильнуло дѣтское лицо въ огромной шапкѣ, и шепелявый полудѣтскій голосъ проговорилъ:

— А я все видѣлъ, что̀ вы, сибирныя, сдѣлали!

Робкая хозяйка такъ и замерла, а бойкая виновница всего происшествія дала ей знакъ, чтобы она молчала, а сама закричала на говорившаго:

— Анъ, врешь, ты ничего и не видалъ!

— А вотъ же, убей меня Богъ, видѣлъ!—отвѣчалъ мальчикъ, въ которомъ обѣ дѣвочки теперь могли узнать картаваго хозяйскаго сына изъ того самаго двора, чьего ягненка озорница заколола.

— Ну, а если видѣлъ — такъ скажи: что же ты видѣлъ?..—переговаривалась она, продолжая держать противъ окна рогожу.

— Я видѣлъ, что вы нашего ягненка зарѣзали, — отвѣчалъ мальчикъ.

— Ну вотъ ты и врешь!

— Нѣтъ, видѣлъ... я сейчасъ побѣгу и тятькѣ скажу.

Тутъ озорница не стала больше спорить, а перемѣнила тонъ:

— Нѣтъ, ты слушай... ты, хорошій мальчикъ, этого пустого не сказывай!

— Анъ, скажу... Зачѣмъ вы зарѣзали!?

— Да на посмотри,—барашекъ живъ еще.

— Не ври, не ври! Я видѣлъ, какъ ты на него верхомъ сѣла, да по горлу его полоснула!..

— Ну, а вотъ поди же, посмотри,—онъ живъ.

— А зачѣмъ онъ не кричитъ?

— А зачѣмъ ему кричать, когда ему хорошо. Бяшка! бяшка! Ишь, смотри... хвостикомъ махаетъ! Поди посмотри, какъ ему хорошо,—тебѣ и самому такъ захочется.

Мальчикъ хотѣлъ посмотрѣть въ окно, но дѣвочка не отвела рогожи, а упорно звала его въ избу.

— Поди,—говорила она,—поди сюда въ избу... Ишь ты какой молодчикъ! И чья это только на тебѣ такая шапка ухастая?

— Шапка дѣдкина.

— То-то, ты въ ней ишь... какъ купецъ пригожій. Она у тебя, гляди, въ середкѣ-то еще, должно-быть, пуховая?

— Съ перьями.

— То-то я и вижу, что изъ нея изъ середки перо куриное лѣзетъ... Поди, я тебѣ эту дырку въ шапкѣ иглой зашью.

— Ненадобно.

— Отчего жъ такъ ненадобно? Иди, дурачокъ, — я зашью.

— Свои бабы зашьютъ.

Дѣвчонка бойко его передразнила:

— «Свои бабы зашьютъ»... Легко ли радость какая въ своихъ бабахъ! Къ намъ иди—у насъ лучше.

— Ненадобно.

— Зарядилъ одно: «ненадобно»! Иди, говорю тебѣ,— увидишь, что надобно будетъ.

Мальчикъ сталъ водить по снѣгу хворостиною и, заминаясь, повторилъ:

— А что будетъ?

— Хорошо поиграемъ съ тобою... Иди скорѣе!

Мальчикъ еще больше заколебался и глухо протянулъ:

— Не надо было барана рѣзать... Зачѣмъ зарѣзала?

— Да полно тебѣ все про одно, дуракъ!.. Иди... я за тебя замужъ выйду, а она будетъ свахою, а потомъ я тебя на ней женю... Иди... хорошо поиграемся.

Маленькая сирена восторжествовала, и еще меньшій сатиръ, въ дѣдкиной шапкѣ на куриномъ перѣ, будто нехотя, поползъ къ двери избы, куда его поманили на обѣщанныя забавы, а чуть только онъ отворилъ дверь и перелѣзъ черезъ порогъ въ дѣдкиномъ треухѣ и съ огромною хворостиною, озорная дѣвочка сейчасъ же схватила его за руку и говоритъ:

— На-ка, игрунокъ, смотри-ка, гдѣ вашъ ягненокъ-то!

— А гдѣ же онъ?

— Вонъ, вонъ, гляди, онъ сигаетъ вверху на полочкѣ!

Мальчикъ этотъ былъ моложе обѣихъ дѣвочекъ, — ему всего было лѣтъ десять, но онъ понималъ, что барашекъ не птица и что ему на полицѣ быть не пристало; однако

мальчикъ поднялъ вверхъ голову, а дѣвочка въ ту же секунду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему въ горло ножикъ и толкнула его колѣномъ въ спину такъ сильно, что онъ упалъ ницъ, и ножикъ еще глубже вонзился въ его горло.

Мальчикъ лежалъ ницъ, замирая въ тихихъ, но сильныхъ содроганіяхъ и захлебываясь собственною горячею кровью, которая лилась изъ раны прямо въ шапку и, наполняя ее, быстро задушила его черезъ ротъ и ноздри. Онъ не вскрикнулъ и даже не подалъ стона, и можно сказать—былъ убитъ мастерски, да и самъ себя велъ молодецки: придя сюда поиграть въ мужья, онъ въ самомъ дѣлѣ велъ себя мужественно—не плакалъ и не жаловался на женское предательство, а лежалъ какъ жертва коварства и любви, распластавъ руки въ-размётъ въ разныя стороны и не выпуская изъ крѣпко сжатой ладони орѣховой хворостины.

Какъ шелъ на свиданіе, такъ и умеръ во всей своей пышной представительности.

Больная дѣвочка, увидя такое происшествіе, заголосила и хотѣла выбѣжать изъ избы, но гостья погрозила и ей ножомъ и сказала:

— Чего ты боишься?.. Онъ самъ наткнулся. Хотѣлъ играть—вотъ и поигралъ... Слушай меня, а то и тебѣ то же будетъ. Пихай больше хворосту въ печь... Мы этого мальчёнку сожжемъ—и знать ничего не будутъ, а барашка спечемъ и поѣдимъ убоины.

Больная дѣвочка, дрожа отъ страха, стала исполнять распоряженія своей гостьи: онѣ съ очень большимъ трудомъ запихали убитаго мальчика въ печь, потому что растопыренныя руки ребенка и хворостина, которую дѣвочки никакъ не могли вырвать изъ окоченѣвшей руки, давали мальчику самооборону; онъ растопырился въ самомъ устьѣ печи и не хотѣлъ лѣзть, такъ что съ нимъ съ мертвымъ пришлось бороться и драться. Только послѣ многихъ трудовъ и усилій его, наконецъ, одолѣли и пропихали въ

печь, и завалили его хворостомъ, и зажгли этотъ хворостъ, а потомъ принялись свѣжевать барана; но дѣло это тоже пришлось имъ не по силамъ.

Чтобы снять кожу съ убитаго животнаго, для этого нужно извѣстное умѣнье, котораго у дѣвочекъ не было, и притомъ онѣ сдѣлали упущеніе, давъ трупу барашка закоченѣть, послѣ чего освѣжевать его стало еще труднѣе. А потому онѣ все перепортили и бросили, а откромсали кое-какъ, вмѣстѣ со шкурою, одну ляжку и принялись ее печь безъ всякой приправы и въ той же самой печи, гдѣ теперь сожигался убитый мальчикъ.

Мальчикъ горѣлъ запихнутый въ печь подальше, а баранья ляжка пеклась въ той же печи, только поближе къ устью, и у загнѣтки стояла робкая дѣвочка-хозяйка, подбивая къ огню хворостъ, а озорная гостья убирала хату, т.-е. засыпала соромъ и золою кровь, пролитую на земляной полъ, и металась, не зная куда сбыть съ глазъ долой выпущенную изъ барана утробу.

Въ концѣ она рѣшила закопать ее подъ лавкою, и принялась за это дѣло.

Простота всѣхъ побужденій и пріемовъ этого двойного и прогрессивно восходившаго преступленія двухъ малолѣтнихъ была изумительна! Обѣ дѣвочки убивали и прятали слѣды своего преступленія чисто по-дѣтски, — точно будто играючи... И пока на дворѣ былъ свѣтъ, онѣ чувствовали себя бодро; но когда короткій зимній день померкнулъ, на нихъ тотчасъ же напалъ страхъ и онѣ стали соображать, что печку пора бы закрыть и избу «укутать», но этого нельзя было сдѣлать, потому что мальчикъ еще далеко не сгорѣлъ, и казалось, что онъ будто даже и не горитъ, а словно онъ еще живъ, и въ пылавшемъ хворостѣ «ёжится». Дѣвочки старались избавиться отъ него какъ можно скорѣе и спѣшили набивать въ печь новаго топлива, и не замѣтили, какъ сожгли весь бывшій у нихъ запасъ хвороста, и печь угрожала потухнуть; а между тѣмъ въ домѣ, гдѣ пропали баранчикъ и мальчикъ, къ ночи хватились того

и другого и начали ихъ искать по дворамъ, при чемъ искавшіе пришли и въ избу, гдѣ были дѣвчонки, и преступленіе ихъ было открыто: убитаго мальчика отыскали «по гари», т.-е. по пригорѣлому запаху изъ печи.

Барашекъ былъ еще цѣлъ подъ лавкою, а въ печи подъ пепломъ нашли обгорѣлое туловище ребенка, отъ котораго даже не отпали ни голова, ни оконечности. Дѣвочки во всемъ признались и были отправлены въ острогъ, а изъ того, что онѣ сдѣлали, посредствомъ пересказа изъ устъ въ уста, составилась та басня, которую принесъ къ намъ въ деревню исцѣленный Ефимка.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Другой изъ разсказовъ Ефимки о томъ, будто «внучки живую бабку съѣли», имѣлъ въ основѣ своей иное, трогательное происшествіе: въ вольномъ селѣ Мотыляхъ доживала вѣкъ одинокая старушка, которая много лѣтъ провела въ господскихъ и купеческихъ домахъ, въ нянюшкахъ, и «нажила капиталъ»—цѣлую тысячу рублей (ассигнаціями, т.-е. на нынѣшнія деньги около 280 руб.).

Подъ старость ей стало тяжело няньчить хозяйскихъ дѣтей, и она захотѣла уйти «на покой», для чего и рѣшила уѣхать изъ города въ то село, откуда была родомъ, и гдѣ у нея оставались еще какіе-то родственники.

Опытные люди отговаривали ее отъ этого: они представляли ей давно извѣстную опасность, — что тѣмъ, кто жизнь прожилъ въ городѣ, въ старыхъ лѣтахъ возвращаться въ село не безопасно. Про такого человѣка сейчасъ прославятъ, что онъ богачъ или она «богатѣя», и тогда того и гляди, что кто-нибудь изъ родныхъ «соскучится дожидаться» и «приспѣшитъ смерти»; но старуху предупреждали напрасно — она этого дѣльнаго предостереженія не послушалась.

— Легкое ли дѣло, что у меня за богатство! — разсуждала она.—Мѣстечко у міра выпрошу, сколько-нибудь де-

негъ на вино для старичковъ испою, а потомъ избенку себѣ поставлю, да коровенку куплю,—вотъ всего ничего у меня и останется на овсяный кисель да на еловую домовину... За что меня и убить-то?.. И грѣха взять не стоитъ!

Такъ она и съѣхала изъ Орла, отъ своихъ почтенныхъ купцовъ, на деревню, пропоила старичкамъ три ведерка вина, получила мѣсто для хаты, построила избу, завела коровенку и стала жить.

Старушка была хорошая и добрая; она привѣчала всѣхъ и давала отъ своей коровки молочка безкоровнымъ ребятишкамъ, а особенно ласкала дочерей своей племянницы, изъ которыхъ одна, самая младшая, была ея любимицею.

Эту дѣвочку старушка совсѣмъ забрала къ себѣ жить и обѣщала отказать ей по смерти своей и избу, и корову, и «все богатѣйство».

А сколько было того «всего богатѣйства»,—то было не считано и «не смѣтно».

Когда насталъ голодный годъ, къ старушкѣ стало приходить такъ много ребятишекъ, что она не могла уже всѣмъ имъ дать молока отъ своей коровы. Тремъ-четыремъ дастъ, а больше и нѣтъ,—и самой похлебать ничего не оставалось. Не привыкла старушка отказывать, да дѣлать нечего—поневолѣ отказываетъ, и бѣдные ребятишки отходятъ съ пустыми плошками... А такіе они все жалкіе, испитые, даже и не плачутъ, а только глядятъ жадно... Думать о нихъ больно. И не знаетъ старушка, какъ ей быть и какъ между всѣми молочко дѣлить...

Но вдругъ все это ея затрудненіе сразу покончилось: въ одну изъ темныхъ зимнихъ ночей, передъ праздникомъ, кто-то увелъ изъ сѣней ея корову, и слѣды ея на улицѣ съ другими такими же слѣдами попутались, и стало негдѣ искать коровы.

Старуха не согласилась и явку подавать,—сказала:

— Боюся я, не поклепать бы невиннаго!

Говорили ей, будто коровка ея по частямъ разнята и

солится въ корчагахъ на большой дорогѣ у постоялаго дворика, но старуха таки выдержала себя—не жаловалась.

Щуняли ее и племянники, и попъ при встрѣчѣ ей выговаривалъ, что нехорошо не заявлять,—что «кто вору потакаетъ, тотъ самъ если и не татъ, то на ту же стать»; но старушка все отвела тѣмъ, что «Богъ все знаетъ, — а она не письмённая!»

Теперь она осталась при одномъ киселѣ и не уставала киселемъ дѣлиться, но и это по тогдашней всеобщей нуждѣ много значило, и стало это безпокоить старушкину племянницу.

— Кормитъ-де она мою дѣвочку и обѣщала ей отказать избу и корову, а вотъ коровы уже и нѣтути. Того гляди, то же самое выйдетъ и со всѣмъ ея богачествомъ. Все она истравитъ на чужихъ ребятъ, а тогда мнѣ съ моими дѣтями ужъ ничего и не останется... Лучше бы она, старушка, сдѣлала, если бы теперь поскорѣй померла!.. Чего ей?.. вѣдь ужъ пожила! А то все будетъ жить да раздавать, и раздастъ все такъ, что послѣ, какъ помретъ, то и попу за похороны дать будетъ нечего, — еще съ нею съ мертвою-то тогда и наплачешься.

И стала племянницька о своей теткѣ все больше печалиться и даже начала говорить ей:

— Ты то вздумай-ка, баунька, что ты вѣдь уже старъчеловѣкъ...

— Стара, дитятко!

— Гляди, ужъ тебѣ еще немного на свѣтѣ маяться.

— День мой—вѣкъ мой, касатка.

— То-то и есть, а осталось бы, на что тебя схоронить и чѣмъ помянуть.

А старуха вдругъ оказалась невозмутимо беззаботною.

— И-ихъ-ма!—говоритъ:—есть про что сгадывать! Умру, такъ похоронятъ, наверху земли валяться не оставятъ!

Такъ солдаткѣ и не удалось унять старуху отъ того, чтобы она никого чужихъ дѣтей не привѣчала, а благодѣтельствовала киселемъ только однимъ ея солдаткинымъ дѣ-

тямъ, и задумала солдатка поправить это на другой манеръ,—пришла къ старухѣ въ сумерки и стала опять плакаться:

— Ходила, — говоритъ, — я нынче весь день, — страсть какъ иззябла вся: въ трехъ деревняхъ была, а трехъ ломтей жмыховаго хлѣба не выпросила... Вездѣ говорятъ: «Богъ подастъ,—сами втроемъ въ поборъ ушли...»

— Тяжко, болѣзная! — отозвалась старушка. — Всѣмъ равно сослано нонѣ тяжко отъ Господа!

А солдатка отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, баунька, не всѣмъ равно, — вотъ у тебя еще есть!

— Да; пока еще малость есть... да ужъ теперь... осталось немножечко.

— Что это?.. Денежекъ что-ль остается-то у тебя немножечко?

— Да-а... денежекъ!.. Немножечко!

— А что же ты будешь дѣлать, когда все сойдетъ?

— Когда все сойдетъ-то, что̀ буду тогда дѣлать?

— Да.

— А не знаю еще... не думала.

— Какъ же такъ!.. Надо думать... смерть-то вѣдь за плечами!

— А знамо дѣло, что за плечами; да что думать-то... думать-то нечего! Ничего, касатка моя, не выдумаешь... Только и есть на свѣтѣ всѣхъ помогаевъ, что одинъ Господь-Батюшка... Онъ же вѣдь зато и милостивъ!.. И-и-ихъ сколь милостивъ!.. Можетъ, Онъ дастъ... по своей милости, еще и такъ со мною сотворитъ, что я еще всего и что есть, и того не доѣмъ, а Онъ и по мою по душу пошлетъ,— вотъ ничего думать тогда и не стоитъ.

— Это хорошо, бабушка, какъ помрешь!

— А то что жъ!.. Я то и говорю... Богъ съ милостью! Онъ создастъ хорошо: помру, и ничего мнѣ не надобно!

— А если какъ все изведешь да не помрешь?

— Ну такъ что жъ такое: я тогда себѣ средство найду.

— А какое же теперь средство, когда изо всякаго двора всѣ сами въ поборъ тронулись, и не знать, у кого можно корку выпросить.

— Ну это такъ только въ деревняхъ въ однѣхъ... издыхаютъ-то!.. да!.. въ деревняхъ въ однѣхъ... А въ городахъ-то, касатка, не такъ... тамъ хлѣбъ-то есть у купцовъ... Тамъ припасено у купцовъ-то... всего... гляди-ко сколько!..

— Что жъ ты, въ городъ что ли хочешь?

— А что жъ! въ городъ сойду... Къ хозяевамъ-то къ старымъ приду, да и попрошусь на кухнѣ жить... Пустятъ!.. Неужли-таки выгонятъ?!. Чай, не выгонятъ... Проживу пока надобно.

— То-то,—отвѣчаетъ солдатка,—вотъ оттого ты такая и щедрая, что тебѣ хорошо.

— Да, — говоритъ старуха, — мнѣ, касатка, всю жизнь мою все жилось хорошо. Я не щедрая, а... хорошо мнѣ.

— А намъ-то вотъ худо, а не хорошо.

— Потерпѣть надо, касатушка! Ноньче всѣ терпятъ... Голодный годъ насталъ!

— Поди-ко ребята-то воютъ, такъ не утерпишь... и самому ѣсть хочется... въ животѣ какъ веретеномъ сучитъ... Намъ хуже собакъ... тѣ падло лопаютъ, да еще насъ за лытки рвутъ... Вонъ меня искусали всю!

— Надо съ палочкой.

Тутъ нетерпѣливая племянница на тетку и осердилась, что та все ей совѣты даетъ, когда той такъ горько жить!

— Перестань,—говоритъ,—ты мнѣ тоску отводить; черезъ эти твои слова еще хуже мнѣ; вѣдь у насъ знакомыхъ купцовъ нѣтъ, намъ идти не къ кому, а ты вонъ еще мою дѣвчонку всю избаловала.

— Ну зачѣмъ пустое говорить: чѣмъ я ее избаловала?

— Какъ же чѣмъ?.. все ее чистымъ хлѣбомъ кормила и побираться не пущала!

— Что-жъ, гдѣ ей побираться, когда она махонькая!.. А ты ее отпусти со мной: я и ее съ собой въ городъ

сведу... у меня есть тамъ хозяева добрые... мои выняньченные; они велятъ намъ съ ней и вдвоемъ жить... будемъ вдвоемъ садиться съ прислугами.

— А другія-то мои дѣтушки мнѣ, думаешь, развѣ не жалобны?—говоритъ солдатка.

Тутъ старушка и задумалась.

— Другія!—говоритъ:—Да... вотъ то-то и есть... Еще и другія есть!

Развела руки и опять задумалась, и стала сама къ себѣ втишь приговаривать:

— Охъ, охъ-охъ-охъ!.. Одни да и другія есть... да и много ихъ... Вотъ и горюшко! А что сдѣлать-то?

А солдатка, не долго думая, отвѣчаетъ ей:

— А ты не знаешь, баунька, что сдѣлать?

— Не знаю, касатынька.

— Вотъ то-то и оно.

— А ты развѣ знаешь что-нибудь?

— Я знаю.

— Такъ ты скажи.

Солдатка задумалась, словъ у нея не находилось для выраженія того, что она придумала.

И старушка молчитъ.

Тягостно-тягостно стало въ темной избѣ, какъ будто сатана взошелъ.

Старушка вздохнула и сказала:

— Встань-ка, касатка, подойди къ печкѣ, вздуй огня.

А племянница ей грубо отвѣтила:

— А на что тебѣ огонь,—вовсе не надобно.

— Какъ же не надобно... темно совсѣмъ.

— Ну такъ что-жъ, что темно?.. Ноньче... всѣ безъ огня... Ложися спать, баунька!

— Да зачѣмъ же такъ... въ потьмахъ... Надо стать Богу помолиться.

— Ну и помолись, баунька.

Та не поняла или не разслышала и переспросила:

— Что, матушка?

— Помолись, говорю, баунька.

— Да что ты меня торопишь—придетъ часъ, такъ и помолюсь.

— Нѣтъ, баунька, часъ ужъ пришелъ — скорѣй молись.

— Да что ты пристала!.. Я стану ложиться спать — помолюсь... Ступай-ка домой, а ко мнѣ дѣвку ночевать посылай, мы съ нею станемъ ложиться спать и помолимся.

Тогда солдатка видитъ, что бабушка безтолкова, и потому ей еще менѣе причины оставаться въ живыхъ, и сказала ей на чистоту:

— Нѣтъ, ты къ себѣ мою дѣвку не жди, она не придетъ.

— Отчего не придетъ?

— А оттого, баунька, что къ тебѣ твой конецъ пришелъ. Если не хочешь молиться—такъ и такъ будь тебѣ легкая смёртушка.

Старуха стала приподниматься и спросила:

— Что?..

— Прощай, баунька! — Солдатка всхлипнула, обняла старуху, поцѣловала ее и сказала:

— Теперь помирай!

— Что ты это... я не хочу!—и старушка безсильно замахала руками.

— Нѣтъ ужъ все одно... помирай!

И съ этими словами солдатка опрокинула «бауньку» на ея же кроватку, накрыла ей лицо подушкою, да надавила своей грудью полегонечку, но потомъ сама вдругъ громко вскрикнула и начала тискать старуху безъ милосердія, а руками ее за руки держала, «чтобы трепетанія не было».

(Такъ это все съ большою подробностью сама солдатка разсказала при слѣдствіи.)

«Баунька» послѣ этого почила скоро, а убійцею сейчасъ же былъ сдѣланъ въ имуществѣ убитой самый внимательный розыскъ; но «всѣхъ денегъ» у богачихи въ шерстяномъ пагленкѣ въ коробьѣ найдено полтора рубля, и больше ничего у этой богачихи не было.

Въ этомъ и заключались ея «всѣ деньги», о которыхъ она съ обстоятельностью разсуждала за пару минутъ до опредѣленной ей «легкой смёртушки».

Но смёртушка бауньки, какъ ни старалась ее облегчить добрая племянница, — все-таки, видно, трудновата пришлась ей.

Когда разсвѣло на другой день, солдатка взяла съ собою любимую внучку покойной и пошла вмѣстѣ съ нею навѣстить бабушку, и нашли ее, разумѣется, мертвою, а лицо у нея синее и руки въ пятнахъ, а глаза выпучены и языкъ наружѣ, длиннѣй Аллилуева.

Дѣвчонка какъ увидала это, такъ сейчасъ затряслася и замерла, а мать говоритъ ей «не своимъ голосомъ»:

— Ничего не шкни... убью!.. Говори: гдѣ у нея были ножницы?

Дѣвчоночка, дрожа, показала молча рученкою на коробью, въ которую уже вчера еще лазила солдатка за деньгами.

Теперь она опять открыла эту коробью, въ которой было все перерыто, и перебросавъ еще больше лежавшія тамъ ветошки и тряпочки, нашла на днѣ коробьи безручныя ножницы, которыми стригутъ овецъ, и, схвативъ ихъ въ дрожащія руки, подошла къ мертвой и отрѣзала у нея выдающійся конецъ языка; но отъ этого языкъ наружѣ какъ будто нимало не уменьшился, а только сталъ еще безобразнѣе.

Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку дѣвочку и пошла къ сотскому,—вошла тихо, помолилась на образъ и сказала:

— Вяжи мнѣ руки!

— Что тебѣ, дура, попритчилось что-ли? — спросилъ сотскій.

— Нѣтъ, вяжи руки: я бабку убила.

— Врешь на себя!

— Нѣтъ, не вру,—отвѣчала солдатка и, сѣвши на лавку, раскрыла свою грудь и сказала:—На-ко-сь, глядите-ка —

вотъ онѣ тяпочки... Это когда я ее вчера душить стала, такъ она меня зубами за титьку тяпнула.

Тогда пошли и удостовѣрились, и увидали, что солдатка говорила правду, и связали ей руки и увезли ее въ станъ, а оттуда—«куда дѣла требуютъ».

Черезъ годъ ее били кнутомъ въ Орлѣ на Ильинской площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сложенная. Ей дали пятнадцать ударовъ и растерзали ей до кости всѣ бока и спину, но она не потеряла чувствъ и за каждымъ ударомъ вскрикивала: «Понапрасно страдаю!» А когда ее сняли съ деревянной кобылы и она увидала на своей свиткѣ набросанныя мѣдныя деньги, то заплакала и сказала:

— Не надо мнѣ ничего, сошлите все въ деревню на церковь.

О дѣтяхъ своихъ она, можетъ-быть, позабыла.

И такихъ преступленій, поразительныхъ по несложности ихъ замысловъ и по простотѣ и холодности ихъ выполненія, было слышно очень много, и очень значительное число ихъ остались неизслѣдованными и даже неизвѣстными далѣе своего околотка. Становые пристава за всѣмъ услѣдить не могли; «корреспондентовъ» тогда еще не водилось, а въ губернскихъ вѣдомостяхъ всѣ новости состояли изъ распоряженій начальства о перемѣщеніи и увольненіи чиновниковъ и, въ видѣ особенно интересныхъ случаевъ, объ отдачѣ ихъ подъ судъ.

Особенно поразительна была холодность и какая-то легкомысленная жестокость въ дѣйствіяхъ, затѣвавшихся съ голода. Въ сосѣднемъ съ нами селѣ пастухъ Игнашка съ подпаскомъ, напримѣръ, захотѣли «ѣсть убоину», и съ этой цѣлью сами, вдвоемъ, отлучили одну исправную тѣломъ овцу отъ стада и сволокли ее въ лѣсной оврагъ, чтобы тутъ зарѣзать и начать ее ѣсть; а на деревнѣ сказать, что ее волкъ съѣлъ. Но, спустясь въ оврагъ, они вздумали, что всей овцы имъ за одинъ день не съѣсть, а недоѣденное мясо протухнетъ и пропадетъ даромъ. Тогда они

порѣшили овцу не зарѣзывать, а связать ее и *отрѣзать* у нея у живой столько мяса, сколько имъ на день нужно, а остальная овца пусть лежитъ и дожидается. Они такъ и начали,—отрѣзали у живой овцы «четверть», спекли ее и съѣли, а остальное оставили въ оврагѣ,—а сюда пришелъ въ самомъ дѣлѣ волкъ и прекратилъ терзательныя мученія овцы, и сволокъ и сожралъ ее всю безъ остатка, а пастухи, не найдя овцы на другой день, заподозрили другъ друга въ кражѣ, подрались и другъ друга выдали. Игнашку прозвали «живорѣзомъ».

Женскій полъ, какъ замужнія, такъ и незамужнія, продавали свои труды ни по чемъ: въ услуги или на работу поденно охотно набивались «изъ-за прокорму», но и на этихъ условіяхъ въ деревняхъ мѣста нельзя было найти. Духовенство набрало себѣ безплатныхъ батраковъ и батрачекъ, но только въ потребномъ числѣ, а предложеніе услугъ было безмѣрно. Цѣна же женскихъ издѣлій была невѣроятная: «конецъ холста» продавали за полтину мѣдью (7 аршинъ за 14 копѣекъ), «початокъ пряжи» — за мѣдную гривну (3 коп.), и фунтъ хлѣба стоилъ 3 коп. Покупали все это грабительскимъ образомъ торгаши, которыхъ называютъ «кошатниками» или «кошкодралами». Они покупаютъ кошекъ и тутъ же ихъ убиваютъ о колесную шину телѣги или о головашку саней. Цѣна кошки черной и сѣрой — гривна, а пестрой—пятакъ мѣди. Этимъ же кошкодраламъ бабы и дѣвки тогда продавали «свою дѣвичью красу», т.-е. свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цѣна на которую, за обиліемъ предложенія пала до того, что женщины и дѣвочки, иногда самыя молоденькія, предлагали себя сами, безъ особой приплаты, «въ придачу къ кошкѣ». Если кошатникъ не хотѣлъ брать дрянную кошку, то продавщица стонала: «купи, дяденька, хорошій мой: я къ тебѣ въ сумерки къ колодцу выйду». Но кошатники были этимъ добромъ изобильны, и не на всякую «придачу» льстились; они цинически разсказывали, что имъ теперь хорошо, потому что «кошка стоитъ грошъ *вмѣстѣ съ хозяйкою*». Ко-

шачья шкура была товаръ, а хозяйка—придачею. И этотъ взглядъ на женщину уже не обижалъ ее: обижаться было некогда; мученья голода были слишкомъ страшны. Съ этимъ же взглядомъ освоивались и подростки-дѣвочки, которыя отдавали себя въ такомъ возрастѣ, когда еще не переставали быть дѣтьми... Вообще крестьянскія женщины тогда продавали свою честь въ нашихъ мѣстахъ за всякую предложенную цѣну, начиная съ мѣдной гривны, но покупатели въ деревняхъ были рѣдки. Болѣе предпріимчивыя и приглядныя бабы уходили въ города «къ колодцамъ». И у себя въ деревняхъ молодыя бабы выходили вечерами постоять у колодцевъ,—особенно у такихъ, на которые подворачиваютъ проѣздомъ напоить коней обратные ямщики, прасолы или кошкодралы, и тутъ въ сѣрой мглѣ повторялось все то, что было и въ оны дни у колодца Лаванова. Здѣсь взаимно омрачала другъ друга и старость, и юность, и все это буквально за то, чтобы «не околѣть съ голода»... Не могу теперь ясно отвѣтить, почему сельскія женщины и въ городахъ мѣстами своихъ жертвоприношеній избирали «колодцы», у которыхъ онѣ и собирались и стояли кучками съ сумерекъ. Можетъ-быть, въ другихъ пунктахъ ихъ прогоняли горожанки. Особенно въ этомъ отношеніи въ Орлѣ прославились крытые колодцы у Михаила Архангела и Плаутинъ. Кромѣ того, множество женщинъ ютилось по пустымъ баркамъ, зазимовавшимъ во льду между Баннымъ мостомъ и мужскимъ монастыремъ и его слободкою. Срамъ это былъ открытый, но его какъ-то не вмѣняли въ преступленіе. Старшія семьянинки не только отпускали молодыхъ на вѣдомое дѣло, но еще склоняли къ тому, говоря: «чего такъ-то сидѣть: надо сойти въ городъ у колодца *раздобыться*». А молодыхъ не нужно было много уговаривать: правила ихъ всегда были шатки, а голодъ—плохой другъ добродѣтели. Молодайки уходили, мало таясь въ томъ, на что онѣ надѣются, и бойкія изъ нихъ часто прямо говорили: «чѣмъ голодать — лучше срамъ принять». Когда онѣ возвращались отъ колодцевъ, ихъ не осмѣивали

и не укоряли, а просто разсказывали: «такая-то пришла... въ городу у колодца стояла... разъѣлась—стала гладкая!» *)

Кромѣ «гладкости» или сытости тѣла, ничто другое не принималось и въ соображеніе. Всѣ высшія цѣли бытія человѣческаго словно перестали существовать.

---

*) Чтобы имѣть ясное понятіе, какъ относился къ этому «міръ», стоитъ припомнить, какъ относились къ своему «стоянію» тѣ, кто претерпѣлъ его ближайшимъ и непосредственнымъ образомъ. Когда я посѣтилъ родныя мѣста года черезъ три послѣ благословеннаго дня «освобожденія», мнѣ привелось посѣтить съ однимъ изъ мировыхъ посредниковъ прекрасную сельскую больницу, въ которой «по усердію» трудилась въ черныхъ работахъ пожилая женщина, очень крупнаго роста, по имени Стеха. Она же ходила и на деревню «обмывать мертвыхъ», тоже не по нуждѣ и не за плату, а «по усердію». Ей было уже лѣтъ за пятьдесятъ и она была сильна, велика и смахивала немножко на мужика. У нея на деревнѣ было свое хозяйство — дворъ, скотина, земля, дѣти и внуки, и даже, кажется, правнуки. Пользовалась она у всѣхъ почетомъ,—говорили о ней: «Стеха души не убьетъ,—Стеха не совретъ,—Стеха справедливая». И всѣ знали, что она «угождаетъ больнымъ» и «покойниковъ убираетъ только для Господа, а ея душа чиста, какъ стаканъ свѣтится». А эта самая Стеха,—несомнѣнно имѣвшая всѣ тѣ добрыя качества, которыя ей приписывали,—разсказывала мнѣ о голодномъ годѣ при своей пожилой уже дочери и при взрослой дѣвушкѣ и внучкѣ, «ничего не прибавляючи и не отбавляючи», и въ этомъ разсказѣ прямо о всѣхъ своихъ сверстницахъ *и о себѣ* говорила: «всѣхъ насъ, милый, восемь бабенковъ молоденькихъ было, и всѣхъ насъ кошкодралы у колодца уговорили: «поѣдемте, говорятъ, мы васъ въ Орелъ свеземъ, тамъ у колодцевъ лучше здѣшняго».—«Мы всѣ, дуры, и повѣрили, и пошли, а хорошаго только и было, что прокормилися: ну, да вѣдь тогда большаго-то грѣхъ было и спрашивать». О нравственной сторонѣ «инцидента» Стеха будто вовсе не думала, а когда я наклонилъ вопросъ въ эту сторону и побудилъ ее выразить свое мнѣніе, — она покопала веретеномъ подъ головною повязкою и сказала: «Что говорить-то! Вѣдь голодная смерть страшнѣй сраму... Все же лучше было шкуру свою продать, чѣмъ душу».

А ужъ что она разумѣла подъ продажей души—этого я не знаю.

О достоинствѣ взглядовъ этой женщины я вообще не могу и не хочу судить, потому что боюсь какъ бы не согрѣшить передъ Стехой и другими ей подобными грѣшницами болѣе тяжело, чѣмъ вѣсятъ всѣ ихъ согрѣшенія передъ «Могущимъ спасти всѣхъ» (Iак. IV).

У насъ была молодая баба Калерка или Холерка (настоящее имя—Калерія). У нея была прегнусная свекровь, которая «ее сбила въ городъ», и она пошла «у колодцевъ стоять», но ей такъ не посчастливилось, что она ни добычи домой не принесла и сама не «послажѣла», а напротивъ «гнить стала» и сидѣла всѣмъ на ужасъ въ погожіе дни на пыльной дорогѣ, *безъ языка*, издавая страшную вонь и шипѣніе вмѣсто крика... Ей бросали корки издали, какъ злой собакѣ, и отбѣгали, закрывая себѣ носъ. А сказу о ней было только, что она «въ голодный годъ у колодца стояла». Эта Холерка наконецъ задавила себя поясомъ.

О такихъ дѣлахъ, бывало, «все доводятъ господамъ», но больше только для новости и пріятнаго развлеченія,—какъ фельетоны.

Въ большомъ напряженіи чувства мы пережили рождественскіе праздники и, зайдя за Крещеньевъ день, стали чувствовать, что нашей унылости какъ будто брезжится край. И почувствовалось это по весьма неважному и даже незначительному обстоятельству: отецъ спросилъ старосту:

— Что, Дементій, не слыхать ли чего новаго?

А староста, который давно давалъ мрачно одинъ отрицательный отвѣтъ, на этотъ разъ отвѣчалъ:

— Да вотъ на поповкѣ есть будто новость!

— А что тамъ такое случилось?

— Да вотъ Меркулъ оттуда заѣзжалъ и сказывалъ, что къ нимъ новый дьячокъ присланъ.

— Это на Аллилуево мѣсто?

— Да, во его званіе... И еще не совсѣмъ придѣленъ, а только пріукаженъ, для просмотрѣнія отъ отца Ипполита.

(Имя «Ипполитъ» для крестьянскаго произношенія было трудно, они находили удобнѣе приставлять Н.)

Отецъ спросилъ:—хорошъ ли новый дьячокъ?

А Дементій отвѣчаетъ:

— Ничего; Меркулъ сказывалъ — свистулой поетъ, но вопче, по благословію надо полагать, что не важный.

— А почему?

— Да ужъ если не сразу придѣленъ, а на время пріуканъ, для присмотрѣнія должности, такъ стало-быть подъ владычнымъ сумлѣніемъ.

А черезъ нѣсколько дней тотъ же Дементій уже по собственному почину сообщилъ:

— Новый духовенный-то... я вамъ сказывалъ?

— Что же такое?

— Ничего не стоющій.

— Отчего?

— Совсѣмъ пустоплясъ!

— Да отчего?.. Что значитъ пустоплясъ?.. очень проворенъ что-ли?..

— Точно такъ. Пашкой звать.

— Отчего же ты его зовешь Пашкой, а не Павломъ?

— Не стоитъ онъ полнаго званія.

— Да чѣмъ же онъ такъ плохъ?

— Совсѣмъ никуда не годится.

Обстоятельство было не важное, а стало интересно, что за молодецъ къ намъ прибылъ «во мѣсто Аллилуя» и какое онъ займетъ у насъ «придѣленіе?»

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Прибывшій «во мѣсто Аллилуя» Павлушка-дьякъ былъ оригиналъ и всего менѣе человѣкъ «духовенный»,—оттого онъ по свойствамъ своимъ такъ скоро и получилъ соотвѣтственное прозваніе «Пустоплясъ». Онъ былъ столь бѣденъ, что казался бѣднѣе всѣхъ людей на свѣтѣ, и по словамъ мужиковъ—пришелъ «не токма что голый, но ажно синій», и еще онъ привелъ съ собою мать, а въ рукахъ принесъ лубяной туезокъ да гармонію, на которой игралъ такъ, что у всѣхъ, кто его слушалъ—ноги сами поднимались въ плясъ.

Имущества у него не было никакого и денегъ ни гроша. Причтъ не зналъ, куда его дѣть, и помѣстили Павла и его

мать въ тѣсной сторожевой избушкѣ, вмѣстѣ со сторожемъ.

Мѣстными дознаніями было открыто, что Павлушкина мать была когда-то дьячихою, а потомъ ходила въ городѣ по стиркамъ, а иногда просила милостыни. Павелъ былъ ею воспитанъ въ тяжкой долѣ и могъ бы, кажется, постичь жизнь, но не удался,—«все клонилъ къ легкомысленности» и за то былъ исключенъ изъ третьяго класса и долго болтался «безъ придѣленія», и теперь онъ еще не былъ совсѣмъ опредѣленъ «во мѣсто Аллилуя», а пока только былъ еще *временно пріукаженъ*, что̀ выходило въ родѣ испытанія.

У насъ, впрочемъ, всѣ сразу стали увѣрять, что изъ этого пріукаженья ничего и не выйдетъ, потому что за очевидныя Пашкины малодушества отецъ Ипполитъ непремѣнно «въ отзывѣ его опорочитъ».

Павлуша и въ самомъ дѣлѣ «не потрафлялъ»: онъ читалъ скверно, невнятно и «скорохватомъ», и все «поспѣшалъ на *лукаваго*». Начнетъ «Отче нашъ» и зачаститъ такъ, что ничего нельзя разобрать, пока придетъ «отъ лукаваго». Такъ же и «Иже на всякое время» и прочее—все онъ «читалъ безъ понятія», но пѣть могъ, только гораздо охотнѣе пѣлъ свѣтское пѣніе, чѣмъ «духовное», и любилъ шутки строить надъ старшими.

На это сторожъ жаловался его матери, но та отвѣчала, что у него такой же былъ и отецъ, который былъ на хорошемъ мѣстѣ, а зашутился и пропалъ безъ вѣсти—слѣдовательно Павлу ужъ нечего и думать, чтобъ удержаться.

Павлушина мать была стара и имѣла пляску св. Витта, отчего она дергала лицомъ и при каждомъ судорожномъ движеніи издавала звукъ «фпт! фпт!».

За это ее назвали «Фаптея».

О Павлушѣ скоро дошли до насъ вѣсти, что онъ очень веселый, и вслѣдъ затѣмъ мы очень скоро убѣдились, что это правда.

Между нашею деревнею и деревнею майора Алымова (въ верстѣ отъ алымовской усадьбы) стоялъ одинокій дворъ однодворца Луки Кромсаева, или попросту Кромсая.

Кромсай этотъ подъ нѣкоторою личиною степенства и скромности былъ настоящій «шельма мужикъ» или «воръ-мужикъ»: онъ умѣлъ изъ всякаго положенія извлекать себѣ выгоды и жилъ скупо и одиноко, содержа свое семейство въ «страхѣ Божіемъ», т. е. колотилъ всѣхъ чѣмъ ни попало.

Онъ шинковалъ водочкой и бралъ подъ залогъ разныя вещи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего въ деревнѣ у другого не встрѣтишь. Такъ, между прочимъ, у него оказалась гитара, которая пришла къ нему давно и неизвѣстно откуда, и которую онъ давно не могъ никому «придѣлить»; но съ того момента, какъ Кромсай увидѣлъ Павла-дьячка, гитара нашла себѣ «придѣленіе».

Кромсай послушалъ игру Павла на гармоніи и сказалъ, что эта игра пристала кучерамъ, либо наемщикамъ, а что у него есть «струментъ»—гитара,—такъ вотъ это ужъ можно сказать что струментъ благородный—и притомъ онъ отдастъ его Павлу въ долгъ и за́-дешево.

Пустоплясъ сейчасъ же этимъ соблазнился—пошелъ къ Кромсаю и взялъ гитару, на которой еще уцѣлѣли четыре струны. Павлуша подстроилъ, какъ зналъ, эти четыре струны и заигралъ сначала у Кромсая, а потомъ, проходя мимо насъ, зашелъ въ людскую и тамъ привелъ всѣхъ въ восторгъ своею игрою и подпѣваньями.

Дѣвушки донесли матушкѣ, что онъ «такія штуки дѣлаетъ, что и смотрѣть нельзя».

А какъ мы тогда всѣ уже очень наскучалися, то вѣсть о веселомъ человѣкѣ показалась намъ заманчивою, и Павлуша-дьячокъ былъ приглашенъ въ комнаты, гдѣ дѣйствительно произвелъ очень значительныя вещи, которыя должны были свидѣтельствовать о его большихъ дарованіяхъ.

Онъ пѣлъ много веселаго и заунывнаго, и наконецъ далъ цѣлое представленіе во вкусѣ братьевъ Давенпортовъ, славу которыхъ онъ могъ бы упредить за цѣлыя сорокъ лѣтъ.

Павлуша, между прочимъ, представилъ у насъ съ гитарой комическую сцену, имѣвшую соотношеніе съ претерпѣваемымъ бѣдствіемъ, т. е. съ голодомъ,—и тѣмъ «заставилъ самое горе смѣяться». Для этого онъ сѣлъ въ темноватомъ концѣ комнаты на стулъ, взялъ свою гитару о четырехъ струнахъ и велѣлъ покрыть себя простынею.

И чуть только укрыли, какъ онъ требовалъ, такъ сейчасъ же изъ-подъ простыни запѣли *два* человѣка: сначала пѣла очень слабая и печальная старушка, а ей сразу бойко отвѣчалъ веселый старичокъ.

Старушка выпѣвала подъ грустный аккомпаниментъ:

«Дѣдушка-а, Си-идоръ Карпови-ичъ!
Да когда-жъ ты буде-ешь уми-рать?»

А дѣдъ превесело отвѣчалъ совсѣмъ другимъ голосомъ:

«Въ середу, бабушка,—въ середу,
Въ середу, Пахомьевна,—въ середу!

И дѣдъ не только пѣлъ, но онъ присвистывалъ и прищелкивалъ перстами, а бабка начинала хныкать и опять заводила:

«Чѣмъ тебя помина-ать?»

Дѣдъ отхватывалъ:

«Блинками, бабушка,—блинками,
Блинками, Пахомьевна,—блинками!»

И тутъ дѣдъ притопывалъ и соловьемъ свистѣлъ, а баба со слезами спрашивала:

«Гдѣ мучицы взять?»

Дѣдъ училъ:

«По-міру, бабушка,—по-міру,
По-міру, Пахомьевна,—по-міру».

И, разрѣшивъ эту задачу, дѣдъ хохоталъ и заливался, а когда старуха пропѣла съ ужасомъ, что «по міру собаки злы», то дѣдъ уже выбивалъ по гитарѣ трепака. а самъ пѣлъ:

«Съ палочкой, бабушка,—съ палочкой,
Съ палочкой, Пахомьевна,—съ палочкой!..»

Это Павлушино представленіе всѣхъ разутѣшило и сразу

же завоевало ему у насъ всеобщее благорасположеніе, въ силу котораго съ этихъ поръ въ нашемъ домѣ начали Павломъ интересоваться и угощать его.

А онъ къ намъ «на привѣтъ» заходилъ и принесъ съ собою нѣсколько веселыхъ минутъ, съ которыми мы, сидя въ сугробахъ и слыша однѣ жалобы на голодъ совсѣмъ было-разнакомились.

Павелъ принесъ первое обновленіе въ замершую жизнь, и бывалъ онъ у насъ нерѣдко, потому что съ того случая, какъ пріобрѣлъ гитару, онъ сталъ все ходить къ Кромсаю, и это моему отцу показалось нехорошо, и онъ сказалъ Павлушѣ:

— Ты Кромсая, смотри, берегись!:. Кромсай — воръ-мужикъ!

Но Павлуша за Кромсая заступался и говорилъ, что онъ его «дурному не научаетъ». И у нихъ съ Кромсаемъ завязалась тѣсная дружба, а къ тому же въ посту на Кромсая нашло благочестіе и рачительство: онъ пришелъ къ священнику и сказалъ, что вотъ у нихъ дома ни у кого хлѣба нѣтъ и муки къ Благовѣщенью собрать не у кого, и того гляди опять въ этотъ годъ придется безъ просвиръ сѣять; а потому Кромсай надумалъ — ѣхать на своей лошади къ роднымъ, въ сытыя мѣста, и тамъ муки напросить, а кстати самому въ городѣ отъ куричьей слѣпоты и отъ вередовъ лѣкарства попросить. Но какъ собирать муку на просфоры есть дѣло церковное, то Кромсай просилъ отпустить съ нимъ «во свидѣтеляхъ» дьячка Павла. Священникъ на это согласился, и они поѣхали вдвоемъ «въ сытыя мѣста» на четвертой недѣлѣ Великаго поста, но къ Благовѣщенію не возвратились. Ждали ихъ нетерпѣливо, но напрасно.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Ждали ихъ попустому до самаго праздника, но зато, какъ только отпѣли святую заутреню и попы стали въ рядъ посреди церкви съ лукошками, чтобы всѣ люди под-

ходили къ нимъ христосоваться и класть яйца, то вдругъ подошелъ съ желтымъ, въ лукѣ крашеннымъ яйцомъ и Кромсай.

— Христосъ воскресе, — говоритъ, — батюшка; держи яичко.

— Во истину воскресе!—отвѣчаетъ священникъ, и отъ радости, не выдержавъ, тутъ же сталъ его спрашивать:— Когда явился?

— А вотъ въ самую въ заутреню: когда ты звонить зачалъ, такъ я еще за лощиной былъ... Путался... Чуть, братъ, не залился.

— Ну-у! А Павелъ гдѣ-жъ?

— Ей-же ты Богу! Меринъ-то мой, насилу, братъ, выскочилъ!

— Скажи пожалуй!.. Ну, а Павелъ гдѣ-жъ?

— Его, братъ, ужъ нѣтути!

— А гдѣ же онъ?

— Онъ не пріѣхалъ.

Дальше говорить было нельзя, потому что это задерживало движеніе подходящихъ христосоваться крестьянъ, и дьяконъ, замѣтивъ непорядокъ, сказалъ: «не препятствуйте», а Кромсаю добавилъ: «Удались!» Тогда священникъ велѣлъ Кромсаю войти въ алтарь и подождать, пока онъ съ народомъ «отцѣлуется». И когда всѣ люди отцѣловалися и священникъ сталъ въ алтарѣ разоблачаться, то Кромсай повѣдалъ ему, что «Павелъ въ городу остался».

— Для чего же онъ остался?

— Да вотъ... Сказалъ мнѣ: «ты, говоритъ, поѣзжай,— а я, говоритъ, останусь».

— А зачѣмъ?

— Потому, говоритъ, что мнѣ надо себѣ... другое придѣленіе.

— Ну, и ты его придѣлилъ?

— Не я, а онъ самъ придѣлился.

Священникъ подвелъ Кромсая къ окну, изъ котораго видны были могилки, и говоритъ:

— Всмотрись-ка да «помяни гро̀бы—они вѣчны до̀мы»: долго ли намъ жить-то остается?.. Куда ты Павлушку дѣлъ?

Кромсай понялъ, какое смущеніе запало въ душу священника, и отвѣчалъ ему съ широкой улыбкой:

— Что ты... Полно батя!.. Неужли ты думаешь, что я Павлуньку загубилъ? Живъ Павлунька!

— Ты подумай: у него мать Фаптея древняя. Если ей о сынѣ что-нибудь ужасное сказать—она помретъ!..

Но ужаснаго ничего не было.

Кромсай разсказалъ только слѣдующее: когда они съ Пустоплясомъ выѣхали, то Пустоплясъ будто «все на самого себя обижался». Что, говоритъ, дядя Кромсай, разсуди ты, какой я неахтительный, что никто меня очень не обожаетъ! И всего у меня средства только одна старушка есть, только къ ней къ одной у меня есть и жалость на землѣ,—такъ что ни для кого, какъ для нея, я бы даже и въ солдаты... Вѣдъ я могу на Кавказъ пойти и въ офицеры выйти». А Кромсай ему и помогъ начать всю эту карьеру; онъ свелъ его къ Николаю Андрееву Воробью, старинному орловскому маклеру, или «сводчику», а тотъ его какъ въ хороводъ завелъ и «опредѣлилъ идти по найму за бакалейщикова сына».

Священникъ, услыхавъ неожиданно такую развязку, молча присѣлъ на сундучокъ и только глаза на Кромсая выставилъ.

— Ну ты, говоритъ, братъ, жиганъ! не даромъ, видно, тебя воромъ кличутъ!

— А что же «кличутъ»!.. Кличутъ-то меня разно кличутъ, а у кого я что-нибудь укралъ? Анъ я ничего не укралъ, а живу честно и благородно. Павлунька не такъ пошелъ, а семьсотъ серебра получилъ деньгами, да что еще, братъ, гульбы было... Вотъ бы ты посмотрѣлъ!.. А онъ еще сто рублей прислалъ матери.

— Ну, лучше бы ужъ ты у него все послѣднее съ плечъ укралъ, чѣмъ этакое добро ему сдѣлалъ.

— Чего онъ хотѣлъ, то ему и сдѣлано... Чего ты на меня!..

— Ты, Кромсай, жиганъ, ты нехорошій, дурной человѣкъ!

— Что ты это?.. за что?.. Развѣ пропалъ Павлушка? Онъ пошелъ служить Богу и великому государю... Ты, сдѣлай милость, въ этомъ оставь меня!

— А сто рублей матери-то его... цѣлы у тебя?

— А ты почемъ знаешь?

— Вѣрно не цѣлы?

— Ну, если тебѣ открыто, то что же спорить... Не цѣлы!

— Вотъ вѣдь какая твоя совѣсть!

— Что же совѣсть!.. Я ихъ везъ и довезъ до самой лощины. А тутъ звонъ услыхалъ и въ зажоръ сѣлъ... Сдѣлай милость—это хоть и на тебя доведись: провались хоть и ты подъ снѣгъ, такъ небось все покинешь, а одну свою душу начнешь спасать! Меринъ биться сталъ... Я, братъ, весь растерялся: и два куля хлѣба при мнѣ были,—везъ на просвиры,—и тѣ оба тамъ въ зажорѣ погубилъ.

— Тамъ и деньги пропали?

— Все тамъ осталось. Тридцать рублей, которые везъ бумажками, тѣ какъ на крестѣ были привязаны, такъ они и уцѣлѣли, а семьдесятъ, которые были серебряными монетами: рубли и полтинники—съ сапогомъ вмѣстѣ снялись и иза-за голенища потонули.

Священникъ выслушалъ, поднялся съ мѣста и сказалъ Кромсаю:

— Ну да и подлецъ же ты!

— Хорошо, что хоть ты честный!—вздохнулъ Кромсай.

— Ну смотри же: вспомни мое слово—за это разразитъ тебя Богъ!

Это надъ Кромсаемъ очень скоро и исполнилось *).

---

*) Наемный замѣститель рекрута, которому слѣдовало идти въ службу по очереди или по жеребью, почитался въ народѣ за человѣка не только «пропащаго», но и *презрѣннаго*: о наемщикѣ никогда не говорили съ жалостью, а всегда, какъ о палачѣ, говорили съ омер-

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Во вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ никому не въ примѣту, съ какой стороны, взялась на небѣ сѣрая тучка и вдругъ начала темнѣть, расти и пучиться и расползлась страшно, принявъ такія очертанія, какъ баснословный пардъ или перуносный змѣй съ лапами, и полѣзло это чудище прямо-прямешенько на Кромсаевъ дворъ. Это всѣ видѣли. И какъ только туча надошла надъ Кромсаемъ, такъ она сейчасъ же сверкнула огнемъ и ударила прямо въ чуланъ, въ то мѣсто, гдѣ у Кромсая была примощена короватка, на ко-

---

зѣніемъ, и отъ солдатъ ему не было иной клички, какъ «продажная шкура». Имѣть общеніе съ наемщикомъ считалось такъ же противно, какъ имѣть общеніе съ палачомъ, которому, по мнѣнію простолюдиновъ, будто даже «не даютъ причастія». А какъ таково было всеобщее презрительное отношеніе къ этимъ людямъ, то, разумѣется, объ этомъ знали и сами тѣ, кто нанимался въ солдаты, и потому, за весьма рѣдкими исключеніями, это были «люди отчаянные»—зашалившіеся, загулявшіе, сбившіеся съ пути или чѣмъ-нибудь особливо несчастные, по какому-нибудь роковому стеченію семейныхъ обстоятельствъ стремившіеся къ погибели. Эти послѣдніе и составляли жалостное исключеніе, да къ ихъ числу можно еще придать «крѣпостныхъ», которые впрочемъ могли наниматься только съ согласія своихъ владѣльцевъ, и то послѣ рискованной процедуры съ освобожденіемъ ихъ на волю. Случалось, что вольный человѣкъ «выкупалъ крѣпостного» съ тѣмъ, чтобы онъ послѣ пошелъ въ рекруты за дѣтей этого капиталиста, выкупаемый крѣпостной обѣщался это исполнить, но, получивъ отпускную въ свои руки, отказывался отъ «охотничанія» и предлагалъ выкупщику отработать заплаченныя за него деньги, или—еще проще—благодарилъ его и уходилъ иногда съ обѣщаніемъ «помолить Бога», а еще чаще съ бранью и насмѣшкою. Нанявшійся же «распутникъ» съ распутства начиналъ и въ распутствѣ продолжалъ все время своего «сговора» съ хозяиномъ. Зачиналъ это въ Орлѣ пропащій парень съ того, что появлялся въ безобразномъ и всего вѣроятнѣе въ безумномъ состояніи, въ торговый день, (въ пятницу), на Ильинской площади и, остановясь у вѣсовъ, кричалъ громкимъ голосомъ: «*Жару!*». Его «схватывали *хваты*» и сейчасъ же «мчали» его въ близстоявшій «Подшиваловскій трактиръ» и сразу же «поддавали ему жару», то-есть поили его водкою и приглашали

торой онъ спалъ, а подъ короваткой стояла у него завѣтная коробья, раскрашенная цвѣтами и подъ лакомъ. Все это такъ «феваркомъ и загорѣлося». Но при этомъ еще показалось удивительно, что изъ всего добра, которое тутъ было и которое сгорѣло,—выкинуло вверхъ только одну доску отъ цвѣтной коробьи, и когда она упала на землю и ее осмотрѣли, то увидали, что къ ней прилипло нѣсколько штукъ копѣечекъ и всѣ ихъ раскинуло треугольникомъ, а какъ разъ посединѣ угла сидѣлъ серебряный рубль,—будто глазъ глядѣлъ.

Какъ увидали это люди, то всѣ удивилися и заговорили: «Это чудо! надо это показать священнику». И показали.

для «кураженія» его подходящаго свойства женщинъ, или «короводницъ», имѣвшихъ вблизи свое становище у мостика на Перестанкѣ. Хороводницы, или «короводницы», являлись скоро и не одна, а двѣ или три, изъ самыхъ отчаянныхъ и самыхъ безстыжихъ—«согласныхъ съ охотникомъ гулять». Онѣ сейчасъ же брали пьянаго парня въ свои раздольныя объятія и, обласкавъ его «до воли», начинали его «вывозить». Обвязавъ его красными платками, его везли «катать» на извозчикѣ, при чемъ «короводницы» держали охотника на сидѣньѣ извозчичьихъ дрожекъ или саней, а сами лѣпились вокругъ него, обнимали его и громко пѣли безстыжія пѣсни и говорили въ народъ сальности, и дергались, и приплясывали; а окураженный ими охотникъ сидѣлъ осовѣлый какъ дуракъ или по временамъ безумно вскрикивалъ и вопилъ: «*еще жару!*» Такимъ образомъ парень уже былъ афишированъ на весь городъ. А въ это время, какъ одни хваты его такъ «окручивали», другіе уже пріискивали хозяина, которому наемщикъ нуженъ, и сдавали его ему съ вознагражденіемъ себя за труды и за расходы по всей первоначальной обстановкѣ дѣла. Такая безобразная гульба продолжалась все время до сдачи наемщика въ рекруты, и онъ «давалъ себя знать» своему хозяину, который вынужденъ былъ исполнять всѣ выдумки и капризы пропащаго парня, и тотчасъ же бросалъ его, когда тому забривали лобъ и онъ дѣлался «продажною шкурою», которую на службѣ очень любили «выколачивать». До этого «погибельнаго состоянія» человѣка доводили всегда при необходимомъ и неизбѣжномъ участіи женщинъ, именно сихъ выше названныхъ «короводницъ», которыя чаще всего сами и наводили слабыхъ людей «на эту путь», т.-е. научали ихъ кричать: «*жару!*». Склоннаго къ загулу дьячка Пашу очень нетрудно было провести этимъ путемъ, что Кромсай, вѣроятно, и обдѣлалъ.

А священникъ посмотрѣлъ и Кромсаю перстомъ погрозилъ.

Тогда Кромсай поблѣднѣлъ и сталъ каяться, что онъ утаилъ у Фаптеи семьдесятъ рублей и что они были цѣлы и береглись въ узелкѣ подъ подушкою, да вотъ это ихъ-то молоньей и раскинуло, и эти монетки, которыя влипли въ доску, дѣйствительно были изъ тѣхъ утаенныхъ денегъ.

А когда послѣ пожара стали разгребать пепелъ, то нашли слитокъ серебра и возлѣ него другое чудо: деньги сплавились, а возлѣ нихъ лежала остывшая «громовая стрѣла» или «чортовъ палецъ».

Кромсай отъ этого пришелъ въ такой ужасъ, что сейчасъ же сталъ жертвовать этотъ слитокъ на церковь, но священникъ недоумѣвалъ: можно ли брать эти деньги, такъ какъ «наемщикъ», или замѣститель въ солдатахъ, почитался тогда въ народѣ за что-то очень гадкое и приравнивался ко «псу продажному» (хотя псы себя никогда не продаютъ). А во Второзаконіи (23, 18) есть запрещеніе: «да не принесеши въ храмъ мзды блудничи и цѣны песіи»; но благочинный это разрѣшилъ. Онъ сказалъ, что «Второзаконіе дѣйствовало при Ветхомъ Завѣтѣ, а теперь, при Новомъ,— все новое».

Страшная гроза, спалившая Кромсаевъ дворъ, оживила нашъ воздухъ. Предчувствовалось уже въ тѣ дни, что голоду наступаетъ конецъ и близятся «времена отрады». Городскіе жители начинали вспоминать о своихъ деревенскихъ друзьяхъ и родственникахъ и посѣщать ихъ. Мы снова входили въ общеніе съ міромъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Передъ тѣмъ какъ растаять рѣчкѣ, къ намъ пріѣхала тетушка Пелагея Дмитріевна, которую, въ ранніе ея годы, въ родствѣ всѣ называли «проказница». Впрочемъ, у нея была репутація очень многосторонняя и сложная, и сообразно различнымъ ея фазисамъ и переходамъ ей давалось «новое имя».

Пелагея Дмитріевна или, по-домашнему, «тетя Полли». была княгиня и годъ тому назадъ выдала старшую дочь замужъ за очень именитаго князя.

Тетушка всегда была прекрасный человѣкъ, но въ молодости, когда на нее сердились, и потомъ, помирясь съ нею, называли ее «проказницей», — она «страдала самордаками». «Самордаки» — это такая болѣзнь, совмѣщавшая фантазію и упрямство. Своего рода «блажь». Самордаки у тети совсѣмъ никогда и не прошли, а только «переблажились». Въ голодный годъ она заблажила тѣмъ, что не продала ни пуда муки, а все искормила на дѣтскихъ мужиковъ, надъ которыми она была опекуншею, и завела такое баловство, что всѣ мужики и бабы приводили съ собою къ ней на дворъ своихъ дѣтей и всѣ у нея наѣдались.

На это двое ея сосѣдей обращали вниманіе предводителя и указывали, что она, какъ опекунша, такихъ расходовъ допускать не смѣетъ,—тѣмъ болѣе, что своимъ примѣромъ она другихъ подводитъ къ опасности; и предводитель ей дѣлалъ замѣчаніе, но «не могъ запретить». Тетя отвѣчала, что она «хочетъ идти подъ судъ».

Вообще тетя Полли была особа живая, смѣлая и интересная, и одолѣть ее—была не шутка...

Суда она не боялась, потому что держала въ своей совѣсти судъ надъ собою.

Теперь ей было уже лѣтъ за сорокъ, но она была еще очень красива: высокая, стройная, — что называется «король-баба»,—съ черными какъ смоль густыми волосами, которые вились у лба и у пробора на темени, и съ большими сѣрыми глазами, которые у нея «умѣли говорить все, что она хотѣла».

Недавно умершій Николай Антоновичъ Ратынскій, который былъ значительно меня старше и зналъ наше орловское родство, говорилъ мнѣ, будто Тургеневъ съ тети Полли нарисовалъ въ своемъ «Помѣщикѣ» ту барыню, о которой сказалъ, что она «была не вздоръ въ нашъ вѣкъ болѣзненный и хилый»

Разумѣется, описанное въ «Помѣщикѣ» лицо имѣло сходство съ тетей Полли только во внѣшности, а въ свойствахъ духа у нихъ была схожесть развѣ въ «побѣдоносности» и въ неукротимой энергіи и настойчивости.

«Побѣдоносный, свѣтлый взоръ,—
Все въ ней дышало древней силой».

Впрочемъ, какъ тетя Полли была оригинальное и характерное лицо дворянскаго круга глухой поры (тридцатыхъ годовъ) и такъ какъ ея «блажь» составляла въ голодный годъ нѣкоторое исключительное явленіе, то мнѣ кажется, что о ней стоитъ разсказать поподробнѣе.

Выше уже сказано, что она пользовалась репутаціей «проказницы», но слава ея въ этомъ родѣ была сильно раздута. Танта (какъ мы ее тоже называли) по положенію своему принадлежала къ губернской знати, но по живости своего ума и характера была лицо всесословное. Она держалась со всѣми какъ нельзя болѣе просто, «знала всѣ обстоятельства» и даже очень любила подшутить надъ родовитымъ невѣжествомъ. Первый мужъ ея былъ богатъ, скученъ и тученъ, но не именитъ, и никакимъ особеннымъ вниманіемъ и вліяніемъ не пользовался, но рокъ однако судилъ такъ, что онъ цѣлые полгода исправлялъ «по случаю» предводительскую должность и съ достоинствомъ умеръ въ этомъ почтенномъ званіи.

Тетушка овдовѣла очень молодою, она имѣла всего не болѣе двадцати трехъ или четырехъ лѣтъ и уже была матерью трехъ дочерей.

Если бы не дѣти, то очень могло статься, что тетушка пошла бы въ монастырь, такъ какъ у насъ въ Орлѣ это тогда было въ модѣ между дворянствомъ (съ чего и написана Лиза у Тургенева); но дѣти этому помѣшали. Они же дали чувствамъ тети и другое направленіе, а это послѣдовало вскорѣ послѣ смерти отца, когда всѣ дѣти вдругъ опасно заболѣли.

Болѣзнь изъ «прилипчивыхъ», и родные молодой вдовы всѣ ее покинули. Это въ благородномъ сословіи и тогда

уже было въ модѣ и практиковалось безъ зазрѣнія совѣсти. О положеніи тетушки дошла вѣсть въ Послово, гдѣ жила въ замкнутомъ одиночествѣ именитая г-жа княгиня Д*, знатная дама, занимавшая передъ тѣмъ видную «позицію», но вдругъ чѣмъ-то кому-то не угодившая и удаленная.

Говорили, будто она живетъ въ Пословѣ по-неволѣ и «пребываетъ» тутъ однимъ лишь тѣломъ, а что «душа ея не тутъ»—она живетъ «въ недосягаемыхъ сферахъ». Сама же княгиня Д* не считала себя равною ни съ кѣмъ и не допускала къ себѣ никого. У нея была собственная церковь, собственный попъ и собственный врачъ, которому она не позволяла лѣчить никого, кромѣ ея особы.

Этотъ врачъ былъ французъ, съ качествами извѣстнаго по пьесѣ Дьяченко французскаго гувернера m-r Дорси: онъ былъ и пустъ, и вѣтреиъ, и хорошъ собой, и великодушенъ.

Узнавъ черезъ людей, что въ сосѣднемъ селѣ такъ безжалостно всѣми брошена молодая и притомъ очень интересная вдова съ больными дѣтьми, онъ «взбунтовался» и объявилъ своей важной дамѣ, что онъ «ѣдетъ лѣчить сосѣдкиныхъ дѣтей».

Дама объ этомъ и слышать не хотѣла, но онъ продолжалъ настаивать, и когда люди не стали ему запрягать лошадей, то онъ завязалъ шею шарфомъ, надѣлъ теплые сапоги съ мѣхомъ и пришелъ къ тетѣ по снѣгу четыре или пять верстъ пѣшкомъ.

Разумѣется, онъ былъ встрѣченъ тетей какъ ангелъ-утѣшитель и оказался вполнѣ достойнымъ такой встрѣчи.

Онъ «воскресилъ дѣтей» и тѣмъ, понятно, произвелъ неотразимое вліяніе на сердце молодой матери. Княгиня Д* была поставлена этимъ случаемъ въ очень большія затрудненія. Сначала она сердилась и три дня не обращала вниманія, а потомъ позвала управителя и велѣла ему подать объявленіе, что «пропалъ французъ»... Докторъ и тетя объ этомъ узнали и оба смѣялись... Имъ было хорошо и радостно, потому что дѣти выздоравливали, а они были поглощены такимъ увлеченіемъ, которое дѣлало для нихъ чужія

сердечныя страданія смѣшными... Это вызвало со стороны княгини Д* рядъ мѣропріятій, изъ которыхъ одно было очень рѣшительное и имѣло успѣхъ; она сначала прислала сказать доктору, чтобы онъ не смѣлъ къ ней возвращаться изъ заразнаго дома; а потомъ, когда увидала, что онъ и въ самомъ дѣлѣ не возвращается, — она прислала его звать, такъ какъ съ нею случился припадокъ какой-то жестокой болѣзни, и наконецъ, черезъ полтора мѣсяца, когда пришла весна и природа, одѣвшаяся въ зелень, выманила француза въ лѣсъ, пострѣлять куропатокъ для завтрака тети, на него внезапно напали четыре человѣка въ маскахъ, отняли у него ружье, завернули его въ коверъ и отнесли на рукахъ въ скрытую на лѣсной дорогѣ коляску и такимъ образомъ доставили его княгинѣ... Здѣсь съ нимъ было или только ему угрожало происшествіе смѣшное и тяжкое, изъ котораго онъ вышелъ благополучно только благодаря тому, что изъявилъ согласіе сію же минуту, немедленно, сочетаться съ княгинею Д* законнымъ бракомъ, что̀ и было исполнено въ ея собственной церкви, ея священникомъ и при ея людяхъ...

Тетушка узнала объ этомъ только на другой день и горько плакала—участь бѣднаго француза казалась ей необыкновенно трогательною, и она укоряла себя, зачѣмъ она сама была такъ увлечена обаятельностью своего положенія, что не оформила всего по образцу княгини. Вѣдь это было такъ просто и такъ возможно, и даже не нужно было этихъ низкихъ угрозъ, которыми и его, и себя унизила Д*... Онъ бы самъ охотно на все согласился... Но ужъ дѣло было потеряно и вдобавокъ требовался коррективъ, и тетушка, какъ думали, запылала мщеніемъ и «не снесла обиды», а отомстила княгинѣ какъ настоящая «проказница»: она, совершенно ни съ кѣмъ не посовѣтовавшись и для всѣхъ неожиданно, вышла замужъ за князя С—ва, въ которомъ только то и было, что онъ былъ молодъ и холостъ, но совсѣмъ необразованъ и вдобавокъ, по совершенной бѣдности, служилъ квартальнымъ...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Mésalliance былъ самый полнѣйшій, но мщеніе все-таки было совершено: Д*—родовая княгиня — черезъ замужство съ французскимъ лѣкаришкой потеряла княжескую корону, а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисходящее потомство, такъ какъ князь С—въ былъ дѣйствительный, настоящій князь, изъ «Рюриковичей», и въ гербѣ у него стояли многозначительныя слова: «*не по грамотѣ*».

Словомъ — какой это ни былъ опрометчивый поступокъ, но тетушка о немъ не сожалѣла, такъ какъ она и вообще не сожалѣла никогда о томъ, что уже случилось, а держалась того правила: «что̀ укоротишь — того не воротишь: надо съ другого конца надшивать или надвязывать».

Впрочемъ, ея князь не былъ совсѣмъ особенно плохъ: въ немъ было что-то «породистое» и самую «форму квартальнаго» онъ носилъ съ военнымъ шикомъ. Съ этой стороны онъ былъ замѣтенъ и ради того по представительности своей былъ отличенъ начальствомъ и употреблялся для сношеній съ благородными лицами города. А потому, когда представилась надобность объявить тетушкѣ бумагу, присланную изъ московскаго опекунскаго совѣта, о какихъ-то ея опекунскихъ дѣлахъ, то по распоряженію полицеймейстера къ ней былъ посланъ съ этою бумагою квартальный-князь, и онъ былъ принятъ тетушкою не такъ, какъ принимали обыкновенныхъ квартальныхъ. Тетушка велѣла позвать его къ себѣ въ залъ, гдѣ она сидѣла въ это время въ распашномъ пеньюарѣ за утреннимъ чаемъ, и, посмотрѣвъ на него, пригласила его сѣсть,—что̀ было тоже необычайностью для лицъ его сана.

Князь сѣлъ, и пока тетушка пробѣжала принесенную ей бумагу и потомъ потребовала себѣ перо и чернильницу для того, чтобы расписаться «о прочтеніи оной», она успѣла «бросить на него взглядъ ока», и сейчасъ же сообразила:

на что находящійся передъ нею человѣкъ можетъ быть годенъ и какъ за это дѣло надо взяться.

А дѣло не допускало промедленія.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

С—въ тутъ же получилъ отъ тетушки порученіе по какому-то частному ея дѣлу—по поводу какихъ-то ея хлопотъ съ принадлежащимъ ей пустопорожнимъ мѣстомъ на берегу, гдѣ производилась погрузка хлѣба на барки, — и князь исполнилъ данное ему порученіе охотно, быстро и съ блестящимъ успѣхомъ.

За это онъ былъ вознагражденъ денежнымъ подаркомъ сверхъ мѣры заслугъ и кромѣ того удостоился разговора, вхожаго въ его положеніе, которое тетушка находила несоотвѣтствовавшимъ его родовому званію, такъ какъ князья С—вы въ самомъ дѣлѣ принадлежали къ «Рюриковичамъ» и были князья «не по грамотѣ».

С—въ былъ не глупъ и не уменъ, а то, что называется «человѣкъ средній», и участіе довольно именитой и весьма интересной дамы его такъ тронуло и согрѣло, что онъ расчувствовался и осмѣлился поцѣловать поданную ему на прощанье руку. Тогда это впрочемъ было въ обычаѣ, и тетушка этимъ не обидѣлась и даже обѣщала ему принять въ немъ участіе и о немъ подумать.

Князь былъ въ восторгѣ и провелъ нѣсколько дней въ размышленіи: какъ бы настроить ее такъ, чтобы она выпросила ему у губернатора мѣсто смотрителя тюремнаго замка или гдѣ-нибудь городничаго.

Но тетушка имѣла на него гораздо болѣе важные виды: черезъ нѣсколько дней она позвала его къ себѣ и спросила, не хочетъ ли онъ «измѣнить свой карьеръ».

Князь былъ готовъ на все и несказанно обрадовался, когда услыхалъ, что тетушка желаетъ принять его къ себѣ управителемъ. Онъ сейчасъ же подалъ въ отставку, снялъ квартальницкую форму и переселился въ тетушкино имѣніе,

гдѣ пріучался къ хозяйству подъ ея непосредственнымъ руководствомъ, и для того ѣздилъ съ ней вдвоемъ въ кабріолетѣ безъ кучера, а жилъ во флигелѣ, но потомъ въ одинъ прекрасный день переведенъ въ домъ и обвѣнчанъ съ хозяйкою въ ихъ деревенской церкви, точно такъ же скромно, какъ Д* обвѣнчалась у себя съ французомъ.

Бывшая Д*, не будучи нимало знакома съ тантою, прислала ее поздравить «отъ себя и отъ мужа». Это была дерзость, но тетя была умна и не обратила на это вниманія, а въ вознагражденіе за то французъ прислалъ ей двусмысленное утѣшеніе, состоявшее изъ одной фразы: «Le nombre des sots est infini».

Тетушку и это уже не занимало: она усиленно хозяйничала, и одинъ разъ, поѣхавъ на поле, такъ растряслась по кочкамъ, что въ тотъ же день Богъ далъ ей дочь—прехорошенькую княжну. Къ счастію, ребенокъ хотя пришелъ на свѣтъ немножко и рановременно, но это ему не повредило.

Маленькая неудача сказалась въ другомъ: тихій и благопристойный Рюриковичъ, послѣ того, какъ тетушка къ нему поближе присмотрѣлась, не выдержалъ самой снисходительной критики и оказался еще скучнѣе перваго ея мужа, предводителя.

Кромѣ того, тетѣ непріятно было, что князь все болтался и ничего не дѣлалъ и вдобавокъ,—какъ она убѣдилась, — ничего и не умѣлъ дѣлать, кромѣ клеенья коробочекъ изъ картона и цвѣтной бумаги съ золотыми бордюрами.

По мнѣнію родныхъ, тетя сама была во многомъ виновата, потому что она была со своимъ княземъ *очень суха;* но потомъ это перемѣнилось, и она сдѣлалась къ нему матерински нѣжна и неожиданно устроила его вполнѣ по его вкусу: какъ онъ когда-то мечталъ, такъ и получилъ вдругъ мѣсто городничаго въ отдаленномъ городѣ, куда отбылъ одинъ и его лѣтъ шесть не видали. Во все это время про князя никто и не говорилъ, а тетя-княгиня заперлась отъ всѣхъ и «предалась книгамъ». Дѣти, книги и хозяйство ее

поглотили, и о ней стали говорить, что она «вознеслась надъ жизнью». Но вдругъ князь потерялъ мѣсто и снова прибылъ въ деревню. Танта отвела ему помѣщеніе въ мезонинѣ, даже пожертвовала ему свой письменный столъ для кабинета, но сама осталась при дочеряхъ, изъ которыхъ старшая, Сусанна, *не княжна,* имѣла въ это время уже шестнадцать лѣтъ и смотрѣла невѣстою.

Она и двѣ ея младшія, единокровныя и единоутробныя сестры, очень любили мать и ея младшую дочку, *княжну* Ва́лю, но самого князя не могли переносить.

И въ самомъ дѣлѣ, всѣ онѣ были въ мать — «ужасныя читалки и игралки»,—т.-е. вѣчно были за книгой или за музыкальными занятіями, и ихъ занимали живые бытовые вопросы и литература, а князя не занимало ничто. Если онъ не клеилъ коробокъ, то онъ только могъ ходить да свистать, или сидѣлъ въ своихъ комнатахъ у окна и переговаривался съ проходящими мимо бабами и мужиками— и всегда о пустякахъ. Всякое обращеніе съ книгою ему было противно, и хотя онъ зналъ, что онъ невѣжда и что это нехорошо, но преодолѣть свою вражду къ книгѣ не могъ.

Онъ понималъ, что онъ своей женѣ не пара и что «попалъ въ честь по случаю», и терпѣлъ это и не нахальничалъ. Онъ только завидовалъ, что жена его, при ея запасѣ врожденнаго ума и начитанности, всегда занята и всегда ей вездѣ весело, а ему вездѣ скучно,—и единственное ему спасеніе—быть городничимъ,—ходить, свистать и покрикивать.

Въ семьѣ изъ этого ничего стройнаго не выходило, и благодаря тому, что падчерицы его не всегда умѣли скрыть, что онъ имъ непріятенъ и что онѣ страдаютъ за свою умную и образованную мать, видя ее женою такого остолопа,—князь страдалъ отъ своего положенія и даже сталъ возбуждать къ себѣ состраданіе въ сердцѣ очень чувствительной и доброй танты.

Тетя стала за него заступаться и говорила дочерямъ:

— Что онъ вамъ мѣшаетъ? Онъ очень простой человѣкъ, но что же онъ дѣлаетъ вреднаго?.. Онъ проводитъ время, какъ умѣетъ, и его можно оставить въ покоѣ. Онъ и безъ того всѣхъ избѣгаетъ и вѣчно одинъ.

И княгиня стала навѣщать бѣднаго князя въ его уединеніи, и чтобы это не имѣло видъ сентиментальности, она писала письма на письменномъ столѣ, перенесенномъ въ его кабинетъ. Такъ шли дѣла въ теченіе всей зимы, а по веснѣ Сусанна одинъ разъ окинула мать испытующимъ взглядомъ и сказала:

— Однако что же это, мама?!

— Что такое?—спросила тетя и покраснѣла.

— То-то и есть, мама... вы краснѣете!.. И должно краснѣть!

— Чего же мнѣ краснѣть!—отозвалась, оправясь, тетя.

— Того, что мы уже взрослыя, а вы... ходите письма писать... Мы перенесемъ вашъ письменный столъ въ вашу комнату.

Но дѣло было уже непоправимо, и у Сусанны съ ея сестрами явился еще маленькій братецъ. Ребенка опять всѣ любили и ласкали, кромѣ самого князя, у котораго это удовольствіе было отнято, и на этотъ разъ—увы!—навсегда. Князю снова достали соотвѣтственное городничеству мѣсто на Кавказѣ, и онъ тамъ ходилъ, курилъ, свисталъ и покрикивалъ, и тамъ же и умеръ, выкупавшись послѣ жирнаго обѣда въ холодномъ Терекѣ.

Смерть мужа, взятаго точно на-прокатъ и поставленнаго ни вѣсть на какую позицію, уязвила сердце тети сознаніемъ своего грѣха передъ этимъ человѣкомъ, который былъ принесенъ ею въ жертву самымъ эгоистическимъ соображеніямъ, весьма ничтожнаго свойства. Онъ, живой человѣкъ, пришедшій въ міръ, чтобы свободно исполнить на землѣ какое-то *свое* назначеніе, былъ обращенъ ею въ метелку, которою она замахнула сорный слѣдъ своего колоброда, и потомъ смыла его съ рукъ и сбросила въ Терекъ...

Ей было ужасно стыдно и ужасно его жаль,—и она за-

перлась въ спальнѣ и плакала о немъ много и долго; и тутъ же, запершись, въ уединеніи отъ дочерей, которыя не могли сдерживать своего презрѣнія къ захудалому глуповатому «Рюриковичу», исполнявшему и глуповатую роль въ жизни, — она обдумала себя. Дѣвицъ и теперь раздражало и обижало, что мать была такъ потрясена событіемъ и относилась къ князю съ «чувствомъ»... Онѣ были въ томъ «счастливомъ» возрастѣ, который даетъ возможность разсуждать обо всемъ не только очень эгоистично, но и очень ошибочно, и имъ было *стыдно* за то, что «она, значитъ, все-таки его любила»... Имъ, для ихъ семейнаго достоинства, не хотѣлось, чтобы это было такъ; но онѣ не понимали, что это именно *такъ* и не было! Тетя Полли не оплакивала въ князѣ человѣка, котораго бы она предпочитала всѣмъ другимъ людямъ,—что̀ выражаетъ баналь-ное требованіе такъ называемой «любви», — но она оплакивала въ немъ человѣка-брата, котораго она встрѣтила случайно, заставила его продѣлать все, что хотѣла, и къ которому не оказала благоволенія. Какіе бы доводы ей ни представляли, что она ни въ чемъ передъ нимъ не виновата, она чувствовала свою вину и хотѣла утолить ее. Тетя сдѣлала трауръ двумъ младшимъ дѣтямъ и сама надѣла черное платье,— отстояла на колѣняхъ заупокойную обѣдню и панихиду, и еще рядъ другихъ панихидъ, но утоленія не было: покой къ ней не приходилъ. Она находила, что это все не то... И вотъ она вдругъ уѣхала куда-то парою, въ маленькой бриченкѣ съ однимъ кучеренкомъ, и, возвратясь черезъ десять дней, сказала, что она была въ Оптиной пустыни у «старца», но на разспросы о томъ: что̀ тамъ такое? — съ странною разсѣянностью отвѣчала: «Опять все это не то». И подаренныя ей старцемъ маленькія книжечки она прочла разъ и болѣе ихъ не открывала: опять было «не то». Она послала къ приходскому священнику, чтобы тотъ далъ ей Библію. Но Библіи въ церковномъ обиходѣ не было. За нею послали въ Орелъ, но и въ Орлѣ продажной Библіи не нашли, а достали ее

«почитать» у семинарскаго ректора, и то съ предвареніемъ отъ своего священника, что «это книга мірская и читать ее небезпечно».

И другіе тоже пробовали отговаривать тетю, «чтобы не сошла съ ума, прочитавъ Библію»; но она была «неимовѣрная»: она таки прочитала всю Библію и, разумѣется, какъ слѣдуетъ,—сошла съ ума и начала дѣлать явныя несообразности.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Такъ, напримѣръ, окончивъ чтеніе Библіи, тетя не задала себѣ труда повторять это, какъ дѣлаютъ многіе одолѣвшіе названную книгу, а она отложила ее въ сторону разъ и навсегда и «понесла фантазіи» въ родѣ того, что «хорошихъ временъ еще не было», или что «лучшая жизнь на землѣ будетъ впереди насъ, а не та, которая осталась позади насъ»... И она въ это не только вѣрила, но говорила, что «въ такой вѣрѣ только и находитъ силу жить и трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему, которое идетъ и непремѣнно придетъ—когда «горы и юдоли сравняются и левъ ляжетъ съ ягненкомъ и не завредитъ ему».

Эти «глупости» танты основательные люди передавали другъ другу и, весело смѣясь, называли ее лицемѣрной фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименованіе «проказницы» было уже теперь для нея слабо, такъ какъ оно не выражало опаснаго характера ея нынѣшняго настроенія, и то старое названіе было у нея отнято.

— *Была* проказница,—говорили о ней,—но тогда была зато хоть живая и преинтересная, а теперь стала Богъ знаетъ на что похожая—противная, скучная фантазерка, съ которой старикамъ нечего дѣлать, потому что она ихъ не слушаетъ, а молодежь... даже страшно оставлять съ нею!

Одинъ изъ основательныхъ дворянъ, имѣвшихъ «голосъ въ собраніи и въ обществѣ», во время выборовъ сдѣлалъ заявленіе, что слѣдовало бы обратить вниманіе на то, въ какомъ духѣ танта воспитываетъ своихъ дочерей. Но пред-

водитель, очень добрый и мягкій человѣкъ, нашелъ, что какъ у княгини всѣ ея дочери — дѣвочки, то какъ бы она ихъ ни воспитывала—это не важно.

Воспитывала же она ихъ странно—безъ учителей,—всему обучая ихъ сама, при содѣйствіи выписанной изъ Англіи *квакерши*, Гильдегарды Васильевны, которая была бы чрезвычайно красива, если бы «совершенно себя не безобразила», нося постоянно сѣрое платье въ складкахъ и лѣтомъ широкую соломенную шляпу, а зимою маленькую теплую черную шапочку «съ затылкомъ и съ ушками, безъ всякаго фасона».

Притомъ танта съ этою квакершею сдѣлались неразрывными друзьями и ни съ кѣмъ не церемонились.

Къ нимъ можно было заѣхать, и онѣ всякаго гостя встрѣчали очень привѣтливо, но всегда прямо желали узнавать: чѣмъ онѣ ему могутъ быть полезными. И затѣмъ сію же минуту дѣлали для него все, что могли, но потомъ, сдѣлавши это, тотчасъ же къ нему, или къ ней, охладѣвали и держали себя съ гостями — какъ будто «занимать» его или ее совѣмъ не ихъ обязанность. Онѣ оставляли пріѣзжихъ въ покоѣ и сами обращались къ своимъ обыденнымъ занятіямъ, въ которыхъ наблюдали строгій порядокъ, — очень противный для людей съ истинной «широкой натурой».

Кончилось это тѣмъ, что стали находить, будто у бывшей «милой проказницы» огрубѣли манеры и пропала женственность. Она стала носить безсмѣнно однообразнаго, самаго простого фасона черное шерстяное платье зимою и такое же свѣтлое ситцевое платье лѣтомъ; лѣчила у крестьянъ самыя неопрятныя болѣзни, сама своими руками обмывала ихъ раны и дѣлала кровавые разрѣзы и другія простыя операціи, и при этомъ ни за что не хотѣла поручить присмотръ за больнымъ горничнымъ дѣвушкамъ, ибо она находила, что горничныя слишкомъ деликатны и «носъ воротятъ». Вообще тетя Полли стала будто рѣзка и даже иногда употребляла «Антошины словечки». Оно такъ и

было: тетя выражалась порою немножко во вкусѣ Антона Антоновича Сквозника-Дмухановскаго, называя вещи ихъ прямыми именами, что̀, впрочемъ, въ ея устахъ не было ни плоско, ни грубо, а только прямо и о̀бразно. Такъ же рѣзки казались и ея чувства, въ которыхъ не находили самаго необходимаго—раскаянія и сожалѣнія о прошломъ,— что̀ ей очень бы и очень не мѣшало... На это даже и обращали иногда ея вниманіе, и говорили: кто хочетъ показать другимъ лучшій образъ жизни, тотъ не долженъ никогда забывать своего худшаго. «Врачу, исцѣлися самъ!»

Тетя за эти намеки нимало не сердилась и отъ нихъ не конфузилась: она, безъ сомнѣнія, понимала, во что люди мѣтили, но все слушала спокойно и, выслушавъ, отвѣчала:

— По отношенію ко мнѣ все это совершенно справедливо, и я постоянно чувствую, какъ не хорошо имѣть неопрятное прошлое,— чистыхъ не въ чемъ упрекать и на нихъ выдумываютъ, а о насъ можно говорить правду, которая тяжелѣе всякой лжи,— но то дурное, что̀ я дѣлала, я уже оставила.

Maman разъ замѣтила ей, что, «переставъ грѣшить, надо начать каяться», но тетя отвѣтила ей:

— Насчетъ раскаяній мнѣнія различны; но я не нахожу никакой пользы въ томъ, чтобы порочный человѣкъ, сознавъ свои дурныя дѣла, сидѣлъ бы и все смотрѣлъ на свой животъ, какъ это дѣлаютъ какіе-то чудаки въ Индіи. У очень многихъ людей въ ихъ прошедшемъ есть порядочное болото, но что же пользы возиться въ этомъ болотѣ? Лучше поскорѣе встать да отряхнуться и идти доброй дорогой.

Такъ она и жила, «отряхнувшись», и не хотѣла жить иначе, и несмотря на все ея «порядочное болото въ прошломъ», личность ея стала казаться свѣтлою и получила такую привлекательность, что къ ней широко запылала любовь во множествѣ сердецъ.

Ея дочери, которыя унаслѣдовали не всѣ ея свойства, напрасно боялись, что ея пассажъ со вторымъ бракомъ

повредитъ ихъ карьерѣ: одна изъ этихъ дочерей очень скоро и очень пріятно разочаровалась въ этомъ потому, что прибывшій въ ихъ мѣстность, для принятія наслѣдства, молодой сынъ именитаго вельможи, князь Z., одинъ разъ побывавъ у тети Полли, такъ полюбилъ ее и ея Гильдегарду, и все ихъ семейство, что не захотѣлъ оставаться чужимъ этой семьѣ и твердо настоялъ на томъ, чтобы ему былъ разрѣшенъ бракъ съ ея старшею дочерью, съ тою самою Сусанной, которая была груба къ матери, стыдилась ея беременности, — а потомъ еще болѣе стыдилась этой своей выходки и сдѣлалась образцомъ дочерней любви и уваженія къ матери.

Это было наградою тетѣ Полли, которая сама себя почитала «во всѣхъ статьяхъ неисправною» и никого не бралась исправлять, но до самозабвенія восторгалась, когда видѣла, что люди «ни отъ чего исправляются».

Ни отъ чего!..

Она была бы до слезъ смущена, если бы ей доказали, что это «ничто» была сама она, ушедшая «отъ своего болота».

Такъ преобразилъ ее Тотъ, Кто жалѣетъ объ утратѣ одной овцы, и, хватившись ея, оставляетъ девяносто девять овецъ, идущихъ своею дорогою, и ищетъ въ кустахъ и терніи потерявшую путь одну овцу, и находитъ ее, беретъ ее на Свои священныя руки, и несетъ, и радуется, и даетъ радость всѣмъ, кому понятна и дорога радость, что *ожилъ человѣкъ!*

Личныхъ утѣшеній тетя Полли съ тѣхъ поръ не искала, но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное утѣшеніе освѣтило ея закатъ: ея зять, мужъ Сусанны, отличился благороднѣйшею дѣятельностью при «освободительныхъ работахъ» въ царствованіе Александра II. И тетя, при полученіи извѣстія объ этомъ, плакала радостными слезами на груди у своей Гильдегарды и сама себя перебивала словами:

— Нѣтъ, за что же?.. За что мнѣ такъ много дано, когда я такъ мало стою!

Но, увлекаясь воспоминаніями о тетѣ Полли, я отступаю отъ порядка повѣствованія, съ которымъ здѣсь пора кончить.

Возвращаюсь къ тому, когда тетушка пріѣхала къ намъ въ деревню, измученную голодомъ, которому уже былъ виденъ предѣлъ, но къ которому теперь присоединились повальныя болѣзни; онѣ сложили на землю половину живущихъ и навели уныніе и страхъ на другую половину.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Тетя Полли собственно была вызвана къ намъ отцомъ, который описалъ ей наше унылое состояніе, и она сейчасъ же пріѣхала вмѣстѣ съ Гильдегардою и привезла успокоеніе и радости.

Эта женщина всегда привозила съ собою, во-первыхъ, свою непобѣдимую и никогда ее не оставлявшую благородную веселость, а потомъ непремѣнно всѣмъ людямъ и дѣтямъ по подарку. *Дарить* — это была ея слабость и ея радость, и она имѣла удивительную способность всѣхъ помнить и всякому подобрать подарокъ, подходящій по его потребности и по вкусу.

Женщинамъ дарились головные платки, горничнымъ — ситцы на платья, лакею — «отрѣзъ на жилетъ», кучеру — «касандрійская рубаха», скотнику — рукавицы, но болѣе всего привозилось дешевыхъ алыхъ лентъ — деревенскимъ дѣвчонкамъ на «косоплетки».

Эти косоплетки, нарѣзанныя кусочками соотвѣтственнаго размѣра, тетя всегда имѣла у себя въ запасѣ въ карманѣ платья, и гдѣ бы ни встрѣтила дѣвчонку, она подзывала ее къ себѣ и дарила всегда съ шуткою:

— Дѣвки! дѣвки! подите ко мнѣ, я васъ осчастливлю!.. На-те вамъ—въ косы заплетите... Ты чернуха—тебѣ вотъ ленточка алая, а ты бѣлый тараканъ—тебѣ лучше будетъ синенькую...

«Осчастливленныя» просіявали отъ счастія и съ раз-

горѣвшимися глазенками бѣжали за тетей и просили, чтобы къ алой была прибавлена синенькая, а къ синенькой— аленькая, и тетя увлекалась радостью дѣтей и имъ не отказывала, а иногда брала дѣвочекъ и цѣловала ихъ не совсѣмъ чистыя лица, приговаривая:

— Ахъ вы, рожицы!.. Тоже щеголихи!.. На-те вамъ, чумазыя! на-те!

И ленты летѣли въ толпу, и деревня расцвѣчалась пестротою дѣвичьихъ косоплетокъ.

Видно было, что «баловница пріѣхала».

Было ли послѣ этого чему удивляться, что эта «баловница» (сколько у нея было *прозваній!..*) была въ то же время и общая любимица и что такое лицо, какъ она, въ лихую годину, сразу однимъ своимъ появленіемъ наполняла сердца людей довѣріемъ и упованіемъ, облегчающими въ значительной мѣрѣ всякое горе и «всякую язю въ людѣхъ»?!

А тетя Полли и Гильдегарда теперь и пришли къ намъ съ нарочитою цѣлью—принести облегченіе больнымъ, которыхъ было полдеревни и которые валялись и мерли въ своихъ промзглыхъ избахъ безъ всякой помощи.

Какая это была болѣзнь—я не помню, но знаю, что надъ распознаваніемъ ея по правиламъ науки никто не трудился. Уѣздные врачи (которыхъ тогда было по одному на уѣздъ) дѣлали только судебныя «вскрытія», а лѣчить больныхъ времени не имѣли; отецъ мой обладалъ «Лѣчебникомъ штабъ-доктора Егора Каменецкаго», но не имѣлъ дара лѣчить; матушка боялась заразы, а французъ-докторъ, женатый на нашей богатой сосѣдкѣ, бывшей княгинѣ Д*, еще въ самомъ началѣ голоднаго года покинулъ жену и уѣхалъ отъ снѣжныхъ сугробовъ Россіи на свою цвѣтущую родину, а оттуда въ палящія степи Африки, гдѣ охотился на львовъ вмѣстѣ съ Клодомъ Жераромъ.

Мы были совершенно безпомощны и знали о болѣзни, убивавшей крестьянъ, только такіе симптомы, что у нихъ сначала «заболитъ голова, а потомъ на нутрѣ сверлитъ,

а потомъ весь человѣкъ слабъ сдѣлается» и валяется, пока «потмится въ лицѣ и духъ вонъ».

У тетушки и у Гильдегарды Васильевны былъ талантъ къ лѣченію больныхъ крестьянъ, и имъ это было ни почемъ, такъ какъ онѣ не боялись заразиться. Болѣзнь, которою умирали наши крестьяне, началась-было на деревнѣ и у тети Полли, но тамъ ей не дали развиться. Тетя и Гильдегарда тотчасъ же отдѣляли больныхъ изъ семьи и клали ихъ въ просторную столярную мастерскую, гдѣ и лѣчили ихъ, чѣмъ знали, съ хорошимъ успѣхомъ.

Теперь у нихъ все было благополучно, и онѣ явились на помощь къ намъ во всеоружіи своей духовной мощи и знаній и съ запасомъ потребныхъ лѣкарствъ. Но болѣе всего полезенъ былъ ихъ мощный духъ, присутствіе котораго сразу измѣняло весь ходъ и настроеніе нашей жизни.

Тетя Полли не успѣла еще снять съ себя въ передней свой темнозеленый шолковый ватошникъ, какъ уже давала тонъ и направленіе.

Первыя слова ея были къ отцу:

— Ну, что это за стыдъ!.. мы проѣхали всю вашу деревню и не слыхали ни какъ гусь гогочетъ, ни какъ корова мычитъ. Здравствуй, братъ!.. Или у васъ уже совсѣмъ нѣтъ коровъ?

Отецъ поцѣловалъ у нея обѣ руки и отвѣчалъ, что на деревнѣ осталась всего одна корова у старосты.

— Ахъ, да!.. И правда!.. Я ее, должно быть, видѣла... Бурая?.. Но мнѣ показалось, что это неживое чучело.

Такой разговоръ произошелъ еще на самомъ порогѣ, и затѣмъ это такъ и продолжалось въ живомъ и энергичномъ тонѣ и съ однимъ и тѣмъ же надъ всѣмъ преобладающимъ стремленіемъ поставить все ниже заботъ о деревнѣ.

Тетя ласкала насъ—болѣе руками и взглядами—и въ то же время задавала отцу вопросы, требовавшіе немедленнаго исполненія ея просьбъ или приказаній, которыя вытекали изъ каждаго обстоятельства и шли одно за другимъ въ быстромъ, но стройномъ порядкѣ.

Тетя спрашивала: «сколько больныхъ на деревнѣ?» И видя, что отецъ затрудняется точнымъ отвѣтомъ, сейчасъ же сама за него отвѣчала:

— Ты не знаешь?.. Это не дурно для начала со стороны христіанина и помѣщика средней руки!.. А могу ли я видѣть твоего старосту или кого-нибудь, кто у тебя есть поумнѣе и у кого меньше упрямства и предразсудковъ?.. У тебя былъ, я помню, гдѣ-то за усадьбой пустой половень.

— Онъ сгорѣлъ,—отвѣчалъ отецъ.

— Вотъ какъ!.. Вѣрно отъ грозы?

— Нѣтъ,—мои дураки тамъ колдовали съ человѣчьимъ саломъ.

— Какъ это?

Отецъ разсказалъ ей извѣстную исторію со свѣчой изъ Кожіенова сала, отъ которой сгорѣлъ половень.

Тетя пила чай и слушала исторію безъ улыбки, безъ ужаса и безъ гримасъ, и только посмотрѣла въ бокъ на Гильдегарду, которая тоже окинула ее отвѣтнымъ взглядомъ, и было ясно, что имъ не надо было говорить болѣе, чтобы понимать другъ друга.

Когда былъ конченъ разсказъ о свѣчѣ и о всемъ томъ, что записано выше въ этихъ воспоминаніяхъ, тетя Полли вздохнула и сказала:

— Да!.. здѣсь юдоль плача... Голодъ ума, голодъ сердца и голодъ души. Вотъ мотокъ, въ которомъ не знаешь, за какую нить хвататься!.. Дмитрій Ростовскій, впрочемъ, говорилъ въ дворцовой церкви, что онъ извиняетъ, когда люди «за нуждою и утѣсненіями забываютъ о Высшемъ». И теперь ужъ надо помогать одной низшей, грубой нуждѣ. Лучше сдѣлаютъ когда-нибудь послѣ другіе, а не мы. Если половень сгорѣлъ, я прошу ригу и помѣщу въ ней больныхъ. Это первое дѣло,—ихъ надо сейчасъ отдѣлить. Мы уже отдохнули и теперь обойдемъ съ Гильдегардой всѣ избы и сосчитаемъ всѣхъ больныхъ—и потомъ ихъ сейчасъ же перевезть...

— Больные не пойдутъ со своихъ печей и лавокъ,— замѣтилъ отецъ.

— Ну, мы постараемся убѣдить ихъ, чтобъ они пошли, а въ крайнемъ случаѣ... мы ихъ возьмемъ и унесемъ.

— Насильно?

Тетя посмотрѣла въ глаза отцу и, помолчавъ минуту, отвѣтила:

— А хотя бы и насильно!.. Какъ странно! Развѣ ты и я—мы всѣ ими владѣемъ по ихъ доброй волѣ? Пустяки! того, кто тонетъ, берутъ за волосы и вытаскиваютъ *насильно*... Это очень грубо, но совершенно необходимо. Соломы вѣрно нѣтъ у васъ, чтобы настлать кучами постелей по всей ригѣ?.. Это очень жаль, но, можетъ быть, есть конопляная костра? Есть? Ну, вотъ и прекрасно,—обойдемся съ ней... Пока мы съ Гильдегардой будемъ на деревнѣ, возьми на себя трудъ наблюсти, чтобы здоровые натаскали въ ригу сухой костры и наклали ее для больныхъ кучками... Вели дѣлать этакъ... какъ большія котлеты, въ ростъ человѣка,—и въ головахъ—повыше, а къ ногамъ—пониже. Черезъ часъ тамъ уже будутъ больные... Твоя жена не можетъ намъ помогать?

Отецъ тихо отвѣтилъ:

— Она боится.

— Ну и не нужно ее... Кто боится, тѣмъ это и вредно. А мы сейчасъ же идемъ!

Проговоривъ это, она уже стояла и покрывала свою кучерявую голову мягкимъ платкомъ, а Гильдегарда Васильевна надѣвала свою высокую, съ широчайшими полями, соломенную шляпу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Тетя и Гильдегарда взяли въ карманы крошечный карманный фонарикъ съ рефлекторомъ (для осмотра горла), флаконъ съ какой-то жидкостью и записную книжку и ушли.

Отецъ предлагалъ имъ провожатаго, но онѣ не взяли, и сказали, что надо зайти подъ-рядъ въ каждую избу.

— На васъ могутъ напасть собаки.

— Полно, пожалуйста! Собаки такія почтенныя животныя, — онѣ знаютъ, кто идетъ не съ дурнымъ намѣреніемъ, и будутъ съ нами вѣжливы.

И дѣйствительно, собаки повсемѣстно отнеслись къ нимъ превосходно, но все-таки экспедиція ихъ не обошлась безъ приключенія: бурая корова Дементія, которую тетя оскорбила, назвавъ ее «неживымъ чучеломъ», доказала, что она еще жива, и когда Гильдегарда, проходя мимо нея, остановилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка немедленно подняла голову, сдернула съ англичанки ея соломенную шляпу и быстро удалилась съ нею на середину самой глубокой и непроходимой лужи, гдѣ со вкусомъ и съѣла шляпу, къ неописанному удовольствію тети Полли, которая надъ этимъ очень смѣялась, а англичанка, потерявъ шляпу, повязалась своимъ носовымъ платкомъ и окончила обходъ въ этомъ уборѣ.

До вечера было сдѣлано множество вещей: въ ригѣ было настлано двадцать семь постелей изъ сухой костры и на нихъ уложили соотвѣтственное число людей, освободивъ отъ производимаго ими смрада тѣсныя избы, въ которыхъ мѣстились ихъ семейства. При этой «эвакуаціи» насилій не было, но имѣли свое мѣсто энергія и настойчивость обѣихъ женщинъ, которыя сами при этомъ работали до изнеможенія и не пришли обѣдать до темнаго вечера.

Матушка долго и напрасно ждала ихъ и сердилась. Обѣдъ весь перестоялся и былъ испорченъ. Отецъ стыдился покинуть тетю и англичанку однѣхъ съ больными мужиками и бабами, и тоже оставался въ ригѣ: онъ помогалъ имъ раскладывать больныхъ и защищать ихъ отъ сквозного вѣтра въ импровизированномъ для нихъ баракѣ.

Имъ тамъ было холодновато, но они тотчасъ же стали легче дышать, а въ то же время безопаснѣе и легче дышалось и тѣмъ, которые остались у себя въ избахъ.

Отецъ, тетя и Гильдегарда пришли въ домъ, когда уже былъ вечеръ, и ѣли скоро и съ аппетитомъ, а говорили мало. На лицахъ у обѣихъ женщинъ какъ будто отпечаталось то выраженіе, какое онѣ получили въ ту минуту, когда тетя проговорила:

— Это ужасно: круглый голодъ, — голодъ ума, сердца и души... И тогда уже — всякій голодъ!

Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы и даже отвѣчали суховато и какъ бы неохотно.

Мать имъ сказала:

— Извините за обѣдъ... Онъ весь перешелъ, — вы сами виноваты, что дотянули обѣдъ до звѣзды.

Гильдегарда ее, кажется, не поняла; но тетя, разумѣется, поняла, но небрежно отвѣтила:

— До звѣзды!.. Ахъ да... и ты права: мы въ самомъ дѣлѣ очень любимъ звѣзды... ихъ видѣть такъ отрадно. Тамъ вѣдь, безъ сомнѣнія, живутъ другія существа, у которыхъ, можетъ быть, нѣтъ столько грубыхъ нуждъ, какъ у насъ, и потому они должно быть противъ насъ лучше, чище... меньше самолюбивы и больше сострадательны и добры...

— Но вѣдь это фантазія, — замѣтила мама.

Тетя ей не отвѣчала.

— Притомъ, мы всѣ очень грѣшны, — зачѣмъ намъ мечтать такъ высоко! — молвила мать, конечно, безъ всякаго намека для тети.

Тетя ее слышала и произнесла тихо:

— Надо подниматься.

— Да вѣдь какъ это сказать...

Матушка, кажется, побоялась сбиться съ линіи, а тетя ничего болѣе не говорила: она озабоченно копошилась, ища что-то въ своемъ дорожномъ буалѣ, а Гильдегарда въ это время достала изъ темнаго кожанаго футляра что-то такое, что̀ я принялъ за ручную аптечку, и перешла съ этимъ къ окну, въ которое смотрѣлось небо, усѣянное звѣздами.

Мама вышла. Тетя закрыла баулъ, подошла къ столу, на которомъ горѣли двѣ свѣчки, и обѣ ихъ потушила, а потомъ подошла къ англичанкѣ и тихо ее обняла. Онѣ минуту стояли молча, и вдругъ по комнатѣ понеслись какіе-то прекрасные и до сей поры никому изъ насъ незнакомые звуки. То, что я принялъ за ручную аптечку, была концертина, въ ея тогдашней, примитивной формѣ, но звуки ея были полны и гармоничны, и подъ ихъ аккомпанементъ Гильдегарда и тетя запѣли тихую пѣснь — англичанка пѣла пустымъ контральто, а тетя Полли высокимъ фальцетомъ.

Онѣ пѣли «cantique» на текстъ «Приходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ» (Іоан. VI, 37), и слова ихъ пѣсни передъ звѣздами (въ русскомъ переводѣ) были таковы:

Таковъ какъ есть, — во имя крови,
За насъ пролитой на крестѣ,
За вѣрой, зрѣньемъ и прощеньемъ,
Христосъ, я прихожу къ Тебѣ».

Я былъ пораженъ и тихой гармоніей этихъ стройныхъ звуковъ, такъ неожиданно наполнившихъ домъ нашъ, а простой смыслъ дружественныхъ словъ пѣсни плѣнилъ мое пониманіе. Я почувствовалъ необыкновенно полную радость оттого, что всякій человѣкъ *сейчасъ* же, «таковъ какъ есть», можетъ вступить въ настроеніе, для котораго нѣтъ разторгающаго значенія времени и пространства. И мнѣ казалось, что какъ будто, когда *они* тронулись къ Нему «за вѣрой, зрѣньемъ и прощеньемъ», и *Онъ* тоже шелъ къ нимъ навстрѣчу, Онъ подавалъ имъ то, что дѣлаетъ иго Его благимъ и бремя Его легкимъ...

О, какая это была минута! я уткнулся лицомъ въ спинку мягкаго кресла и плакалъ впервые слезами невѣдомаго мнѣ до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбужденія, что мнѣ казалось, будто комната наполняется удивительнымъ тихимъ свѣтомъ, и свѣтъ этотъ плыветъ сюда прямо со звѣздъ, пролетаетъ въ окно, у котораго поютъ двѣ пожилыя женщины, и затѣмъ озаряетъ внутри меня

мое сердце, а въ то же время всѣ мы — и голодные мужики, и вся земля — несемся куда-то навстрѣчу мірамъ..

О, если бы за всѣ скорби жизни земной еще разъ получить такую минуту при уходѣ изъ тѣла!

Этотъ вечеръ, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снѣгомъ житейской зимы, кажется, имѣлъ для меня значеніе на всю мою жизнь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

На другой день передъ обѣдомъ, когда тетя Полли и Гильдегарда, съ помощью отца и двухъ дворовыхъ, перекладывали въ ригѣ больныхъ на свѣжія подстилки изъ кострики, на которую разостлали рогожи, въ ригу неожиданно вошелъ исчезнувшій по осени съ нашего горизонта майоръ Алымовъ, а за нимъ шли его лягавый «Интендантъ» и мальчикъ съ табачнымъ кисетомъ и съ трубкой.

Я почему-то сразу понялъ, что майоръ напрасно вошелъ сюда, что ему здѣсь не мѣсто, и точно то же самое, очевидно, подумалъ мой отецъ, который, увидавъ майора, слегка покраснѣлъ, передалъ мнѣ въ руки полоскательницу съ уксусомъ и губкой, а самъ пошелъ скорымъ шагомъ навстрѣчу Алымову и, здороваясь съ нимъ одною рукою, другою далъ знакъ мальчику, чтобы онъ удалилъ отсюда собаку.

— Ахъ, да!.. здѣсь гошпиталь!—замѣтилъ Алымовъ.— Это интересно. Я еще теперь только ѣду домой... Я всю зиму леталъ и своимъ мужикамъ не мѣшалъ жить какъ имъ угодно... Вѣдь мы имъ, право, только мѣшаемъ... Они сами—чудесный народъ и всегда какъ-нибудь обойдутся... А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрицѣ: я объ ней много наслышанъ.

Отецъ представилъ его обѣимъ дамамъ, но тѣ поклонились ему черезъ плечо, не отрываясь отъ своего дѣла, и отецъ увелъ его въ домъ, а одинъ изъ дворовыхъ, подавая тетѣ дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложилъ

ей вкратцѣ, что̀ это за человѣкъ г. Алымовъ и какую онъ штуку сдѣлалъ, вымочивъ въ навозной жижѣ рожь, чтобы сдѣлать ее несъѣдобной.

Тетя перевела это по-англійски Гильдегардѣ, а та прошептала: «O, God!» и сконфузилась какъ ребенокъ.

Алымовъ уже не могъ ожидать встрѣтить у этихъ женщинъ симпатіи и за обѣдомъ напрасно старался втянуть тетю въ разговоры: она или молчала, или говорила съ нами, т.-е. съ дѣтьми, а Гильдегарда вовсе не вышла къ столу, потому что у нея разболѣлась голова.

Новый гость могъ бесѣдовать только съ моими родителями, да и то отецъ, повидимому, не радъ былъ ни его визиту, ни говорливости, но мама въ этотъ разъ была къ нему внимательна...

Она въ душѣ не долюбливала тетю Полли, которая всегда «брала все не въ мѣру»: то была «проказница», а потомъ стала «фантазерка», и теперь развела у насъ въ домѣ близкое и опасное сношеніе съ больными людьми, чего maman никогда бы не допустила!

Maman умѣла говорить немножко «въ пику» тѣмъ, чьи «правила» ей не нравились, и присутствіе майора Алымова давало ей прекрасный поводъ поиронизировать надъ причудами и выдумками «филантропокъ», затѣи которыхъ будто нимало не полезны для нашего народа, такъ какъ нашъ народъ превосходно вѣритъ въ Бога, и Богъ спасетъ его отъ всякихъ бѣдствій.

Алымовъ былъ совершенно тѣхъ же мнѣній и при концѣ обѣда резюмировалъ разговоръ:

— Вотъ я ни во что не мѣшался... И прекрасно!.. Къ чему?.. Я знаю, что всѣхъ спасти нельзя, и нечего пробовать! Не правда ли?.. А если нельзя помочь всѣмъ, то какое право мы имѣемъ дѣлать однимъ людямъ предпочтеніе передъ другими!.. Не правда ли? Если уже спасать, то спасать *всѣхъ* людей!.. Это я понимаю... Не правда ли? Но если я этого не могу, то я не мѣшаюсь... Я отхожу въ сторону и ничего не порчу, и... по крайней мѣрѣ я не посѣ-

ваю зависти однихъ къ другимъ, какъ это на Западѣ, гдѣ все гніетъ, а не понимаютъ, отчего гніетъ? Не правда ли?.. Но у насъ этого нѣтъ... И вотъ, когда я могу сдѣлать серьезное и существенное дѣло, которое я, какъ хозяинъ, давно задумалъ, я его и дѣлаю—я возвращаюсь на мой постъ и всѣ мои крестьяне получатъ *ровно!..* и если они не свиньи,—я оговариваюсь: если только они не свиньи,—то они навѣрно теперь поймутъ, что я для нихъ сдѣлалъ хорошее, а не дурное, и они благословятъ меня и отдадутъ мнѣ долгъ изъ новаго урожая!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Алымовъ уѣхалъ веселый и вдохновленный насквозь своимъ монологомъ, а ввечеру этого же дня къ намъ пріѣхалъ изъ Послова старикъ крѣпостной кондитеръ «бывшей княгини Д*», — очень почтенный человѣкъ, обучавшійся своему рукомеслу въ Парижѣ. Онъ желалъ быть «допущенъ на очи» къ пріѣзжимъ дамамъ и въ витіевато сложенной рѣчи изложилъ имъ, что онъ «рабъ своей госпожи, бывшей княгини Д*», и былъ за границей съ покойнымъ княземъ и служилъ «у него при дворѣ» въ Петербургѣ, а теперь прибылъ отъ своей госпожи, которая «больна мнѣніемъ»: она уже всю зиму не выходитъ изъ одной комнаты... въ другую переступить боится... а если переступитъ, то сейчасъ забезпокоится и говоритъ: «Я, вѣрно, что-то забыла?.. Скажите мнѣ, что я такое забыла? Боже мой!.. какая я несчастная! Отчего мнѣ никто не хочетъ напомнить?» А если сдѣлаетъ какое-нибудь распоряженіе, то очень странное. «Вотъ и теперь она прислала меня вамъ доложить, что̀ отъ графа пришли въ посылкѣ двѣ шкуры отъ львовъ, которыхъ онъ убилъ, и она желаетъ подарить эти шкуры бѣдственнымъ людямъ для ихъ постелей»... Поэтому его госпожа проситъ тетю и Гильдегарду, если онѣ позволятъ, привезти къ нимъ эти шкуры, и очень желали бы еще отдать что-нибудь, «что̀ можетъ годиться»...

Наши дамы выслушали этотъ докладъ обѣ вмѣстѣ, но такъ какъ Гильдегарда говорила по-русски очень дурно, то отвѣчала за себя и за нее тетя Полли.

Она сказала:

— Бѣднымъ людямъ можетъ годиться все, что имъ захотятъ дать, и даже львиныя шкуры годятся,—мы ихъ охотно возьмемъ и за нихъ очень благодаримъ, но постилать ихъ мужикамъ мы не будемъ.

— Конечно, сударыня!—съ почтительнымъ поклономъ отвѣчалъ кондитеръ.

— Да, мы ихъ отошлемъ въ городъ и продадимъ ихъ, а на эти деньги купимъ что̀ понужнѣе.

— Разумѣется, сударыня! Какъ же можно иначе-съ! Я этого говорилъ компаньонкѣ... Львиныя шкуры мужикамъ!... И много ли это... всего на двухъ человѣкъ... но вѣдь наша княгиня... онѣ... больны мнѣніемъ и,—извините,—по-русски я не смѣлъ бы сказать о своей госпожѣ, а скажу по-французски,—онѣ совсѣмъ какъ... perroquet... Отъ горя своего въ послѣдней разлукѣ съ супругомъ онѣ стали совсѣмъ въ дѣтствѣ. Если бы вы осчастливили ихъ видѣть и сказали бы имъ, что̀ надо сдѣлать... онѣ бы рады... И даже, можетъ быть, большія благодѣянія могли бы людямъ сдѣлать... Супругу ихъ мы не можемъ достаться, потому что онъ здѣшнихъ правъ не имѣетъ владѣть живыми людьми, но мы можемъ поступить послѣ ея смерти въ раздѣлъ ихъ дальнимъ родственникамъ, въ жестокія руки... Вы извините меня, что я, какъ рабъ, и при томъ смѣю такъ говорить; но ихъ племянники и племянницы пишутъ къ ихъ компаньонкѣ и къ іерею... и эти имъ отвѣчаютъ... Все это на нашу бѣду!.. Если-бъ госпожа понимала, что̀ можно сдѣлать,—онѣ бы сдѣлали... Онѣ теперь двухъ картофелинъ въ мундирахъ не докушиваютъ—одну ссылаютъ на подачку бѣдственнымъ... Я ихъ мнѣніе понимаю: онѣ алкаютъ добродѣтели... и не умѣютъ... Онѣ сказали про васъ компаньонкѣ: «Какія это дамы пріѣхали? Говорятъ, добрыя... Ахъ, когда бы были на свѣтѣ гдѣ-нибудь добрые люди!.. Я даже не вѣрю: го-

ворятъ—эти дамы всюду сами ходятъ и не боятся... Зачѣмъ я такъ не могу?..» Ихъ, вѣдь, такъ воспитали и... графъ (мы ихъ супруга называемъ для ихъ удовольствія *графомъ*—они французъ)... графъ ихъ робковатъ и онъ имъ сказалъ, что надо опасаться голодныхъ людей,—и самъ уѣхалъ,—и княгиня все боятся, и затомили себя въ одной комнатѣ въ домѣ... Но если бы кто ихъ посѣтилъ, къ кому онѣ, какъ къ вамъ, расположились своею мечтою...

И старикъ вдругъ упалъ на колѣни, воздѣлъ руки вверхъ и зашепталъ придыханьемъ, рыдая:

— Рабыни Господни!.. Умилосердитесь... Разрушьте совѣтъ нечестивыхъ!.. Придите!.. Вложите ей мысль... Она вѣдь добра... Быть можетъ, она завѣщаетъ отпустить насъ на волю!

А пока онъ рыдалъ и это высказывалъ, тетя и Гильдегарда переслались другъ съ другомъ своими говорящими глазами, и отвѣтъ ихъ былъ готовъ.

— Онъ есть тутъ лошадъ?—спросила Гильдегарда, касаясь своимъ пальцемъ до груди слуги.

Какъ квакерша, она никому не говорила «вы», и не желая говорить «ты» тѣмъ, съ кѣмъ это было неудобно, употребляла мѣстоименія въ третьемъ лицѣ, касаясь при этомъ рукою того человѣка, къ которому относились ея слова.

Кондитеръ былъ присланъ съ кучеромъ въ рессорной разсыльной телѣжкѣ, и когда Гильдегарда получила отвѣтъ, что есть на чемъ ѣхать,—она сейчасъ же встала и взяла со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею изъ сѣраго коленкора.

Тетя сказала ей одно только слово:

— Конечно!

— Имъ было достаточно этого слова, чтобы понять въ немъ все, что было нужно.

Но этотъ день, о которомъ я разсказываю, приводя къ концу мои воспоминанія о нашихъ домашнихъ событіяхъ при проводахъ голоднаго года,—былъ днемъ удивительныхъ сюрпризовъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Гильдегарда, уѣхавшая въ сумерки, *не* возвратилась къ ночи.

Для разстоянія въ четыре или въ пять верстъ, которое отдѣляло нашу деревушку отъ богатаго села Послова, было довольно времени, чтобы съѣздить въ два конца и имѣть достаточно времени для дѣлового разговора или для перваго знакомственнаго визита, къ избалованной и одичавшей капризницѣ и недотрогѣ, какою всѣ и не безъ основанія считали «бывшую княгиню» Д*. Но Гильдегарда не возвращалась.

Отца это обезпокоило и онъ хотѣлъ непремѣнно послать за ней свои дрожки въ Послово,—даже и maman находила это необходимымъ, но тетя настойчиво потребовала, чтобы этого не дѣлали.

Тетя сказала о Гильдегардѣ:

— Она безъ надобности нигдѣ тратить время не станетъ, а если она находитъ, что ей тамъ есть дѣло, то для чего ее отрывать оттуда *по нашимъ соображеніямъ*, когда она пошла туда по волѣ Бога?

Maman было непріятно, что тетя такъ безцеремонно думаетъ, будто ихъ туда и сюда посылаетъ Богъ.

Она это ей и сказала, конечно, съ смягчающей шуткой, но та ей отвѣтила совершенно серьезно:

— Я не возьму моихъ словъ назадъ: Богъ дѣйствительно посылаетъ туда и сюда всѣхъ тѣхъ, кто ищетъ вездѣ исполнить не свою волю, а послужить другимъ.

Тетя согласилась только на то, чтобы отецъ послалъ верхового—проѣхать до Послова и посмотрѣть: не случилось ли съ Гильдегардой и ея кондитеромъ что-нибудь въ дорогѣ? А негласно посланному велѣно было какъ-нибудь разузнать: отчего не возвращается англичанка?

Посланный скоро возвратился и привезъ извѣстіе, что путники доѣхали благополучно, и что англичанка у госпожи Д* и выходила съ ней на балконъ.

Тетя улыбнулась и сказала:

— Вотъ видите: она ее уже выводитъ на чистый воздухъ.

Утромъ Гильдегарда вернулась и сказала что-то тетѣ очень тихо,—въ отвѣтъ на что та покраснѣла и отвѣтила:

— Для чего ей это дѣлать? Я сама сейчасъ къ ней поѣду. Братъ! дай мнѣ лошадь въ Послово.

Такой оборотъ былъ неожиданъ и невѣроятенъ: эти двѣ женщины, соперничество которыхъ когда-то было такимъ непримиримымъ, что никто не могъ думать объ ихъ встрѣчѣ, шли нынче навстрѣчу другъ другу, и даже спѣшили одна другую предупредить въ этомъ движеніи!..

Для чего это имъ было нужно?

Но тетя уѣхала и цѣль ея поѣздки оставалась загадкою, а прежде чѣмъ она успѣла вернуться къ намъ, прискакалъ самъ на себя не похожій Алымовъ.

Онъ былъ блѣденъ, разстроенъ и растрепанъ, его кокъ упалъ и повисъ, галстухъ сбился на бокъ и венгерка разстегнута...

— А что я вамъ говорилъ!—началъ онъ, входя въ залу и ни съ кѣмъ не здороваясь.

Отецъ посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Я не помню, что̀ такое вы мнѣ говорили.

— Я говорилъ вамъ вчера... и вашей сестрѣ, что наши люди—это не люди, а это скоты!

— Ну, хорошо... я этого что-то не помню; но впрочемъ что жъ дальше?

— Моя яровая рожь вся тю-тю!

— Какъ?

— Тю-тю вся до послѣдняго зерна!

— Но вѣдь она была у васъ подъ замкомъ?

— Подъ большимъ американскимъ замкомъ, котораго невозможно ни отпереть безъ ключа, ни сбить, не разоривъ двери.

— Ну и что же?

— Просверлили дыры въ доскахъ въ полу и все выпустили!

— Когда же это?

— Почему же я могу это знать! Меня всю зиму не было дома... А Кромсай, подлецъ, которому я, какъ вольному человѣку, поручалъ наблюдать и обѣщалъ дать ему за это теленка, говоритъ: «должно быть, зимой помаленьку цѣдили». А куда же, спрашиваю, они ее дѣли?—«Должно быть, говоритъ, слопали»... Ну, не скоты ли!.. Вѣдь она, говорю, была вонючая!.. я ее нарочно припоганилъ! «Такъ, говоритъ, поганковатую, вѣрно, и слопала». А чего «вѣрно», когда онъ самъ же, подлецъ, ее и лопалъ!

— Почему же вы это узнали?

Алымовъ закашлялся, покраснѣвъ, и, вытащивъ изъ кармана венгерки мужичью трубку съ мѣдной крышкой, швырнулъ ее на столъ и закричалъ:

— Смотрите ее!.. Вотъ почему!.. Это его, подлеца, трубка... Не правда ли? ее подъ амбаромъ нашли... Онъ еще и всю усадьбу сжечь могъ. Я ихъ теперь всѣхъ, подлецовъ, разнесу... Я имъ сказалъ: «Я прямо поѣду къ исправнику и потребую сюда временное отдѣленіе земскаго суда... Пусть васъ всѣхъ заберутъ и заморятъ!..» А онъ еще, этотъ Кромсайка... вообразите, даетъ мнѣ въ родѣ родительскаго наставленія... «Погоди,—говоритъ,—ты еще младъ человѣкъ, тебѣ еще много вѣку надо на землѣ жить да радоваться... а ты себя укорочать хочешь... Это моя трубка, ничего что она моя... У меня ее, братъ, украли да тебѣ подкинули... Это все вороги... народъ воровской—шельмы... А ты ихъ не замай... прости... Богъ съ ними... Ты ужъ того, что̀ пропало, не воротишь, а потерпи—оно само вѣрнѣе въ другой оборотъ придетъ... А то укоротятъ тебѣ вѣку»... Вообразите, краснымъ пѣтухомъ меня пугать сталъ!.. «Спалятъ,—говоритъ,—дѣло сусѣдское: развѣ какому-нибудь жигуну огонька сунуть долго! У тебя постройка хозяйственная—весь дворъ въ кольцѣ—запылаетъ, и живой не выпрыгнешь». Стращать меня!.. Не правда ли? Но это неправда!.. Я не французъ изъ города Бордо... я

не поѣду въ Африку львовъ стрѣлять, а сейчасъ прямо къ губернатору.

Отецъ сталъ его уговаривать и увелъ къ себѣ въ кабинетъ, потому что въ это время возвратилась тетя и отецъ не хотѣлъ ей показывать Алымова, положеніе котораго было и крайне смѣшно, и жалостно.

Впрочемъ, на этотъ разъ отецъ мой имѣлъ удачу: онъ успокоилъ майора и уговорилъ его побывать у губернатора, но не сильно жаловаться, и лучше простить мужиковъ, не разыскивая, кто изъ нихъ «полопалъ» припогаженную рожь.

Губернаторъ далъ ему тотъ же самый совѣтъ, которому Алымовъ и внялъ, и смилостивился надъ мужиками,—онъ «простилъ ихъ». А за то его Богъ простилъ и пропажа его «возвратилася другимъ оборотомъ»: дивный урожай, слѣдовавшій за голоднымъ сороковымъ годомъ, — обсѣменилъ его поля самосѣвомъ, и Алымовъ «сжалъ, гдѣ не сѣялъ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Свиданіе же тети Полли съ бывшей княгиней Д*, вѣроятно, имѣло что-то неудобопередаваемое. Тетя вернулась домой въ сумерки, когда всѣ мы, дѣти, сидѣли вокругъ Гильдегарды Васильевны въ отведенной для нихъ комнатѣ. Англичанка показывала сестрѣ моей, какъ надо дѣлать «куадратный шнурокъ» на рогулькѣ и въ то же время разсказывала всѣмъ намъ по-французски «о несчастномъ Іудѣ изъ Керіота». Мы въ первый разъ слышали, что это былъ человѣкъ, который имѣлъ разнообразныя свойства: онъ любилъ свою родину, любилъ отеческій обрядъ и испытывалъ страхъ, что все это можетъ погибнуть при перемѣнѣ понятій, и онъ сдѣлалъ ужасное дѣло «предавъ кровь неповинную».

Въ это время въ комнату вошла тетя Полли и, сказавъ всѣмъ намъ общее привѣтное слово, опустилась на стоявшее въ углу кресло.

— Что-жъ вы замолкли? — сказала она: — продолжайте говорить, о чемъ вы говорили.

Гильдегарда Васильевна мелькомъ взглянула на нее и продолжала объ Іудѣ, и закончила, что если бы онъ былъ безъ чувствъ, то онъ бы не убилъ себя, а жилъ бы какъ живутъ многіе, погубивши другого.

Тетя прошептала:—Правда.

Англичанка спустила паузу и сказала:

— Ты довольна собой или нѣтъ?

Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвѣчала:

— Не знаю, но... она такъ трогательна, она переноситъ на меня такія чувства, что мнѣ хочется плакать.

Въ голосѣ у нея въ самомъ дѣлѣ звучали слезы. Англичанка опять дала паузу и потомъ тихо сказала:

— Титанія...

Но тетя перебила скороговоркою:

— Ахъ, конечно, конечно!.. Титанія, доразсвѣтная Титанія, которая еще не видитъ, что она впотьмахъ цѣловала... осла!..

— Я этого не сказала, — замѣтила, смутясь, Гильдегарда.

— Ничего, мой другъ! Ничего! я знаю, ты не хочешь, чтобы я «предавалась воспоминаніямъ», ну и карай меня!

Тетя ласково кинула на плечи англичанкѣ свои руки и сказала:

— Ты Петръ, и это значитъ: «камень»; и ты блаженна,— но прости насъ, грѣшныхъ!

И она, кажется, хотѣла спуститься и стать на колѣни, только Гильдегарда успѣла схватить ее подъ плечи и воскликнула:

— Полли! Полли! Неужели я тебя оскорбила!?

— Нѣтъ,—отвѣчала тетя:—мнѣ просто... хочется плакать.

Онѣ обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потомъ утерла слезы и, улыбнувшись, сказала:

— Вотъ когда *аминь!*

Свиданіе это имѣло также и другія разнообразныя добрыя послѣдствія, изъ числа которыхъ два были очень замѣчательны. Первое состояло въ томъ, что больныхъ въ нашей мѣстности съ этихъ поръ уже не приходилось болѣе класть на кострикѣ въ холодной ригѣ, потому что «бывшая княгиня» построила «для всей мѣстности» прекрасную больницу и обезпечила ее «на вѣчныя времена» достаточнымъ содержаніемъ; и второе: слезы кондитера, рыдавшаго и воздымавшаго руки къ «рабынямъ Господнимъ», были отерты: въ Пословѣ было написано завѣщаніе, дававшее послѣ смерти Д* «всѣмъ волю».

Это было величайшее событіе во всей губерніи, которая такого примѣра даже немножко испугалась.

А кромѣ того, въ день отъѣзда отъ насъ тети и Гильдегарды, «бывшая» Д* сама пріѣхала къ намъ, чтобы еще разъ видѣть обѣихъ этихъ женщинъ.

Я ее помню, эту «Титанію»,—какая она была «нетлѣнная и жалкая»: вся въ лиловомъ бархатномъ капотѣ на мягчайшемъ мѣху шеншелá, — дробненькая, миніатюрная, съ крошечными руками, но припухлая, и на всѣхъ смотрѣла съ какимъ-то страхомъ и недовѣріемъ. Ея лицо имѣло выраженіе совы, которую вдругъ освѣтило солнце: ей было и непріятно, и больно, и въ то же время она чувствовала, что не можетъ теперь сморгнуть въ сторону.

Мнѣ показалось, что вотъ это и есть онъ самъ—воплощенный голодъ ума, сердца, чувствъ и всѣхъ понятій.

Тетѣ некогда было съ нею теперь заниматься, потому что, узнавъ объ ихъ отъѣздѣ, пришло множество больныхъ и всѣ ожидали у балкона, на которомъ тетя и Гильдегарда ихъ осматривали, обмывали и гдѣ было необходимо — дѣлали проколы и надрѣзы.

Бывшую» Д* посадили въ кресло на этомъ же балконѣ. Она сама не хотѣла отсюда удалиться и смотрѣла съ величайшимъ вниманіемъ на все, что дѣлала тетя, и наконецъ даже сама захотѣла принять хоть какое-нибудь непосредственное участіе и сказать человѣку хоть теплое слово.

Къ этому и представился поводъ въ томъ случаѣ, который особенно поразилъ вниманіе ея голоднаго ума.

Въ числѣ женщинъ, пришедшихъ съ больными дѣтьми, стояла баба неопредѣленныхъ лѣтъ, худая, съ почернѣвшей кожей; она была беременна и имѣла при себѣ трехъ дѣтей, изъ которыхъ двое тянулись за материну юбку, а третье безпомощно пищало у ея изможденной груди.

У всѣхъ дѣтей лица были въ красныхъ отмѣткахъ наружной болѣзни, которую въ крестьянствѣ называютъ «огникъ».

Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный взоръ и, не умѣя соразмѣрять голоса, сказала ей строго:

— Это зачѣмъ столько!?

— Что матушка?

— Зачѣмъ столько... дѣтей?

— Да вѣдь какъ же мнѣ быть-то? замужемъ я... сударынька!

— Ну и что же такое!.. И я замужемъ... Дѣтей нѣтъ.

— Ваше дѣло иное, сударынька...

— Отчего дѣло иное? Пустяки!

— Какъ пустяки, болѣзная: вы живете въ такихъ-то широкихъ хоромахъ... Накось какое мѣсто... займаете... просторъ вамъ... разойдетесь и не сустрѣтитесь; а у насъ избы тѣсныя, все мы вмѣстяхъ да вмѣстяхъ...

— Ну и не надо!

— Да не надо, а приключается.

Тутъ сразу и баба, и дама остановились, и тетя расхохоталась, а Гильдегарда сконфузилась. Тогда и «бывшая» Д* что-то поняла и, осмотрѣвъ бабу въ лорнетъ, проговорила:

— Savez-vous: elle est maigre, mais...

Дама вдругъ вздрогнула, нѣсколько разъ перекрестилась и прошептала:

— Retire-toi, Satan!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Прощаясь съ тетей, дама еще выкинула претрогательную штуку, которая была бы въ состояніи очень сконфузить тетю, если бы та не была находчива.

Когда тетя простилась и съ этою дамою, и со всѣми нами, и перецѣловала всѣхъ окружавшихъ ее дворовыхъ женщинъ и горничныхъ дѣвушекъ, и уже занесла ногу на спускную ступеньку коляски,—«бывшая» Д* ринулась къ ней, какъ дитя къ страстно-любимой нянькѣ, и закричала:

— Arrêtez! Arrêtez!

— Что вамъ угодно, princesse?

— Вотъ именно... вотъ и объ этомъ... Если можно... я могу буду вамъ это отдать?

Она держала вынутый изъ кармана капота конвертъ.

— Что это такое?

— Мой testament... я всѣхъ на волю.

— Ахъ, это надо послать въ опекунскій совѣтъ!

— Да, вотъ, ужъ это именно вы... Я боюсь сдѣлать именно такъ, какъ не надо.

Тетя взяла конвертъ.

— И еще... мнѣ скажите, — проговорила и запнулась Д*:—что я могу буду или нѣтъ къ вамъ написать?

— Пожалуйста!

— И вы мнѣ будетъ писать отвѣтъ?

— Непремѣнно!

— Тогда... еще одно... Я могу буду васъ попросить...

— Все, что угодно.

— Не пишите мнѣ princesse, а... напишите мнѣ...

— Просто ваше имя?

— Нѣтъ!.. напишите мнѣ просто: *ты!*

Тетѣ, вѣроятно, показалось, что она ослышалась, и она недоумѣло и тихо спросила:

— Что?

А та ей робко и краснѣя прошептала: — «ты»! я хочу: «*ты*»!

Гогда тетя вдругъ вся вспыхнула, нагнулась къ ней, поцѣловала ее и сказала ей твердо и громко:

— Хорошо: я *тебѣ* напишу «ты» и буду о *тебѣ* думать съ любовью, которой «ты» стоишь.

Тутъ и произошло для финала нѣчто смутившее тетю, потому что бывшая ея соперница и «бывшая» Д* вдругъ сжала въ своихъ рукахъ и поцѣловала *ея руку*!..

Но тетя Полли, я говорю, была находчива: она успѣла взять обѣ ея руки и обѣ ихъ поцѣловала, и сказала:

— Будь счастлива—и прощай, а то я, пожалуй, при всѣхъ разревусь здѣсь, какъ дура!

. . . . . .

Подозрѣвали тогда, что въ мозгу Д* въ это время была уже такая путаница, что она не узнавала въ тетѣ Полли лицо, нѣкогда ее сильно уязвившее; но это была неправда. Компаньонка этой дамы разсказывала, что, сдѣлавъ знакомство съ тетею, Д* постоянно ею бредила и искала случая говорить о ней, и всякій разговоръ заключала словами:

— Что жъ... ее вѣдь не любить нельзя... Я *его* понимаю... Нельзя!..

А когда Д* вскорѣ послѣ этого умерла, то въ мелкихъ вещахъ, завѣщанныхъ ею разнымъ лицамъ, нашли конвертикъ, ею самою надписанный на имя тети Полли. Онъ былъ тщательно-претщательно обвязанъ шолковымъ шнурочкомъ и припечатанъ два раза, и въ немъ оказался миніатюрный портретъ «робковатаго» стрѣлка львовъ, за котораго онѣ когда-то взаимно ненавидѣли другъ друга, и потомъ, вѣроятно, обѣ почувствовали, что ненавидѣть другъ друга ни за что на свѣтѣ—не стоитъ!

Чувствительные люди, которымъ сдѣлалось извѣстно объ этомъ подаркѣ, были этимъ очень тронуты, и поняли дѣло такъ, что миніатюра подарена тетѣ Полли, безъ сомнѣнія, съ тѣмъ, чтобы она перешла княжнѣ Валѣ, которая при-

ходилась слишкомъ сродни тому, чьи черты передавала миніатюра; но тетя какъ-то всю эту тонкость проманкировала и о миніатюрѣ не осталось ни памяти, ни слѣда.

Эта Титанія, очевидно, уже не придавала никакого значенія миніатюрамъ прошлыхъ увлеченій, которыя померкли въ лучахъ озарившаго ее великаго Солнца Любви, свѣтящаго въ вѣчность...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Голодный годъ прошелъ: злаки взошли, и люди и животныя стали сыты. Хлѣбъ созрѣлъ необыкновенно рано. Въ половинѣ іюня мужики уже парили въ горшкахъ рожь и ѣли ее немолотую, а къ Петрову дню пекли «новый хлѣбъ».

Петровъ день — это былъ «нашъ престолъ» и «нашъ праздникъ». Духовенство обходило съ образами приходъ, пѣло молебны и собирало «новину». На улицѣ опять «шла гульба», было «сыто и пьяно»; высоко «подмахивали качели», и молодые люди, стѣной наступая другъ на друга, пѣли: «А мы просо сѣяли!» А другіе отвѣчали: «А мы просо вытопчемъ. Ой, дидъ Ладо, вытопчемъ!» А за ручьемъ на косогорѣ, гдѣ былъ кабакъ, разливало: «Наваримте, братцы, пива молодого»...

Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, долетавшіе въ нашу дѣтскую, мнѣ уже не были милы. Я уже разсуждалъ, что это за «дидъ», что за «Ладо»? Зачѣмъ одни хотятъ «вытоптать» то, что «посѣяли» другіе? Я былъ тронутъ съ стараго мѣста... Я ощущалъ *голодъ* ума и мнѣ были милы тѣ звуки, которые я слышалъ, когда тетя и Гильдегарда пѣли, глядя на звѣздное небо, давшее имъ «зрѣніе», при которомъ можно все простить и все въ себѣ и въ другихъ успокоить.

О „КВАКЕРЕЯХЪ“.

(Post-scriptum къ «Юдоли».)

«Honny soit qui mal y pense».

Мои ретроспективные разсказы, напечатанные подъ заглавіемъ «*Юдоль*», вызвали у нѣкоторыхъ лицъ недоумѣнія: нѣкоторымъ изъ читателей показалось странно: откуда взялась квакерша въ русскомъ домѣ 30 — 40-хъ годовъ?! Этимъ читателямъ помнится, что тогда въ дворянскую жизнь скорѣе врѣзывалось романтическое вѣяніе римскаго католичества, къ которому покровительственно относились оберъ-прокуроръ синода кн. Голицынъ и другія вліятельныя особы тогдашней поры, но что тогда будто бы отнюдь неизвѣстно было «суровое — квакерское, религіозное резонерство». А потому упомянутымъ читателямъ думается, что эпизодъ съ выведенной у меня квакершей Гильдегардой какъ будто бы не подходитъ къ тому времени и отдаетъ свѣтомъ иной, позднѣйшей поры, наступившей послѣ появленія въ русскомъ обществѣ англичанина, лорда Редстока. Причемъ мнѣ дѣлаютъ указанія на сочиненія протоіерея Михаила Як. Морошкина и гр. Дм. Андр. Толстого о іезуитахъ, а также и на то, что писали о Редстокѣ кн. Мещерскій и другіе, «совоспитанные ему». Нѣкто же, болѣе прочихъ увѣренный въ основательности своихъ свѣдѣній по исторіи «постороннихъ религіозныхъ вліяній», утверждаетъ, будто «квакеровъ даже и не видали въ Рос-

сіи до нынѣшняго (1892) года, когда они прибыли сюда подъ именемъ *Друзей* и привезли въ Россію денежную помощь для голодныхъ».

Такія замѣчанія очень многозначительны для писателя, и на всѣ эти, съ разныхъ сторонъ доходящія до меня замѣчанія я считаю необходимостью дать читателямъ моихъ воспоминаній объясненіе.

Вначалѣ скажу, что я, конечно, читалъ и знаю, что писали о католичествѣ въ Россіи протоіерей Морошкинъ и и графъ Дм. Толстой, а о Редстокѣ есть книга, написанная мною самимъ, и за свѣдѣніями объ этомъ англичанинѣ мнѣ нѣтъ никакой надобности обращаться къ сочиненіямъ кн. Мещерскаго,—а затѣмъ перехожу къ объясненіямъ по самому существу выраженныхъ «недоумѣній».

Совершенно справедливо и въ историческихъ изысканіяхъ послѣдняго времени съ достовѣрностью доказано, что въ тридцатыхъ годахъ среди русской знати имѣло значительный успѣхъ стороннее вліяніе римскаго католичества, а не протестантство, но это отнюдь не доказываетъ, что тогда совсѣмъ не имѣли участія въ русской жизни и другія религіозныя вѣянія, исходившія отъ людей, извѣстныхъ подъ общимъ наименованіемъ «піетистовъ» (отъ pietas—благочестіе), въ числѣ которыхъ были и *квакеры*.

Такъ какъ въ «Юдоли» я сообщаю воспоминанія, касающіяся только моего родственнаго круга, то для оправданія себя лично я почелъ бы достаточнымъ сказать, что по отношенію къ протестантамъ мы въ своемъ родственномъ кругу были въ особливыхъ, сближающихъ условіяхъ, такъ какъ одна изъ моихъ тетокъ была замужемъ за англичаниномъ, и всѣ мы (тогдашняя молодежь) выросли въ уваженіи къ вѣрованіямъ и благочестію родственнаго намъ англійскаго семейства, въ которомъ наши старшіе нерѣдко ставили намъ, молодымъ, на видъ образцы дѣятельной христіанской жизни, послужившіе намъ во многомъ примѣрами. Мнѣ кажется, одной этой ссылки было бы довольно, чтобы

читателю стало ясно, какъ въ семью нашу проникалъ немножко духъ англійской религіозности, и почему живая душа тети Полли послѣ своихъ хромыхъ движеній туда и сюда— на оба колѣна — нашла облегченіе и попутный ходъ къ свѣту въ содружествѣ такой женщины, какъ описанная мною молодая и очень красивая квакерша Гильдегарда Васильевна, которую тетя Полли встрѣтила случайно, быстро ее поняла и оцѣнила, а потомъ страстно къ ней привязалась и часто называла ее своею «крестною матерью», хотя безъ всякаго сомнѣнія Гильдегарда надъ моею тетушкою воднаго крещенія не повторяла.

Московскіе старожилы, которымъ сколько-нибудь памятно англійское населеніе «Шкотовскаго дома» въ Леонтьевскомъ переулкѣ, конечно знаютъ, что тамъ, въ этомъ старомъ домѣ, пока онъ принадлежалъ г-жѣ Шкоттъ (мачихѣ мужа моей тетки), всегда былъ выборъ англичанокъ, занимавшихъ мѣста воспитательницъ. И это всегда были особы нравственныя, иногда очень образованныя и всегда строго религіозныя.

Отсюда онѣ разъѣзжались «на мѣста» по Россіи, и по преимуществу въ тѣ губерніи, гдѣ четыре сына «стараго Шкота» (Якова Яковлевича) занимались управленіемъ большими помѣщичьими *имѣніями* Нарышкиныхъ и Перовскихъ.

Сосѣди просили ихъ рекомендовать «англичанокъ» *благонадежныхъ* и получали какъ разъ такихъ, какихъ просили.

Изъ этихъ воспитательницъ очень многія «приросли» къ своимъ воспитанницамъ и остались друзьями ихъ *на всю жизнь*. А между ними бывали и методистки, и квакерки. Ни рекомендатели, ни наниматели въ этомъ никакой разницы не полагали *).

---

*) Теперь мнѣ приходитъ на память одинъ не важный, но характерный случай, дополняющій картину отношеній родственниковъ моихъ къ квакерскимъ женщинамъ. Изъ числа моихъ двоюродныхъ братьевъ одинъ овдовѣлъ въ очень молодыхъ годахъ и у него осталось трое дѣтей, съ которыми онъ не зналъ какъ управиться, и очень тосковалъ по своей прекрасной скончавшейся женѣ. Тетка

Слѣдовательно, квакеркѣ придти въ орловское дворянское семейство тогда было очень просто и она для этого не имѣла надобности прибѣгать ни къ какимъ хитростямъ. На этомъ, я думаю, можно бы и кончить, ибо ясно, что въ нашъ родственный кругъ было откуда придти квакершѣ; но такимъ образомъ выяснился бы только частный случай, касающійся нашего родства; да и въ томъ читатель долженъ бы былъ принимать мои слова на-вѣру,—чего я не желаю.

наша, бывшая за англичаниномъ, очень сожалѣла этого своего племянника, но раздѣляла его опасенія, что жениться во второй разъ очень рискованно, ибо первобрачнымъ дѣтямъ при мачихѣ будетъ худо. Они перебирали на совѣтѣ множество извѣстныхъ имъ дѣвушекъ и все находили, что «ненадежно» и «страшно»: жена можетъ выйти изрядная, а для того, чтобы вышла добрая мачиха,—ни одна этому не отвѣчала. Тогда тетка и сказала племяннику: «Развѣ вотъ что: если ты дѣйствительно честный человѣкъ и хочешь жениться для счастья семьи, а не для одной своей утѣхи, то поѣзжай въ Англію, найди тамъ себѣ расположеніе въ квакерской семьѣ и *женись на квакеркѣ*. Онѣ умѣютъ приводить миръ въ домъ». Родственникъ нашъ такъ и сдѣлалъ,—онъ уѣхалъ въ Шотландію на цѣлый годъ и возвратился оттуда съ молодою женою, которая въ первый же день своего пріѣзда въ домъ мужа собственноручно вымыла baby воар'омъ уши его дѣтямъ и повела ихъ такъ, что ничьи глупыя наученія не помѣшали ей овладѣть ихъ почтеніемъ и любовью. А когда это такъ пошло, то другой братъ этого родственника, холостой, тоже пожелалъ жениться на англичанкѣ и притомъ на такой, которую ему посовѣтуетъ взять свояченица. Та это обдумала и исполнила: она дала ему письмо въ свою родную семью, гдѣ онъ нашелъ себѣ суженую въ младшей сестрѣ жены своего брата, и не избѣгъ этой судьбы: онъ женился на ней и остался навсегда въ Англіи, въ семьѣ престарѣлаго тестя своего, а свое имѣніе въ Россіи передалъ брату и съ нимъ разсчитался. Не возвращался онъ въ Россію, какъ говорили, потому, что здѣсь бракъ двухъ братьевъ съ двумя сестрами могъ быть признанъ незаконнымъ, а также и потому, что очень полюбилъ семейство жены и не хотѣлъ огорчать ее разлукою съ ея отцомъ. Итакъ, этотъ нашъ чистосердечный родственникъ съ очень милою, поэтическою натурою навсегда отчуждился отъ родины и мы его совсѣмъ потеряли изъ вида, но слыхали, что онъ пользовался въ общинѣ прекрасною репутаціею и видѣлъ на себѣ и на семьѣ своей «благословеніе Божіе»,—что по ихъ манерѣ выражаться замѣняетъ понятіе, усвояемое словомъ: онъ «былъ счастливъ»

А я хочу и долженъ основательно удостовѣрить читателя, что квакеры впервые появились въ Россіи не въ 1892 году, «съ пособіемъ», а что они были здѣсь гораздо ранѣе, не только «до Редстока», но даже и до нашего рожденія, — и что присутствіе ихъ (мужчинъ и женщинъ, и даже *особенно женщинъ*) у насъ тогда уже очень чувствовалось и даже вызывало правительственныя мѣры. Къ этому теперь и прошу вниманія.

Я не знаю, по какому случаю въ Сибирь были сосланы изъ Россіи «послѣдователи квакерской ереси: квакеры и квакереи» (sic), но въ числѣ нѣсколькихъ бумагъ о «сибирской старинѣ», подаренныхъ мнѣ покойнымъ сибирскимъ уроженцемъ,—извѣстнымъ золотопромышленникомъ и русскимъ генералъ-маіоромъ Веніаминомъ Ивановичемъ Асташевымъ, есть обстоятельная записка именно «о квакереяхъ» (т.-е. женщинахъ), и въ этой интересной запискѣ, составленной со ссылками на года и на лица, значится слѣдующее:

«*Квакереями* въ преданіяхъ томскихъ старожиловъ называются *послѣдовательницы квакерской ереси*, сосланныя въ томскій дѣвичь-монастырь, въ послушаніе и тяжкія монастырскія работы. Колодницы эти, числомъ двадцать двѣ, *имѣли большое вліяніе не религіозныя понятія тогдашнихъ томскихъ обывателей*. «Осужденныя за богомерзкую ересь, эти женщины прибыли въ томскій дѣвичь-монастырь въ 1744 году и оставались въ немъ даже и тогда, когда самый монастырь былъ уже упраздненъ и церковь его обращена въ приходскую. О нихъ въ памяти томскихъ старожиловъ сохраняется много «разнообразныхъ преданій». Преданія эти довольно обширны и излагать ихъ въ подробностяхъ для нашей цѣли нѣтъ надобности, но изъ всѣхъ изъ нихъ вытекаетъ прямой выводъ, что въ Сибири о «квакереяхъ» знали и сначала судили о нихъ различно, — кто хорошо, а кто худо: одни почитали «квакерей» за добрыхъ, благочестивыхъ женщинъ и относились къ нимъ съ большимъ уваженіемъ, а другіе видѣли въ нихъ вредныхъ

«еретицъ» и пренебрегали ими. Эти послѣдніе обходились съ квакереями недружелюбно и желали вызывать противъ нихъ общее недовѣріе и строгости. Авторъ Асташевской записки (духовное лицо одной изъ сибирскихъ епархій), на основаніи извѣстныхъ ему соображеній, предполагаетъ, что не всѣ 22 томскія колодницы содержали квакерскую ересь, и что между ними были и другія сектантки: но во мнѣніи томскихъ обывателей всѣ онѣ неправильно почитались подъ одну стать «квакереями». Изъ нихъ, по разсказу этого очень обстоятельно освѣдомленнаго автора, особенно извѣстна былая нѣкая *«матерая Надёжа Григорьевна»*. По описанію, это была очень дородная женщина, «огромнаго роста», которая прославилась «благочестивою жизнью», и томскіе любители благочестія ходили къ ней молиться и «совѣтоваться въ семейныхъ дѣлахъ, а особенно въ горестяхъ»; а по сосѣдству съ «матерою Надёжею Григорьевною» жилъ ея братъ «и другія *квакереи*», прожившія въ Томскѣ болѣе пятидесяти лѣтъ и оставившія по себѣ воспитанниковъ, подобныхъ по духу самой Надёжѣ Григорьевнѣ» *). Но въ чемъ именно и какъ выражался духъ «матерой квакереи Надёжи Григорьевны»—авторъ записки не разъясняетъ, но зато въ запискѣ встрѣчается отдѣльное упоминаніе о другой квакерѣ, по имени Маріи Матасовой, при которой значится, что̀ ей ставили въ вину. Изъ отмѣтки о Матасовой видно, что въ 1826 году священникъ томскаго Благовѣщенскаго собора, Никифоръ Большанинъ, сдѣлалъ въ томское духовное правленіе «доносъ», въ которомъ притомъ прописалъ и общую характеристику дѣятельности «квакерей» (Указъ тобольской консисторіи 1826 г., за № 3067). Изъ доноса видно, что названный сибирскій духовный, надо полагать, имѣлъ что-то непріязненное противъ священника того монастыря, въ которомъ

*) О братѣ Надёжи Григорьевны нѣтъ объясненія: былъ ли и онъ тоже квакеръ, и были ли съ нимъ сосланы тоже другія лица мужескаго пола, или онъ одинъ попалъ сюда при сестрѣ и другихъ квакереяхъ.

были заключены квакереи, и сочинилъ доносъ такъ, что значительная тягость помѣщенныхъ въ немъ обвиненій падала на монастырское духовенство. Соборный священникъ Большанинъ писалъ, что «хитрыя квакереи учили своихъ почитателей строго соблюдать всѣ внѣшніе обряды православія, казаться наружно православными и *задабривать, сколько возможно, приходскихъ священниковъ*, чтобы они не имѣли на нихъ никакого подозрѣнія. Эти наставленія онѣ прежде всего исполняли сами, и въ глазахъ своихъ монастырскихъ священниковъ *въ теченіе сорока лѣтъ казались строго православными,* такъ что эти священники, обязанные ежегодно доносить объ ихъ поведеніи, постоянно отзывались, что *присланныя квакерской ереси растриги-дѣвки житіемъ пребываютъ исправно и вѣру христіанскую содержатъ во всемъ, какъ христіанская должность повелѣваетъ:* до церкви святой для слушанія славословія Божія всегда ходятъ нелѣностно, у исповѣди и св. причастія бываютъ, иныя по дважды, а другія по вся посты неотмѣнно, и *прежняго за ними злодѣйства нынѣ не оказывается*» («Репорты священника Шихова 1760 г. и Дулѣпова 1775 г.»).

Изъ вышесказаннаго ясно видно, что священники, которые должны были умѣть различать духъ ересей, разумѣли «присланныхъ» за послѣдовательницъ «квакерской ереси» и исправляли ихъ отъ «прежняго злодѣйства», которое, безъ сомнѣнія, заключалось въ квакерскомъ понятіи объ обрядахъ, о власти и о прочемъ, что̀ отличаетъ религіозныя мнѣнія этихъ людей, ставящихъ выше всего личное духовное возрожденіе.

Такимъ образомъ записка, сохранившаяся въ бумагахъ извѣстнаго сибиряка, генерала Асташева, даетъ несомнѣнное удостовѣреніе, что «квакереи» у насъ дѣйствительно *были*, а далѣе,—эта же записка представляетъ и любопытныя свѣдѣнія о томъ, какъ эти квакереи дожили вѣкъ свой въ Томскѣ.

Настоятель томскаго мужского монастыря, архимандритъ Лаврентій, въ «промеморіи», поданной имъ посѣтившему Сибирь исторіографу Миллеру, объяснилъ, что въ дѣвичьемъ монастырѣ, въ которомъ жили присланныя двадцать двѣ дѣвки-квакереи, «положеніе бѣдственное: церковь одна, деревянная и весьма ветхая, та такова-жь и ограда, келій шесть—вси ветхія; вкладчиковъ, служителей и крестьянъ нѣтъ и земель и угодій не имѣется». А послѣ архимандрита Лаврентія самъ причтъ монастыря, гдѣ томились квакереи, жаловался митрополиту Сильвестру, что у нихъ церковь уже «въ развалинахъ», «въ монастырѣ монахинь нѣтъ, а ссыльныя растриги *дѣвки-квакереи живутъ на мірскомъ подаяніи*» *).

Авторъ записки, дошедшей до насъ черезъ руки генерала Асташева, доискивался и того, кто были эти томскія квакереи, и пришелъ къ убѣжденію, что «это были *раскольницы, приставшія къ немногимъ подлиннымъ русскимъ квакерамъ*».

Слѣдовательно квакеры и «квакереи» были извѣстны отцамъ нашимъ.

Любопытная судьба сосланныхъ въ Сибирь квакерей,

*) Хотя и нѣтъ никакой причины сомнѣваться въ справедливости объясненій, поданныхъ причтомъ митрополиту о томъ, что «квакереи живутъ мірскимъ подаяніемъ», но есть однако данныя, по которымъ можно предполагать, что и въ старости своей «квакереи» искали средствъ жить трудами рукъ своихъ и дѣлали что могли и что умѣли. Въ числѣ тѣхъ же самыхъ бумагъ, подаренныхъ мнѣ покойнымъ генераломъ Асташевымъ, есть разрозненные листки приходныхъ и расходныхъ тетрадей, изъ которыхъ видно, что старушки жили какъ-будто общиною,—сообща покупали писчую бумагу, свѣчи, чернила и краски, и «писали заказы», т.-е. занимались *списываніемъ книгъ*, за что получали плату и вносили ее общею статьею на приходѣ. Такъ же общимъ расходомъ показываны издержки на крупу, соль, масло, холстину и проч. обиходныя вещи. Есть у меня и три листка ихъ письменныхъ работъ, совершенно схожихъ съ такими же работами инокинь старовѣрческихъ скитовъ. Письмо мелкимъ и очень красивымъ полуставомъ, и очень красивыя заставицы съ пестрою

по выпискѣ, дошедшей отъ генерала Асташева, кончилась тѣмъ, что двадцать изъ нихъ перемерли 1784 года, но двѣ—Марія Дмитріевна и Анна Васильевна—жили очень долго, и когда монастырь развалился, онѣ сдѣлались предметомъ немалыхъ заботъ для начальства. Явился вопросъ о томъ, куда ихъ пристроить. «По закрытіи томскаго монастыря», который совсѣмъ обѣднялъ и разрушился, до того, что жить въ немъ стало невозможно, — квакерей Марью Дмитрову и Анну Васильеву «слѣдовало перевесть въ енисейскій монастырь». Почему опять это такъ «слѣдовало»— изъ записки не видно, но видно, что тутъ вздумали посмотрѣть на этихъ двухъ остальныхъ квакерей: каковы онѣ были въ это время, и тутъ увидали, что время ихъ не пощадило, и что онѣ уже такъ слабы и ветхи, что ихъ совсѣмъ «нельзя переводить», и «того ради» ихъ тогда рѣшились подвести подъ манифестъ «къ освобожденію изъ содержанія». Объ этомъ началась новая переписка и «продолжалась годъ», а въ апрѣлѣ 1784 года послѣдовало распоряженіе: «такъ какъ колодницы-квакереи Марія Дмитрова и Анна Васильева находятся въ Сибири чрезъ 39 лѣтъ, и *весьма престарѣлыя*, и черезъ такіе многіе годы отъ нихъ противности церкви святой не оказывается,

---

орнаментовкою, раздѣланной лазоремъ, киноварью и золотомъ, и въ коймахъ цвѣты, птицы и травы со тщаніемъ. На одномъ листкѣ поздравительное письмо къ благодѣтельницѣ, на другомъ — отрывокъ какого-то «утѣшенія», а третій—самаго изящнаго письма и тонкаго, красиваго рисунка съ золотомъ—«Стишокъ» или «пѣснь», — весьма милая и особенно трогательная по положенію трудившихся надъ ея воспроизведеніемъ. Это «пѣснь *къ душѣ*», начинающаяся словами:

«Душа моя—странница,
Не здѣшняго міра ты,
Къ чему прилѣпляешься
И чѣмъ очаруешься?
Ты птичка залетная,
Пурхая (sic) по радостямъ,
Пришла въ дебри страшныя,
Невѣдѣнья дикаго»

то по старости ихъ, не переводя изъ онаго мѣста по отдаленности въ содержаніе, въ енисейскій штатный дѣвичь монастырь, оставить по смерть ихъ при той же въ городѣ Томскѣ церкви (гдѣ былъ монастырь), при коей онѣ нынѣ находятся *на мірскомъ подаяніи, подъ смотрѣніемъ духовнаго правленія, и приходскаго священника, и тамошняго городничаго*, а впередъ ихъ въ числѣ колодниковъ уже не показывать».

О смерти этихъ двухъ послѣднихъ изъ «квакерей» въ запискѣ, дошедшей ко мнѣ отъ генерала Асташева, ничего не сказано, но надо думать, что старушки-квакереи и въ послѣдніе свои дни на землѣ никакихъ «противностей» и «злодѣйствъ» не оказали и ничѣмъ не испортили той доброй репутаціи, послѣдствіемъ которой было распоряженіе не посылать ихъ въ Енисейскъ, а оставить умереть тамъ, гдѣ онѣ прожили 40 лѣтъ, не причиня никакого вреда никакимъ людямъ.

Такого же духа была и «сердечный другъ» тети Полли—англичанка Гильдегарда.

Да будетъ легка какъ пухъ надъ ихъ костьми земля русская и—«*Honny soit qui mal y pense*».

Лѣто 1892 г.
Мерекюль.

ИМПРОВИЗАТОРЫ.

(КАРТИНКА СЪ НАТУРЫ.)

Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидѣть вечеркомъ.
А. Фетъ.

«Одни пердставляли ее себѣ въ видѣ женщины, отравляющей воду, другіе—въ видѣ запятой. Врачи говорили, что надо убить запятую, а народъ думалъ, что надо убить врачей».

С. Смирнова («Нов. Вр.» 18 ноября 1892).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Остроумная писательница, изъ послѣдняго литературнаго этюда которой я выписалъ этотъ эпиграфъ, обрисовываетъ дѣло чрезвычайно вѣрно. Когда лѣтомъ 1892 г., въ самомъ концѣ девятнадцатаго вѣка, появилась въ нашей странѣ холера, немедленно же появилось и разномысліе, что̀ надо дѣлать. «Врачи говорили, что надо убить запятую, а народъ думалъ, что надо убить врачей».

Слѣдуетъ добавить, что народъ не только такъ «думалъ», но онъ пробовалъ и приводить это въ дѣйствіе. Нѣсколько врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы дѣлу, были сами убиты.

Это случилось, говорятъ, оттого, что простымъ людямъ

всего своевременно и терпѣливо не объяснили и, главное, не показали имъ нигдѣ эту самую «запятую», чтобы они видѣли, какъ она имъ вредитъ. Это, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ хорошо было бы показать, но только сдѣлать это было очень трудно: запятая видима только подъ микроскопомъ, а въ слободахъ и селеніяхъ, гдѣ живетъ «народъ по преимуществу», микроскоповъ (или «мелкоскоповъ») нѣтъ. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который впервые услыхалъ про «запятую», вѣсти о ней показались сомнительными. Народъ довольно пріученъ не вѣрить ученымъ, и онъ смекнулъ, кому эта выдумка о «запятой» могла быть выгодна, и порѣшилъ наказать лѣкарей за ихъ выдумку.

Въ столицахъ, гдѣ образованность несравненно выше, наукѣ оказано совсѣмъ иное довѣріе: здѣсь запятую видѣли увеличенную подъ микроскопомъ, засушенную и выставленную на окнѣ «въ квартирѣ извѣстнаго журналиста, живущаго на окраинѣ города». Объ этомъ было напечатано въ петербургской газетѣ, особенно слѣдящей за разнообразными явленіями столичной жизни.

«Журналистъ, проживающій на окраинѣ», демонстрировалъ «запятую» множеству людей, между которыми были особы достопримѣчательнаго положенія. Видъ козявки всѣхъ удивлялъ; большинство людей отбѣгали отъ нея въ страхѣ, и лишь немногіе поддавались успокоительнымъ увѣреніямъ журналиста, что «запятая обезврежена», и тогда брали ее въ руки.

Такъ образованнымъ жителямъ столицы не было никакого труда увѣровать въ «запятую»; но слободскимъ и деревенскимъ мужикамъ никто этого не показалъ, и они въ запятую не повѣрили и до сихъ поръ еще не вѣрятъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разсказанный случай съ «увеличенной запятою» газета объясняла такъ, что журналистъ, живущій на окраинѣ, «купилъ шутки ради курьезную японскую козявку», а когда

одинъ генералъ спросилъ его: что это такое? — онъ, по вдохновенію, сказалъ, что это «увеличенная и засушенная запятая». Генералъ этому повѣрилъ, а журналистъ сталъ пробовать: неужто и другіе образованные люди могутъ вѣрить такой очевидной нелѣпости. И оказалось, что *всѣ этому вѣрили!*

Если сопоставить то, что замѣчено г-жею Смирновою насчетъ несоотвѣтствія народныхъ взглядовъ на «запятую» съ тѣмъ, что журналистъ, живущій на окраинѣ, обнаружилъ въ людяхъ высшаго порядка, то выйдетъ, что степень легковѣрія и безразсудства на томъ и на другомъ концѣ общественной лѣстницы получается какъ бы одинаковая; но вверху дѣйствуетъ козявка засушенная, а по низамъ ползетъ что-то живое, и не заморское, а простое доморощенное.

Что же такое замѣняло и замѣняетъ засушенную «запятую» въ народѣ? Я попробую показать эту штуку такъ, какъ я ее видѣлъ.

Тургеневъ изобразилъ, какъ говоритъ съ простолюдиномъ интеллигентъ и раскольничій начетчикъ. У перваго все умно направлено къ дѣлу, а второй вертитъ «яко» да «аще», и смотришь — этого слушаютъ, а того нѣтъ. Малороссу, чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой братъ сказалъ: «граю и воропаю». Я самъ помню, какъ въ давнія времена въ Кіевѣ польскій актеръ Рекановскій игралъ роль въ какой-то малороссійской пьесѣ, гдѣ послѣ происшедшаго въ семьѣ горя жена начинаетъ выть, а мужъ бросаетъ ее за руку на полъ и говоритъ: «Мовчи, бо скорбь велыка!» И послѣ этихъ словъ настала пауза, и театръ замеръ, а потомъ изъ райка кто-то рыдающимъ голосомъ крикнулъ: «Эге: це не вашъ Шекспыръ!» И мнѣніе о Шекспирѣ было понижено до безконечности.

Надо сочинять что-то такое «дуже прòстое», чтобы было въ ихъ вкусѣ — съ дымкомъ и съ грязью, даже, пожалуй, съ дуринкой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Лѣтомъ 1892 года я жилъ на морскомъ берегу въ Шмецкѣ. Тяжко больной, я былъ далекъ отъ личнаго участія въ дѣлахъ, и даже равнодушно читалъ въ газетахъ энергическіе приказы генерала Баранова, но потомъ мнѣ стало интересно сравнивать ихъ съ приказами другихъ администраторовъ, которые ему подражали и блистали только отраженнымъ или заимствованнымъ свѣтомъ. Изъ этой литературы я узналъ, что появились люди, которые распускаютъ вредные слухи о болѣзни, и что нижегородскій генералъ такихъ людей сѣчетъ розгами и можетъ когда угодно повѣсить.

Мѣры генерала Баранова «въ наказаніи разговоровъ» производили въ большой публикѣ впечатлѣніе не особенно сильное и неясное; многіе не могли взять въ толкъ: отчего одного разговорщика довольно только высѣчь, а другого надо еще отдать въ санитары, а третьяго — «повѣсить» или, по простонародному выраженію, «удавить». Какое тутъ «распредѣленіе всеобщей провинности»? Многіе думали, что все это послѣдовательно будетъ сдѣлано надъ каждымъ охотникомъ разговаривать, т.-е. что разговорщика сначала высѣкутъ, потомъ опредѣлятъ «горшокъ выносить», а потомъ уже, когда онъ станетъ ни къ чему неспособенъ, тогда дадутъ ему глухую исповѣдь и удавятъ на площади. О самомъ повѣшеніи тоже разнорѣчили: одни были увѣрены, что «вѣшать будутъ только для испуга публики», а потомъ «курьера выпустятъ съ прощадою», а другіе увѣряли, что «это не для шутки, и никакой прощады не будетъ, а удавятъ какъ слѣдуетъ», отмѣна же противъ обыкновенія будетъ только въ томъ, что, «по удавленіи разговорщика, отдадутъ онаго родственникамъ для его погребенія». Возникалъ тоже вопросъ о женщинахъ: «какъ таковую сѣчь, если разговариваетъ, а сама беременна?» По множеству всѣхъ этихъ сомнѣній мы съ толку сбились

и спрашивали разъясненій у четырехъ отставныхъ губернаторовъ, которые въ это лѣто ходили у насъ по плáжу, но они были заняты своимъ положеніемъ и говорили, что ничего не понимаютъ.

Видаясь со своими сосѣдями — кузнецомъ, лавочникомъ, лѣсникомъ — и съ своими домохозяевами, я замѣтилъ, что они недоумѣваютъ: «Какія же это *вредныя слова* бываютъ?» Этого имъ никто объяснить не могъ, а имъ это было очень нужно знать.

— Вѣдь вотъ, — говорили они, — можетъ случиться что-нибудь такое умственное услышишь и не поймешь въ необъясненіи случая, и скассируютъ на-смерть! Мы не можемъ узнать агитатора!

Это такъ говорилъ лавочникъ, образованный и краснорѣчивый человѣкъ, съ ораторскими дарованіями котораго мы ниже еще познакомимся.

То, что предвидѣлъ лавочникъ, то и на самомъ дѣлѣ отчасти случилось.

Разъ, когда я шелъ домой лѣскомъ изъ Мерекюля, нагоняетъ меня няня изъ одного моего знакомаго семейства и говоритъ, что «въ Петербургѣ уже народъ отравляютъ».

Я ее отговариваю, чтобы она этому не вѣрила, и напоминаю ей про опасность отъ генерала Баранова; но она не обращаетъ на мои предостереженія никакого вниманія и говоритъ, что то, что она знаетъ, это тоже произошло отъ генерала.

— Ну, — говорю я, — если отъ генерала, то въ такомъ случаѣ разсказывайте, что вамъ извѣстно... Но только, смотрите, увѣрены ли вы, что это точно отъ генерала?

— Отъ генерала.

И она разсказала исторію, которую я здѣсь передамъ съ возможною точностью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Живетъ у рынка отставной генералъ. Отъ команды отставленъ, но военныхъ правъ не лишенъ и ходитъ въ военномъ

образцѣ съ поперечиной. На дачу онъ не любитъ ѣздить, а остается въ Петербургѣ, потому что веселаго характера и любитъ разъѣзжать по знакомымъ, а вечеромъ на закатъ солнца смотритъ и слушаетъ, какъ поютъ француженки. Онъ пожилой, но очень веселый, и все бы ему съ дамами да съ красотками; а жена у него старушка, съ нимъ не живетъ. Прислуги у него три человѣка, мужчины: камердинеръ, поваръ и буфетчикъ, и всѣ ему вѣрные, потому что имъ жить у него прекрасно; гости часто въ карты играютъ и приходимыя красотки жалуютъ, и тогда уже ни въ чемъ нѣтъ сожалѣнія. И теперь же, на этихъ дняхъ, поѣхалъ этотъ генералъ въ «Аркадію» или «Ливадію» и пробылъ тамъ до послѣдняго времени, а потомъ поѣхалъ домой въ простомъ намѣреніи раздѣться, Божинькѣ помолиться и бай-бай заснуть; но только-что онъ хотѣлъ въ дверь свой ключъ вставлять, какъ вдругъ запятая! Сама дверь распахнулась, и на него вылетаетъ оттуда его буфетчикъ, блѣдный какъ шутъ Пьеро, и лопочетъ незнамо что̀.

Генералъ подумалъ, что вѣрно онъ немножко выпилъ, или тоже приходимую крошку ожидаетъ, а тотъ ему отвѣчаетъ: «Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство; а у насъ огромное несчастіе: вашего камердинера умирать увезли». Генералъ разсердился. «Какъ, безъ меня? Какъ смѣли?.. Говори скорѣй, какъ это сдѣлалось?»

Буфетчикъ дрожитъ и путается языкомъ, но разсказалъ, что камердинеръ, проводивши генерала, совсѣмъ былъ здоровъ и ходилъ на рыбный садокъ, себѣ рыбу купилъ, а потомъ пошелъ къ графу Шереметеву къ второму регента помощнику спѣвку слушать, а оттуда на возвратѣ встрѣтилъ приходимую бѣдную крошку и принялъ ее и съ нею при открытомъ окнѣ чай пилъ, а когда пошелъ ее провожать, то вдругъ сталъ себя руками за животъ брать, а дворники его тутъ же подхватили подъ руки, а городовой засвиристѣлъ — и увезли. Онъ не хотѣлъ ѣхать и не давался,—кричалъ:

— Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, заступитесь! Но они его усадили и неизвѣстно куда увезли.

— Ахъ, несчастный!—сказалъ генералъ и, растроганный до слезъ, сейчасъ же поѣхалъ къ оберъ-полиціймейстеру. Но его тамъ не приняли; говорятъ: «Есть пріемные часы—тогда можете!» Онъ—къ приставу, и пристава нѣтъ. «Гдѣ же онъ?»—«Помилуйте,—говорятъ,—по участку ходитъ!»—«Кого же я могу видѣть?» — «А вотъ дежурный за стѣнкой». Выходитъ изъ-за стѣнки дежурный офицеръ, застегиваетъ на себѣ мундирный сюртукъ и спрашиваетъ: «Что угодно?»

Генералъ ему все и передаетъ: «Такъ и такъ, мой камердинеръ, на рукахъ котораго вещи, серебро и весь домъ, а его въ мое отсутствіе взяли и увезли безъ извѣщенія меня, какъ будто какого-нибудь учебнаго разсуждателя: Прошу мнѣ его сейчасъ возвратить».

А полицейскій говоритъ: «Я этого не могу, потому что его у насъ нѣтъ; мы его еще въ двѣнадцатомъ часу въ больницу отправили».

Генералъ обругалъ его какъ не надо хуже и вскочилъ опять на извозчика и все извозчика послѣ этого въ слѣдъ скорѣе подгоняетъ.

А извозчикъ догадался, для чего онъ ѣздитъ, и говоритъ:

— А осмѣлюсь спросить: котораго часа вашего человѣка взято?

Генералъ говоритъ: — О полуночи.

— Ну, такъ теперь,—говоритъ,—ему уже аминь.

— Что ты вздоръ говоришь!

— Помилуйте, какой же вздоръ! — Теперь они ему уже струменцію запустили.

— Ты глупости говоришь.

А извозчикъ полуоборотился и крестится рукой, а самъ шепчетъ:

— Ей-Богу, ей-Богу,—говоритъ:—вѣдь они теперь всѣхъ струменціей пробуютъ. Сначала начнутъ человѣка въ ванной шпарить и кожу долой стирать и притомъ въ ротъ

лѣкарства льютъ; а которые очень крѣпкаго сложенія и отъ лѣкарства не могутъ умереть, тѣмъ послѣднюю струменцію впустятъ—и этого ужъ никто не выдержитъ.

Генералъ же думаетъ: вретъ извозчикъ, — бросилъ ему деньги, а самъ вбѣжалъ въ больницу и вскричалъ:

— Попросить ко мнѣ старшаго доктора! Кто здѣсь старшій докторъ?

Старшій докторъ выходитъ — этакій въ заспанномъ видѣ и никакого особливаго вниманія не обращаетъ, а спрахвола спрашиваетъ:

— Что вамъ угодно?

Генералъ ему отвѣчаетъ живо и бойко и рукой простираетъ, что вотъ такъ и такъ: «Я, говоритъ, въ нынѣшнемъ лѣтѣ на дачу не переѣзжалъ и остался въ городѣ»... А лѣкарь его перебиваетъ: «Вы, говоритъ, пожалуйста, покороче, а то мнѣ изъ отдаленныхъ началъ слушать некогда»...

Генералъ немножко разсердился и говоритъ: «Я вамъ начинаю такъ, чтобы было понятно. Я вечеромъ человѣка въ цвѣточный магазинъ посылалъ за букетомъ и оставилъ его въ цвѣтущемъ видѣ, и онъ еще послѣ меня пошелъ на садокъ и спѣвку слушалъ».

Но лѣкарь опять перебиваетъ: «Ваше превосходительство, мнѣ, говоритъ, некогда! Нельзя ли въ чемъ дѣло?»

— Дѣло въ томъ,—говоритъ генералъ,—что этого человѣка взяли и увезли, и онъ у васъ, а я желаю его къ себѣ взять.

Старшій докторъ обернулся къ фельдшеру и говоритъ:

— Справься!—А тотъ справился и сразу отвѣчаетъ:

— Есть!

— Что же онъ?

— Умеръ.

Докторъ говоритъ: — Вотъ и можете получить.

Генералъ и осомлѣлъ.

— Что это такое?—говоритъ. — Я не вѣрю... Всего нѣсколько часовъ тому назадъ человѣкъ былъ полный жизни...

А докторъ говоритъ:—Это и очень часто такъ бываетъ. А впрочемъ, пожалуйте, служитель васъ проведетъ и его покажетъ!—и велѣлъ служителю:—Проводи генерала!

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Служитель привелъ генерала въ мертвецкій покой; но тутъ покойниковъ нѣсколько и еще на нихъ только нумерки лежатъ, а нѣтъ никакого возванія, и по лицамъ отличать нельзя, потому что всѣ лица почернѣвшія, и руки отъ судорогъ въ перстахъ сдерганы такъ, что не то благословеніе дѣлаютъ, не то растопыркою кызю представляютъ.

Генералъ и говоритъ:—Я такъ не могу своего человѣка узнать! Мнѣ пусть покажутъ!

Служитель побѣжалъ въ контору спросить, подъ какимъ оный нумеромъ, а генералъ остался и замѣчаетъ, что сзади его кто-то вздохнулъ. Видитъ, это читальщикъ, человѣкъ степенный, въ очкахъ, въ углу стоитъ, но не читаетъ, а на него сверхъ очковъ смотритъ и, какъ генералу показалось,—съ сожалѣніемъ.

Генералъ его и спросилъ:

— Что, старина, съ сожалѣніемъ смотришь?

— Да,—говоритъ,—ваше превосходительство.

— Жутко, я думаю, и тебѣ въ этакомъ адскомъ мѣстѣ?

— Да, — говоритъ; — но главное дѣло, что мнѣ утромъ всегда пить очень хочется, а тутъ нигдѣ лавчонки нѣтъ. Въ другихъ больницахъ, которыя строены въ порядкѣ домовъ, это хорошо: тамъ сейчасъ, какъ дождешь утра, такъ и выбѣжишь: квасу или огуречнаго разсолу выпьешь, и оживетъ душа; а тутъ эта больница на площади... ни одной лавки вблизи нѣтъ... Просто, ей-Богу, даже ротъ трубкой сталъ.

Генералъ вынулъ два пятиалтынныхъ и говоритъ:

— Сходи, за моего усопшаго чайку въ трактирѣ напейся.

Читальщикъ, разумѣется, доволенъ и благодаритъ.

— Видно, — говоритъ, — вамъ дорогой человѣкъ былъ?

— Да, братецъ! Я бы ста рублей не пожалѣлъ, чтобы его поставить.

А читальщикъ ему и шепчетъ:

— Какъ же ихъ поставить! У нихъ ужъ всѣ чувства убиты и пульсы заморены, потому что вѣдь струменціюто ставятъ подъ самую мышку, а въ пяткахъ подъ щиколоткой еще и послѣ смерти пульсы бьются.

Читальщикъ это сказалъ и ушелъ, а генералъ евонный намекъ, на что онъ намекалъ — понялъ, и какъ служитель вернулся и сказалъ, подъ которымъ нумеромъ камердинеръ лежитъ,—тотъ ему говоритъ:

— Хорошо, братецъ, я надъ нимъ здѣсь останусь, а ты поди и сейчасъ мнѣ батюшку попроси,—я хочу панихиду отпѣть.

Служитель опять побѣжалъ, а генералъ зажегъ читальщикову свѣчечку да прямо покойника огнемъ подъ пятку... Тотъ врагъ и вскочилъ, а генералъ его сейчасъ на извозчика да домой, а потомъ въ баню, а другого человѣка, буфетчика, къ этимъ же докторамъ съ письмами послалъ— къ старшему и къ двумъ его главнымъ помощникамъ, — чтобы пришли къ нему его самого лѣчить.

Тѣ и рады: думаютъ, генералъ съ состояніемъ, тутъ ужъ мы хорошо попользуемся! И притомъ же они были напугавшись, куда отъ нихъ изъ мертвецкой мертвый дѣлся; весь лишній форсъ съ себя сбросили и пришли.

А генералъ велѣлъ, чтобы какъ они придутъ и сядутъ, такъ чтобы сейчасъ открыть изъ другой комнаты дверь и чтобы камердинеръ, во фракѣ, съ большимъ подносомъ чаю въ рукахъ входилъ.

Доктора какъ это увидали, такъ всѣ трое съ креселъ на полъ и упали. А генералъ выхватилъ пистолетъ и одному и другому помощникамъ груди прострѣлилъ, а старшаго доктора выступкой подкинулъ и началъ трепать его со щеки на щеку, а послѣ, какъ уморился, говоритъ: «Иди теперь, жалуйся».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

И когда няня докончила мнѣ этотъ разсказъ, она добавила съ радостью: «вотъ какъ!»—и я удивился. Она была женщина опытная, понятливая и осторожная, такъ что во всякомъ дѣлѣ обмануть ее было не легко, и неужели же этой нелѣпости она вѣрила?

Да, она вѣрила, или, если и не вѣрила, то *хотѣла, чтобы это было такъ*, потому что это ей было *во вкусъ*.

Я съ нею вступилъ въ пререканіе, приводилъ ей самыя простыя соображенія и доказательства того, что такое происшествіе совершенно невозможно. Она все слушала и со мною соглашалась, но вслѣдъ за тѣмъ съ усиленнымъ самодовольствомъ добавляла:

— Ну, однако, генералъ докторовъ все-таки угостилъ, какъ заслужили! И вотъ такъ бы и всѣхъ ихъ сто́ило.

— Да за что же? Какая имъ выгода морить людей?

— Вотъ, вотъ, вотъ!.. Вотъ это-то отъ нихъ и надо узнать! И узна́ютъ...

Мнѣ чувствуется, что эта женщина — за-одно съ тѣми, которые думаютъ, что надо убить не «запятую», а докторовъ. Но, можетъ-быть, я ошибаюсь. Любопытствую у ея госпожи, у которой она служитъ двадцать лѣтъ и воспитала ей «гвардейцевъ». Спрашиваю: не слыхали ли, какіе няня пустяки разсказываетъ о генералѣ?

— О,—отвѣчаетъ мнѣ дама, — это она уже давно говоритъ... А впрочемъ, вѣдь это и всѣ разсказываютъ.

— Какъ всѣ?

— Да вотъ и у X, и у Y, и у Z дѣвушки говорили мнѣ то же самое, да и ваша Саша.

— Что такое—моя Саша?

— Она тоже говоритъ то же самое.

А «моя Саша» — молодая дѣвушка, восемнадцати лѣтъ, которая «тиха не по лѣтамъ» и которую всѣ зовутъ «мокрою курицей». Что же она можетъ говорить?

Но оказывается, что и она дѣйствительно знаетъ о генералѣ и его камердинерѣ, и о приходимой красоткѣ, — и сама, хоть она «мокрая курица», но очень весело сочувствуетъ тому, что «лѣкарей надо бить».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Захожу на другой день къ лавочнику посидѣть у его лавки. Лавочникъ — человѣкъ молодой, очень пріятный и обладаетъ совершенно непосредственнымъ краснорѣчіемъ. Онъ «изъ поваровъ», кротокъ, благовоспитанъ и благоувѣтливъ; имѣетъ нѣжное сердце, за которое и претерпѣваетъ. Онъ «прибылъ къ здѣшней предмѣстности» тоже при генералѣ, у котораго ему было «хорошо наживать», но влюбился въ «этой предмѣстности» въ красивую эстонскую дѣвушку, и они «подзаконились». Отсюда начался «переломъ его жизни»: у нихъ вдвоемъ было пятьдесятъ рублей капитала, и на этотъ капиталъ они повели разностороннюю дѣятельность: онъ снялъ сельскую лавчонку, а она стала заниматься стиркою бѣлья. Съ тѣхъ поръ прошло уже нѣсколько лѣтъ, и они во все это время неутомимо старались устроиться, и кое-чего достигли: у нихъ уже трое дѣтей и всѣ прехорошенькія, но весь основной капиталъ ушелъ въ предпріятія. Теперь они живутъ только однимъ оборотомъ и, кажется, сами удивляются: какъ до сихъ поръ ихъ отсюда не выгнали, или они не умерли съ голоду? Но ихъ любовь и нѣжное и страстное «другъ ко другу стремленіе» не охладѣваютъ, и потому лица ихъ, равно какъ и личики ихъ дѣтей, всегда веселы и пріятны. Видѣть эти счастливыя лица—удовольствіе.

Спрашиваю я этого коммерсанта: не слыхалъ ли онъ исторіи о воскресшемъ генеральскомъ камердинерѣ, о которомъ будто бы всѣ говорятъ? Лавочникъ подумалъ и отвѣчаетъ:

— Кажется, будто что-то слышалъ.

— Да вѣдь это же, — говорю,—нисколько не похоже на правду.

— Не знаю, какъ вамъ изъяснить въ опредѣленіи факта; но мнѣ, впрочемъ, это и ни къ чему... Ну ихъ!

А во мнѣ уже разыгрывается подозрительность, что и этотъ мой собесѣдникъ тоже не чистосердеченъ и что онъ тоже не за докторовъ, а за запятую; но поговорили мы дальше, и на душѣ становится яснѣе: лавочникъ оказывается человѣкомъ совершенно объективнымъ, и даже самъ называетъ уже «исторію» *глупостью* и припоминаетъ, что «эта глупость пошла словно съ тѣхъ поръ, какъ сталъ ходить *порціонный мужикъ*».

Слово это касается въ первый разъ моего слуха, и я спрашиваю: что это такое—порціонный мужикъ?

— А это,—отвѣчаетъ,—я такъ его прозвалъ.

— За что же?

— Да ужъ малъ онъ очень, совершенно цыпленокъ или порціонная стерлядка, которую дѣлить нельзя, а надо всю сразу съѣсть... Амкнулъ—и нѣтъ его... Да неужели вы его не видали?

— Не видалъ.

— Да вонъ онъ!

И тутъ я его увидѣлъ въ первый разъ, и вѣроятно съ тѣмъ, чтобы никогда его не забыть; но такъ какъ это видѣніе стоитъ того, чтобы передать его въ точности, то я долженъ обрисовать и рамку, въ которой оно мнѣ показалось.

Шмецкъ—это длинная береговая линія домиковъ, соединяющая Устье-Наровы, или Гунгербургъ, съ мерекюльскимъ лѣсомъ, за которымъ непосредственно начинается и самъ знаменитый нѣкогда Мерекюль,—нынѣ довольно демократизованный или «опрощенный».

Мѣстоположеніе такое: море, за нимъ полоса плотно уложеннаго песку (plage), за плажемъ береговая опушка изъ кустовъ и деревьевъ, и тутъ построены дачи или домики, а мимо нихъ пролегаетъ шоссированная дорога и за нею лѣсъ, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, такъ же какъ и домики, построены лицомъ къ дорогѣ, за которою начинается лѣсъ. А потому, когда ла-

вочникъ, разсказывавшій мнѣ о «порціонномъ мужикѣ», заключилъ свои слова указаніемъ: «вонъ онъ!» — я прежде всего взглянулъ прямо передъ собою на лѣсъ, и первое, что мнѣ представилось, навело меня не на ближайшую дѣйствительность, а на отдаленное воспоминаніе о годахъ, когда я жилъ также противъ лѣса и, бывало, смотрю на этотъ лѣсъ долго и все вижу одни деревья, и вдругъ сидитъ заяцъ, подгорюнился и ушки ставитъ, а у меня сейчасъ, бывало, является охотницкая забота: чѣмъ бы его убить? И въ это время что-то около себя хватаешь, а опять взглянулъ—зайца ужъ и нѣтъ!

Теперешнее видѣніе было совершенно въ этомъ родѣ: на сѣро-зеленомъ, туманномъ фонѣ стояло что-то маленькое и грязно-розовое; но прежде, чѣмъ я могъ хорошо разсмотрѣть, что это такое, оно уже и сникло.

— Боится,—проговорилъ лавочникъ.

— Чего же онъ боится?

— Запуганъ, знаете... бѣдность... Смотрите, смотрите! Вонъ онъ гдѣ, ниже на дорожку выходитъ.

И съ этимъ лавочникъ заложилъ себѣ за губу два пальца и пронзительно свистнулъ.

Порціонный мужикъ вздрогнулъ и оглянулся.

— Иди-ка сюда, Лишенный! — позвалъ его лавочникъ.

«Лишенный» къ порціонному мужику прилагалось въ родѣ обозначенія званія: такъ теперь зовутъ административно «высланныхъ» или «лишенныхъ столицы»,

Мужиченко молча вернулся и пошелъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ ближе къ намъ подходилъ, я могъ яснѣе его разсматривать. Лѣтъ его нельзя было опредѣлить съ точностью; у него такое лицо, что ему можетъ быть между 20 и 50. Ростъ крошечный, какъ ростъ пятнадцатилѣтняго мальчика; худъ точно скелетъ, но обтянутый не кожею, а вылинявшею и вывѣтренной набойкой; губъ нѣтъ вовсе, — открыты два ряда превосходныхъ бѣлыхъ зубовъ; носъ тоненькій и свернувшійся какъ корешокъ у сухой фиги; два глаза небольшіе, круглые, какъ у птицы, и оба разнаго

цвѣта, какъ у знаменитаго Анастасія Дирахита: въ одномъ глазѣ зрачокъ чистый, голубой, а въ другомъ весь испещренъ темными штрихами и крапинами, и оттого кажется коричневымъ; бороденка и волосы на головѣ — это все какіе-то клочья. На головѣ шапки нѣтъ, босъ и почти-что нагъ, потому что весь уборъ его состоитъ изъ портокъ и рубашки: портки изъ набойки, изношенныя до лепестковъ; они спускаются только немножечко ниже колѣнъ и оканчиваются «бахмарою». Рубашка была когда-то изъ розовой пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне видѣлъ въ Пиренеяхъ надъ бездною нищаго-испанца, который былъ покрытъ лохмотьями, и «у него глядѣлась бѣдность въ каждую прорѣху; изъ очей глядѣла бѣдность», но «исхудалыми перстами онъ щипалъ свою гитару» *). И описаніе этой бѣдности разрывало душу людей чувствительныхъ и добрыхъ, а испанецъ все-таки былъ «въ лохмотьяхъ» въ тепломъ климатѣ, и у него была еще «своя гитара»...

Западные писатели совсѣмъ не знаютъ самыхъ совершенныхъ людей въ этомъ родѣ. Порціонный мужикъ былъ бы моделью получше испанца съ гитарой. Это былъ не человѣкъ, а какое-то движущееся ничто. Это сухой листъ, который оторванъ гдѣ-то отъ какого-то ледащаго дерева, и его теперь гонитъ и кружитъ по вѣтру, и мочитъ его, и сушитъ, и все это опять для того, чтобы гнать и метать куда-то далѣе...

И видишь его, и не разумѣешь: въ чемъ же есть смыслъ этого существованія?

«Господи! что сей самъ или родители его согрѣшили, и какъ проявятся въ немъ дѣла Божіи?!» Неужели если бы птицы исклевали его въ зернѣ, или если бы камень жерновый утопилъ его въ дѣтствѣ — ему тогда было бы хуже?

Конечно, «вѣсть Господь, чего ради изнеможденъ плоть

---

*) «Атта-Троль».

сыновъ человѣческихъ», но человѣку все-таки будетъ «страшно за человѣка»!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Онъ подошелъ и сталъ, и никому не сказалъ ни слова... Босыя ноги его всѣ въ болотинѣ, волоса шевелятся... Я близорукъ, но я вижу, что̀ тамъ дѣлается. Руки его висятъ вдоль реберъ, и онъ большими перстами запнулъ ихъ за веревочку, которою подпоясанъ. Какія бѣдныя, несчастныя руки! Онѣ не могли бы щипать гитару... Нѣтъ, это какія-то увядшія плети тыквы, которую никто не поливалъ въ засуху. Глаза круглые, унылые и разнаго цвѣта — они не глядятъ ни на что въ особенности, а замѣтно, что они все видятъ, но ему ничто не интересно. За щеками во рту онъ что-то двигаетъ; это ходитъ у него за скулою какъ орѣхъ у бѣлки.

Съ этого и началась бесѣда.

Лавочникъ спросилъ у него:

— Что ты, Лишенный, во рту сосешь?

Онъ плюнулъ на ладонь и молча показалъ мѣдный грошъ, и сейчасъ же опять взялъ его въ ротъ вмѣстѣ съ слюнями.

— Хлѣба купить желаешь?

Порціонный отрицательно покачалъ головою.

Лавочникъ въ его же присутствіи на́скоро изъяснилъ о немъ, что онъ «изъ-за Москвы», — «оголѣлъ съ голоду»: чей-то скотъ пригналъ въ Петербургъ и хотѣлъ тамъ остаться дрова катать, чтобы домой денегъ послать, но у него въ ночлежномъ пріютѣ какой-то странникъ укралъ пятнадцать рублей и скрылся, а онъ съ горя ходилъ безъ ума и взятъ и высланъ «съ лишеньемъ столицы», но не вытерпѣлъ и опять назадъ прибѣжалъ, чтобы свои пятнадцать рублей отыскивать.

И когда разсказъ дошелъ до этого, порціонный отозвался; онъ опять выплюнулъ на руку грошъ и сказалъ:

— Теперь уже не надо.

Голосъ у него тоненькій и жалостный, какъ у больныхъ дѣвочекъ, когда онѣ обмогаются.

— Отчего же не надо?

— Дѣтки померли...

— Развѣ ты письмо получилъ?

— Нѣтъ; журавли летѣли да пѣли.

— А гдѣ же твоя жена?

— Къ слѣпымъ пошла. Слѣпымъ-то вѣдь хорошо жить: имъ подаютъ... имъ надо стряпать...

Мы всѣ замолчали, — кажется, мы всѣ страдали, а *онъ*, безъ сомнѣнія, всѣхъ больше; но лицо его не выражало *ничего*!

— Убитый человѣкъ! — прошепталъ нищій-лавочникъ, — въ разсудкѣ рѣшается, — и подалъ ему булку.

Тотъ ее взялъ, не поблагодаривъ, сунулъ за локоть, и опять опустилъ руки вдоль реберъ.

— Съѣшь! — сказалъ лавочникъ.

Мужикъ не отвѣчалъ, но взялъ булку въ руку, подержалъ и даже что-то съ нея хотѣлъ счистить и опять туда же сунулъ, за локоть.

— Не хочешь ѣсть?

— Не хочу... дѣтямъ снесу.

— Да дѣти вѣдь померли!

— Ну такъ что жъ... Имъ тамъ дадутъ, въ раю, по яблочку.

— Ну, да; а ты булку самъ съѣшь.

Мужикъ опять взялъ булку въ руки, опять снялъ съ нея то, что ненадлежаще явилось, и затѣмъ вздохнулъ и тихо сказалъ:

— Нѣтъ; все-таки пущай лучше дѣтямъ.

Лавочникъ посмотрѣлъ на него, — вздвигнулъ плечами и прошепталъ:

— Господи! тоже и родитель еще называется!

Мужикъ это услыхалъ и повторилъ:

— Родители.

— И всѣ чувства къ семьѣ имѣешь?

— А то какъ же!

— А какое твое впередъ стремленіе?

— Не знаю.

— Разскажи барину, какъ генералъ докторовъ билъ. Баринъ тебѣ тоже на хлѣбъ дастъ: можетъ-быть, въ Нарву съѣздишь, а тамъ какую-нибудь работу найдешь.

И порціонный сейчасъ же началъ сразу ровнымъ, тихимъ голосомъ всю ту исторію, которую я передалъ уже со словъ своей знакомой няни, но только порціонъ ее излагалъ въ самомъ сильномъ конкретѣ: «Жилъ возлѣ рынка генералъ... имѣлъ вѣрнаго слугу-камердинера. Отлучился въ кіятеръ, а вѣрный камердинеръ къ себѣ приходимую кралю принялъ чай пить... какъ вдругъ ему рѣзь живота... Взяли и его стали надъ нимъ опыть струментой пробовать, всѣ чувствія угасили, но въ подщиколкѣ еще пульсъ билъ. Генералъ его восхитилъ—и въ баню; потомъ позвалъ докторовъ въ гости, а камердинеру велѣлъ войти и чай подать... Тѣ и попадали... А генералъ двухъ разстрѣлялъ, а третьяго въ морду набилъ и сказалъ: «ступай, жалуйся!»

Этимъ все и кончилось.

Я далъ мужику два двугривенныхъ и хотѣлъ ему собрать завтра между знакомыми всѣ пятнадцать рублей, которые у него странникъ укралъ. Онъ мои двугривенные кинулъ себѣ въ ротъ (кармановъ у него, какъ у настоящаго праведника, не было). И затѣмъ онъ ушелъ и болѣе уже въ нашихъ мѣстахъ не показывался. Я ужъ думалъ, не повлекъ ли его рокъ въ Нижній за краткой развязкою?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

А тѣмъ временемъ пріѣзжаетъ съ кѣмъ-то извозчикъ изъ Нарвы и говоритъ, что къ нимъ ждутъ генерала Баранова и полкъ артиллеріи.

— Для чего же?

— Да на фабрикахъ,—говоритъ,—очень живой разговоръ пошелъ.

— О чемъ?

— Все объ струментѣ.

А дальше разсказываетъ, что у нихъ дѣло будто уже и разыгралось такимъ образомъ: пошелъ будто у нихъ какой-то докторъ на Нарову купаться, раздѣлся и сталъ при всѣхъ глупость дѣлать: спустилъ на шнуркѣ съ мостка въ воду трубку и болтаетъ ее и взадъ, и впередъ водитъ. Пополоскаетъ-пополоскаетъ и опять вытянетъ, поглядитъ и опять запуститъ... Люди увидали это и нѣсколько человѣкъ остановились, а потомъ вскричали ему: «Докторъ, молъ, докторъ! Слышь-ко, оставь, молъ, лучше эту... струментацыю-то! Полно тебѣ ее полоскать!.. Оставь же, молъ; а то нехорошо будетъ!» А онъ не послушался и еще разъ закинулъ. Ну, ужъ тутъ его одинъ по голой плоти хворостиной и дернулъ. И стали приставать. «Подай инструментъ, мы его отнесемъ узнать: что тамъ насажено». А онъ первой же хворостины испугался и бѣжать, и инструментъ съ собой... Ну, тогда, разумѣется, за нимъ ужъ и многіе рушили, и кои догоняли, тѣ били его; но, слава Богу, что онъ рѣзво бѣжалъ, а если бы онъ на грѣхъ споткнулся, либо упалъ—такъ на́ смерть бы убить могли. Докторъ успѣлъ вспрыгнуть на извозчика и въ полицію голый такъ и вскочилъ... Тутъ послѣ и пошли по всѣмъ сходнымъ мѣстамъ и трактирамъ сходиться всѣ фабричные и ихъ эти тоже приходимыя красотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего же полиція могла скрыть такого человѣка, который не постыдился при всѣхъ въ водѣ черезъ инструментъ микробу впускать... И теперь безпокойства, и ждутъ, что съ одной стороны выѣдетъ губернаторъ изъ Ревеля, а съ другой вступитъ графъ Барановъ—и начнетъ всѣмъ публиковать свои правила.

«Инструментъ» и «приходимыя красотки»—это прямо отдавало тѣмъ самымъ источникомъ, изъ котораго были почерпнуты первые матеріалы для легенды, получившей свое развитіе у насъ на plage. Вѣтеръ или вода, значитъ, занесли «запятую» прежде всего туда, въ наше фешене-

бельное мѣсто; но тамъ, на plage, «запятой» «среда не благопріятствовала», и запятая не принялась, или, культивируясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: а вотъ тутъ, когда она попала въ среду ей вполнѣ благопріятную, она «развила свои разведенія».

А что это была именно она, та самая «запятая», которую мы видѣли и не узнали, а еще сунули ей въ зубы хлѣбъ и два двугривенныхъ, то это вдругъ сообразили и я, и лавочникъ. И лавочникъ къ тому имѣлъ еще и «подтвержденіе на фактѣ», такъ какъ онъ самъ ѣздилъ на лошади въ Нарву за товаромъ, и когда назадъ возвращался, то порціонный мужикъ самъ явился ему за городомъ: онъ совершенно неожиданно поднялся къ нему изъ мокрой канавки и закричалъ: «Журавли летятъ! Журавли! Аллилуія!» Но только лавочникъ на этотъ разъ былъ уже умнѣе: онъ теперь зналъ, что порціонный мужикъ—человѣкъ опасный: лавочникъ поскорѣе хлестнулъ лошадь и хлѣба ему не кинулъ, а кнутомъ ему погрозилъ да прикрикнулъ:

— Вонъ графъ Абрамовъ наступаетъ съ публикацыей—онъ тебя удовольствуетъ!

А на «порцыонѣ» какъ разъ, кстати, теперь уже и рваныхъ портъ совсѣмъ не было, такъ что и легко было его «удовольствовать»... Но сумасшедшій домъ, однако, могъ бы безъ грѣха укрыть его отъ этого «удовольствія».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Вотъ и весь сказъ о запятой. Тутъ на-лицо все: какая у нея видимость и умственность, что̀ у нея за характеръ и какова она въ словахъ и въ разсужденіи своего вліянія на мозгъ человѣческій. Кажется, ничто особенно хитро не задумано и не слажено: что̀ есть, то̀ все взято безъ всякой пропорціи, не на вѣсъ, а на глазомѣръ или, еще проще—сколько влѣзло. Во всякомъ случаѣ, всего менѣе попало сюда злого намѣренія и расчета. Этого снадобья тутъ не болѣе, чѣмъ поэзіи Фета, которая участвуетъ въ

составѣ преступленія «запятой» только однимъ стихомъ: «Приходи, моя милая крошка». Такимъ образомъ муза поэта, ненавидѣвшаго народныя несуразности, изловлена гдѣ-то въ то время, какъ она гуляла въ ароматномъ цвѣтникѣ или неслась надъ деревнею по воздуху, слетѣвъ съ устъ пѣвицы, «запузыривавшей» за фортепіаномъ въ дворянскомъ домѣ. Аѳ. Аѳ. Фетъ вѣрно былъ бы недоволенъ тѣмъ, что сѣрый народъ безъ толку тормошитъ его «милую крошку», но вины Фета въ томъ нѣтъ. Столько же виновата и вся дѣйствительность. Вѣтеръ листъ сухой гоняетъ и треплетъ, и онъ то летитъ, то катится, то гніетъ въ грязи и потомъ опять сохнетъ, и опять изъ темныхъ мѣстъ поднимается. Вотъ это самое дѣйствительное и несомнѣнное; все остальное—зыбь поднебесная, марево, буддійская кáрма, которая всѣмъ точно снится... Никакого перваго заводчика пѣсни и сочинителя легенды нѣтъ! Порціонный мужикъ, конечно, не сочинялъ «бѣдную крошку». Гдѣ ему! Онъ получилъ ее уже готовую и за горемъ своимъ онъ развивалъ ее гораздо слабѣе, чѣмъ всѣ другіе импровизаторы... За что же его такъ участь жестока?

О, Господи! сжалься надъ нимъ да сошли и намъ просвѣщающую вѣру вмѣсто суевѣрія!

Изъ всѣхъ «запятыхъ» самыя ужасныя тѣ, которыя скрываются во тьмѣ суевѣрій.

ПУСТОПЛЯСЫ.

СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.

На одномъ дорожномъ ночлегѣ по старому тракту сбилось такъ много людей, что всѣ мѣста въ просторной избѣ были заняты. Случились тутъ люди и конные, и пѣшіе, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочіе, которые ходили дорогу чистить. На дворѣ было студено и всѣ, съ надворья входя, лѣзли погрѣться у припечка, а потомъ раскладывались, гдѣ кто мѣсто засталъ, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такія дѣла, какъ неурожай да подати, а потомъ дошли и до «судьбы божества». Стали говорить — отчего это Богъ Іосифу за семь лѣтъ открылъ, что въ Египтѣ «неурожай сойдетъ», а вотъ теперь такъ не дѣлаетъ: теперь живутъ люди и бѣды надъ собою не ожидаютъ, а она тутъ и вотъ она! И начали говорить объ этомъ всякій по-своему, но только одинъ кто-то съ печки откликнулся и сразу всѣхъ занялъ; онъ такъ сказалъ:

— А вы думаете, что если бы намъ было явлено, когда бѣда придетъ, такъ развѣ бы мы отвели бѣду?

— А разумѣется.

— Ну, напрасно! Мало что ли у всѣхъ въ виду самаго яснаго, чего отвести надо, а однако не отводимъ.

— А что, напримѣръ?

— Да вотъ, напримѣръ, чего еще яснѣй того, что бѣдныхъ и несчастныхъ людей есть великое множество, и что пока ихъ такъ много, до тѣхъ поръ никому спокойно жить нельзя; а вѣдь вотъ про это никто и не думаетъ.

— Вотъ то-то и есть! А если бъ предвѣщеніе объ этомъ было—небось бы поправились.

А тотъ съ печи отвѣчаетъ:

— Ничего бъ не поправились: не въ предвѣщеніи дѣло, а въ хорошемъ разумѣ. А разума-то и не слушаютъ; ну а какъ предвѣщенія придутъ, такъ они не обрадуютъ.

Его и стали просить разсказать про какой-нибудь такой примѣръ предвѣщенія, и онъ началъ сразу сказывать.

— Я вѣдь уже старикъ, мнѣ седьмой десятокъ идетъ. Первый большой голодъ я помню за шесть лѣтъ передъ тѣмъ, какъ наши на венгра шли, и вышла тогда у насъ въ селѣ удивительность.

Тутъ его перебили излишнимъ вопросомъ: откуда онъ?

Разсказчикъ быстро, но нехотя оторвалъ:

— Изъ села Пустоплясова. Знаешь, что ль?

— И не слышали.

— Ну, такъ услышишь, что у насъ въ Пустоплясахъ случилось-то; смотри, чтобы и у васъ въ своемъ селѣ чего-нибудь на такой манеръ не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вамъ: моя сказка не длинная.

Стало въ томъ у насъ удивительно, что вокругъ насъ у всѣхъ хлѣба совсѣмъ не родило, а у насъ поле какъ-то такъ островкомъ вышло задачное, — урожай Богъ далъ средственный. Люди плачутъ, а мы Бога благодаримъ, — говоримъ: слава тебѣ, Господи! А что намъ отъ сосѣдей тѣснота придетъ, о томъ понимать не хочемъ. А сосѣди намъ всѣ завидуютъ; такъ и говорятъ про насъ: «Божьи любимчики: мы у Господа въ наказаніи, а вы въ милости». «И какимъ-де вы святителямъ молились и которымъ чудотворцамъ обѣщались?» А наши ужъ и чванятся, что въ

самомъ дѣлѣ они въ любови у Господа: убираемъ, жнемъ, копны домой возимъ и снопы на овины сажаемъ да на токахъ молотимъ... Такая трескотня идетъ, что люба-два! И сейчасъ послѣ этого сряду пошло баловство: накололи убоины, свезли попамъ новины, наварили бражки, а потомъ мужики норовятъ винца попить, а бабы съ утра затѣваютъ: «аль натйрушковъ натйрить! аль лепешечекъ спечь!» И ѣдимъ да пьемъ во вредъ себѣ больше, чѣмъ надобно. По другимъ деревнямъ вокругъ мякиною и жмыхомъ давятся, а мы въ утѣху себѣ говоримъ: вѣдь мы не причинны въ томъ, что у другихъ голодно. Мы вѣдь имъ вреда на поляхъ не дѣлали и даже вмѣстѣ съ ними повеснѣ на поляхъ молитвовали, а вотъ нашу молитву Господь услыхалъ и намъ урожай сослалъ, а имъ не пожаловалъ. Все въ Его волѣ: Господь праведенъ; а мы своихъ сосѣдовъ не покидаемъ и передъ ними не горжаемся: мы имъ помогаемъ кусочками. А сосѣди-то къ намъ и взаправду повадились кажденъ да и безперечь, и все идутъ да идутъ и что дальше, то больше, и стали они намъ очень надокучисты. Такъ пришло, что не токмо не кажись на улицѣ, а и въ избѣ-то стало посидѣть нельзя, потому что слышно, какъ все тянутъ голодные свою скорбинку: «Б-о-ж-ь-и л-ю-б-и-м-ч-и-к-и! сотворите святую милостыньку Христа ради!» Ну, разъ дашь, и два дашь, а потомъ ужъ дальше постучишь въ окно да скажешь: «Богъ подастъ, милые! Не прогнѣвайся!» Что же дѣлать-то! Хорошо, что мы «Божьи любимчики», а имъ хоть и пять коврягъ изрѣжь, ихъ все равно не накормишь всѣхъ! А когда отошлешь его отъ окошка, — другая бѣда: самому стыдно дѣлается себѣ хлѣбъ рѣзать... То-есть ясно, какъ не надо яснѣе, Господь тебѣ въ сердце кладетъ, что надо не отсылать, а надо иначе сдѣлать, а пока чего должно не сдѣлаешь — нельзя и надѣяться жить во спокойствіи.

И надо бы, кажется, это понять, а вотъ однако не поняли; тогда и превозвѣстникъ пришелъ,—его прогнали.

— Тутъ по избѣ шепоткомъ пронеслось:

— Слушайте, братцы, слушайте!

Запечный гость продолжалъ:

— Такъ доняли насъ голодные сосѣди, что намъ совсѣмъ стало жить нельзя, а какъ помочь бѣдѣ — не вѣдаемъ. А у насъ лѣсникъ былъ Ѳедосъ Ивановъ, большой грамотникъ, и умѣлъ хорошо всѣ дѣла разбирать. Онъ и сталъ говорить:

— А вѣдь это не хорошо, братцы, что мы живемъ какъ безчувственные! Что ни суди, а живемъ мы всѣ при жестокости: бѣдственнымъ людямъ норовимъ корочку бросить,—нечто это добродѣтель есть? — а сами для себя все вѣдь съ затѣями: то лепешечекъ намъ, то натирушковъ. Ахъ, не такъ-то совсѣмъ бы надо по-Божьи жить! Ахъ, по-Божьи-то надо бы намъ жить теперь въ строгости, чтобы себѣ какъ можно меньше известь, а больше дать бѣдственнымъ. Тогда, можетъ-быть, легкость бы въ душѣ освѣтилася, а то прямо сказать — продыханья нѣтъ! Въ безразсудкѣ-то омраченіе, а чуть станешь думать и въ свѣтъ себя приводить — такое предстанетъ терзательство, что не знаешь, гдѣ легче мучиться, и готовъ молить: убей меня, Господи, отъ разу!

Ѳедосъ, говорю, начитавшись былъ и бралъ ото всего къ размышленію человѣчнему, какъ, то-есть, что человѣку показано... въ обществѣ... То-есть, какъ вотъ одинъ перстъ болитъ—и все тѣло неспокойно. Но не нравилось это Ѳедосово слово игрунамъ и забавникамъ во всемъ Пустоплясовѣ. Онъ, бывало, говоритъ:

— Вы, почкенные старички, и вы, молодой народъ, на мои слова не сердитеся: мои слова — это не самъ я выдумалъ, а отъ другого взялъ; сами думайте: эти люди, которые хотятъ веселиться, когда за порогомъ другіе люди бѣдствуютъ, они напрасно такъ думаютъ, будто помѣхи не дѣлаютъ, — они сѣютъ зависть и тѣмъ суть Богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не праздновать — не вино пить да лепешкой закусывать.

Старики за это на Ѳедоса кривилися, а молодые ему стрекотали въ отвѣтъ:

— Чего ты тутъ, дядя Ѳедосъ, очень развякался! что ты попъ, что-ли. какой непостриженый? Намъ и попъ такихъ рѣчей не уставливалъ. Если намъ Богъ милость сослалъ, что намъ есть что̀ ѣсть, то отчего намъ и не радоваться? Пьемъ-ѣдимъ тоже вѣдь все въ славу Божію: съѣдимъ и запьемъ и отойдемъ—перекрестимся: слава-те, Господи! А тебѣ-то что надобно?

Ѳедосъ не сердился, а только зналъ, что̀ отвѣтить.

— Несмысленные! что тутъ за слава? Никакой славы нѣтъ, что вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся! А вы вотъ такую славу вознесите Христу, чтобы видѣли всѣ, что вы у Него въ послушаніи... Вѣдь Его же есть слово къ намъ: «пусть знаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если имѣете любовь между собою»!

Но только ничего Ѳедосъ не успѣвалъ, и всѣ ему наотрѣзъ грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка,—одна только она у него и осталась отъ всего поколѣнія, и онъ съ нею съ одною и жилъ въ избѣ, а была она съ нимъ несогласная: такая-то была вертеница и Ѳедоса не слушалась, и даже озорничала съ нимъ.

— Ты,—бывало, скажетъ,—очень ужъ старъ сталъ, такъ вотъ и пужаешь всѣхъ и нѣтъ совсѣмъ при тебѣ никакой веселости. Чего ты пристаешь ко всѣмъ: «Богъ» да «Богъ»! Это мы и въ церкви слышали, и крестились, и кланялись, а теперь надо веселаго!

Онъ ей, бывало, скажетъ:—«Эй, нехорошо, Мавра! Бога надо постоянно видѣть передъ собою, на всѣхъ мѣстахъ ходящаго и къ тебѣ понятно глаголющаго, что̀ тебѣ хорошо, а чего ненадобѣ».—А дѣвка на эти слова отъ себя зачаститъ-зачаститъ и всякій разъ кончитъ тѣмъ, что:—«Ты простой мужикъ, а не попъ, и я не хочу тебя слушаться.

А онъ ей:

— Я простой мужикъ—я въ попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово: оно вѣдь идетъ на добро и отъ жалости.

А внучка отвѣчаетъ:

— Ну, ладно: въ молодомъ-то вѣку не до жалости; въ молодомъ вѣку надо счастье попробовать.

А Ѳедосъ ей и сказалъ:

— Ну, что̀ дѣлать—испробуешь, только вѣдь не насытишься.

И такъ, гдѣ, бывало, съ дѣдомъ Ѳедосомъ люди ни сойдутся—сейчасъ всѣ противъ него; а онъ все толкуетъ, что надо жить въ тихости, безъ шума и грохота, да только никакъ съ людьми не столкуется, и съ Мавруткою къ празднику нелады у него по домашеству; пристаетъ она:

— Дай, дѣдко, мучицы просѣять, спечь лепешечекъ!

А онъ этого не хочетъ, говоритъ:

— Ѣшь рѣшотный хлѣбъ, отъ другихъ не отличай себя.

Мавра и злится:—«Насъ,—говоритъ, — Богъ отличилъ, а ты морить хочешь!»

Ѳедосъ отвѣчаетъ:—Эхъ, глупая! еще невѣдомо, для чего вы отличены; можетъ быть, и не для радости, а въ поученіе.

И когда разъ одинъ Маврутка такъ на Ѳедоса разсердилась, такъ взяла да и сказала ему:

— Не дай Богъ съ тобой долго жить, хоть бы померъ ты.

Но Ѳедосъ и тутъ не разсердился.—«Что же такое!.. Ничего! погоди, вотъ скоро похороните; можетъ-быть, потомъ поминать станете.

А молодые-то и расхохоталися:

— Еще, молъ, чего! тебя, стараго ворчуна, вспоминать будемъ!

Да и старички-то, которыхъ звалъ онъ «почкенные», не на его сторонѣ становилися, а тоже, бывало, говорятъ:—Что̀ онъ презвышается—лучше всѣхъ хочетъ быть

во всемъ въ Пустоплясовѣ! Довольно знаемъ мы всѣ его: вмѣстѣ и водку съ нимъ пили, и съ бабами пѣсни играли— чего великатится!

Молодые это слышатъ и рады, и иной озорной подойдетъ къ нему и говоритъ:

— Дѣдъ Ѳедосъ!

— А что тако?

— А вонъ что про тебя старики-то сказываютъ!

— Да! Ну-ка, давай, послухаемъ.

— Говорятъ... будто ты... Стыдно сказывать!

— Ну что?.. ну что? Не тебѣ это стыдно-то!

— Когда молодой-то былъ...

— У, былъ пакостникъ!.. Школы намъ, братцы, не было! Бойло было, а школы не было.

— Говорятъ, ты солдаткѣ въ половень гостинцы носилъ!

— Да и хуже того, братцы мои, дѣлывалъ. Слава Богу, многое уже позабылося... Видно, Богъ простилъ, а вотъ... людямъ-то все еще помнится. Не живите, братцы, какъ я прожилъ, живите по-лучшему, чтобъ худого про васъ людямъ вспоминать было нечего.

—

А мы, разъ отъ раза больше все ошибаючись, попали братцы, передъ святками въ такое безстыжество, что мало намъ стало натпруховъ да лепешекъ, а захотѣли мы завести забавы и игрища. Сговорилися мы, потаймя отъ своихъ стариковъ, нарядиться какъ можно чуднѣе, медвѣдями да чертями, а дѣвки—цыганками, и махнуть за рѣку на постоялый дворъ шутки шутить. А Ѳедосъ какъ-то узналъ про это и пошелъ ворчать:

— Ахъ вы,—говоритъ,—безстыжіе! Это вы мимо голодныхъ-то, дразнить ихъ пойдете, что-ли, съ пѣснями? Слушай, Мавра, нѣтъ тебѣ моего позволенія!

Мы всѣ ее у Ѳедоса отпрашиваемъ:

— Пусти, молъ, ее, Ѳедосъ Ивановичъ, что тебѣ ея вѣкъ томить!

А онъ отвѣчаетъ:

— Пошли вы, пустошни! Какое въ этомъ утомленіе. чтобы не пустить человѣка изъ себя дурака строить!

— Ну, да ты, молъ, ужъ всегда такой: ото всѣхъ все премудрости требуешь!

— Не премудрости,—говоритъ,—а требую, что̀ Господь велитъ,—на ближнія разумѣнія: ближній въ скорбѣхъ, и ты не попрыгивай.

— Да развѣ ближнему-то хуже отъ этого?

— А разумѣется,—не вводи его въ искушеніе, а въ себѣ не погубляй доброту ума.

— Ну, вотъ, молъ, ты опять все про вумственность! Это надокучило! Небось, когда молодъ былъ самъ, такъ не разсуживалъ, а игралъ, какъ и прочіе.

— Ну, и что же такое,—отвѣчаетъ дѣдъ Ѳедосъ.—Я вѣдь ужъ не разъ сознавался вамъ, что въ молодыхъ годахъ я много худого дѣлалъ, такъ неужели же и вамъ теперь долженъ тоже совѣтовать дѣлать худое, а не доброе! Эхъ, неразумные! Съ пьянымъ-то, чай, вѣдь надо говорить не тогда, когда онъ пьянъ, а когда выспится. Молодой я пьянъ былъ всякой хмелиною, а теперь, слава Богу, повыспался. А если бы я былъ человѣкъ не грѣшный, а праведный, такъ я бы и говорилъ-то съ вами совсѣмъ на другой манеръ: я бы вамъ, можетъ, прямо сказалъ: Богъ это вамъ запрещаетъ, и можетъ за это придти на васъ наказаніе!

Тутъ за это слово всѣ на Ѳедоса поднялись.

— Нѣтъ, нѣтъ! — закричали, — что ты, какъ воронъ, все каркаешь! Это все ты самъ повыдумывалъ! Веселье и въ церквахъ поминается. Давыдъ-царь и игралъ, и плясалъ, и на свадьбѣ-то мало ли вина было попито. Ты своего не уставляй,—это намъ не запретное. Если бы похотѣлъ Господь, чтобы поворотить народъ на другую путь, Онъ бы не тебя послалъ, а особаго посла-благовѣстника.

Ѳедосъ имъ желалъ внушить, что не намъ судить, какого посла куда посылаетъ Богъ, а что слово Господне—духовное и черезъ кого оно доходитъ, черезъ того все

равно и засѣменяется: кто въ божьихъ смыслахъ говоритъ, того и послушайся, а нарочныхъ пословъ не жди. Нарочный-то, бываетъ, такъ придетъ, что и не поймешь его.

Ну, а все же хоть и всѣ съ дѣдомъ спорили, а въ открытость супротивъ его дѣлать стыдилися, потому что когда вспомянется намъ то, что старики про половень говорили, мы Ѳедоса будто и не уважаемъ, а потомъ вздумаемъ, что онъ давно уже человѣкъ справедливый сталъ, а тѣ, «почкенные»-то, все еще вокругъ половня ходятъ — намъ Ѳедоса и совѣстно. Грѣшникъ-то онъ, правда, что грѣшникъ былъ, да вѣдь онъ отстоялся ужъ и повернулъ себя на хорошее! Свое-то намъ справить хочется, а его все-таки стыдно. И стали мы съ своими намѣреньями крыться и сдѣлали уговоръ вечеромъ на рожествинъ день собираться всѣ въ ригу и ждать другъ дружку въ углу, въ колосѣ, а потомъ идти всей гурьбой переряженнымъ къ дворнику. А мы знали, что у дворника праздникъ какъ слѣдуетъ: быка залобанили, трехъ свиней зарѣзали и двѣ бочки браги наварено. Пойдемъ, молъ, налопаемся, а на обратномъ пути дѣвки пусть себѣ гдѣ знаютъ хоронятся.

Такія зашли затѣи хорошія!

— —

Пошли у насъ хлопоты: разныя мы одежи припасаемъ да прячемъ въ потайныхъ мѣстахъ. Боимся только, чтобы не подсмотрѣли за нами сосѣди неимущіе да наши похоронки не украли бы.

Мы имъ до сочельника все подавали кусочки, а подъ сочельникъ бабы и дѣвки сказали имъ:

— Слушайте, вы, неимущіе! вы чтобы завтра не смѣть приходить сюда, потому что мы завтра будемъ сами въ печкахъ мыться и топорами лавки скресть. Завтра намъ не до васъ. Обходитесь какъ знаете.

Маврутка захотѣла свои уборы вынесть въ ригу, когда дѣдъ Ѳедосъ въ лѣсъ пойдетъ, и вотъ, когда все, что надо было, у себя въ избѣ отмыла и отскребла, да поглядѣла

въ окно, а на улицѣ, видитъ,—мятель и сиверка, такъ что дышать трудно. Маврутка думаетъ: «дай скорѣй сомчу, а то дѣдъ воротится!» и только что отворила дверь, какъ сдушило ее сиверкой, а передъ самымъ ея лицомъ на жерновомъ камнѣ у порожка нищенское дитя стоитъ, и какое-то будто особенное: обликъ нѣжный, а одежи на немъ только одна рваная свиточка и въ той на обоихъ плечахъ дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да въ соломку завернуты и тутъ же приткнуты.

Маврутка на него осердилася.

— Чего тебѣ,—говоритъ,—для чего въ такой день пришелъ! Ишь ты, нѣтъ на васъ пропасти!

А дитя стоитъ и на нее большими очами смотритъ.

Дѣвка говоритъ:—«Что же ты бѣльма выпучилъ! Прочь пошелъ!»

А онъ и еще стоитъ.

Маврутка его поворотила и сунула:

— Пошелъ въ болото!

А сама побѣжала, и никакого ей безпокоя на душѣ не было, потому что вѣдь сказано всѣмъ имъ было, чтобы не ходить въ этотъ день—чего же таскается!

Прибѣжала Мавра въ ригу да прямо въ дальній уголъ и тамъ въ сухомъ колосѣ все свое убранье и закопала, а когда восклонилася, чтобы назадъ идти—видитъ, что этотъ лупоглазый ребенокъ въ воротахъ стоитъ.

Маврутка на него опалилася.

— Ты, шелудивый, — говоритъ, — подслѣжаешь меня, чтобы скрасть мое доброе! Такъ я отучу тебя! — Да и швырнула въ него тяжелый цѣпъ, а цѣпъ-то такой былъ, что дитя убить сразу могъ, да Богъ далъ—она промахнулася, и съ того еще больше осердилась, и погналася за нимъ. А онъ не то за уголъ забѣжалъ, не то со страху въ какой-нибудь овинъ нырнулъ, только Мавра не нашла его и домой пошла, и поспѣшаетъ, чтобы придти прежде, чѣмъ дѣдъ Ѳедосъ воротится изъ лѣсу, а на самое на нее

сталъ страхъ нападать, будто какъ какая-то бѣда впереди ея стоитъ или позади вслѣдъ за ней гонится.

И все чѣмъ она шибче бѣжитъ, тѣмъ сильнѣе въ ней духъ занимается, а тутъ еще видитъ, что у нихъ на заваленкѣ будто кто-то сидитъ...

Мавругка вдругъ стала смотрѣть: что это, неужели опять лупоглазый тамъ?..

Дѣвка-ровесница съ ведромъ шла и спрашиваетъ:

— Что у тебя, нога что-ли подвихнулася?

А Мавругка машетъ ей и говоритъ:—«Послушай-ка, что тебѣ нашу избу видно?»

Та отвѣчаетъ:—«Видно».

— А что это такое тамъ у насъ подъ окномъ на заваленкѣ?

— Это твой дѣдъ Ѳедосъ сидитъ...

— У тебя, можетъ-быть, курья слѣпота въ глазахъ?

— Чего еще! Ярко его вижу, вонъ руки въ рукавицахъ онъ на костыль положилъ, а нѣдромъ носитъ. Тяжело его удушье бьетъ...

— А робенка лупоглазаго не видишь тамъ?

— Лупоглазое дитя-то нонѣ по всему селу ходило, а теперь его нѣтути...

А Мавругка ей говоритъ, что она сейчасъ лупоглазое дитя видѣла и что онъ подсмотрѣлъ, гдѣ она свой уборъ закопала.

— Теперь, — говоритъ, — то и думаю, что онъ, стылый, откопаетъ да и выкрадетъ.

— Пойди перепрячь скорѣй!

— И то сбѣгаю!

А сама чуетъ, что теперь ужъ ей въ ригѣ было бы боязно.

И тутъ Мавра съ дѣдомъ опять не въ ладъ сдѣлала, такъ что онъ сказалъ ей:

— Ты, должно-быть, задумала что-нибудь на своемъ поставить. Смотри, бѣды бъ не вышло!

Она отвѣчаетъ:—«Не удержишь меня!»

— Чего силомъ держать... и ненадобно... А тебѣ, слышь, чего же тамъ понравилось?.. Назадъ-то пойдете, ребята чтобъ васъ не обидѣли.

— Закаркалъ, закаркалъ опять! Никого не боимся мы, а тамъ праздникъ какъ слѣдуетъ, — тамъ били бычка и трехъ свиней, и съ солодомъ брага варена...

Вона что̀ наготовлено изступленія! И пьяно, и убоисто...

— А тебѣ и свиней-то жаль!

— Воробья-то мнѣ и того-то жаль, и о его-то головенкѣ вѣдь есть вышнее усмотрѣніе...

— О воробьиной головкѣ-то?

— Да!

— Усмотрѣніе?

— Да!

— Тьфу!

Мавра въ-раскатъ громко плюнула.

Дѣдъ сказалъ:—«Чего-жъ плюешься?»

— На слова твои плюнула.

— На мои-то наплюй,—не груби только Хозяину.

— Онъ мнѣ и ненадобенъ.

— Вона какъ!

— Разумѣется!.. Пусть его нелюбымъ конямъ гривы мнетъ.

— Что городишь-то, неразумная! Я тебѣ говорю про Того, Кому мы всѣ работать должны.

— Ну, а я не разумѣю и не хочу.

— Что это,—работать-то?

— Да.

— Поработаешь. Не всѣ вѣдь вольною волей работаютъ,— другіе неволею. И ты поработаешь.

Мавра черезъ гнѣвъ просмѣялася и говоритъ:

— Полно тебѣ, дѣдъ, въ самомъ дѣлѣ, видно, правда, что ты съ ума сошелъ!

А дѣдъ посмотрѣлъ и отвѣтилъ ей:

— Господь съ тобой, умная! — и самъ на печь полѣзъ.

а она схватила подъ полу его фонарь со свѣчой и побѣжала въ ригу свой нарядъ перепрятывать.

А въ ригѣ-то уже темно, и страхъ на нее тутъ такъ и налетѣлъ со всѣхъ сторонъ вмѣстѣ съ ужастью: такъ ее и за плечо беретъ, и ноги ей путаетъ. Думаетъ: «дай скорѣй огонь зажгу—смѣлѣй станетъ». Чиркнула спичкою разъ и два — что-то у самаго лица будто пролетѣло. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла въ уголъ къ колосу, какъ вдругъ съ одной стороны къ ней пташка, а съ другой другая,—точно не хотятъ допустить ее!

И видитъ она, что это ей не кажется, а взаправду есть: откуда-то слетѣли воробушки и пали на колосъ въ свѣтъ и сидятъ-глядятъ на нее натопорщившись...

«Давай скорѣе выхвачу да и убѣгу», — думаетъ Мавра, и стала скорѣй руками колосъ разворашивать, а тамъ подъ рукой у нея что-то двигнулось и закопалося... Она — цапъ посильнѣй, а ей откуда ни спади еще воробей, и трепещется, и чирикаетъ... «Тьфу, молъ, что̀ тебѣ надобно? Проклятый ты!» Взяла его да и сорвала ему головеночку, а сама не замѣтила, какъ съ сердцемъ въ злости фонарь бросила и отъ него въ разъ солома вся всполыхнула; а оттудова-то, изъ кучи-то—что̀ вы скажете!—возстаетъ оное дитя лупоглазое и на челушкѣ у него роситъ кровь.

Тутъ ужъ Мавра забыла все и бросилась бѣжать, а огонь потекъ съ бурею въ повсемѣстности и истлилъ за единый часъ все, чѣмъ мы жили и куражились...

И стало намъ хуже всѣхъ тѣхъ, которые докучали намъ, потому что не только у насъ весь хлѣбъ погорѣлъ, а и жить-то не въ чемъ было, и пошли мы всѣ къ своимъ нищимъ проситься пожить у нихъ до теплыхъ дней.

А дѣдъ-то Ѳедосъ на пожарѣ опекся весь и вставать не сталъ; ну, а все ладилъ въ ту же стать и говорилъ другимъ съ утѣшеніемъ:

— Ничего,—говоритъ,—хорошо все отъ Господа посылается. Вотъ какъ жили мы въ божьихъ въ любимчикахъ—

совсѣмъ, было, мы позабылись,—хотѣли все справлять свои дурости, а теперь Господь опять насъ наставитъ на лучшее.

Такъ и померъ съ тѣмъ,—съ этой вѣрой-то!

А какое это было дитя, и откудова, и куда оно въ пожаръ дѣлося — такъ никогда потомъ и не дозналися, а только стали говорить, будто это былъ ангелъ и за нечувствительность нашу къ нему мы будто были наказаны.

— Все равно, — говорилъ Ѳедосъ, — кто бы ни былъ онъ,—бѣдное дитя всегда «божій посолъ»: черезъ него Господь наше сердце пробуетъ... Вы всѣ стерегитеся, потому что съ каждымъ вѣдь такой посолъ можетъ встрѣтиться!

ДУРАЧОКЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

Кого надо считатать дуракомъ? Кажется, будто это всякій знаетъ, а если начать свѣрять, какъ кто это понимаетъ, то и выйдетъ, что всѣ понимаютъ о дуракѣ неодинаково. По академическому словарю, гдѣ каждое слово растолковано въ его значеніи, изъяснено такъ, что «дуракъ—слабоумный, человѣкъ, глупый, лишенный разсудка, безумный, шутъ»... Въ подкрѣпленіе такого толкованія приведенъ словесный примѣръ: «Онъ былъ и будетъ дуракъ-дуракомъ». «Дурачокъ—смягченіе слова дуракъ». Ученѣе этого объясненія уже и искать нечего, а между тѣмъ въ жизни случается встрѣчать такихъ дураковъ или дурачковъ, которымъ эта кличка дана, но они, между тѣмъ, не безумны, не глупы и ничего шутовского изъ себя не представляютъ... Это люди любопытные, и про одного такого я здѣсь и разскажу.

Былъ у насъ въ деревнѣ безродный крѣпостной мальчикъ Панька. Росъ онъ при господскомъ дворѣ, ходилъ въ томъ, что̀ ему давали, а ѣлъ на застольщинѣ вмѣстѣ съ коровницею и съ ея дѣтями. Должность у него была такая, чтобы «всѣмъ помогать»; это значило, что всѣ должностные люди въ усадьбѣ имѣли право заставлять Паньку дѣлать за нихъ всякую работу, и онъ, бывало, безпрестанно работаетъ. Какъ сейчасъ его помню: бывало, зимою, — у

насъ зимы бываютъ лютыя, — когда мы встанемъ и подбѣжимъ къ окнамъ, Панька уже везетъ на себѣ, изогнувшись, большія салазки съ вязанками сѣна, соломы и съ плетушками колоса и другого мелкаго корма для скотины и птицъ. Мы встаемъ, а онъ уже наработался, и рѣдко увидишь его, что онъ присядетъ въ скотной избѣ и ѣстъ краюшку хлѣбца, а запиваетъ водою изъ деревяннаго ковшика.

Спросишь его, бывало:

— Что ты, Паня, одинъ сухой хлѣбъ жуешь?

А онъ шутя отвѣчаетъ:

— Какъ такъ «съ ухой»?—онъ, гляди-ко, съ чистой водицею.

— А ты бы еще чего-нибудь попросилъ: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнетъ и отвѣчаетъ:

— Ну вотъ еще чего!.. Я и такъ наѣлся, — слава-те, Господи!

Подпояшется и опять на дворъ идетъ таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилася, потому что всѣ его заставляли помогать себѣ. Онъ и конюшни, и хлѣва чистилъ, и скоту кормъ задавалъ, и овецъ на водопой гонялъ, а вечеромъ, бывало, еще себѣ и другимъ лапти плететъ, и ложился онъ, бывало, позже всѣхъ, а вставалъ раньше всѣхъ до-свѣта и одѣтъ былъ всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалѣетъ, а всѣ говорятъ:

— Ему вѣдь ничего,—онъ дурачокъ.

— А чѣмъ же онъ дурачокъ?

— Да всѣмъ...

— А напримѣръ?

— Да что за примѣръ!—вонъ коровница-то всѣ огурцы и картошки своимъ дѣтямъ отдаетъ, а онъ, хоть бы что ему... и не проситъ у нихъ, и на нихъ не жалуется. Дуракъ!

Мы, дѣти, не могли хорошо въ этомъ разобраться, и хоть глупостей отъ Паньки не слыхали, и даже видѣли отъ него ласку, потому что онъ дѣлалъ намъ игрушечныя мельницы и туезочки изъ бересты,—однако и мы, какъ всѣ въ домѣ, одинаково говорили, что Панька дурачокъ, и никто противъ этого не спорилъ, а скоро вышелъ такой случай, что объ этомъ уже и нельзя стало спорить

Былъ у насъ нанятъ строгій-престрогій управитель, и любилъ онъ за всякую вину человѣка наказывать. Ѣдетъ, бывало, на бѣговыхъ дрожкахъ и по всѣмъ сторонамъ смотритъ: нѣтъ ли гдѣ какой неисправности? И если замѣтитъ что-нибудь въ безпорядкѣ—сейчасъ же остановится, подзоветъ виноватаго и приказываетъ:

— Ступай сейчасъ въ контору и скажи моимъ именемъ старостѣ, чтобы дали тебѣ двадцать-пять розогъ; а если слукавишь—я тебѣ вечеромъ при себѣ велю вдвое дать.

Прощенья у него ужъ и не смѣли просить, потому что онъ этого терпѣть не могъ и еще прибавлялъ наказаніе.

Вотъ разъ, лѣтомъ, ѣдетъ этотъ управляющій и видитъ, что въ молодыхъ хлѣбахъ жеребята ходятъ и не столько зелени рвутъ, сколько ее топчутъ и копытами съ корнями выколупываютъ...

Управитель и расшумѣлся.

А жеребятъ въ этотъ годъ былъ приставленъ стеречь мальчикъ Петруша,—сынъ той самой Арины-коровницы, которая Панькѣ картошекъ жалѣла, а все своимъ дѣтямъ отдавала. Петруша этотъ имѣлъ въ ту пору лѣтъ двѣнадцать и былъ тѣломъ много помельче Паньки и понѣжнѣе, за это его и дразнили «творожничкомъ»—словомъ, онъ былъ мальчикъ у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкій. Выгналъ онъ жеребятъ рано утромъ «на-росу», и стало его знобить, а онъ сѣлъ да укрылся свиткою, и какъ согрѣлся, то на него нашелъ сонъ—онъ и заснулъ, а жеребятки въ это время въ хлѣбъ и взошли.

Управитель, какъ увидалъ это, такъ сейчасъ стегнулъ Петю и говоритъ:

— Пусть Панька пока и за своимъ, и за твоимъ дѣломъ посмотритъ, а ты сейчасъ иди въ разрядную контору и скажи выборному, чтобы онъ тебѣ двадцать розогъ далъ; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себѣ тогда тебѣ вдвое дамъ.

Сказалъ это и уѣхалъ.

А Петруша такъ и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говоритъ онъ Панькѣ:

— Братъ милый, Пàнюшка, очень страшно мнѣ... скажи, какъ мнѣ быть?

А Панька его по головкѣ погладилъ и говоритъ:

— И мнѣ тоже страшно было... Что̀ съ этимъ дѣлать-то... Христа били.

А Петруша еще горче плачетъ и говоритъ:

— Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я въ воду кинуся.

А Панька его уговаривалъ-уговаривалъ, а потомъ сказалъ:

— Ну постой же ты: оставайся здѣсь и смотри за моимъ и за своимъ дѣломъ, а я скорѣй сбѣгаю, за тебя постараюся,—авось тебя Богъ помилуетъ. Видишь, ты трусъ какой.

Петруша спрашиваетъ:

— А какъ же ты, Пáнюшка, постараешься?

— Да ужъ я штуку выдумалъ—постараюся!

И побѣжалъ Панька черезъ поле къ усадьбѣ рѣзвенько, а черезъ часъ назадъ идетъ, улыбается.

— Не робѣй,—говоритъ, — Петька, все сдѣлано; и не ходи никуда—съ тебя наказанье избавлено.

Петька думаетъ:

«Все равно: надо вѣрить ему», — и не пошелъ; а вечеромъ управляющій спрашиваетъ у выборнаго въ разрядной избѣ:

— Что, пастушонокъ утромъ приходилъ сѣчься?

— Какъ же, — говоритъ, — приходилъ, ваша милость.

— Взбрызнули его?

— Да, — говоритъ, — взбрызнули.

— И хорошо?

— Хорошо, — постаралися.

Дѣло и успокоилось, а потомъ узнали, что высѣкли-то пастушонка, да не того, котораго было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбѣ и по деревнѣ, и всѣ надъ Панькой смѣялись, а Петю уже не стали сѣчь.

— Что же, — говорили, — уже если дуракъ его выручилъ, — нехорошо двухъ за одну вину разомъ наказывать.

Ну не дуракъ ли взаправду нашъ Панька былъ?

И такъ онъ все и дальше жилъ.

Сдѣлалась черезъ нѣсколько лѣтъ въ Крымѣ война и начали набирать рекрутъ. Плачъ по деревнѣ пошелъ: никому на войнѣ страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьяхъ убиваются — всякой своего сына жалко.

А Панькѣ въ это время уже совершенные годы исполнились, и онъ вдругъ приходитъ къ помѣщику и самъ просится:

— Велите, — говоритъ, — меня отвести въ городъ — въ солдаты отдать.

— Что же тебѣ за охота?

— Да такъ, — отвѣчаетъ, — очень мнѣ вдругъ охота пришла.

— Да отчего? Ты обдумайся.

— Нѣтъ, — говоритъ, — некогда думать-то.

— Отчего некогда?

— Да нешто не слышно вамъ, что вокругъ плачутъ, а я вѣдь любимый у Господа, — обо мнѣ плакать некому,— я и хочу идти.

Его отговаривали.

— Посмотри-ка, молъ, какой ты неуклюжій-то: надъ тобой на войнѣ-то, пожалуй, всѣ расхохочутся.

А онъ отвѣчаетъ:

— То и радостнѣй: хохотать-то вѣдь веселѣе, чѣмъ ссориться; если всѣмъ весело станетъ, такъ тогда всѣ и замирятся.

Еще разъ сказали ему:

— Утѣшай-ка лучше самъ себя да живи дома!

Но онъ на своемъ твердо стоялъ.

— Нѣтъ, мнѣ,—говоритъ,—это будетъ утѣшнѣе.

Его и утѣшили, — отвезли въ городъ и отдали въ рекруты, а когда сдатчики возвратились,—съ любопытствомъ ихъ стали разспрашивать:

— Ну, какъ нашъ дуракъ остался тамъ? Не видали ли вы его послѣ сдачи-то?

— Какъ же, — говорятъ, — видѣли.

— Небось, смѣются всѣ надъ нимъ, — какой увалень?

— Да,—говорятъ,—на самыхъ первыхъ порахъ-то было смѣялися, да онъ на всѣ на два рубля, которые мы дали ему награжденія, на базарѣ цѣлыя ночвы пироговъ съ горохомъ и съ кашей купилъ и всѣмъ по одному роздалъ, а себя позабылъ... Всѣ стали головами качать и стали ломать ему по половиночкѣ. А онъ застыдился и говоритъ:

— Что вы, братцы, я вѣдь безъ хитрости! Кушайте.

Рекрута его стали дружно похлопывать:

— Какой, молъ, ты ласковый!

А на утро онъ раньше всѣхъ въ казармѣ всталъ, да все убралъ и старымъ солдатамъ всѣмъ сапоги вычистилъ. Стали хвалить его и старики у насъ спрашивали: «что онъ у васъ дурачокъ, что-ли?»

Сдатчики отвѣчали:

— Не дуракъ, а... малость сроду такъ.

Такъ Панька и пошелъ служить со своимъ дурачествомъ и провелъ всю войну въ «профосахъ» — за всѣми позади рвы копалъ да накость закапывалъ, а какъ вышелъ въ отставку, такъ, по привычкѣ къ пастушеству, нанялся у степныхъ татаръ конскіе табуны пасти.

Отправился онъ къ татарамъ изъ Пензы и не бывалъ

назадъ много лѣтъ, а скитался, гоняя коней, гдѣ-то вдали, около безводныхъ Рынъ-Песковъ, гдѣ тогда кочевалъ большой мѣстный богачъ Ханъ-Джангаръ. А Ханъ-Джангаръ, когда пріѣзжалъ на Суру лошадей продавать, то на тотъ часъ держалъ себя будто и покорно, но у себя въ степи что̀ хотѣлъ, то̀ и дѣлалъ; кого хотѣлъ — казнилъ, кого хотѣлъ — того миловалъ.

За отдаленностью дикой пустыни слѣдить за нимъ было невозможно, и онъ какъ хотѣлъ, такъ и своевольничалъ. Но расправлялся онъ такъ не одинъ: находились и другіе такіе же самоуправцы, и въ числѣ ихъ появился одинъ лихой воръ, по имени Хабибула, и сталъ онъ угонять у Хана-Джангара много самыхъ лучшихъ лошадей, и долго никакъ его не могли поймать. Но вотъ разъ сдѣлалась у однихъ и другихъ татаръ свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Ханъ-Джангаръ спѣшилъ въ Пензу, и ему никакъ нельзя было остановиться и сдѣлать надъ Хабибулою судъ и казнить его такою страшною казнью, чтобы навести страхъ и ужасъ на другихъ воровъ.

Чтобы не опоздать въ Пензу на ярмарку и не показаться съ Хабибулой въ такихъ мѣстахъ, гдѣ русскія власти есть, Ханъ-Джангаръ и рѣшилъ оставить при маломъ и скудномъ источникѣ Паньку съ однимъ конемъ и раненаго Хабибулу, окованнаго въ конскихъ желѣзахъ. И оставилъ имъ пшена и бурдюкъ воды и наказалъ Панькѣ настрого:

— Береги этого человѣка какъ свою душу! Понялъ?

Панька говоритъ:

— Чего жъ не понять-то! Вполнѣ понялъ, и какъ ты сказалъ, я такъ точно и сдѣлаю.

Ханъ-Джангаръ со всей своей ордой и уѣхалъ, а Панька сталъ говорить Хабибулѣ:

— Вотъ до чего тебя твое воровство довело! Такой ты

большой молодецъ, а все твое молодечество не къ добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвѣчаетъ:

— Если я до сихъ поръ не исправился, такъ теперь ужъ и некогда.

— Какъ это «некогда»! Только въ томъ вѣдь и дѣло все, чтобы хорошо захотѣть человѣку исправиться, а остальное все само придетъ... Въ тебѣ вѣдь душа такая же, какъ и во всѣхъ людяхъ: брось дурное, а Богъ тебѣ сейчасъ зачнетъ помогать дѣлать хорошее, вотъ и пойдетъ все хорошее.

А Хабибула слушаетъ и вздыхаетъ.

— Нѣтъ, — говоритъ, — уже про это некстати и думать теперь!

— Да отчего же некстати-то?

— Да оттого, что я окованъ и смерти жду.

— А я тебя возьму да и выпущу.

Хабибула ушамъ своимъ не повѣрилъ, а Панька ему улыбается ласково и говоритъ:

— Я тебѣ не шучу, а правду говорю. Ханъ мнѣ сказалъ, чтобы я тебя «какъ свою душу берегъ», а вѣдь знаешь ли, какъ надо сберечь душу-то? Надо, братъ, ее не жалѣть, а пусть ее за другого пострадаетъ — вотъ мнѣ теперь это и надобно, потому что я терпѣть не могу, когда другихъ мучаютъ. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, гдѣ надѣешься, а если станешь опять зло творить — ну ужъ тогда не меня обманешь, а Господа.

И съ этимъ присѣлъ и сломалъ на Хабибулѣ конскія желѣзныя путы, и посадилъ его на коня и сказалъ:

— Ступай съ миромъ на всѣ стороны.

А самъ остался ожидать здѣсь возвращенія Хана-Джангара, — и ждалъ его очень долго, пока ручеекъ высохъ и въ бурдюкѣ воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибылъ Ханъ-Джангаръ со своей свитой.

Осмотрѣлся Ханъ и спрашиваетъ:

— А гдѣ Хабибула?

Панька отвѣчаетъ:

— Я отпустилъ его.

— Какъ отпустилъ? Что ты такое разсказываешь?

— Я тебѣ говорю то, что взправду сдѣлалъ по твоему велѣнію и по своему хотѣнію. Ты мнѣ велѣлъ беречь его какъ свою душу, а я свою душу такъ берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближняго... Ты вѣдь хотѣлъ замучить Хабибулу, а я терпѣть не могу, чтобы другихъ мучили,—вотъ возьми меня и вели меня вмѣсто его мучить,—пусть моя душа будетъ счастливая и отъ всѣхъ страховъ свободная, потому что вѣдь я ни тебя, ни другихъ никого не боюся ни капельки.

Тутъ Ханъ-Джангаръ сталъ водить глаза во всѣ стороны, а потомъ на головѣ тюбетейку поправилъ и говоритъ своимъ:

— Подойдите-ка всѣ поближе ко мнѣ, я вамъ скажу, что̀ мнѣ кажется.

Татары вокругъ Хана-Джангара стѣснилися. А онъ сказалъ имъ потихонечку:

— А вѣдь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что въ душѣ его, можетъ быть, ангелъ былъ...

— Да,—отвѣчали татары всѣ однимъ тихимъ голосомъ:—нельзя намъ ему вредить: мы его не поняли за много лѣтъ, а теперь онъ въ одно мгновенье всѣмъ намъ ясенъ сталъ: онъ вѣдь, можетъ быть, праведный.

НЕВИННЫЙ ПРУДЕНЦІЙ.

(ЛЕГЕНДА).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ первыхъ вѣкахъ христіанства въ одномъ изъ торговыхъ поселковъ на берегу Средиземнаго моря жили два купца, которыхъ звали Алкей и Гифасъ. Оба они ходили въ море на одномъ небольшомъ кораблѣ, который теперь назвали бы ладьею. Они вели торговлю вмѣстѣ, а иногда также вмѣстѣ нападали на небольшія суда и грабили ихъ. Послѣднее свое занятіе, то-есть разбойничество, Алкей и Гифасъ скрывали, но оно было прибыльнѣе торговли. Отъ такого двойного промысла оба купца сдѣлались богаты и жили въ достаткѣ. У нихъ были самые лучшіе дома во всемъ поселеніи, и при домахъ сады и теплыя бани.

Гифасъ былъ старше Алкея и имѣлъ жену Ефросину, тоже уже пожилую женщину, и сына Пруденція, а Алкей былъ моложе Гифаса на десять лѣтъ и недавно женился на молодой и очень красивой, доброй и разсудительной дѣвушкѣ, которую звали Мелита.

Мелита приходилась племянницею женѣ Гифаса, Ефросинѣ, и жила съ нею въ такой же дружбѣ, какъ Гифасъ съ Алкеемъ, а сынъ Гифаса, миловидный отрокъ Пруденцій, былъ любимцемъ обѣихъ семей—своей собственной и семьи Алкея. Пруденцій жилъ въ обоихъ домахъ, какъ у себя,

пользуясь заботами матери своей Ефросины и полезными внушеніями Алкеевой жены, молодой и прекрасной гречанки Мелиты.

Когда Алкей и Гифасъ по условіямъ своего промысла ходили надолго въ море, — жены ихъ, пожилая Ефросина и молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вмѣстѣ все свободное время, какое имъ оставалось отъ ихъ ручного труда и необходимыхъ заботъ по хозяйству.

Ефросина была очень домовитая женщина, стараго языческаго воспитанія, и заботилась только объ одномъ житейскомъ: она не умѣла грамотѣ, но зато лучше Мелиты заготовляла копченое мясо, фрукты и рыбы; а Мелита пришла сюда изъ города, гдѣ занималась науками и нѣжными работами, требующими искусства и вкуса для ихъ производства. Поэтому Ефросинѣ не разъ приходилось подавать Мелитѣ полезные совѣты и оказывать помощь въ хозяйствѣ, а благородная Мелита, въ благодарность за это, старалась оказывать взаимныя услуги Ефросинѣ. Она вышивала головные покровы для самой Ефросины и дѣлала узорочныя коймы къ легкимъ, эѳирнымъ туникамъ, въ которыя Ефросина любила одѣвать свое единственное и долгожданное дитя, отрока Пруденція, отличавшагося замѣчательною стройностью и красотою.

Пруденцій былъ статенъ и смуглъ, съ горячимъ матовымъ цвѣтомъ лица, съ большими черными глазами, глядѣвшими изъ-подъ черныхъ рѣсницъ, при черныхъ бровяхъ и густыхъ кудряхъ цвѣта орѣха.

Онъ былъ очень нѣженъ и ловокъ въ движеньяхъ, застѣнчивъ, страстенъ и скроменъ,—и чрезъ это онъ каждому казался пріятнымъ и милымъ.

Самое лучшее, чѣмъ Мелита могла заслужить Ефросинѣ,— это было обучить Пруденція грамотѣ и тѣмъ изъ извѣстныхъ Мелитѣ искусствъ, которыя шли къ полу мальчика по условіямъ тогдашняго быта.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Мелита научила Пруденція читать и писать, пѣть и играть на цѣвницѣ, шибко бѣгать и бросать въ цѣль металлическіе кружки и кольца.

Такъ какъ Гифасъ и Алкей прожили вѣкъ въ своемъ полудикомъ, не столько торговомъ, сколько разбойничьемъ поселкѣ, то они не знали никакихъ подобныхъ изящныхъ упражненій и развили свои силы прямо въ суровой борьбѣ съ моремъ; но Ефросинѣ нравилось, чтобы Пруденцій былъ воспитанъ нѣжнѣе и ближе къ тогдашней модѣ.

Въ упражненіяхъ Пруденція въ силѣ и ловкости съ нимъ состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и ея молодая черная рабыня-финикіянка Марема, которую тоже звали короче Мармэ.

Когда Мелита начала заниматься воспитаніемъ Пруденція, ему тогда исполнилось всего двѣнадцать лѣтъ, но онъ былъ такъ крупенъ и строенъ, что походилъ уже на мальчика лѣтъ пятнадцати; а Мелита, которой шелъ въ это время семнадцатый годъ, была столь моложава, что ее можно было принять за пятнадцатилѣтнюю невѣсту. Довольная и въ то же время воздержная жизнь и умѣренность во всѣхъ наслажденіяхъ при свободѣ отъ болѣзней дѣторожденія, такъ сберегли прекрасное тѣло юной Мелиты, что при встрѣчѣ съ нею всякій незнакомецъ легче всего почелъ бы ее за юную дѣвушку, а не за молодую жену пожилого человѣка, каковъ былъ ея мужъ, косой и въ обхожденіи грубый Алкей.

Такъ же дѣвственно чистъ, и безпеченъ, и веселъ былъ ея живой, острый умъ, жившій въ ладу съ добрымъ сердцемъ и прекраснымъ, твердымъ и ровнымъ характеромъ.

Научая Пруденція бѣгать по правиламъ бѣга, легкая Мелита сама становилась съ нимъ рядомъ на мѣту и бѣжала, нерѣдко обгоняя его и приходя первой на противоположную мѣту, гдѣ становилась, оборачиваясь къ нему лицомъ и собирая тонкими пальцами черныя кудри, разсыпавшіяся по бѣлому лбу, орошенному потомъ.

Такъ же вмѣстѣ они метали и диски, и кольца, а судьею ихъ была темнолицая рабыня Мармэ, которую Мелита содержала не какъ служанку, въ подобострастьѣ, а какъ подругу—въ любви, и сама находила ее пріятной по душевнымъ качествамъ и прекрасной по тѣлу, отличавшемуся гармоничною стройностью и ровнымъ агатовымъ блескомъ.

Такъ занималась Мелита Пруденціемъ цѣлыхъ два года, а въ концѣ третьяго года въ средѣ этихъ людей случилось несчастіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Послѣ нѣсколькихъ бурныхъ дней, проведенныхъ Алкеемъ и Гифасомъ въ морѣ,—Алкей возвратился одинъ на своей ладьѣ.

Это было вечеромъ, когда всѣ жители въ селеніи спали.

Алкей вошелъ въ свой домъ, двери котораго ему открыла Марема и испугалась, замѣтивъ на лицѣ своего господина страшное выраженіе. Алкей тотчасъ же приказалъ служанкѣ удалиться, а самъ вошелъ къ женѣ и открылъ ей, что Гифасъ погибъ въ морѣ.

Эта новость поразила и въ то же время удивила Мелиту, которая имѣла нѣкоторыя понятія объ условіяхъ морского быта, и она стала разспрашивать мужа: какъ могло случиться, что судно сохранилось въ цѣлости и самъ Алкей сохранилъ себя въ безопасности, а Гифасъ погибъ?

— Это было такъ,—отвѣчалъ Алкей,—что на насъ напали двѣ ладьи грабителей, и мы долго отъ нихъ оборонялись, но я былъ сильнѣе и могъ защититься, а Гифасъ не успѣлъ уклониться отъ одного удара въ голову и упалъ въ воду съ раздробленнымъ черепомъ.

— А какъ же ты могъ спастись?

— Я увидалъ, что мнѣ одному уже нельзя защищаться, и бросился въ воду, чтобы меня тоже почли убитымъ. Въ водѣ я схватился руками за киль и держался до тѣхъ поръ, пока грабители, опустошивъ нашу лодку, кинули ее на произволъ вѣтра. Тогда я снова вскарабкался въ лодку, по-

ставилъ порванные паруса и, взявъ руль, достигъ кое-какъ до нашего берега.

Мелита выслушала разсказъ мужа и ничего ему болѣе не возражала; но Алкей замѣтилъ по лицу жены, что она какъ-будто сомнѣвается въ его разсказѣ, и, отведя свои глаза отъ ея взора, добавилъ:

— Я не могу теперь говорить тебѣ въ подробностяхъ, какъ все это случилось, да ты и не могла бы всего понять, потому что это совсѣмъ не то, что твоя музыка, или твои вышиванья, а я тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала мнѣ необходимую помощь: облегчи мнѣ чрезвычайно тяжелое дѣло.

— О, сдѣлай милость: я готова сдѣлать все, что̀ въ силахъ,—отвѣчала Мелита.

Тогда Алкей ей открылся, что онъ, человѣкъ неустрашимый въ борьбѣ съ моремъ и разбойниками, очень боится видѣть женское горе и слушать стенанія и вопли, и для того онъ проситъ Мелиту, чтобы она пошла къ Ефросинѣ и открыла ей ужасную новость о смерти ея мужа и о погибели значительной доли ихъ состоянія, бывшаго въ лодкѣ.

Мелита сказала, что она это сдѣлаетъ, и, поручивши Мармэ позаботиться о томъ, чтобы вытопить баню для мужа, сама одѣлась и пошла тихо къ вдовѣ Ефросинѣ.

Вдова Ефросина, получивъ отъ Мелиты печальную вѣсть о смерти Гифаса, предалась обычному плачу и стенаньямъ, а потомъ надѣла одежды вдовства и, покрывъ голову платомъ съ неподрубленнымъ краемъ, сказала Мелитѣ:

— Теперь я не могу спать во всю ночь, и, обнявшись съ сыномъ, мы до утра будемъ плакать съ нимъ о Гифасѣ; а утромъ рано я пошлю Пруденція обойти все наше селеніе и позвать всѣхъ на берегъ моря на то самое мѣсто, съ котораго мужъ мой Гифасъ въ послѣдній разъ отплылъ вмѣстѣ съ Алкеемъ. Ты же Алкею скажи, чтобы онъ въ тотъ же часъ пришелъ на то мѣсто и всѣмъ разсказалъ, какъ все это случилось, что мужъ мой погибъ, а Алкей одинъ живымъ возвратился. Я теперь въ такомъ огорченіи,

что ничего сама понять не могу, и не въ силахъ придумать, что̀ мнѣ дѣлать съ судномъ, въ которомъ есть половинная доля Гифаса, и только другая половина принадлежитъ Алкею. Пусть весь народъ изъ селенія сберется, пусть всѣ люди услышатъ печальную повѣсть, какъ ее Алкей намъ разскажетъ, и затѣмъ пускай люди обсудятъ, какъ намъ жить дальше или какъ намъ удобнѣе разсчитаться и раздѣлиться съ Алкеемъ.

Мелита нашла желаніе вдовы Ефросины совершенно основательнымъ и, возвратившись домой, извѣстила объ этомъ Алкея. Онъ принялъ это спокойно, какъ человѣкъ, у котораго совѣсть чиста, и которому нечего опасаться разсказать передъ всѣми о томъ, что случилось.

Онъ поблагодарилъ жену за то, что̀ она приняла на себя тяжесть объявленія горя вдовѣ Ефросинѣ, и уснулъ крѣпкимъ сномъ, въ объятіяхъ Мелиты. Но его крѣпкій сонъ, однако, не разъ прерывался какой-то тревогой, и дремотный голосъ Алкея прямо на ухо Мелитѣ называлъ имя Пруденція.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Люди селенія собрались у пристани и сѣли одни на желтомъ пескѣ, а другіе на сѣрыхъ камняхъ, а вдову Ефросину посадили на опрокинутую лодку, и тутъ же у ногъ ея сѣлъ красивый сынъ ея, невинный Пруденцій. И мать, и сынъ были босы и въ печальныхъ одеждахъ съ неподрубленнымъ краемъ.

По серединѣ круга, который образовали собою люди, усѣвшіеся передъ опрокинутой лодкой, на которой помѣстили Ефросину, стоялъ Алкей и разсказывалъ, какъ было дѣло, что напали на нихъ въ морѣ неизвѣстные люди и одолѣли ихъ и товаръ ихъ заграбили, а Гифаса убили и бросили въ море.

Словомъ, Алкей сказалъ людямъ то же самое, что раньше сказалъ онъ женѣ, и разсказъ его на всѣхъ произвелъ такъ же неясное впечатлѣніе, какъ на Мелиту. И когда

рѣчь Алкея была кончена, всѣ мужчины остались на время въ молчаніи, а потомъ одинъ изъ нихъ, самый старѣйшій въ селеніи, молвилъ:

— Я бы такъ разсудилъ, что въ морѣ бываютъ всякія бѣды, и что случилось съ Гифасомъ, того уже теперь не поправить, а надобно думать о вдовѣ Ефросинѣ и объ отрокѣ, сынѣ Гифаса, которые остались въ живыхъ, и которыхъ здѣсь видимъ всѣ передъ собою, босыхъ и въ печальныхъ одеждахъ, съ неподрубленнымъ краемъ. Пусть, находясь нынче въ царствѣ тѣней, Гифасъ не будетъ смущаться за то, что̀ здѣсь будетъ съ ними и съ ихъ достояніемъ, котораго намъ нельзя раздѣлить безобидно между Алкеемъ и сыномъ Гифаса. Пусть все, что̀ у нихъ вмѣстное было тамъ, и останется общимъ, пока отрокъ Пруденцій достигнетъ возраста мужа, и тогда они сами раздѣлятся съ Алкеемъ, а до тѣхъ поръ пусть все по старому останется вмѣстѣ, и кораблецъ, и товары, гдѣ они что̀ помѣстили на время на пристаняхъ дальнихъ.

Въ людяхъ прокатило рокотомъ тихимъ:

— Да, это самое лучшее. Всѣ такъ согласны и пусть такъ и будетъ, ежели только вдова Ефросина на это согласна.

Вдова сидѣла съ поникшей головою и отвѣчала:

— Я горемъ убита и полагаюсь на общее мнѣніе.

Тогда всѣ рѣшили, что Алкей долженъ взять къ себѣ въ дѣло Пруденція и обучить его торговлѣ и всей морской жизни, а когда Пруденцій придетъ въ возрастъ, тогда съ нимъ раздѣлить все, что̀ нажито вмѣстѣ съ Гифасомъ и что̀ впередъ имъ придется еще къ нажитому прибавить.

Противъ этого только вдова Ефросина замѣтила, что сынъ ея еще очень молодъ, чтобы ввѣрить его морю и обрекать на всѣ случайности; но Пруденцій едва это услышалъ, какъ самъ сталъ проситься, чтобы мать его отпустила съ Алкеемъ, и вдова Ефросина согласилась его отпустить, а Алкей не имѣлъ никакихъ основаній для того, чтобы уклониться отъ пріема Пруденція, подалъ ему руку и сказалъ:

— Клянуся богами, я радъ, что люди рѣшили, чтобы ты сталъ мнѣ товарищемъ вмѣсто своего отца. А тебѣ, госпожа Ефросина, я здѣсь обѣщаю предъ всѣми людьми и предъ небомъ, что я всегда буду помнить, какъ тебѣ дорогъ твоей единственный сынъ, и стану жалѣть и беречь его юныя силы. Ты же не бойся: и море не всегда вѣдь сурово, — оно часто даже хранитъ отъ золъ человѣка, особенно юность, въ пору которой скоро вступитъ Пруденцій; воздухъ и море дадутъ ему крѣпость мышцъ и смѣлость духа, и, что̀ не меньше того драгоцѣнно—они сохранятъ его цѣлымъ отъ раннихъ соблазновъ любви, разслабляющихъ тѣло и душу. А затѣмъ онъ увидитъ много иноземныхъ чудесъ, искусится въ познаньѣ людей, усвоитъ себѣ познанья въ торговлѣ, и тебѣ будетъ отрадно видѣть, какъ черезъ него въ домъ твой снова польются достатки, и когда онъ въ свободное время присядетъ у твоего очага, ты сама, поворачивая надъ углями вертелъ съ дымящимся мясомъ, насладишься тѣмъ, какъ будутъ всѣ Пруденція слушать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ефросина болѣе не возражала, и Пруденцій ушелъ въ море съ Алкеемъ, и съ этой поры мореходство стало для него постояннымъ занятіемъ, въ которомъ онъ въ самомъ дѣлѣ скоро окрѣпъ, такъ что въ пятнадцать лѣтъ былъ похожъ на семнадцатилѣтняго юношу, а въ семнадцать совсѣмъ смотрѣлъ взрослымъ мужчиной, и былъ онъ красивъ на удивленье, и при этомъ стыдливъ и совсѣмъ цѣломудренъ.

Алкею не было выгоды выхаживать Пруденція, и онъ втайнѣ очень бы радъ былъ отъ него избавиться, чтобы сокрыть всѣ свои пути и мѣста, гдѣ у него были въ чужихъ портахъ склады, но онъ не хотѣлъ, чтобы Пруденцій исчезъ такъ же, какъ исчезнулъ Гифасъ, потому что одинаковые случаи два раза кряду могли повести къ подозрѣнію, и судъ простыхъ рыбаковъ родного поселка могъ быть

слишкомъ суровъ для Алкея; но Алкей сдѣлалъ все, что только могъ, чтобы растлить душу Пруденція, и когда они заходили въ чужіе порты, Алкей его поощрялъ пить вино и оставлялъ въ сообществѣ соблазнительныхъ женщинъ, которымъ обѣщалъ хорошую цѣну за то, чтобы отогнать отъ Пруденція скромность и увлечь его въ порочную страстность. Но все это было напрасно: какой-то хранительный геній до того неприкосновенно охранялъ юношу отъ всѣхъ соблазновъ и поползновеній, свойственныхъ его возрасту, что сами соблазнительницы, которымъ Алкей предавалъ цѣломудреннаго юношу, дали ему названіе «Невинный Пруденцій».

Но отчего же онъ, при всей своей юности и красотѣ, поражавшей множество женщинъ, былъ такъ недоступенъ никакимъ ихъ соблазнамъ?

Женская влюбленность въ Пруденція доходила до такихъ безумныхъ проявленій, что разъ, когда ему и Алкею случилось пристать на мысѣ, у города Книда, самая красивая дѣвушка этого городка кинула въ Пруденція изъ-за скалы острымъ бронзовымъ осколкомъ и, не попавъ въ голову, такъ тяжело ранила его въ плечо, что онъ упалъ, обливаясь кровью, а она въ это же время бросилась въ море.

Рана, нанесенная безумною книдянкою, была очень тяжела и такъ долго не заживала, что Алкей привезъ Пруденція къ вдовѣ Ефросинѣ больного, въ перевязкахъ, и случай этотъ, огласившись въ цѣломъ поселкѣ, возстановилъ въ памяти многихъ случай съ Гифасомъ, и далъ поводъ нехорошо говорить объ Алкеѣ.

Разговоры въ такомъ родѣ распространялись быстро и прежде всего дошли до слуха темнолицой невольницы Мармэ, которая, какъ сказано выше, была молодая и въ своемъ родѣ тоже очень красивая дѣвушка, и очень любила Мелиту.

— Госпожа! — сказала она, находясь вдвоемъ вечеромъ въ банѣ съ Мелитой: — въ народѣ разносятъ очень странныя рѣчи; мой долгъ предупредить тебя о томъ, что въ

этихъ рѣчахъ, кромѣ сына вдовы Ефросины, много такого, что касается тоже тебя и твоего мужа, а моего господина, Алкея.

— Что же это такое?

— Вотъ что: всѣ знаютъ, что красивый Пруденцій пришелъ уже въ самый расцвѣтъ своей красоты и здоровья, а межъ тѣмъ онъ до сихъ поръ остается невиннѣй ребенка...

— Да, быть можетъ, это и такъ, но вѣдь это меня нимало не касается, и я думаю, мнѣ объ этомъ совсѣмъ лишнее знать...

— О, нѣтъ, это не лишнее для тебя, госпожа!

— А я могу тебя увѣрить, усердная Марема, что это до меня совершенно не касается и даже нимало меня не занимаетъ.

— Это тебя должно занимать!

— Почему?

— Неужели ты не понимаешь?

— Не понимаю, и откровенно скажу, это мнѣ совсѣмъ непріятно... Для чего мнѣ знать эти вѣсти о томъ, какъ себя держитъ Пруденцій? Для чего всѣ вы стараетесь сдѣлать мнѣ все это извѣстнымъ?

— Кто же всѣ, госпожа?

— Напримѣръ, вдова Ефросина.

— Ага! это понятно. А еще кто, госпожа, говорилъ съ тобою объ образѣ жизни стыдливаго сына Гифаса?

— Представь, мнѣ говорилъ это мужъ мой Алкей.

— Самъ Алкей?

— Да.

— Онъ тоже имѣетъ причины.

— Онъ мнѣ ихъ не сказалъ.

— И это понятно.

— А мнѣ ничто не понятно, — отвѣчала Мелита и тотчасъ же добавила съ доброй улыбкой: — а если Мармэ извѣстно болѣе, чѣмъ ея госпожѣ, то это потому, что тутъ вѣрно есть что-нибудь, что касается больше Мармэ, чѣмъ Мелиты.

— О, совсѣмъ наоборотъ, — также съ улыбкой отвѣчала Марема:—не я, а ты, моя госпожа, живешь въ цѣломудренномъ сердцѣ невиннаго Пруденція.

— Что говоришь ты!.. Опомнись, что̀ ты сказала, Марема!

— Я сказала только то, что для меня очевидно и что какъ разъ такъ и есть, какъ я сказала. И повѣрь мнѣ, госпожа, что это не мнѣ одной кажется такъ.

— Кто же еще смѣетъ такъ думать?

— Смѣетъ!.. Ты смѣшно говоришь: для чего тутъ особая смѣлость? Всякій даже противъ желанія долженъ подумать о томъ, что̀ передъ нимъ является съ такой же очевидностью, какъ страстная влюбленность въ тебя невиннаго Пруденція.

— Ты клевещешь разомъ на всѣхъ насъ, Мармэ, и я бы хотѣла, чтобы ты выпустила это изъ своей головы и никогда болѣе къ подобному разговору не возвращалась.

— Запретить говорить мнѣ ты можешь, и я буду тебѣ повиноваться, но «выпустить изъ головы»... Нѣтъ, ты требуешь невозможнаго дѣла!.. И притомъ, если я буду молчать, я не открою тебѣ всего, что̀ угрожаетъ...

— Кому?

— Кому? Странный вопросъ! Всѣмъ, кто тебѣ дорогъ: Алкею, Мелитѣ, вдовѣ Ефросинѣ и самому невинному Пруденцію, который не можетъ жить долго безъ перелома въ душѣ его, если не произойдетъ отвлеченія его мыслей куда-нибудь вдаль отъ всего, что̀ слилось для него въ одномъ сладостномъ звукѣ твоего имени. О, госпожа! Или ты въ самомъ дѣлѣ дитя, несмотря на довольно долгіе годы замужества съ Алкеемъ, или же ты самая большая и искусная притворщица въ свѣтѣ!.. Развѣ не видишь ты, какъ онъ глядитъ на тебя, такъ, что всякому видно, что онъ постоянно весь полонъ тобою...

— Я этого не вижу.

— Ты не видишь, но вижу я и видитъ мать его, вдова Ефросина, у которой онъ спитъ, положивъ голо́ву ей на колѣни,

а уста его въ тихомъ бреду произносятъ шопотомъ сладчайшее слово: «Мелита»... Вдова Ефросина тоже вѣдь женщина, и она не можетъ не догадаться, что̀ это значитъ... Я думаю, что если бы твой мужъ, засыпая у тебя на колѣняхъ, сталъ тихо шептать имя посторонней женщины, то хотя бы это имя значило не болѣе чѣмъ имя Маремы,— ты бы догадалась, что господинъ мой зоветъ меня не для такихъ услугъ, которыя я обязана исполнить ему всѣ при твоемъ лицезрѣньѣ.

— Право, я никогда объ этомъ не думаю.

— Вѣрю! И зачѣмъ бы ты стала думать, когда твое сердце нимало не уязвлено страстью...

— Что ты хочешь сказать?—перебила Мелита:—или, по твоёму, я не люблю своего мужа?

— Нѣтъ ты любишь Алкея, какъ мужа, и на мужнину долю этого чувства довольно; но Алкей вѣдь не даромъ имѣетъ такіе глаза, которые могутъ сразу въ разныя стороны видѣть... Зачѣмъ онъ тебѣ разсказалъ про стыдливость этого юноши, который пламенѣетъ къ тебѣ первою страстью?.. О, я не была при томъ, какъ вы объ этомъ говорили, но я будто слышу вкрадчивый тонъ Алкеева голоса; я знаю навѣрно, какъ онъ съ шуткой мѣшалъ ядъ своихъ подозрѣній...

— Алкей это все разсказалъ мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, смѣясь.

— И ты приняла его смѣхъ за веселость!.. Ты вѣрила ему, что онъ шутитъ?!

— Почему же не вѣрить?

— О, это забавно! Однако это сохранило тебя отъ большей опасности; но она все-таки придетъ: я вижу мрачный огонь въ разлетѣ скошенныхъ зрачковъ твоего мужа, и, не какъ твоя рабыня, а какъ другъ твой, у котораго всѣ благополучія сопряжены съ твоею жизнью, — я заклинаю тебя Мелита: сними повязку съ твоихъ прекрасныхъ глазъ,— вглядись въ то, что̀ произошло, съ отвагой женщины, понимающей опасность, и обдумаемъ, что̀ намъ дѣлать, чтобы не произошло бѣдствія

— Въ какомъ родѣ бѣды ты ожидаешь, Марема?

— Въ томъ самомъ родѣ, въ какомъ кончилось дѣло жизни Гифаса.

— О справедливое Небо! Неужто и ты, Мармэ, подозрѣваешь...

— Что ты, что ты, моя госпожа! Я столько же склонна что-нибудь подозрѣвать, сколько желаю быть продана отъ тебя въ каменоломни на скалы; но я тебѣ указываю въ ту сторону, гдѣ небо краснѣетъ и откуда слышится приближеніе бури... Будь осторожна... не выдай себя Алкею ни звукомъ, ни взглядомъ.

— Да мнѣ нечего и скрывать... Я учила Пруденція — правда, по дружбѣ моей къ вдовѣ Ефросинѣ, и ласкала его тогда какъ ребенка, но я не сказала ему шопотомъ ни одного слова, никогда я не обвела его взоромъ нѣжнѣе, чѣмъ должна смотрѣть дружба, и я увѣрена, что если вдова Ефросина спроситъ Пруденція, то и онъ ей не скажетъ, чтобы я была виновата въ тѣхъ чувствахъ, о которыхъ ты мнѣ теперь разсказала... Я же при встрѣчѣ скажу ему, чтобы онъ пересталъ обо мнѣ думать, что это тяжело мнѣ... обидно... и... если только все правда, что ты говорила, то онъ будетъ напрасно тратить свои лучшіе годы...

— Отчего?

— Какъ отчего?

— Ты развѣ не женщина?

— Да, я женщина... но что же слѣдуетъ дальше?

Марема улыбнулась и сквозь улыбку сказала:

— Мы всѣ чутки сердцемъ... а ты такъ сострадательна...

— Ну, и мнѣ его жалко!

Марема махнула рукою и отвѣтила скоро:

— Ахъ, госпожа моя! — только и нужно: сожалѣнье къ мужчинѣ насъ отдаетъ въ его руки!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Мелита не сразу отвѣтила на послѣднія слова Маремы: она вѣроятно чувствовала, что въ нихъ есть доля правды; но потомъ она привела свои чувства въ порядокъ и сказала:

— Опаснаго много на свѣтѣ: можетъ быть, что и сожалѣнье ведетъ насъ къ дурному; но я не боюсь этого.

— Что же ты развѣ зачарована?

Теперь улыбнулась Мелита и отвѣтила:

— Да!

— Какія же чары тебя защищаютъ?

— Я христіанка... я неспособна къ обманамъ и знаю, что нѣтъ и не можетъ быть счастья во лжи.

— Конечно, конечно!.. Ну, а если бы боги аида призвали къ себѣ моего господина...

— Что ты опять говоришь мнѣ, Мармэ! Въ какомъ ты безстыдномъ теперь настроеніи!

— Нѣтъ, ты скажи: въ какомъ настроеніи ты чувствовала бы себя, оставшись свободною, молодою вдовою, когда нѣжная страсть такого красавца-юноши, какъ Пруденцій, не казалась бы тебѣ тѣмъ, чѣмъ кажется нынче? Ахъ, я увѣрена, что вы съ нимъ скоро пришли бы сжечь жертву вашихъ сердецъ у алтаря Гименея.

— Никогда!

— Почему, моя госпожа?

— Во-первыхъ, потому, что я христіанка.

— Я очень плохо понимаю различія въ вѣрахъ! Для меня всѣ религіи сходны въ одномъ: всѣ мѣшаютъ любить столько, сколько бы хотѣлось!

Но эти слова привели Мелиту въ такое сильное разстройство, что она стала еще больше укорять Мармэ за вольности въ ея разсужденіяхъ.

— Ты говоришь мнѣ про пріязнь, которую ты ко мнѣ будто чувствуешь,—сказала Мелита,—а высказываешь такія

мысли, которыя пристали бы развѣ коварной смутьянкѣ, желающей сбить замужнюю женщину съ пути ея долга. Но этого, я надѣюсь, со мной никогда не случится: отъ этого меня сохранитъ именно то святое ученіе, въ постиженіи котораго я стараюсь найти смыслъ жизни. Не улыбайся, Мармэ. Христіанское ученіе открываетъ человѣку, въ чемъ смыслъ жизни, и научаетъ его управлять своими страстями. Ты не разъ говорила мнѣ, что я облегчила тебѣ твою долю тѣмъ, что обращаюсь съ тобою не какъ съ рабыней, а какъ съ равной мнѣ женщиной; а вѣдь это произошло оттого, что нашъ Учитель велѣлъ намъ въ каждомъ человѣкѣ видѣть нашего брата, и потому мнѣ отрадно и сладко называть тебя моею «сестрою» и устроить тебѣ покой и довольство. Но дальше согласіе наше идти не можетъ, потому что ты почитаешь себя въ правѣ брать у жизни все, что только возможно схватить, а я разсуждаю иначе.

— О, конечно, схватить все, что можно! — перебила Мармэ.—Для чего, упускать свое счастіе?

— Счастіе!.. Это неясное слово, Марема. Кто можетъ сказать: въ чемъ счастье?.. Для тебя это, быть можетъ, достиженье того, что тебѣ сейчасъ нравится, а для... другой...

— Ты хочешь сказать, для христіанки?

— Можетъ быть, да. Для нея лучшая радость—вовсе не въ томъ, чтобы вырвать у жизни сейчасъ все, что возможно, а въ томъ, чтобы идти въ тишинѣ къ тому, что можетъ создать общую радость.

Мармэ засмѣялась и, отмахиваясь ладонями, молвила:

— Эге-ге! Это все старыя пѣсни! Ты оттого такъ разсуждаешь, что ты слишкомъ спокойно любишь мужа и не имѣешь отъ него дѣтей. Когда бы Алкей былъ способенъ внушить тебѣ болѣе жаркія чувства, или бы ты имѣла дѣтей, то повѣрь, что ты бы на все посмотрѣла иначе и стала желать *своего,* а не общаго счастья.

И Мармэ живо разсказала Мелитѣ, какъ живительно дѣйствуетъ счастье быть любимымъ тѣмъ, кого любишь, и какъ естественно заботиться о своихъ дѣтяхъ. Она представила

эту заботу такой жаркой, съ которою совсѣмъ невозможно сравнить ровнаго участія всеобщей любви безразлично ко всѣмъ людямъ цѣлаго міра.

Но Мелита стояла на своемъ и снова ей возразила, что она не имѣетъ нужды въ особенныхъ чувствахъ къ людямъ, роднымъ ей только по крови, и что для нея гораздо желательнѣе имѣть благоволеніе *ко всѣмъ людямъ*, какъ это внушено въ ученіи, сдѣлавшемъ ее христіанкою. Тогда Мармэ пожала съ улыбкой своими смуглыми плечами и сказала:

— Споръ нашъ, я вижу, ни къ чему не приведетъ. Оставимъ все это времени, а теперь покуда помни лишь то, что я тебѣ сообщала: мужъ твой ревнуетъ тебя къ сыну вдовы Ефросины, и ты должна это знать и отстранить съ пути своего все, что можетъ усилить тревогу.

— «Усилить тревогу!» Тревога ни изъ-за чего!.. Тревога, въ которой я ничѣмъ не виновата, но которой, тѣмъ не менѣе, должна я бояться!.. И вотъ это-то всѣ вы называете жизнью! Нѣтъ, жизнь совершенно въ иномъ, и я не перестану искать ее гдѣ надо.

— Ищи! — отвѣчала, кончая бесѣду, Мармэ: — но еще лучше будь готова встрѣтить то, что она можетъ бросить тебѣ на твой путь совсѣмъ неожиданнаго.

— Пускай будетъ такъ. Я терпѣливо выслушала все, что ты мнѣ сказала отъ добраго сердца, и теперь я строже стану насторожѣ у моихъ чувствъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Эта бесѣда съ Мармэ глубоко врѣзалась въ сердце Мелиты и заставила ее передумать о вещахъ, на которыхъ она до сихъ поръ не останавливалась. По живости своего молодого темперамента и чистотѣ своихъ помысловъ она никакъ не могла допустить, чтобы Пруденцій, который былъ моложе ея на пять лѣтъ и съ которымъ она всегда обходилась какъ съ милымъ ребенкомъ, незамѣтно для нея загорѣлся къ ней такою неукротимою страстной любовью, для

которой въ ихъ положеніи не могло быть никакого исхода. И вотъ теперь ей говорятъ, что это однако свершилось... До сихъ поръ Мелита этого не замѣчала, но теперь, послѣ указаній Мармэ, она сама стала припоминать глубокіе вздохи невиннаго Пруденція и его долгіе взгляды, которые онъ устремлялъ на нее, забывая обо всемъ окружающемъ, при чемъ иногда не слышалъ, какъ его зоветъ мать или кличутъ другіе.

Противъ воли своей Мелита начала вѣрить, что она имѣла несчастіе внушить страсть юношѣ, и что если это не пройдетъ, то возможно, что Пруденцій совсѣмъ не захочетъ жениться, и тогда домъ его матери останется пустъ и вдова Ефросина станетъ укорять Мелиту въ увлеченіи сына,—въ чемъ она нисколько не виновата.

И въ самомъ дѣлѣ вдова Ефросина уже начала глядѣть на Мелиту не прежними глазами, и когда, послѣ разсказанной выше бесѣды, Алкей и Пруденцій отправились надолго въ море,—вдова Ефросина не стала болѣе скрывать своего неудовольствія на Мелиту и однажды сказала ей:

— Ты однако изсушила сердце моего ребенка.

— Боже! — отвѣчала Мелита: — неужто ты, Ефросина, склонна вѣрить, что мнѣ доставило бы удовольствіе путать смыслъ твоего сына!

— Я не вѣрю ничьимъ словамъ, но я сама вижу его терзанія, и сама за него терзаюсь.

— Но что я могу сдѣлать для того, чтобы не было этихъ терзаній?

Ефросина покачала головою и, наморщивъ лобъ, проговорила:

— Да; я знаю, ты ничего не можешь сдѣлать въ его пользу, но... но я все-таки страдаю, Мелита, и мнѣ тяжело тебя видѣть.

Съ этимъ вдова Ефросина ушла, а Мелита возвратилась къ себѣ, раздосадованная на роковое стеченіе обстоятельствъ, и не находила въ себѣ никакой вины: она не увлекала Пруденція въ сѣти своей красоты. Она провѣ-

ряла также свои собственныя чувства къ юношѣ и вполнѣ убѣдилась, что Пруденцій не составляетъ для нея никакой исключительности,—что онъ ей милъ и жалокъ не болѣе какъ многіе другіе, для которыхъ она готова бы сдѣлать всякую посильную услугу и радостью которыхъ могла бы радоваться. Но ни для кого въ свѣтѣ не хочетъ она нарушить вѣрности мужу. Нельзя же этимъ служить для утѣшенія вдовы Ефросины!

И при такихъ разсужденіяхъ Мелитѣ постоянно представлялось, что въ жизни,—чтобы прожить такъ, какъ должно,—надо имѣть со многими людьми нелады и борьбу, а при такомъ положеніи нѣтъ ни покоя, ни счастія. Стоитъ ли вводить себя въ такую борьбу для того, чтобы захватить чего-нибудь пріятнаго немножко побольше, чѣмъ есть у другихъ. Все это вѣдь на очень короткое время быстро минующей жизни. Нѣтъ; это не стоитъ. Безъ сравненія лучше жить борясь съ собою,—надо себя исправлять, освобождая себя отъ такихъ страстей, которыя влекутъ къ разладу съ милосердіемъ и человѣколюбіемъ... Мелита стала вспоминать одну изъ подругъ своего дѣтства, бѣлокурую Эрминію, которая была всѣхъ изящнѣе и красивѣе среди сверстницъ, а выбрала себѣ самую суровую долю: она такъ настроила свой духъ дошедшимъ до нихъ «галилейскимъ ученіемъ», что заботы о своемъ личномъ счастіи показались ей совсѣмъ недостойными никакого труда, и она отказалась отъ замужества и пошла служить больнымъ въ одной общинѣ въ Лидѣ.

Нравственный обликъ этой Эрминіи и серьезный путь ею для себя избранной жизни теперь безпрестанно приходили на мысли печальной Мелитѣ и мирили ее съ жизнью. Она соображала тотъ и другой путь, которымъ возможно идти, и находила, что на всѣхъ этихъ путяхъ нужно вести битвы за все и со всѣми, и что спокоенъ и тихъ тотъ только путь, на который люди не лѣзутъ толпою и гдѣ никого не надо ронять съ ногъ, чтобы самому завладѣть чьей-нибудь долею такъ называемыхъ радостей жизни... Это

онъ-то и есть путь «Галилейскаго Пророка» и путь тѣхъ, кто вѣритъ въ истинность Его ученія... Вотъ что̀ Мелита и предпочла бы всему, что̀ имѣетъ.—Это путь отреченія отъ личныхъ радостей, — путь жизни, преданной благу другихъ...

И когда Мелита, обойдя мысленно все, что ей представлялось въ жизни, доходила опять до того, что̀ избрала вспоминаемая ею подруга, она всегда чувствовала въ себѣ наитіе мира и покоя,—она ничего не боялась и смотрѣла смѣло впередъ и вѣрила, что въ этомъ одномъ настроеніи человѣкъ ближе всего къ истинной цѣли своего воплощенія.

Если бы какія-нибудь перемѣны въ жизни Мелиты были возможны и если бы онѣ зависѣли отъ ея выбора, то она бы всему предпочла не быстро преходящую любовь съ избранникомъ сердца, а она сейчасъ бы встала и пошла бы искать свою подругу Эрминію и стала бы съ нею дѣлить ея служеніе немощнымъ старикамъ и покинутымъ дѣтямъ въ той же Лидѣ или въ другой мѣстности міра, гдѣ люди также все бьются другъ съ другомъ изъ-за личнаго счастья и оставляютъ безъ вниманія тѣхъ, которые ослабѣли и искалѣчились въ этой ужасной борьбѣ.

Гдѣ бы было возможно принести себя въ такую жертву, чтобы облегчить людское горе и положить начало новому направленію жизни, Мелита сейчасъ же бы встала и ушла туда... И тогда съ ней неразлучно была бы та совершенная радость, которую она и теперь уже ощущала, но которой въ нынѣшнемъ ея положеніи мѣшала неодолимая боязнь, что вдругъ подвернется такой или другой случай, и удалитъ ее отъ избраннаго вѣрнаго настроенія, и начнетъ переполнять душу ея тревогою, страхомъ и подозрѣніями...

О, эти подозрѣнія! Мелита знала имъ цѣну: когда еще живъ былъ Гифасъ, ей мимо воли случилось услыхать одинъ разговоръ ихъ съ Алкеемъ объ островкѣ, гдѣ у нихъ есть имъ однимъ только извѣстная пещера и въ ней хранятся ихъ сокровища и ихъ преступныя тайны... Съ этихъ поръ Мелита всегда подозрѣвала, что они не только товарищи

по торговлѣ, но что они оба—грабители и убійцы... И это сдѣлалось источникомъ вѣчнаго страха и терзаній Мелиты,— она съ этихъ поръ подозрѣвала, что и всѣ другіе люди въ поселкѣ думаютъ о Гифасѣ и о ея мужѣ Алкеѣ какъ о разбойникахъ, а смерть Гифаса и общій приговоръ взять въ дѣло Пруденція еще болѣе утвердили Мелиту въ подозрѣніи, что всѣмъ уже извѣстенъ преступный родъ жизни Алкея, и что всѣ къ этому такъ равнодушны только потому, что и сами они въ нравственной жизни недалеко отошли отъ Алкея съ Гифасомъ... И теперь, конечно, этимъ же недостойнымъ путемъ будетъ проходить свою жизнь невинный Пруденцій... Вѣдь Алкей, конечно, ведетъ себя и при немъ такъ же, какъ велъ при Гифасѣ, и Пруденцій, безъ сомнѣнія, знаетъ уже, что у нихъ гдѣ-то въ группѣ прибрежныхъ скалъ есть островокъ съ пещерой... и тамъ какія-то сокровища, и еще что-то, о чемъ Мелита сама не имѣла точныхъ понятій... Она никогда не спрашивала объ этой тайнѣ мужа и не говорила о своихъ догадкахъ Маремѣ, потому что Мелитѣ стыдно было признаться, что она подозрѣваетъ своего мужа въ разбойничествѣ, а Марема... Ахъ, Марема, несмотря на свою преданность Мелитѣ, сама гораздо больше близка душою къ тѣмъ, чьи поступки и страсти такъ ужасаютъ Мелиту...

И оттого еще ужаснѣе горе Мелиты, что ей не съ кѣмъ облегчить свою душу, которая вдругъ начала тяжко томиться—точно она будто чуяла вблизи предстоящее новое горе. Все это надобно было скрывать, и Мелита скрывала. Чтобы думать въ тиши или плакать, не боясь пустыхъ замѣчаній о томъ, что «стыдно грустить», Мелита начала часто уходить на обрывистый берегъ моря и подолгу сидѣла тамъ, охвативъ руками колѣни и глядя въ безконечную даль, откуда она точно вызывала на сцену дѣйствія послѣднее искушеніе, которое и не умедлило своимъ приходомъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Разъ, когда Мелита сидѣла надъ облюбованнымъ ею обрывомъ морского берега, изъ-за столпившихся вдалекѣ темныхъ скалъ показалась лодка, съ которой были убраны всѣ паруса, кромѣ одного стараго, на которомъ она едва подвигалась. Вмѣсто флажка, наверху мачты былъ надѣтъ головной колпакъ изъ чернаго войлока.

Если бы Мелита не была слишкомъ сильно погружена въ свои размышленія, уводившія ее къ желанію рѣзкаго перелома въ своей жизни, то она бы непремѣнно замѣтила эту лодку, и по ея печальной оснасткѣ она поняла бы, что на этомъ суднѣ случилось какое-то большое несчастіе. Но Мелита видѣла лодку, и ея грязный парусъ, и войлочный черный колпакъ наверху ея мачты, и всему этому не придала никакого значенія.

Она должна бы замѣтить и то, что лодка, бывшая, конечно, въ далекомъ плаваніи, входила въ пристань въ необычное время и держала курсъ своей не прямо къ поселку, а нарочно проходила между скалами и пристала у одной изъ нихъ, завязавъ канатъ у торчащаго рогомъ обломка утеса.

Съ лодки сошелъ кто-то, покрытый коричневымъ полотномъ, и, ничего не взявъ съ судна, скрылся гдѣ-то подъ берегомъ, а потомъ, черезъ часъ или нѣсколько больше, опять возвратился къ лодкѣ вдвоемъ съ закутанной женщиной, которая едва лишь ступила на лодку, какъ страшно вскрикнула и, отпихнувъ отъ себя сопровождавшаго ее мужчину, упала въ море, но сейчасъ же выплыла на берегъ и убѣжала.

Это Мелита уже замѣтила потому, что женскій крикъ былъ слишкомъ громокъ и страшенъ, но она тотчасъ же потеряла изъ вида эту фигуру, и зато тѣмъ болѣе была поражена, когда черезъ малое время эта же самая фигура, въ томъ же мокромъ платьѣ, но въ лицѣ Маремы, подбѣ-

жала къ Мелитѣ и, упавъ передъ ней съ сжатыми руками, завопила сквозь слезы:

— О, моя бѣдная госпожа! Прокляни и продай меня какъ злую вѣстницу въ жестокія руки! я достойна этого за то горе, какое мнѣ суждено тебѣ возвѣстить.

При первыхъ же словахъ Маремы сердце Мелиты переполнилось предчувствіемъ жесточайшаго несчастія, и она ей сказала:

— Умоляю тебя, говори мнѣ скорѣй, что̀ случилось, и не бойся моего гнѣва—моя вѣра не даетъ мѣста гнѣву.

— О, да, — отвѣчала Марема, — теперь тебѣ наступилъ часъ показать твоей бѣдной и темной рабѣ, сколько свѣта и силы можетъ дать человѣку твоя вѣра!

— Я постараюсь, чтобы ты не получила о ней черезъ меня дурного понятія; говори, что̀ должна я узнать!

— Твой мужъ... вонъ, видишь, тамъ, у скалы... это лодка его... моего господина Алкея, и... въ ней на днѣ около мачты, на вершинѣ которой поднятъ черный колпакъ, лежитъ, покрытое парусомъ... бездыханное тѣло.

— Пруденція! — воскликнула громко Мелита и сейчасъ же заломила надъ головою руки и стала повторять сквозь рыданія:—Бѣдное дитя! Неужели Алкей убилъ его въ ревности! О, злополучный невинный Пруденцій!

Но Марема, давъ нѣсколько времени проплакать Мелитѣ и какъ бы освоиться съ горемъ, взяла ее тихо за руки и переводя ихъ къ своему сердцу, сказала:

— Нѣтъ, Мелита! Ты напрасно плачешь о юношѣ, ты должна оборотить къ себѣ горе другой стороною: погибъ не Пруденцій, а тотъ, чья смерть тебя оставляетъ вдовою.

Мелита вдругъ воздержала свои слезы и остановила сухой огненный взглядъ на Маремѣ.

— Умеръ мужъ мой, Алкей?!

— Да, госпожа.

— И тамъ, внизу, у скалы его тѣло?

— Да, оно въ лодкѣ... тѣло Алкея... Я его видѣла и прокляла рокъ, судившій мнѣ возвѣстить тебѣ это несчастіе.

— Оставь говорить о проклятіяхъ и веди меня скорѣй къ лодкѣ!

Марема положила себѣ на плечо руку Мелиты, и обѣ женщины пошли спѣшной походкою къ морю и скоро стали у лодки, на которой не было никакого груза, а только у основанія мачты лежалъ небрежно брошенный парусъ.

— Вотъ это здѣсь,—тихо сказала Марема и затѣмъ съ участіемъ спросила:—если ты можешь видѣть и прикажешь открыть...

Но Мелита, вмѣсто отвѣта, сама нагнулась и едва приподняла уголъ сѣраго полотна съ синей каймою, какъ увидала мертвое лицо Алкея съ выдавшимися косыми глазами и тремя страшными колотыми ранами въ черепѣ... Раны были посреди темени, всѣ три кругловатыя, каждая величиною въ вишню, и всѣ рядомъ, одна отъ другой на разстояніи пальца... Ихъ не нужно было ощупывать, чтобы сказать, что всѣ онѣ равномѣрно глубоки и всѣ три смертельны.

Мелита склонилась къ головѣ мужа и долго смотрѣла въ его глаза, а потомъ, когда подняла лицо свое, увидала, что прямо передъ нею, по другую сторону паруса, стоялъ, въ печальномъ платьѣ и съ печальнымъ лицомъ, невинный Пруденцій.

Увидя его открытое лицо, хранившее до сихъ поръ на себѣ слѣды цѣломудрія и духовной чистоты, Мелита вздохнула и тихо промолвила:

— Ты знаешь, конечно, что о тебѣ скажутъ люди, когда увидятъ несчастное тѣло Алкея?

— Да, знаю,—отвѣтилъ Пруденцій,—люди скажутъ, что это я нанесъ смертельныя раны Алкею.

— И что же ты имъ отвѣтишь въ свое оправданіе? Я, вѣдь, не знаю, какъ ты искусенъ во лжи. Или, быть можетъ, ты для того и привезъ сюда тѣло Алкея, чтобы предъ всѣми признаться въ убійствѣ и разсказать, для чего это сдѣлалъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ ей невинный Пруденцій. — Я не

для того привезъ сюда тѣло Алкея, чтобы изощряться во лжи или дѣлать надъ нимъ признанія въ убійствѣ. Я привезъ его для того, чтобы ты могла видѣть хоть мертваго мужа и могла его оплакать и схоронить какъ жена. А когда меня спросятъ о смерти Алкея, я безо лжи разскажу о ней всю сущую правду.

Слушая эти слова, Мелита смотрѣла острымъ и пристальнымъ взглядомъ въ глаза Пруденція и получила въ глубинѣ своего духа безотчетное удостовѣреніе, что Пруденцій ничѣмъ не повиненъ въ смерти Алкея...

Это ей было отрадно, и душа ея успокоилась, насколько это было возможно въ теперешнемъ случаѣ.

— Если ты правъ,—отвѣчала она,—то и спѣши скорѣй принести свое оправданье: я и Марема останемся здѣсь у мертваго тѣла Алкея. Ты же иди поскорѣе въ селеніе, позови свою мать, вдову Ефросину, и вызови всѣхъ старыхъ и молодыхъ людей на берегъ моря, на то мѣсто, гдѣ Алкей говорилъ предъ людьми о кончинѣ отца твоего, Гифаса. Я и Марема приведемъ туда лодку съ тѣломъ, а вы всѣ наломайте вѣтвей, на которыхъ можно поднять и нести тѣло Алкея, и когда оно будетъ поднято, ты передъ всѣми долженъ сказать, какъ случилась гибель Алкея и кто нанесъ ему три равномѣрныя раны.

Пруденцій ей тихо кивнулъ головою и, скоро достигнувъ селенья, снялъ рожокъ, который висѣлъ на сукѣ стараго дуба, и протрубилъ для всѣхъ три призыванья, чтобы всѣ шли скорѣй на собранье.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Услышавъ рожокъ, люди тотчасъ же стали выходить изъ домовъ и, поправляя одежды, стали направляться къ тому мѣсту, гдѣ еще такъ недавно всѣ выслушивали повѣсть Алкея о смерти Гифаса. Здѣсь и теперь, такъ, какъ и тогда, стояла на пескѣ опрокинутая килемъ вверхъ старая лодка.

Все это было на полперелета стрѣлы отъ стараго дуба,

подъ которымъ теперь стоялъ Пруденцій. И онъ продолжалъ здѣсь стоять, пока на берегу около лодки собрались почти всѣ взрослые люди селенія, а изъ-за загиба пологаго мыса показалась на морѣ лодка, которую гнали на веслахъ Мелита съ Маремой.

Пруденцій, который ожидалъ появленія на морѣ этой лодки, прежде всѣхъ ее и замѣтилъ: и онъ тотчасъ же снялъ съ дерева рогъ, висѣвшій на скрученномъ лыкѣ, и надулъ его такъ, что рогъ за разъ издалъ, кромѣ общаго призывного звука, еще особый сигналъ, который могъ имѣть условное значеніе для друзей трубача или его семейныхъ.

Собравшіеся люди не упустили замѣтить этотъ сигналъ, и одинъ молвилъ другому:

— Пруденцій навѣрно хочетъ сказать что-то необыкновенное.

— Почему ты такъ думаешь?

— Онъ кому-то даетъ сигналъ на священномъ рожкѣ.

— Это онъ зоветъ сюда свою мать.

— О, да! Вонъ она и выходитъ—вдова Ефросина.

— Значитъ, они еще не видались?

— Такъ надо думать.

— Любопытно! Пруденцій, конечно, желаетъ, чтобы мать его была здѣсь при томъ, для чего онъ сзываетъ селенье; но что это такое онъ хочетъ сказать?

— Услышимъ.

— Ужъ конечно услышимъ. Вонъ къ берегу тянется лодка... Эге! Да это знакомая лодка Алкея. Ее, еще года нѣтъ, снаряжалъ и опять недавно раскрасилъ Гифасъ, а теперь... смотри, что такое?.. Лодку ведутъ на веслахъ двѣ женщины... Ахъ, вѣдь это Мелита съ своею рабыней, сидонянкой Маремой... Ну, у этой руки изъ бронзы, но все-таки женщинамъ не пристать сюда близко... Здѣсь вязкая тина и внизу въ разныхъ мѣстахъ, не на одной глубинѣ, острые камни... Ага! вотъ хорошо догадался Пруденцій: онъ сбѣжалъ къ морю и вошелъ въ воду... Ну, немножко измокнетъ, а зато онъ взялъ лодку за канатъ и подведетъ ее къ

берегу... Ишь, какъ онъ весь изогнулся подъ лямкой!

— И зато какой чудный станъ!..

— Да, ужъ Пруденцій, извѣстно, совершенный красавецъ. Говори что̀ кто хочетъ, а имъ вѣдь недаромъ гордится наше селеніе, и я думаю, если бы боги не имѣли зависти къ красотѣ смертныхъ, то нельзя было бы ни понять и ничѣмъ объяснить, какъ они могли допустить соединеніе Мелиты съ раскосымъ Алкеемъ, послѣ чего Мелита остается безплодной, тогда какъ ее слѣдовало бы соединить съ Пруденціемъ...

— Ага! это правда.

— Да ужъ тогда было бы можно ручаться, что Мелита не тосковала бы и не осталась бы безплодной, а взору человѣческому былъ бы данъ для услады самый красивый ребенокъ.

— Да; я думаю тоже, что если бы Мелита была помоложе и была бы свободна,—она не сочла бы для себя за большое обремененіе ласки Пруденція, и тогда-то, пожалуй, ты правъ, что второй Купидонъ могъ бы родиться гдѣ-нибудь въ нашемъ незнатномъ селеніи; но вѣдь Мелита постарше Пруденція, и мужъ ея, косоглазый Алкей, долговѣченъ: всѣ его предки всегда достигали маститаго вѣка...

Но въ это мгновенье у лодки, подвинутой къ берегу, раздался голосъ Пруденція:

— Почтенные люди и ты, о, нѣжно любимая мать моя, вдова Ефросина! Еще въ очень недавнее время отсюда отплыли вдвоемъ: отецъ мой, отважный Гифасъ, съ безстрашнымъ Алкеемъ. Такъ они много разъ отправлялись вмѣстѣ вдвоемъ и всегда вмѣстѣ вдвоемъ возвращались, но въ этотъ послѣдній разъ случилось иначе: въ этотъ разъ возвратился одинъ только смѣлый Алкей и открылъ здѣсь, на этомъ же мѣстѣ, всѣмъ вамъ и мнѣ, сыну Гифаса, и вдовѣ отца моего Ефросинѣ, что отецъ мой сдѣлался жертвою моря.

Всѣ люди слушали это вступленіе о вещахъ, всѣмъ имъ извѣстныхъ, и напряженно смотрѣли на Пруденція и на

Мелиту съ Маремой, стоявшихъ попрежнему въ лодкѣ. Въ толпѣ проносилось:

— Что онъ хочетъ сказать?.. Для чего въ лодкѣ стоятъ Мелита съ служанкой?.. Пруденцій, быть можетъ, узналъ что-нибудь и задумалъ теперь обвинить въ преступленьѣ Алкея?

А Пруденцій, вмѣсто того, вдругъ зарыдалъ и, рыдая, воскликнулъ:

— Посмотрите же, что нынче сталось съ самимъ безстрашнымъ Алкеемъ!

Пруденцій сдвинулъ лежащій на днѣ лодки парусъ и, приподнявъ трупъ Алкея, добавилъ:

— Вотъ онъ, Алкей! Онъ убитъ. Подходите и смотрите: на его темени рядомъ три одинакія ранки. Отъ каждой изъ нихъ человѣкъ долженъ былъ умереть непремѣнно, а Алкей получилъ всѣ три раны въ одно мгновеніе ока.

— Гдѣ и какъ онъ могъ получить ихъ?—зашумѣли, толпясь на берегу и отчасти входя въ воду, люди.

— Ты долженъ все объяснить,—кричали другіе.

— Да; ты за него отвѣчаешь.

— И ты можешь быть въ подозрѣніи: ты мстилъ ему за Гифаса!

— Или завидовалъ красотѣ несравненной Мелиты!

— О, воздержитесь! — воскликнулъ Пруденцій. — Вы не опоздаете оскорблять меня обвиненіями и послѣ того, когда я все изложу вамъ, какъ было дѣло. Дѣло же въ томъ, что Алкей и, упредившій его на пути въ царство тѣней, отецъ мой Гифасъ не только занимались торговлей, но они... они тоже нападали на другія суда и грабили ихъ и топили...

На всю массу слушателей это не произвело особенно сильнаго впечатлѣнія, и даже, кажется, никого не удивило, кромѣ одной Мелиты, которая вскрикнула: «Мой мужъ былъ разбойникъ!» и, поднявъ кверху руки, упала головою на плечо Маремы.

Пруденцій же продолжалъ говорить и разсказалъ, что онъ не вѣритъ словамъ Алкея, какъ погибъ Гифасъ, что это

навѣрное было какъ-то иначе, но что онъ никогда не думалъ мстить за это Алкею, а самъ Алкей получилъ свои раны отъ гвоздей, предательски вбитыхъ въ днище плывшей византійской триремы, подъ которую Алкей поднырнулъ съ тѣмъ, чтобы тихо взобраться на ея бортъ и задушить соннаго кормщика, а остальныхъ сонныхъ людей сбросить въ море; но эта трирема была для нихъ проклятой ловушкой: когда они встрѣтились съ ней предъ разсвѣтомъ, люди на ней только притворялись спящими, а вовсе не спали; а дно самой триремы было утыкано острыми спицами, изъ которыхъ три сразу же вонзились въ темя Алкея, такъ что бѣлый гребень набѣжавшей волны въ то же мгновенье и сразу весь окрасился Алкеевой кровью...

Затѣмъ слѣдовалъ разсказъ о томъ, какъ притворно спавшіе на триремѣ византійскіе греки злорадно захохотали и, оттолкнувъ отъ себя шестомъ тѣло Алкея, уплыли въ море, а осиротѣлый Пруденцій остался одинъ и съ трудомъ изловилъ Алкеево тѣло, втащилъ его въ ладью и привезъ сюда, чтобы оно было предано погребенію и чтобы видѣли всѣ, что ему нѣтъ нужды ничего скрывать въ этомъ несчастномъ дѣлѣ, полагающемъ конецъ торговому товариществу двухъ ихъ домовъ.

Пруденцій закончилъ словами:

— Кто-то сказалъ, что на меня есть подозрѣніе!.. Что же, судите меня! Я не боюсь ничего, я приготовился къ смерти, но я невиненъ въ смерти Алкея.

Народъ, выслушавъ все это, оставался въ недоумѣніи и обнаруживалъ разногласіе: однимъ казалось, что Пруденцій дѣйствительно не виноватъ въ смерти Алкея, а другіе думали, что Алкей убитъ его рукою, именно изъ мести за отца или, быть можетъ, и отъ любви къ Мелитѣ. И тогда постановили: опять положить тѣло Алкея въ лодку и туда же помѣстить Пруденція, и въ сопровожденіи двухъ молодыхъ людей и двухъ старцевъ, послать трупъ и подозрѣваемаго къ прорицательницѣ, жившей на отдаленномъ островѣ. Тамъ поручалось старцамъ вопросить прорицатель-

ницу надъ головою Алкея: виновенъ ли Пруденцій въ его убійствѣ? И если вѣщая дѣва скажетъ, что Пруденцій виновенъ, то тогда старцы, отблагодаривъ прорицательницу, снова войдутъ въ ладью вмѣстѣ съ Пруденціемъ, и когда удалятся настолько, что берегъ сдѣлается невиденъ, тогда старцы велятъ юношамъ завернуть Пруденція вмѣстѣ съ трупомъ Алкея въ парусъ и потомъ обмотать ихъ бичевою и бросить ихъ вмѣстѣ въ море.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Нельзя описать, какой страшный плачъ сдѣлала вдова Ефросина, когда услыхала такое рѣшеніе. И она не одна плакала, — съ нею стонали и другія женщины, потому что многимъ жаль было невиннаго Пруденція. Стонала и рвалась также и Марема, но Мелита не стонала и не рвала на себѣ ни волосъ, ни платья, а только поблѣднѣла и долго стояла въ молчаніи на одномъ мѣстѣ; но потомъ, когда ладья съ тѣломъ Алкея, съ Пруденціемъ и съ сопровождающими ихъ двумя старцами и двумя юношами отвалила отъ берега, Мелита подошла къ Ефросинѣ и сказала ей:

— Наши вопли и слезы ничему не помогутъ; вмѣсто того, чтобы здѣсь изнурять свои силы, сядемъ скорѣе въ другую ладью и поѣдемъ слѣдомъ за ними. Можетъ быть, прорицательница, увидя твое материнское горе, склонитъ къ нему свой слухъ и дастъ старцамъ отвѣтъ, который послужитъ къ тому, что люди признаютъ невинность Пруденція.

Ефросина на это легко согласилась и черезъ самое малое время послѣ того, какъ ладья съ тѣломъ Алкея скрылась изъ глазъ, отъ той же пристани отошла другая ладья, нанятая Мелитою у нѣмого Тромеда, и на этой ладьѣ, у кормила которой стоялъ самъ Тромедъ, помѣстились Ефросина и Мелита съ своей вѣрной Маремой.

И прошло всего двое сутокъ, какъ на третій день къ

вечеру жители селенія увидали, что обѣ ладьи опять возвращались и ладья нѣмого Тромеда опережала большую ладью, принадлежавшую прежде Алкею съ Гифасомъ. На передней ладьѣ, рулемъ которой правилъ Тромедъ, а парусами Марема, посерединѣ сидѣлъ юный Пруденцій, а съ двухъ сторонъ его — Ефросина и Мелита.

Съ берега видѣли ясно, что Ефросина внушала что-то сыну съ большимъ увлеченіемъ, а онъ ее радостно слушалъ и съ видимымъ счастіемъ сжималъ своими руками ея обѣ руки, а Мелита сидѣла въ раздумьѣ и, опустивъ руку за бортъ, держала въ ней камышинку, листья которой играли съ дробившейся волною. Въ лодкѣ Алкея оба юноши и оба старца были спокойны: на всѣхъ на нихъ нынче были надѣты вѣнки изъ бѣлыхъ пупавокъ въ знакъ того, что ихъ головы свободны отъ гнета всякой тягостной мысли, и на ихъ мачтѣ не было уже болѣе чернаго войлочнаго колпака, а вмѣсто него красовалась зеленая вѣтка оливы.

Ясно было, что вѣщая дѣва объявила невиннымъ Пруденція и что трупъ Алкея, какъ ненужный болѣе ни для какихъ разслѣдованій, спущенъ былъ въ море, и теперь всѣ возвращаются въ покоѣ и въ мирѣ.

Всѣ догадались, что сейчасъ наступаетъ веселый, радостный вечеръ, что вдова Ефросина навѣрно не станетъ скупиться, а жарко растопитъ очагъ въ своемъ домѣ и угоститъ всѣхъ такъ изобильно, какъ она можетъ. О, она не поскупится справить веселый праздникъ за спасеніе сына.

Такъ это и сдѣлалось: лодки пристали, старцы и юноши объявили, что Пруденцій невиненъ и что при этомъ случилось еще одно пречудесное дѣло... Вышло такъ, что когда вдова Ефросина вмѣстѣ съ Мелитой хотѣли поднять Пруденція отъ ногъ прорицательницы, то вѣщая дѣва вдругъ какъ будто проснулась, — лицо ея озарилось улыбкой, и она, взявъ за руки Мелиту и Пруденція, вложила одну въ другую ихъ руки...

Тутъ всѣ, кто это слушалъ, заплескали руками и запѣли: «Эвое! Эвое!» и начали обнимать и цѣловать и Ме-

литу, и Пруденція и поздравлять вдову Ефросину и радоваться, что союзъ Мелиты съ Пруденціемъ исполнитъ ихъ счастіемъ и устранитъ всякій вопросъ о раздѣлѣ имущества, такъ какъ съ этихъ поръ все равно, что Пруденціево, что Мелитино. И всѣ, распивая вино, которое выставила Ефросина, и обоняя запахъ мяса и рыбъ, которыя жарились на вертелахъ, и сладостный паръ черносливныхъ поливъ, кипѣвшихъ въ огромныхъ сосудахъ, — всѣ безъ уговора стали считать себя въ правѣ смотрѣть на Пруденція и на Мелиту какъ на супруговъ, для соединенія которыхъ все рѣшено самою судьбою и теперь только потребно какое-то недолгое время, чтобы бракъ ихъ признать совершеннымъ.

Невинный Пруденцій былъ наверху своего счастія и еще усугубилъ свою всегдашнюю почтительную скромность передъ Мелитой, а вдова Ефросина даже терялась отъ радости и изливалась въ привѣтахъ и ласкахъ ко всѣмъ, кто подходилъ къ ея очагу, чтобы брать мясо, и рыбу, и похлебки; въ радостномъ духѣ была и Марема, которая помогала Ефросинѣ въ угощеніи и, нося на плечѣ кувшины съ виномъ, наполняла имъ чаши. Одна лишь Мелита не измѣняла своей задумчивости и не отвѣчала ни на какіе намеки, а какъ бы витала теперь гдѣ-то далеко отсюда, и когда гости, замѣтивъ на небѣ признакъ приближающагося утра, начали расходиться, Мелита вздрогнула и, взглянувъ въ знакомыя лица Маремы и вдовы Ефросины, сказала:

— О, кто бы вы ни были! — отведите меня куда-нибудь въ тихое мѣсто!

Такое обращеніе къ Маремѣ и Ефросинѣ, какъ къ незнакомымъ, очень удивило обѣихъ женщинъ, и онѣ, переглянувшись другъ съ другомъ, подумали: не выпила ли Мелита съ жажды ошибкою цѣльнаго вина, или не потеряла ли она разсудка при морскомъ переѣздѣ на лодкѣ или при быстромъ охлажденіи воздуха.

Марема попробовала руки Мелиты и, чувствуя, что онѣ холодны, окутала ея голову и станъ покрываломъ вдовы

Ефросины и, обвивъ ея станъ своею рукою, повела ее къ дому.

Какъ провожая Мелиту, такъ и укладывая ее дома въ постель, Марема все время была въ полной увѣренности, что госпожа ея недомогаетъ отъ множества смѣшанныхъ чувствъ, надъ которыми забираетъ самое высшее положеніе и самую большую силу любовь ея къ прекрасному и невинному Пруденцію; а потому, чтобы сказать Мелитѣ что-нибудь самое радостное и способное вызвать въ ней оживленіе, — Марема, покрывши Мелиту ночнымъ одѣяломъ, нагнулась къ ея лицу и, поцѣловавъ ее въ лобъ, прошептала ей на ухо:

— Спи и пусть тебѣ снится тотъ, къ кому рвется съ любовью твое разрѣшенное отъ клятвъ сердце!..

А когда Мелита промолчала, то потомъ Марема распрямилась и ласково спросила ее:

— Скажи мнѣ, ты не сердишься за то, что я позволяю себѣ немножко читать въ твоемъ сердцѣ?

— Нѣтъ, — отвѣчала Мелита, — я не сержусь.

— Значитъ, я угадала...

— Нѣтъ, это не значитъ, что ты угадала. Я не сержусь на тебя, потому что ни на кого не должно сердиться, а сердце мое дѣйствительно неспокойно и дѣйствительно оно съ каждымъ днемъ все становится болѣе полно любви, но это любовь совсѣмъ не къ тому, о комъ ты помышляешь...

— Какъ, развѣ невинный Пруденцій не одинъ... Неужто же онъ долженъ будетъ отнимать у кого-нибудь свое мѣсто въ сердцѣ Мелиты?

А Мелита ей отвѣтила:

— Успокойся, Марема! И ты, и невинный Пруденцій имѣете свое мѣсто въ сердцѣ Мелиты...

— О, я не говорю о себѣ!—перебила Марема.

— Дай мнѣ докончить! И ты, какъ и онъ, живете и будете жить въ моемъ сердцѣ, потому что я люблю васъ обоихъ, какъ стремлюсь и желаю любить всѣхъ людей въ

мірѣ. Изъ васъ никому не нужно ни у кого отнимать ваше мѣсто въ моемъ сердцѣ, но *владѣть* имъ, — *повелѣвать* моему сердцу и *править им* съ властительной силой и властью будетъ только одинъ...

— Кто же это такой? Я его знаю или не знаю?

Мелита ласково ей улыбнулась и сказала:

— И знаешь, и нѣтъ.

— Кто же это такой?

— Іисусъ Галилейскій.

Марема положила большіе пальцы обѣихъ рукъ себѣ на уши и, закрывъ остальными перстами свои глаза, затрясла головою въ знакъ того, что она ничего въ этомъ не понимаетъ ни однимъ изъ своихъ чувствъ. Но Мелита привлекла ее къ себѣ, уложила рядомъ съ собою въ постель, и, лаская ее, стала ей говорить: что жизнь на землѣ ей не представляется цѣлью достойною заботъ и стараній; что всѣ радости жизни слишкомъ быстротечны и оставляютъ послѣ себя одну пустоту и страданье; что «союзъ сердецъ», который воспѣваютъ пѣвцы,—нимало не надеженъ, если онъ основанъ на влеченіяхъ страсти; что какъ бы ни укрѣпляли такой союзъ, онъ никогда и ни отъ чего не получитъ всегдашней прочности, а истиненъ и крѣпокъ одинъ лишь союзъ—это союзъ тѣхъ людей, которые сопрягаютъ себя подъ одно иго по схожести мыслей и по согласію въ разумѣніи жизни...

— И вотъ,—добавила Мелита, послѣ долгаго развитія своихъ соображеній въ этомъ духѣ, — вотъ тотъ союзъ, о которомъ можно говорить какъ о прочномъ благѣ—объ исполненіи закона жизни земной, учрежденной для приготовленія насъ къ какой-то другой, высшей цѣли, намъ неизвѣстной. Но кто же изъ насъ всѣхъ такъ единомысленъ и такъ схоже настроенъ, чтобы слиться другъ съ другомъ? Я надѣюсь, что это не я и не невинный Пруденцій. Развѣ ему міръ и назначеніе въ немъ человѣка представляется тѣмъ же, чѣмъ мнѣ?

— О, это было бы страшно, Мелита!

— Быть можетъ. А мнѣ кажется страшно другое... страшно

соединиться на одномъ ложѣ съ человѣкомъ, съ которымъ меня ничто не соединяетъ духовно, а развѣ только одно бунтованье плоти и крови... О, какъ ужасно и страшно должно быть проснуться послѣ этой опьяняющей ночи, что вы называете вашей «любовью»!... Какъ надо будетъ дрожать, чтобы плодомъ этихъ объятій не явилися дѣти, о наученіи которыхъ мать должна будетъ спорить съ ихъ же отцомъ!

— Зачѣмъ же все спорить, Мелита?

— Затѣмъ, что нельзя съ равнодушьемъ глядѣть, если дѣтей ведутъ не къ тому, что серьезно и свято,—что воспитываетъ духъ въ человѣкѣ и «ставитъ его господиномъ надъ звѣремъ, живущимъ въ самомъ человѣкѣ...» О, какъ это страшно! какъ это страшно!

— Однако же ты вѣдь была женою Алкея и могла бы не разъ сдѣлаться матерью рожденныхъ тобою дѣтей.

Мелита вздохнула и отвѣчала:

— Могла!.. Ты права: я была женою человѣка, съ которымъ у меня не было ничего общаго въ мысляхъ. Я стала женою Алкея ребенкомъ, когда сама не имѣла тѣхъ мыслей о жизни, какія имѣю теперь. И не хочешь ли ты меня укорить за то, что я съ нимъ жила и не бѣжала изъ его дома и не раздражала его гнѣва уклоненіемъ отъ его ласкъ и объятій, которыя я должна была принимать, разъ назвавшись женою! Да; я все это снесла, и все это было мнѣ тяжело; но я понимала, что Алкей не виноватъ въ томъ, что въ его глазахъ свѣтъ свѣтился иначе, чѣмъ онъ засвѣтился въ моемъ взглядѣ! Когда намъ пѣли брачные гимны, я его не могла предупредить объ этомъ и такъ же точно не должна была его оставить, пока онъ могъ быть моимъ мужемъ... Но теперь, когда не по моей волѣ все это минуло, — теперь, когда я свободна и вижу ясную цѣль въ моей жизни, я не хочу утомлять духъ мой въ обязательствахъ брака съ мужчиной... Я не считаю призваньемъ и долгомъ вызвать нѣсколько новыхъ дѣтей, чтобы было кому собирать ракушки и камни на берегу моря... Напрасно вы

думаете, что я соглашусь связать съ кѣмъ-нибудь мое право отдать себя съ этимъ тѣломъ и кровью на пользу вѣчнаго духа, жизнь котораго я въ себѣ ощущаю... О, какія вы дѣти! О, какія вы несмысленныя, бѣдныя дѣти!.. Встань, о Марема,—встань другъ мой!.. Ты уже другъ мой, а не рабыня — рабство беззаконно, я тебя отпускаю и... я постараюсь, чтобы ты получила все то, въ чемъ ты видишь счастье... Цѣлуй меня просто, какъ друга, и, если любишь меня, сослужи сама мнѣ еще одну величайшую службу... Встань,—о Марема!—спѣши ко вдовѣ Ефросинѣ... говори ей... проси... убѣждай... что Мелита не можетъ... она не годится быть подругой Пруденція... Иди!

И Марема дѣйствительно встала и вышла,—но она была въ сильномъ волненіи и побѣжала ко вдовѣ Ефросинѣ, а когда разбудила вдову, то сказала ей съ замирающимъ сердцемъ:

— Случилось еще очень большое несчастье!

— Домъ вашъ сгорѣлъ?

— Нѣтъ; но Мелита, моя госпожа... помрачилась въ разсудкѣ.

— О боги! о боги! Зачѣмъ такъ всесильна надъ нами любовь!

— Ужасно!

— Скажи же скорѣе, что она говоритъ?.. Она не дождется Пруденція?.. Да? Говори же!

— Она говоритъ... совсѣмъ противъ брака.

— Съ Пруденціемъ?

— Съ кѣмъ бы то ни было.

Ефросина вскричала:

— О, боги, какое безумье! Но это минуетъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Такъ несродно было пониманію вдовы Ефросины и юной Маремы все то, что имъ сказала молодая христіанка Мелита. Обѣ женщины не могли допустить, чтобы человѣкъ,

сохраняющій здравый разсудокъ въ своей головѣ, могъ имѣть о значеніи жизни и о главномъ назначеніи женщины такія, по ихъ мнѣнію, безумныя понятія, какія начала высказывать высоко настроенная Мелита... И изъ того, что это случилось такъ неожиданно, вдругъ, вскорѣ послѣ того, какъ молодая вдова Алкея пережила столько внезапныхъ потрясеній, опытная въ жизни мать Пруденція, пожилая вдова Ефросина, имѣла вполнѣ достаточныя, по ея мнѣнію, основанія вывесть, что въ Мелитѣ произошла не твердая и ясно обдуманная перемѣна въ образѣ мыслей, а просто забурлилъ на время какой-то бурный порывъ, дающій ея мыслямъ болѣзненное и безпорядочное направленіе.

А какъ Мелита очень нравилась вдовѣ Ефросинѣ за ея красоту, добрый нравъ и изящную домовитость, и Ефросина знала, что ея сынъ, юный Пруденцій, давно страстно любитъ Мелиту и уста его, на яву и въ сонной дремотѣ, только и шепчутъ драгоцѣнное юношѣ имя Мелиты, то извѣстіе, принесенное Маремою, все-таки сильно встревожило вдову Ефросину и она просила Марему никому болѣе въ селеніи не разсказывать о томъ, что она слышала отъ находившейся въ особенномъ, возбужденномъ состояніи Мелиты.

— Для чего ее подвергать общимъ насмѣшкамъ и осужденію? Пусть лучше это пройдетъ и позабудется, какъ забываются многія молодыя грезы... Большой опасности нѣтъ. Слава богамъ, въ селеніи не завелось еще другихъ людей, опоенныхъ этимъ мечтательнымъ ученіемъ, которое принесли какіе-то жиды изъ какой-то своей далекой и никому ненужной Галилеи. Мелита одна гдѣ-то наслышалась объ этомъ ученіи отъ своей какой-то подруги, и вотъ теперь бредитъ... Эта жизнь будто только и стоитъ вниманія, какъ воспитаніе себя въ какой-то иной жизни, о которой мы не можемъ судить, потому что она такъ несхожа съ тѣмъ, что видимъ, какъ непохожъ жолудь на дубъ, который можетъ изъ жолудя выйти... Но вѣдь все это вздоръ, и Мелита не удержится въ этомъ настроеніи, и оно скоро за-

мѣнится другимъ, болѣе жизненнымъ и болѣе свойственнымъ молодой красавицѣ, къ которой горитъ нѣжною страстью такой совершенный красавецъ, какъ невинный Пруденцій!.. Вѣдь она давно о немъ думаетъ!.. Не она ли, Мелита, научила его многимъ знаніямъ; она развила въ немъ ловкость и силу, и часто сама любовалась имъ и сама съ нимъ состязалась и въ бѣгѣ, и въ другихъ упражненіяхъ... И развѣ не она виновата, что въ немъ зародилась любовь къ ней, какъ къ женщинѣ, и сердце Пруденція давно ужъ горитъ страстнымъ огнемъ, который, безъ сомнѣнія вспыхнетъ еще сильнѣе теперь, когда Алкей удалился въ область Аида... Вѣдь не даромъ же тамъ, предъ послами народа, вѣщая дѣва соединила ихъ руки надъ тѣломъ Алкея!.. Развѣ можетъ же быть, чтобы теперь Мелита сама все это пожелала разрушить? Развѣ возможно молодой и столь красивой вдовѣ, бывшей женою суроваго мужа, каковъ былъ мореходецъ Алкей, отказаться отъ страстныхъ ласкъ и объятій такого нѣжнаго юноши, какъ невинный Пруденцій?..

Вѣдь онъ такъ изященъ, такъ нѣженъ, что одинъ отказъ Мелиты принять его къ себѣ мужемъ навѣрное и безъ малѣйшаго сомнѣнія убьетъ его!.. Да; убьетъ его, самаго стройнаго и красиваго, самаго добраго и достаточнаго юношу на всемъ побережьѣ! Неужто это—то, совсѣмъ отвлеченное и мало понятное?.. Неужто есть такая странная вѣра, которая можетъ побудить женщину отвергнуть влюбленнаго въ нее молодого красавца, какъ невинный Пруденцій? Нѣтъ; это все пустяки! нужно только скорѣе дѣло свести къ поцѣлуямъ! Скорѣе украсить цвѣтами алтарь бога любви, скорѣе заставить Мелиту принести жертву Гимену.

Всѣми такими соображеніями и надеждами вдова Ефросина вдохновила пылкую душу темнокожей Маремы, дѣвушки, возрастъ которой достигъ самой огневой поры, и Ефросина вдругъ увидѣла, какъ этотъ огонь всюду свѣтитъ во всемъ тѣлѣ Маремы, разливаясь прямо изъ-подъ черныхъ волнистыхъ волосъ на ея гладкій лобъ, брови, пол-

ные нѣги глаза, на шею, на дрожащія плечи и грудь, которая волной заходила подъ легкимъ покровомъ.

Ефросина теперь точно въ первый разъ увидала Марему, и только теперь почувствовала, что эта темнолицая дѣвушка тоже прекрасна, и хотя красота ея совсѣмъ не такова, какъ красота Мелиты, но зато... здѣсь духъ не поведетъ распри съ плотью и кровью... Эта навѣрно не станетъ укорять природу за однообразіе общихъ всѣмъ людямъ желаній!

И вдова Ефросина сама не услѣдила за собою, какъ она увлеклась страстной красотою Маремы: она коснулась слегка обѣими руками ея плечъ, и потомъ улыбнулась и, быстро отодвинувъ ее отъ себя, воскликнула:

— Ну, что это, право, какъ ты красива, Марема! Вообрази, что до этой минуты я тебя будто совсѣмъ не видала!

— Вотъ какъ! — отозвалась шутливо Марема. — У насъ въ Финикіи, откуда я родомъ, есть много красавицъ; быть можетъ, и мать моя тоже была изъ красивыхъ.

— А ты ее не видала?

Марема, молча, отрицательно покачала головою.

— И вовсе не знаешь ее?

— И вовсе не знаю. Иначе бы я не была продана сюда въ рабство.

— Да, да, да! — молвила, точно будто къ себѣ самой Ефросина. — И знаешь ли, другъ мой Марема, ты ужъ слишкомъ хороша для рабыни... Мелита, можетъ-быть, и не дѣлала ошибки, что держала тебя, пока она была замужемъ за Алкеемъ. Къ нему она была равнодушна, и ты не могла возбуждать въ ней ревности; но когда мужемъ ея станетъ сынъ мой Пруденцій... Вотъ ужъ тогда я ей не посовѣтую этого... Ты не безопасна... Подъ одной крышей съ тобой всякой женѣ должно быть тревожно... Ты опьяняешь... отъ тебя чѣмъ-то вѣетъ... Я боюсь — это, быть можетъ, одуряющій запахъ заколдованнаго корня...

Марема расхохоталась, а Ефросина въ серьезъ продолжала ворчать:

— Нѣтъ, право... Бѣдный Пруденцій!.. не гляди на него этими жгучими глазами, Марема!.. Я постараюсь тебѣ найти добрую госпожу, которая заплатитъ за тебя Мелитѣ хорошую цѣну и будетъ съ тобой хорошо обращаться.

— А развѣ у той госпожи нѣтъ мужа?

— Есть, но онъ уже очень старъ.

— Это тѣмъ лучше: тѣмъ онъ скорѣе возненавидитъ свою старую жену и станетъ гнуться къ колѣнамъ красивой невольницы... И тогда эта добрая госпожа, къ которой ты хочешь меня устроить, исцарапаетъ ногтями лицо Маремы и продастъ меня еще худшей мегерѣ. Такъ-то вотъ трудно устроить со мною. Но ты, о, вдова Ефросина, не безпокойся: знай, что я не невольница больше... Марема свободна. Мелита подарила мнѣ волю.

— Давно ли?

— Сегодня жа ночью, когда ей казались такъ скучны всѣ повторенія въ супружеской жизни. Тутъ она захотѣла, чтобы и для меня не повторялись терзанья неволи. Да; я свободна, вдова Ефросина, и считаю земную любовь разнополыхъ людей высочайшей усладою жизни... Я могла бы... и даже хотѣла бы принести мое тѣло въ жертву при храмѣ Изиды, или могу дать внучатъ матери красиваго и сильнаго юноши, но... ты знаешь... и во мнѣ есть смущенье...

— Чѣмъ же ты смущена?

— А вотъ тѣмъ самымъ, что происходитъ съ Мелитой...

— Что жъ тебѣ кажется?

Марема двинула своимъ смуглымъ плечомъ и, взявши за обѣ руки вдову Ефросину, пригнулась къ ея лицу и сказала ей тихо и внятно:

— Мнѣ иногда тоже кажется... что *Онъ* гдѣ-то есть...

— Кто?

— Тотъ, Кто научилъ ее знать что-то такое, чего мы не знаемъ.

— Такъ пусть она это покажетъ.

— Она еще не нашла... а все хочетъ искать, чего мы не ищемъ...

— Кто Онъ, Который даетъ ей эту силу терпѣть все, что посылается въ жизни, и отказываться отъ всего, что привязываетъ къ этой жизни... Зачѣмъ она налагаетъ на себя узы, а меня одаряетъ свободой?.. О, Ефросина! Что если Мелита правѣй насъ!.. Что если мы не всѣ цѣликомъ здѣсь на землѣ начались и не здѣсь кончимся! что если взаправду здѣсь только школа или гостиница!.. Какъ тогда стыдно!.. Какъ тогда страшно! Я хочу когда-нибудь это проникнуть... хочу это понять... И я все, что мнѣ нужно, пойму... Не вѣрь, вдова Ефросина, что одни только старцы подъ длинными тогами могутъ понять, въ чемъ настоящій смыслъ жизни... Въ то же время, когда я слышу своими ушами, какъ шумитъ моя кровь и стучитъ мое сердце, я слышу и что-то другое... что-то такое, что, вѣроятно, еще явственнѣй слышала моя госпожа и что ее сдѣлало...

— Сумасшедшей на время, ты хочешь сказать?

— Да!.. Я впрочемъ не знаю... я не знаю, что хочу я сказать. Мнѣ кажется, и я будто брежу.

Ефросина погладила Марему по плечу и сказала:

— И впрямь обѣ вы очень молоды, и обѣимъ вамъ что-то представляется, чего вовсе нѣтъ... Вы очень долго жили однѣ, безъ супружескихъ ласкъ... Все это намъ, старухамъ, знакомо. Поусердствуйте браку, нарожайте побольше дѣтей да хорошенько вскормите ихъ молокомъ вашей груди— вотъ вамъ и будетъ настоящій смыслъ жизни. А теперь иди, Марема, къ Мелитѣ и скажи ей, что къ ней скоро приду и принесу ей вкусную рыбу. Мы съ ней сегодня же кончимъ о бракѣ... Бѣдный Пруденцій и безъ того ожидалъ ея ласкъ слишкомъ долго и слишкомъ тяжко томится.

Въ это мгновеніе до слуха женщинъ какъ нарочно достигъ изъ-за толстаго занавѣса томительный бредъ Пруденція:

— О, не удаляйся... не удаляйся, Мелита!... Яви мнѣ милосердіе... стань твоею ногою на этотъ листъ, который растетъ у тропинки... Коснися его твоею ногою, чтобы бѣдный Пруденцій могъ лобызать его послѣ... Сдѣлай, чтобъ я получилъ облегченіе въ моихъ тягостныхъ мукахъ! Я

возьму этотъ листъ и покрою его лобзаніями... я оботру имъ мои слезы, которыми плачу о тебѣ днемъ и ночью, скрывая отъ всѣхъ, о чемъ я дѣйствительно плачу, и... затѣмъ... я положу этотъ листъ на мое сердце... чтобы оно перестало биться... перестало жить... потому что жизнь безъ тебя для меня исполнена муки и на свѣтѣ нѣтъ никого, кто бы для меня что-нибудь значилъ... Я ухожу... я... исчезаю, Мелита!

— Каково это слышать матери! — воскликнула вдова Ефросина.

— Даже и не матери это слышать ужасно! — отвѣтила, вся въ волненьи, Марема, и обѣ онѣ разошлись въ разныя стороны: Ефросина къ базару, гдѣ продавали рыбу, а Марема—къ дому Мелиты.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Вдова Ефросина явилась къ Мелитѣ, какъ обѣщалась,—скоро и съ вкуснымъ блюдомъ изъ рыбы, и, какъ только пришла, такъ сразу же начала съ ней разговоры, клонящіеся къ тому, чтобы получить отъ Мелиты согласіе на бракъ съ Пруденціемъ. Она хотѣла кончить съ этимъ какъ можно скорѣе и думала, что Мелита не станетъ упорствовать; но Ефросина ошиблась въ своихъ соображеніяхъ.

Напрасно вдова Ефросина подводила, что теперь у нихъ въ двухъ домахъ, связанныхъ старинною дружбою, остался только одинъ мужчина, молодой и невинный Пруденцій,—что онѣ обѣ, т.-е. Ефросина и Мелита, должны его поберечь, такъ какъ онъ нуженъ имъ обѣимъ. И что самое лучшее имъ всѣмъ соединиться и жить однимъ общимъ хозяйствомъ. Пусть Пруденцій возьметъ себѣ кормщика въ долю и уходитъ въ море и снова возвращается, а онѣ будутъ его ждать и сдѣлаютъ для него возвращенье домой радостнымъ и счастливымъ.

— А недостатковъ бояться не надо,—продолжала говорить Ефросина:—Пруденцій уже знаетъ всѣ мѣста, гдѣ что

покупали и что продавали Гифасъ и Алкей, и поведетъ дѣло, какъ оно шло. Я ужъ стара и мнѣ не нужны ни запястья, ни кольца, ни цѣпи, — я всѣ ихъ отдамъ тебѣ съ радостью, чтобы ты ихъ прибрала вмѣстѣ съ твоими и надѣвала, когда что захочешь. А кромѣ того... Кромѣ того (Ефросина понизила голосъ), правда иль нѣтъ, но была молва въ людяхъ, будто бъ Гифасъ и Алкей въ самомъ дѣлѣ иногда разбивали чужія ладьи и овладѣвали насильно чужимъ имуществомъ. И что они отнимали, то все отвозили на маленькій островокъ, а островокъ этотъ гдѣ-то затертъ среди скалъ и никому, кромѣ ихъ, неизвѣстенъ. До островка этого, говорятъ, очень трудно добраться среди острыхъ камней и бурныхъ протоковъ; но самъ по себѣ островъ будто пригоденъ для жизни — покрытъ зеленью, имѣетъ источникъ сладкой воды, бѣгущей сверху изъ камня, и въ серединѣ одна надъ другой двѣ пещеры,—одна съ такимъ входомъ, что вровень съ землею, а въ другую влѣзть очень трудно... Въ верхней пещерѣ у нихъ издавна устроено уютное жилище, въ которомъ Алкей и Гифасъ жили и скрывались, высматривая въ морѣ добычу. Отсюда они выплывали, нападали и грабили и потомъ вдругъ исчезали съ награбленнымъ. Пещеры эти не рытыя, а онѣ сами образовались, и та изъ нихъ, которая была въ самомъ верху на обрывѣ высокой скалы, была такъ тщательно скрыта, что ее ни за что не откроетъ ничей посторонній глазъ, а пробраться въ нее можно только приставивши жердь, скрытую въ потаеннѣйшемъ мѣстѣ на днѣ темнаго ущелья. Стоитъ же только принять и убрать эту жердь, и эта верхняя пещера дѣлается недоступною. Но зато она не велика въ сравненіи съ нижней, въ которой, за много лѣтъ совмѣстныхъ трудовъ Алкея съ Гифасомъ, собрано много добра,— много запасовъ пшена, и фруктовъ сушеныхъ, и рыбы сушеной, и боченковъ съ разными винами и оливковымъ и орѣховымъ масломъ; но, кромѣ того, есть и тюки, и цѣлыя скрыни съ одеждой и утварью, есть и кожи, и пурпуръ, и все, о чемъ только можно подумать

— Да; и все это чужое... и на всемъ этомъ слезы и кровь тѣхъ, у кого это отняли,—перебила Мелита.

— Ну, да; разумѣется, тѣ, у кого это было отнято—они, можетъ быть... и плакали... да вѣдь ужъ это все было давно...

— А все-таки было.

— Ну было, конечно.

— А ихъ не жалѣли и грабили... да и жизни лишили ихъ...

— Можетъ быть.

— Нѣтъ,—«не быть можетъ», а это навѣрное такъ было! А ихъ матери, и жены, и дѣти, конечно, ихъ ждали... толпились, рыдали и проклинали злодѣйство... нашихъ мужей... Алкея съ Гифасомъ!

— Ну, вотъ ты опять куда все повернула, Мелита!

— Я не знаю, какъ можно сюда не сворачивать... Не виновата я, что мой духъ все туда глядитъ, куда вы не хотите смотрѣть. Я смотрю, что со смерти Гифаса прошло ужъ три года, и въ это время Алкей ходилъ въ море съ твоимъ сыномъ... Бѣдный Пруденцій! бѣдный, невинный Пруденцій... Онъ молчитъ, онъ скрываетъ, но, конечно, и онъ все это же самое дѣлалъ, что дѣлалъ Алкей, — онъ помогалъ настигать людей въ морѣ, отнимать у нихъ вино, фрукты, хлѣбъ и другіе товары, а самихъ людей топить въ волнахъ... и бить ихъ весломъ, если они выплываютъ...

— Ахъ, Мелита,—вѣдь и все такъ и въ жизни, какъ въ морѣ,—одинъ бьетъ и топитъ другого!

— Это правда! И вотъ это у васъ называется «жить»!.. Вѣчно слѣдить другъ за другомъ, гнаться, отнимать и присвоивать все, что только можно перебить изъ рукъ другъ у друга, и все это прятать въ недоступныхъ мѣстахъ... Для кого?.. для чего?.. Нѣтъ, я не спорю, что такова вся наша жизнь—на водѣ и на сушѣ,—но я не годна къ ней, я ея не хочу... Я не стану бороться за бо́льшую долю чего бы то ни было въ жизни. И теперь я могу все это сдѣлать, потому что кончина Алкея меня разрѣшила отъ всѣхъ обѣщаній.

Тогда вдова Ефросина обняла ее и прямо сказала ей, что она пришла къ ней для того, чтобы просить ее согласиться на новый бракъ съ страстно влюбленнымъ въ нее Пруденціемъ; но Мелита воскликнула:

— Какъ! опять бракъ!.. Опять снова обѣты и снова заботы объ ихъ исполненіи? О, никогда и ни за что на свѣтѣ!

— Но чѣмъ же противенъ тебѣ сынъ мой Пруденцій?

— Твой сынъ мнѣ ничѣмъ не противенъ, но мнѣ противны обязательства новаго брака.

— Почему же?

— Я не считаю за лучшее въ жизни думать всегда объ угожденіяхъ мужу.

— Что же можетъ быть лучше этого?

— Что лучше этого?.. Жить для общаго блага, а особливо тѣхъ, кому трудно живется на свѣтѣ. Въ этомъ есть воля Отца нашего Бога.

— Боги желаютъ, чтобы люди жили и размножались.

Мелита молчала.

— Въ самомъ дѣлѣ, что превзойдетъ воспитаніе честныхъ гражданъ въ своихъ дѣтяхъ?

— Помощь всѣмъ дѣтямъ чужимъ вырастать при меньшихъ страданіяхъ.

— Ты говоришь непонятныя и непріятныя мысли, Мелита!

— Я говорю простыя самыя мысли.

— Ты хочешь остаться одна?

— Зачѣмъ же? Я буду при тѣхъ, кому могу сдѣлать услугу или пользу.

— Такъ вотъ и начни: сдѣлай услугу; проникнись сожалѣньемъ къ тоскѣ и страданіямъ страстно влюбленнаго въ тебя моего сына! Тронься стенаніями невиннаго Пруденція, который такъ много терпитъ, потому что весь женскій родъ для него воплощается въ одной только Мелитѣ...

— Ахъ, оставь это, вдова Ефросина! Кто жаждетъ того, чего жаждетъ сынъ твой, тотъ не изсохнетъ отъ жажды.

— Да,—продолжала вдова:—вотъ какъ Мелита жестока! Мелита не внемлетъ ему и даже не чувствуетъ никакого состраданья къ слезамъ, которыя текутъ по сморщеннымъ щекамъ ея тетки и матери Пруденція, бѣдной вдовы Ефросины.

Мелита взглянула на Ефросину, и увидала, что въ самомъ дѣлѣ все лицо ея мокро и по щекамъ быстро бѣгутъ потоками слезы.

— Это жестоко со стороны васъ обоихъ,—сказала Мелита.

Но Ефросина закачала головою и сказала:

— И это ты же говоришь о жестокости!

— Да; это я говорю о вашей жестокости и не укоряю васъ, но только хочу, чтобы вы меня поняли. Вотъ теперь я скажу, въ чемъ вы жестоки: я вѣрю, что людямъ дано средство жить вѣки вѣковъ, и что отъ человѣка зависитъ войти въ эту вѣчную жизнь, или угаснуть въ предѣлахъ короткаго часа, пока наша свѣча горитъ здѣсь на землѣ. Вотъ такъ мнѣ дано, что духъ мой проснулся отъ природнаго сна, и, проснувшись, онъ слышитъ голосъ, который его громко заветъ и велитъ ему бросать долой съ себя всякія путы... Мой духъ хочетъ бѣжать туда, откуда слышенъ ему зовъ, а вы опять хотите мнѣ спутать ноги страстными привязанностями и навязывать мнѣ обѣты, которыхъ я давать не могу, потому что... я не могу никому обѣщаться...

— Неужели же ты чувствуешь себя такою непостоянною?

— Да что ты пристаешь ко мнѣ съ постоянствомъ! Въ чемъ надо застыть... въ какомъ постоянствѣ? Я сегодня такая какъ есть, а быть можетъ завтра же духъ мой увидитъ еще что-нибудь шире, и, когда подрастутъ его крылья, онъ устремится куда-нибудь выше и дальше... въ вѣчность!..

— Чего же и лучше! — перебила ее Ефросина:—вотъ и пожертвуй собою — соверши счастье Пруденція, который такъ страстно влюбленъ въ тебя и такъ ужасно страдаетъ, что теряетъ различіе между тѣмъ, что̀ видитъ въ явѣ, и

что̀ ему грезится въ мучительныхъ снахъ. Бѣдный ребенокъ! воображенье его съ тобою не разстается ни на минуту, а уста его постоянно шепчутъ имя Мелиты. Бѣдный Пруденцій! сгарая огнемъ юныхъ желаній, уста его лобзаютъ воздухъ, въ которомъ онъ чувствуетъ тебя сквозь стѣны и скалы... О, сжалься! сжалься надъ нимъ! Сжалься надъ обоими нами, Мелита!

Такъ окончила свой разговоръ страстной просьбой вдова Ефросина и, обливаясь слезами, съ простертыми руками, бросилась на землю передъ ногами Мелиты.

Положеніе Мелиты было очень тягостно, но она однако не склонилась къ просьбамъ вдовы Ефросины, и хотя старалась показать ей свое сожалѣніе и участіе, но не подавала никакихъ надеждъ къ согласію на бракъ.

— Какъ! — воскликнула тогда Ефросина. — Неужто ты желаешь быть непреклонна даже въ томъ случаѣ, если Пруденцій умретъ или утратитъ разсудокъ?

— Для чего говорить о томъ, чего еще не случилось?— отвѣчала съ подавляемымъ въ себѣ нетерпѣньемъ Мелита.

— Развѣ ты почитаешь за невозможное, чтобы человѣкъ утратилъ разсудокъ отъ мученій любви?.. Вѣдь это бываетъ.

— О, бываетъ конечно!—отвѣчала Мелита:—но бываетъ потому, что люди сами отдаютъ себя въ жертву своимъ грубымъ желаніямъ и не хотятъ имъ противиться.

— А ты думаешь, это этимъ желаніямъ можно противиться?

— О, еще бы!.. Конечно...

Но въ это самое время до слуха обѣихъ женщинъ достигли громкіе крики Маремы, которая бѣжала къ дому и кричала издали:

— Госпожа Ефросина! Госпожа Ефросина! спѣши скорѣй къ дому... у тебя случилось большое несчастіе! Пруденцій сталъ умываться и вдругъ ударился объ полъ, и теперь катается съ пѣной у рта и рыкаетъ, какъ львенокъ... Мы его впятеромъ насилу держали, а горшечникъ Агавъ

обложилъ ему голову мокрою глиной; но спѣши, госпожа,— это все едва-ли поможетъ... Бѣдный Пруденцій! бѣдный Пруденцій! онъ едва-ли воротится къ жизни.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Услышавъ о такомъ жесточайшемъ страданіи сына, вдова Ефросина только молча бросила взглядъ, полный укора, Мелитѣ и, позабывъ свои годы, побѣжала домой, гдѣ терзался Пруденцій; а Марема, межъ тѣмъ, разсказала Мелитѣ подробнѣе, какъ все это случилось. Она повторила ей все то, что уже знаемъ, и потомъ прибавила тихо:

— Напрасно скрывать, что онъ все это терпитъ отъ томленья жестокаго чувства, которымъ весь къ тебѣ полонъ. Ты, какъ природа, властвуешь надъ всѣмъ его существомъ... Шесть человѣкъ насъ съ Агавомъ, который подоспѣлъ къ намъ, были не въ состояніи сладить съ демономъ, который напрягъ мышцы юноши и вспѣнилъ въ немъ кровь до того, что всѣ уста его облилися розовой пѣной; но едва я закрыла его помутившіеся глаза твоимъ покрываломъ, которое несла на плечахъ, чтобы вымыть его у источника, Пруденцій вдругъ стихъ и зашепталъ:

«Мелита!.. близко Мелита!.. боги!.. пусть я умру прежде, чѣмъ она удалится!..

— И прости меня, госпожа, — заключила Марема:—онъ такъ страдалъ, что я не могла взять у него твое покрывало... Пусть ему будетъ неможечко легче... Онъ обмоталъ въ него свои руки и прижалъ его къ сердцу и мало-помалу въ немъ судороги стихли... онъ, можетъ быть, даже... уснетъ или...

— Что?

— Перейдетъ безъ новыхъ страданій въ царство тѣней.

Мелита поднялась съ мѣста и сказала:

— Пойдемъ туда вмѣстѣ!

— Какъ!.. ты хочешь идти туда... въ домъ Ефросины, гдѣ лежитъ несчастный Пруденцій, съ головой, горящей въ огнѣ и обложенной мокрою глиной?

— Ну, да, конечно!

— Зачѣмъ же пойдешь ты туда?

— Зачѣмъ?.. Тамъ страдаетъ человѣкъ, и я хочу идти туда.

— Конечно, не съ тѣмъ, чтобы усилить его страданіе?.. Ты не отнимешь у него свое покрывало? Ты не гнѣваешься на меня, что я тамъ оставила эту ткань?

Мелита отвѣчала, что она нимало не сердится на Марему, а напротивъ, даже рада, что та оставила покрывало, сдѣлавшее какое-то удовольствіе капризу больного Пруденція, и добавила, что ей все равно, что̀ объ ней станутъ говорить или думать въ селеніи, — что все это не стоитъ одной минуты человѣческаго страданія, если ему есть средство помочь.

— О, госпожа моя! — радостно вскричала Марема. — Идемъ же скорѣе, скорѣе спѣшимъ въ этотъ домъ плача! Ты властна въ цѣлой природѣ милаго юноши и одного звука твоего голоса, одного твоего приближенія будетъ довольно, чтобы воззвать Пруденція къ жизни, если только мы успѣемъ вбѣжать подъ кровъ Ефросины ранѣе, чѣмъ совсѣмъ остановится движеніе сердца въ груди ея сына.

— Поспѣшимъ!

— Поспѣшимъ! поспѣшимъ!

И онѣ обѣ схватились за руки и обѣ ровно и шибко побѣжали, — одна ясная, какъ день, — другая темная, какъ южная ночь... Ихъ волосы вѣялись въ воздухѣ и за ними тихо разстилалось дыханіе жизни.

— О, ты спасешь его!.. ты спасешь! — шептала, сжимая на бѣгу руку Мелиты, Марема...

— Можетъ быть... — отвѣчала ей съ тихимъ пожатьемъ Мелита.

И что же случилось?

Прежде чѣмъ быстрыя ноги Мелиты и Маремы достигли жилища вдовы Ефросины, — ужасный припадокъ оставилъ Пруденція: онъ спокойно вздохнулъ, сѣлъ среди пола, на которомъ лежалъ, улыбнулся счастливой улыбкой, и, протянувъ впередъ руки, воскликнулъ:

— Боги! хвала вамъ во вѣки... Сердце Мелиты исполнилось жалости... Мелита встала... Мелита спѣшитъ, чтобы капнуть росинкой участья на мое сгорѣвшее сердце... Вотъ она, вотъ! Откройте скорѣе завѣсу!

И какъ голосъ Пруденція звучалъ увѣренностью и силой, то желанье его тотчасъ же исполнили, а когда завѣса была распахнута, тогда всѣ увидали передъ нею раскраснѣвшуюся отъ быстрой ходьбы прекрасную Мелиту, а за нею не менѣе красивую въ своемъ родѣ Марему.

— Вмѣсто одной облегчительницы — къ тебѣ спѣшатъ двѣ, — прошептали сторонніе женщины, стоявшія возлѣ Пруденція.

Онъ же теперь похожъ былъ больше всего на ребенка, у котораго только-что унялись жестокія муки, отъ воспоминанія о которыхъ ему въ одно время и сладко, и больно.

Пруденцій сидѣлъ и смотрѣлъ въ лица пришедшихъ и повторялъ, какъ дитя, улыбаясь:

— Вотъ и она... Мелита... Марема!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Вдова Ефросина была несказанно рада, что Мелита пришла къ ней и сама во-очію могла убѣдиться, какъ тяжко страдаетъ Пруденцій и какъ облегченіе его мукъ прямо зависитъ отъ Мелиты, и Мелита все это видѣла, не спорила съ нею. Доказательства были слишкомъ очевидны, и Мелитѣ сдѣлалось ясно, что ей не оставалося никакой возможности жить въ своемъ домѣ въ одномъ и томъ же селеніи, гдѣ былъ домъ вдовы Ефросины. Здѣсь она будетъ постоянно встрѣчать Пруденція, и это станетъ усиливать его мучительную страсть, которой она отвѣчать не желаетъ. Каждый человѣкъ въ этомъ селеніи непремѣнно станетъ укорять ее за жестокость и будетъ говорить о ея глупомъ упрямствѣ, такъ какъ заботу о сохраненіи въ себѣ ничѣмъ не плѣненнаго духа во всѣ времена люди желали считать за «упрямство». А притомъ до безумія достигшая страсть

Пруденція заставляла бояться, какъ бы онъ въ одинъ изъ подобныхъ порывовъ не посягнулъ на свою жизнь, и тогда горю осиротѣлой вдовы Ефросины не будетъ предѣла, а доброй Мелитѣ не снесть вида всѣхъ этихъ бѣдствій, въ которыхъ всѣ непремѣнно станутъ ее считать виноватой. Еще оставалось ей развѣ одно: тайно покинуть домъ и селеніе, и скрыться на вѣки... Мелита на это была бы готова, она бы устроилась жить съ единомысленною ей подругою дѣтства, христіанкой Эрминіей; но вѣдь Пруденцій могъ ее всюду преслѣдовать и вездѣ нарушалъ бы ея покой и продолжалъ бы губить свою жизнь. Надо было отыскать иной, болѣе удобный для всѣхъ выходъ изъ этого положенія, и Мелита рѣшилась непремѣнно выдумать что-нибудь болѣе удовлетворительное и, обдумавъ, привести свое рѣшеніе въ дѣйствіе, какія бы оно ни представляло трудности.

Въ такомъ настроеніи она предстала предъ влюбленными глазами изступленнаго Пруденція, и когда удостовѣрилась, что онъ успокоился и можетъ ее понимать, она подала ему руку и спокойно сказала:

— Не предавайся отчаянію, добрый Пруденцій. Ты не будешь вѣчно томиться такъ, какъ до сихъ поръ томился. Съ этой поры я не буду тебя избѣгать и стану думать, какъ сдѣлать тебя счастливымъ, а тебя умоляю: имѣй ко мнѣ вѣру и немножко терпѣнья. Я тоже сильно взволнована, и духъ мой нуждается въ отдыхѣ и покоѣ. Дай мнѣ побыть въ тишинѣ съ самою собою только три дня, а на четвертый день приходи передъ вечеромъ на берегъ моря, гдѣ стоитъ наша лодка, и тамъ я скажу тебѣ, какое придетъ мнѣ рѣшеніе, и оно будетъ твердо настолько, что ты можешь на него положиться. Пока же, на три дня, яви мнѣ пріязнь—будь покоенъ.

— О, не три дня, а три года я готовъ ждать твоего слова,—отвѣтилъ, оживившись, Пруденцій. — Лишь бы ты меня не отвергла... лишь бы мнѣ было чего ожидать.

— Ну, три года — слишкомъ долгое время. Черезъ три года ты самъ меня можешь отвергнуть, такъ какъ я тебя

старше... Нѣтъ, ты три дня подожди, и это будетъ довольно.

— Я отвергну тебя! О, боги! о, разразите меня, справедливые боги, если это возможно, чтобы въ сердцѣ моемъ кто-нибудь замѣнилъ образъ Мелиты!..

— Не клянися, Пруденцій, ничѣмъ, и не зови во свидѣтели боговъ, о природѣ которыхъ тебѣ ничего не извѣстно. Пусть лучше время само покажетъ намъ, каковы мы и чего мы достойны.

— Согласенъ, согласенъ, — воскликнулъ Пруденцій. — Цѣлая вѣчность докажетъ тебѣ, что ты для меня всего дороже на свѣтѣ, и что нѣтъ ничего, что я предпочелъ бы тебѣ на минуту.

— Ну, жди же!

И она дружески простилась съ нимъ и съ матерью вдовой Ефросиной, и ушла къ себѣ въ домъ свой съ Маремой, оставивъ вдову и Пруденція успокоенными и готовыми ожидать черезъ три дня ея рѣшенія.

Рѣшенія этого стали ждать съ любопытствомъ и всѣ прочіе люди въ селеньѣ, потому что всѣмъ было любопытно: не хитритъ ли Мелита, притворяясь, будто она не желаетъ взять себѣ мужемъ несравненной красоты юношу, который страстно влюбленъ въ нее и моложе ея на три года.

— Что-то измыслитъ Мелита? Каковъ ея умъ и въ чемъ ея хитрость?

Три дня пролетѣли для всѣхъ въ любопытномъ ожиданіи: въ эти три дня Мелита была безвыходно дома, а Пруденцій поправился отъ своихъ жестокихъ припадковъ и на четвертый день передъ вечеромъ вышелъ на берегъ моря и увидалъ, что здѣсь его ожидаютъ Мелита съ Маремой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Когда они свидѣлись, Мелита сказала Пруденцію:

— Все идетъ хорошо: мы теперь быстро приблизимся къ цѣли осуществленія нашихъ желаній.

— Я не помню себя отъ счастія, что желанія наши согласны! — воскликнулъ весь озарившійся счастьемъ Пруденцій.

— Я сказала не такъ,—отвѣчала Мелита,—но все равно: то, что ты почитаешь за высшее счастье, все будетъ зависѣть отъ тебя самого...

— Значитъ, оно все равно, что достигнуто.

— Нѣтъ еще,—раньше чѣмъ ты будешь моимъ мужемъ, ты долженъ исполнить три мои просьбы.

— Я готовъ исполнить ихъ безконечное множество.

— Нѣтъ, всего только три. Прежде всего я не хочу быть здѣсь предметомъ вниманья для всѣхъ, ни теперь, когда ты станешь выполнять мои просьбы, ни послѣ, когда можетъ случиться, что я должна буду выполнить твою волю и заплатить мой долгъ за твое послушаніе моими услугами и женскою лаской.

— О, говори только скорѣе, что̀ нужно! Если ты хочешь скрыться отсюда... если желаешь уйти отъ всѣхъ глазъ...

— Да, почти что отъ всѣхъ... Пусть съ нами будетъ только Марема, но чтобъ не было даже вдовы Ефросины... Ея безпокойная нѣжность можетъ испортить все, что должно совершиться въ тишинѣ уединенiи и покоя.

— Хорошо! Я обѣщаю тебѣ это за мать: она такъ меня любитъ, что на все согласится. А что касается до самой возможности скрыться отъ всѣхъ, въ никому неизвѣстное и недоступное мѣсто, то я владѣю для этого такою возможностью, лучше которой нельзя услыхать въ самой затѣйливой сказкѣ.

И влюбленный Пруденцій самъ, безъ разспросовъ Мелиты, разсказалъ ей о цвѣтущемъ ущельѣ въ скалѣ, сокрытой среди другихъ неприступныхъ скалъ, гдѣ у нихъ есть двѣ пещеры, богатые склады запасовъ для жизни, ручей сладкой воды, стадо козъ и хохлатыя куры.

— Туда никто не можетъ придти, — добавилъ Пруденцій,—кромѣ двухъ тѣхъ, которые оставили насъ и живутъ нынче въ темномъ царствѣ тѣней; одинъ только я знаю

небезопасный и узкій проливъ, которымъ можно пробраться къ этой скалѣ и отыскать въ ней наше ущелье. Если ты хочешь самаго неприкосновеннаго уединенія...

— Съ тобой и Маремой!—перебила Мелита, тихо кладя свою руку въ руку Пруденція.

— О, ты меня исполняешь восторгомъ! И такъ, если ты довѣряешься мнѣ и не боишься проплыть на ладьѣ узкимъ и бурнымъ протокомъ, въ которомъ я знаю каждый камень, то стоитъ тебѣ сказать, когда ты желаешь отплыть, и—все будетъ готово.

— Прекрасно, — пусть это будетъ готово завтра, какъ сядетъ солнце. Но прежде ты возвратись сегодня домой и разскажи своей матери, на что мы рѣшились. Я хочу знать, что она на все это согласна, и хочу поручить ей свой домъ и хозяйство, такъ какъ Марема уѣдетъ со мной въ ваше ущелье и домъ мой останется пустъ. Потомъ позови завтра утромъ глиномята Агава и самъ приходи съ нимъ, и перенесите изъ дома въ ладью мою кровать и постель, и скрыни съ уборами и прочую утварь, и съѣстные запасы, которые здѣсь будутъ ненужны, а тамъ пригодятся... Я все хочу взять и увезть, чтобы это все пошло тамъ на пользу, такъ какъ мы, можетъ быть, проживемъ тамъ очень долгое время...

Пруденцій слушалъ все это въ величайшемъ восторгѣ и съ совершеннымъ вниманьемъ, а при послѣднихъ словахъ прижалъ страстно къ груди руки Мелиты и прошепталъ однимъ придыханьемъ:

— О, я увѣренъ, что никто никогда не умѣлъ пролить однимъ словомъ столько восторговъ, сколько ты проливаешь ихъ въ мое сердце!

Она посмотрѣла на него благостнымъ взглядомъ, какъ мать на ребенка, и тихо ему улыбнулась и отвѣчала:

— О, мой невинный Пруденцій! Не хвали меня много, мнѣ трудно слушать твои похвалы. Будемъ болѣе дѣлать... станемъ спѣшить... не будемъ терять ни минуты. Я сейчасъ возвращусь съ Маремой домой и стану спѣшить, чтобъ

уложить всѣ мои вещи, а ты иди къ матери, разскажи ей, что мы рѣшились уѣхать отсюда и тамъ вдалекѣ отъ людей совершить то, что должно совершиться. Скажи отъ меня вдовѣ Ефросиньѣ, что духъ мой полонъ участія къ ней и къ тебѣ и что я ничего такъ еще не желала, какъ желаю того, чтобы увидѣть всѣхъ васъ въ томъ положеніи, къ которому всѣ вы теперь наиболѣе сродны.

Сказавъ это, Мелита встала и пошла къ селенію, держа одною рукою за руку Пруденція, а другою Марему, и такъ они дошли до того мѣста, гдѣ тропы къ домамъ ихъ раздѣлялись.

Здѣсь Мелита опустила руку Пруденція; еще разъ сказала ему, какъ онъ долженъ говорить съ своей матерью, и сама удалилась къ себѣ вмѣстѣ съ Маремой, и дѣйствительно обѣ женщины вмѣстѣ всю ночь провели въ томъ, что уложили въ мѣшки и въ укладки все, что было цѣннаго въ домѣ Алкея. Всѣ запасы были тоже упакованы въ корзины, а изъ прохладныхъ ямъ достали мѣха съ виномъ и сыры, и все это также приготовили къ отправкѣ. Къ разсвѣту все было готово, и на стѣнѣ большого покоя остался висѣть на острой рыбьей кости одинъ только широкій поясъ Алкея, убранный золотою чеканкою и драгоцѣнными камнями, да простая тростниковая дудка, въ которую Мелита всунула свернутый туго въ трубку папирусъ, на которомъ предъ самымъ разсвѣтомъ успѣла начертать нѣсколько строкъ.

Въ этихъ строкахъ было сказано: «Я получила свободу и не хочу потерять ее снова, но меня посѣтило испытанье, котораго я не могу избѣжать. Я надѣюсь, однако, что духъ мой сохранитъ свою силу и что любовную страсть, которая зажглася въ другомъ противъ моего желанія, мнѣ удастся смирить въ немъ съ помощью той же грубой природы, которой онъ подчиняетъ свой духъ. Если я надъ всѣмъ этимъ восторжествую, я отыщу путь къ тебѣ и приду къ тебѣ, чтобы окончить свой срокъ на землѣ вмѣстѣ съ тобою, позабывъ о себѣ и служа вмѣстѣ съ тобою другимъ, по ве-

лѣнью Того, чье священное слово зажгло въ насъ свѣтъ разумѣнья и вѣру въ вѣчную жизнь нашего духа».

Когда же Мелита вложила папирусъ въ полый тростникъ, она залѣпила концы его воскомъ и повѣсила дудку на стѣну у драгоцѣннаго пояса, и тотчасъ же, обернувшись, увидала, что у дверей, съ перстами на устахъ, стоила Марема.

— Ты за мною слѣдишь и подсматриваешь, — съ тихой улыбкой сказала Мелита.

— Нѣтъ,—отвѣчала Марема: — я не слѣжу за тобою и не стану никому тебя выдавать, но я по всему замѣчаю, что ты задумала какую-то хитрость, которая поведетъ дѣло совсѣмъ не къ тому, что ты обѣщаешь Пруденцію.

— А разскажи-ка мнѣ, если ты знаешь,—что я ему обѣщала?

— Ты обѣщала, что нынѣшней ночью ты, онъ и я уѣдемъ отсюда на дикую скалу въ неизвѣстномъ ущельѣ, въ которой сокроемся надолго...

— Это все такъ и будетъ: вечернія звѣзды увидятъ насъ на ладьѣ нашей въ морѣ.

— Тогда я смущена еще больше... тогда въ умѣ у тебя есть что-то такое, чего я ужъ вовсе не въ силахъ понять, если ты мнѣ не скажешь.

— Ахъ, другъ мой Марема, — ты отгадала! До времени я тебѣ не скажу ничего и беру съ тебя слово, что ты не станешь ни о чемъ меня болѣе спрашивать. Это будетъ мнѣ отъ тебя самою лучшею расплатой. Не любопытствуй, Марема, ни о чемъ: все, что должно случиться—изъ всѣхъ постороннихъ одна ты только увидишь, но не здѣсь, не теперь и не сразу. Я ничего никому злого не мыслю, и Пруденцій приметъ на долю свою то, что самъ для себя предпочтетъ. Я отдаюсь въ его волю... Но ты отгадала, — онъ долженъ будетъ мнѣ доказать, что въ самомъ дѣлѣ влеченье, которое онъ ко мнѣ чувствуетъ, сильнѣе всего и никакимъ болѣе грубымъ влеченіемъ замѣнено быть не можетъ. Въ этомъ онъ долженъ меня убѣдить такъ, чтобы во мнѣ не

было мѣста никакому сомнѣнью, и ты, добрый другъ мой Марема, должна мнѣ въ этомъ помочь, потому что это для меня имѣетъ слишкомъ большое значеніе. Не откажи мнѣ, Марема!

— О!—отвѣчала съ чувствомъ Марема:—можешь ли ты во мнѣ сомнѣваться, Мелита! Я такъ хорошо знаю твой разумъ и доброе сердце, что мнѣ не нужно бороться съ собою, чтобы дать тебѣ самыя страшныя клятвы послужить тебѣ всѣмъ, чѣмъ ты захочешь. Я знаю, что ты никому не сдѣлаешь зла, какъ не дѣлала его мнѣ во все время, пока я была твоею рабыней. Что бы ты ни сказала — Марема сдѣлаетъ все, не поддаваясь никакимъ своимъ собственнымъ чувствамъ... Клянусь...

— Довольно! — перебила Мелита: — не клянися ничѣмъ: клясться нельзя, потому что всѣ мы во власти всемогущаго Бога. Я тебѣ вѣрю безъ клятвъ и не скрываюсь больше, что въ умѣ моемъ есть замыселъ, о которомъ до времени не хочу сказать никому и исполнить который могу только при твоей помощи.

— Вѣрь же, что помощь моя тебѣ принадлежитъ безъ-завѣтно и...

— И довольно! довольно, Марема!—воскликнула Мелита, и бывшая госпожа и рабыня обняли другъ друга и остались такъ на мгновенье. Такъ ихъ и застала тихо вошедшая къ нимъ вдова Ефросина, за которою сзади входили Пруденцій и горшечникъ Агавъ съ длинными жердями, изъ которыхъ должно было сдѣлать носилки для переноса имущества Мелиты въ ладью.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Вслѣдъ за этимъ сейчасъ же сдѣлали носилки и начали переносить вещи въ ладью. Дѣло это справляли Пруденцій съ Агавомъ-горшечникомъ, а имъ помогала Марема, которая для этого часто отлучалась къ лодкѣ. Въ домѣ же оставались вдвоемъ вдова Ефросина съ Мелитой, изъ которыхъ

послѣдняя приготовляла у очага обѣдъ для работающихъ при нагрузкѣ ладьи, а мать Пруденція ей помогала и въ промежуткахъ между занятіями говорила съ ней о томъ, какъ она понимаетъ затѣянное Мелитою дѣло.

Вдовѣ Ефросинѣ казалось, что Мелита уѣзжаетъ съ ея сыномъ потому, что Пруденцій ей милъ, но она очень стыдлива и ужъ слишкомъ высоко подняла свою цѣломудренную славу; теперь ей не хочется здѣсь передъ всѣми показать свою склонность, но тамъ она, ни кѣмъ не стѣсняемая, отдастся любви на свободѣ и со всѣмъ пыломъ долго сдержанной страсти. И будучи въ этомъ убѣждена, вдова Ефросина смотрѣла на сборы совершенно спокойно. Мелита же ей не говорила ничего положительнаго, но не разъ просила ее сохранять это спокойствіе постоянно, даже тогда, если отъ нихъ очень долго не будетъ извѣстій.

— Пусть ихъ не будетъ хоть годъ! — отвѣчала вдова Ефросина,—я такъ истерзалась, видя долго мученія сына, что готова снести на себѣ всѣ томленія долгой безвѣстности, лишь бы могла быть увѣрена, что такихъ безнадежныхъ терзаній, какія онъ снесъ, впередъ онъ сносить ужъ не будетъ.

— На этотъ счетъ будь вполнѣ увѣрена: такими терзаніями, какими томился Пруденцій, онъ больше томиться не будетъ,—отвѣчала Мелита.

— Въ одномъ только этомъ я и хочу быть увѣрена.

— Такъ это и будетъ; но ты сказала, что готова пробыть безъ вѣстей цѣлый годъ.

— Я это сказала... И что же, ежели тебѣ это нужно...

— Да, это именно можетъ быть нужно...

Вдова Ефросина погрозила пальцемъ Мелитѣ и сказала съ улыбкою:

— Знаю...

— Что же ты знаешь?

— Черезъ годъ... я, быть можетъ, увижу прелестнаго внука!.. Что же, это прекрасно... Тогда и конецъ всѣмъ людскимъ разговорамъ о твоемъ прежнемъ мужѣ Алкеѣ...

Я тебя понимаю: такія, какъ ты, всегда любятъ сильно, но скромно. Боги вамъ въ помощь, сожгите одни тамъ цвѣты Гименею на камнѣ, и пусть свидѣтельницею вашихъ брачныхъ обѣтовъ будетъ Марема... А потомъ, годъ пройдетъ, я обниму васъ и внука, и тогда попечемся мы и о Маремѣ... Добрая дѣвушка, она стоитъ добраго мужа.

— И навѣрно найдетъ его,—подсказала Мелита.

— Я тоже думаю. Мы на нее до сихъ поръ всѣ какъ-то глядѣли совсѣмъ безъ вниманья, а вчера, когда я съ ней говорила, мнѣ вдругъ показалось, что Марема вѣдь очень красива.

— Еще бы, еще бы она не красива! И умна, и добра, и красива, и имѣетъ горячее сердце... И при томъ, что за силы и какое здоровье!.. О, она стоитъ превосходнаго мужа, и то, что ты получила о ней хорошее мнѣніе, приноситъ мнѣ огромное счастье. Я рада, что отправляюсь отсюда въ полномъ согласьѣ съ тобою.

И въ такихъ-то согласныхъ бесѣдахъ у нихъ прошелъ цѣлый день; всѣ были веселы, съѣли вмѣстѣ вкусный обѣдъ, и передъ вечеромъ Пруденцій и Марема понесли изъ дома къ ладьѣ послѣднюю ношу, а Мелита осталась съ глиномятомъ Агавомъ, чтобы закрыть входы, и тутъ-то Мелита сняла со стѣны широкій поясъ Алкея, усыпанный камнями, и тростниковую дудку, и, показавъ поясъ Агаву, сказала:

— Способенъ ли ты оцѣнить, чего можетъ стоить эта вещь, если ее отнести въ большой городъ и продать тамъ, гдѣ есть богатые люди?

Агавъ отвѣчалъ:

— Оцѣнить такую драгоцѣнную вещь я не могу, но знаю, что если бы я триста лѣтъ кряду мялъ глину и надѣлалъ горшковъ цѣлую гору, то все это не составило бы и половины цѣны каждаго изъ этихъ свѣтящихъ камней.

— Такъ вотъ же, тебѣ вовсе не надо триста лѣтъ мять твою глину и надѣлывать гору горшковъ: исполни одно порученье, которое я хочу тебѣ дать, и этотъ поясъ пусть будетъ твоею наградой. А что въ словахъ моихъ нѣтъ ни

обмана, ни шутки, такъ бери эту вещь сію же минуту и спрячь ее у себя подъ одеждой. А кстати нихни вмѣстѣ съ нею туда эту дудку, и когда мы уѣдемъ, ты брось свою глину,—горшковъ вѣдь у всѣхъ здѣсь довольно въ селеньѣ.

— О, слишкомъ довольно! — отвѣчалъ, засмѣявшись, Агавъ: — я ужъ не знаю, кому продавать и то, что имѣю въ запасѣ.

— Такъ и оставь ихъ. Пускай жена твоя продаетъ дома горшки тѣмъ, у кого свои перебьются, а ты пойди къ Клазомену, и тамъ въ этомъ городѣ отыщи подругу моихъ дѣтскихъ лѣтъ, имя которой Эрминія, и отдай ей эту дудку.

— Хорошо; а потомъ что я еще долженъ сдѣлать?

— Только всего.

— Отыскать госпожу Эрминію и отдать ей эту дудку, и только всего?

— И только всего.

— Что же, она должна заиграть на этой дудкѣ?

Мелита улыбнулась на шутку Агава и отвѣчала такъ же шутливо:

— Дудка сама заиграетъ, что нужно. Впрочемъ, можешь сказать Эрминіи, что ты меня видѣлъ, и при какихъ обстоятельствахъ, какъ мы разстались. И за это возьми себѣ поясъ и продай его, гдѣ тебѣ это удастся, а потомъ возвращайся домой и доживай свои старые годы, не терзаясь нуждою.

— Что же, въ самомъ дѣлѣ, я это сдѣлаю! Клянусь богами, я сдѣлаю это! — воскликнулъ горшечникъ. — Я отыщу госпожу Эрминію и разскажу ей, какъ было все дѣло. Пусть-ка она тогда заиграетъ объ этомъ на дудкѣ.

И съ этимъ горшечникъ Агавъ спряталъ поясъ и дудку, и они оба съ Мелитою вышли изъ опустѣвшаго дома Алкея; а когда они приблизились къ лодкѣ, то уже застали, что Марема сидѣла на веслахъ, обнаживъ до плечей свои крѣпкія руки, а Пруденцій, вырвавшись изъ долгихъ объятій вдовы Ефросины, распускалъ косой длинный парусъ на реѣ.

Мелита тоже скоро простилась съ вдовой Ефросиной и спрыгнула съ берега въ лодку.

Марема шевельнула веслами, — нагруженная ладья слегка зашуршала днищемъ по песку, а потомъ, достигши свободной волны, покачнулась, вѣтеръ надулъ паруса, и между отъѣзжавшими и остающеюся Ефросиной и Агавомъ вдругъ удлиннилось разстояніе...

Переговариваться съ лодки на берегъ стало невозможно, но зато до слуха вдовы и Агава теперь доносилось стройное пѣніе: это была пѣснь любви, которой слова и напѣвъ ея тотчасъ узнали и вдова, и горшечникъ... Пѣли стройно два голоса, Пруденцій съ Маремой.

И пѣсня ихъ тоже стихала и замирала въ пространствѣ; но вотъ, обойдя острый мысъ и пологую отмель, ладья переставила парусъ и будто подвинулась ближе, и съ нея опять на мгновеніе донеслись звуки пѣнія, но совершенно иного, котораго ни слова, ни напѣвъ не были знакомы вдовѣ Ефросиньѣ. Пѣлъ одинъ ровный и торжественный голосъ.

— Это голосъ Мелиты! — сказала вдова Ефросина.

— Да, и мнѣ кажется тоже, — отвѣчалъ Агавъ,

— Что же это за незнакомая пѣсня?

— Это?.. Мнѣ кажется... Это будто похоже на гимнъ, который я слышалъ однажды, когда мы бросали со скалы на каменья тѣхъ забавныхъ людей, которые насъ увѣряли, будто тотъ не умретъ, кто станетъ жить на землѣ такъ, какъ училъ жить ихъ пророкъ галилейскій.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Всю ночь ярко свѣтила луна и дулъ благопріятный для пловцовъ вѣтеръ. Хорошо знавшій всѣ морскія примѣты, Пруденцій смѣло и ловко правилъ ладьею, которая, такимъ образомъ, держала прямой путь къ тому таинственному пункту, куда Пруденцій увозилъ Мелиту и Марему для того, чтобы тамъ, по прихоти первой изъ нихъ, исполнить ея испытанія и заслужить себѣ ея любовь.

Отъ селенія, гдѣ жили Алкей и Гифасъ, до скалы, гдѣ имъ пришлось отыскивать скрытый пріютъ для склада своихъ хищеній, при попутномъ вѣтрѣ было полторы сутокъ ходу. Путь во все время держали такой, что не теряли изъ вида береговъ, хотя шли то ближе къ землѣ, то отдаляясь въ море тамъ, гдѣ было много камней и плыть вблизи береговъ было опасно.

Среди второй ночи пловцы достигли пролива, за которымъ, какъ лѣсъ, возвышались сѣрыя каменистыя скалы, не имѣвшія, повидимому, ни растительности, ни обитателей. Онѣ сначала были меньше и начинались камнями, которые невысоко возвышались надъ водой, но потомъ толпились и возвышались что дальше, то выше, и нѣкоторыя изъ этихъ скалъ казались довольно большими и сложными по очертанію.

Проходъ между ними былъ чрезвычайно опасенъ, и его могъ предпринять только такой человѣкъ, кому путь этотъ хорошо извѣстенъ и кто обладаетъ большой ловкостью и силой.

Пруденцій всѣмъ этимъ обладалъ въ совершенствѣ, и обѣ женщины могли имъ любоваться, какъ онъ, почти обнаженный, стоя на кормѣ, проводилъ ладью между рѣжущихъ камней, то подпираясь длиннымъ шестомъ, то вонзая багоръ въ расщелины или хватаясь имъ за уступы. Но наконецъ были два мѣста, гдѣ плыть казалось совсѣмъ невозможно, потому что ни упереться, ни ухватиться было не за что, а страшная быстрота крутила ладью и уносила ее на острыя скалы, но тутъ Пруденцій вдругъ нырнулъ въ воду и черезъ одно мгновеніе снова выплылъ наверхъ, держа въ рукахъ скользкій и опутанный водорослями канатъ. Перебирая этотъ канатъ, онъ ловко перетянулъ ладью черезъ стремнину, которую никакъ бы нельзя было перейти ни подъ вѣтромъ, ни на веслахъ. Такъ же точно прошли и вторую стремнину, за которою недалеко была и самая цѣль мореходцевъ.

Тутъ въ очень стѣсненной группѣ скалъ была одна

такая, которая съ перваго взгляда ничѣмъ не отличалась отъ прочихъ, но на самомъ дѣлѣ она имѣла существенную разницу по странной игрѣ природы, устроившей въ этой скалѣ одну подъ другой три террасы, обращенныя къ полдню, и на средней изъ нихъ — обширную расщелину, за которою на полянѣ, поросшей кустами, были двѣ пещеры, одна внизу, а другая на значительной высотѣ, такъ что въ нее можно было взойти только приставляя длинную суковатую жердь, замѣнявшую лѣстницу, которую, по миованіи надобности, опять отнимали и клали въ купы зеленаго діорита, гдѣ она и лежала такъ, что была незамѣтна. Съ той стороны, куда выходила площадка и входы обѣихъ пещеръ, больше не было скалъ и открывалось безбрежное море. У подошвы скалы была маленькая, но очень удобная бухточка, въ формѣ сандаліи. Ладья заходила въ нее легко и помѣщалася въ ней удобно и совсѣмъ незамѣтно.

Пруденцій присталъ въ эту бухту и, высадивъ Мелиту съ Маремой, повелъ ихъ наверхъ, гдѣ были пещеры.

Въ нижней пещерѣ было большое жилье, раздѣленное натуральными столбами скалы на нѣсколько удобныхъ покоевъ, изъ которыхъ два были убраны коврами и кожами и представляли во всѣхъ отношеніяхъ здоровое и удобное помѣщеніе.

Эту нижнюю пещеру Пруденцій предоставилъ въ распоряженіе Мелиты и Маремы, а самъ началъ жить въ верхней пещерѣ, которая была потѣснѣе нижней и представляла собственно разбойничій тайникъ, но однако и въ ней былъ здоровый, чистый воздухъ и хорошая постель изъ цыновокъ.

Запасовъ же и разной утвари въ нижней пещерѣ было накоплено столько, что пять человѣкъ смѣло могли продовольствоваться здѣсь цѣлый годъ.

Мелита и Марема благодарили Пруденція за доставленное имъ удобство въ помѣщеніи и, утомленныя длиннымъ морскимъ переходомъ, тотчасъ же легли спать и проспали очень долго, а проснувшись, когда солнце уже высоко

взошло и играло по сверкающей зыби моря, были въ восхищеніи отъ свѣжести воздуха и обширнаго вида на море. А межъ тѣмъ недалеко въ сторонѣ отъ входа въ ихъ пещеру былъ уже разведенъ огонь, возлѣ него положена коза съ полуснятою кожей и сосудъ со свѣжей водою.

Все это, безъ сомнѣнія, приготовилъ Пруденцій.

Увидѣвъ это, женщины стали смотрѣть: гдѣ же находится теперь самъ Пруденцій, котораго онѣ желали поблагодарить за его заботы о нихъ, но Пруденція не было видно. Тогда Мелита съ Маремой принялись хозяйничать около очага, и только-что сняли кожу съ козы и, распластавъ ея мясо, стали однѣ части варить, а другія втыкали на прутья, чтобъ жарить, какъ вдругъ появился Пруденцій. Онъ шелъ, обливаясь потомъ и таща на себѣ по кручѣ отъ моря съ ладьи тяжелую ношу.

— Ну что ты за милый хозяинъ!—увидѣвъ его, закричала Марема.

— И я скажу тоже,—поддержала Марему Мелита.

Пруденцій улыбался счастливой улыбкой и, опустивъ ношу, подошелъ къ женщинамъ, чтобы сказать имъ утреннее привѣтствіе.

Потомъ они стали обѣдать, а послѣ пошли осмотрѣть скалу и нашли на ней, кромѣ двухъ пещеръ, помѣщенныхъ одна надъ другою, и открытое пространство, покрытое зеленью, съ возвышеніями, по которымъ пощипывали травку прирученныя козы. Здѣсь съ высоты каскадомъ падалъ прозрачный ручей.

— Это прекрасное мѣсто!—восклицала Марема, рѣзвясь какъ ребенокъ.—Я не хотѣла бы никогда удаляться отсюда.

При этомъ она наклонилась къ уху Мелиты и добавила:

— Особенно въ томъ случаѣ, еслибы я могла здѣсь жить не одна, а съ такимъ человѣкомъ, который бы... мнѣ... нравился что-ли... и котораго любовь моя могла бы дѣлать счастливымъ.

Мелита пожала ей руку и отвѣчала:

— Что же!.. Все это можетъ случиться...

— Откуда жъ!

— Не унывай: въ природѣ возможно многое, что по взгляду кажется труднымъ и даже совсѣмъ невозможнымъ.

Но Марема расхохоталась и сказала:

— Ну, я знаю, однако, одно, что̀ совсѣмъ невозможно.

— Что же это такое?

— Невозможно, чтобы смуглая кожа Маремы могла затмить лилейную бѣлизну чудеснаго тѣла Мелиты.

— О, если только дѣло за этимъ, то это очень возможно, и въ такой возможности ты, можетъ быть, удостовѣришься гораздо скорѣе, чѣмъ ты могла бы подумать.

А какъ эта перемолвка произошла между женщинами съ уха на ухо, то она не могла не возбудить любопытство въ Пруденціи, что̀ Мелита тотчасъ же замѣтила и сказала ему:

— Не удивляюсь я, добрый Пруденцій, что тебѣ интересно, о чемъ мы между собою разсуждаемъ съ Маремой, и думаю, что тебѣ будетъ еще любопытнѣе, когда ты узнаешь, что все, о чемъ мы говорили, касается до тебя. Скажи намъ, каково твое мнѣніе: хотѣлъ ли бы ты, чтобы цѣлую жизнь остаться на этой скалѣ, и какъ бы ты хотѣлъ проводить свою жизнь?

Пруденцій отвѣтилъ, что онъ считалъ бы за самое лучшее счастіе остаться здѣсь навсегда съ тою женщиной, которую любитъ, и желалъ бы проводить жизнь только въ томъ, чтобы наслаждаться ея любовью, забывъ обо всемъ остальномъ на свѣтѣ.

Мелита улыбнулась и сказала ему:

— У меня и Маремы несхожія мнѣнія, и то, которое ты теперь высказалъ, ближе всего ко мнѣнью Маремы, а со мною совсѣмъ несогласно.

Пруденцій, вмѣстѣ съ Маремою, стали просить ее, чтобы она сказала имъ свое мнѣніе, а она имъ отвѣчала:

— Здѣшнее мѣсто прекрасно; но такая любовь, которая отдѣляетъ двухъ человѣкъ отъ всѣхъ прочихъ людей и погружаетъ ихъ въ одни наслажденья другъ другомъ, мнѣ совершенно противна. Я даже вовсе не понимаю: какое въ

такой любви можетъ быть счастіе? Я думаю, что это совсѣмъ не стоитъ имени любви,—что это совсѣмъ что-то другое, на чемъ невозможно воспитать духъ свой и прожить жизнь въ мирѣ съ своей совѣстью. Я бы хотѣла, чтобы съ нами здѣсь были другіе, и чтобы всѣ мы могли быть другъ другу полезны: я думаю, въ этомъ долженъ быть смыслъ человѣческой жизни, а не въ томъ, чего могутъ достичь и низшія твари, не владѣющія человѣческимъ разсудкомъ.

И между ними начался разговоръ, въ которомъ они всѣ трое, сидя надъ моремъ въ зелени діоритовъ, приняли оживленное участіе и незамѣтно трое раздѣлились на два мнѣнія: Мелита оставалась при своемъ, развивая мысль о необходимости общей любви ко всѣмъ людямъ, при которой нельзя отрѣшаться отъ общенья съ другими, а Марема и Пруденцій, увлекаясь идеями личнаго счастья, уходили въ этомъ настроеніи все дальше и дошли наконецъ до того, что сказали, что нѣтъ и не можетъ быть высшей любви, какъ та, которая довольна своимъ избраннымъ предметомъ,—однимъ имъ согрѣта и занята и до другихъ ни до кого нѣтъ ей дѣла.

Когда разговоръ дошелъ до этого, Мелита улыбнулась, не стала болѣе спорить, а шутливо свела руку Пруденція съ рукою Маремы и сказала имъ:

— Я очень рада, что вы другъ съ другомъ согласны.

Пруденцій и Марема этимъ смутились, и въ одинъ изъ послѣдовавшихъ затѣмъ дней, когда Марема помогала Пруденцію разгружать внизу лодку, а онъ взносилъ тяжести наверхъ къ пещерамъ, у которыхъ Мелита готовила на очагѣ обѣдъ, Пруденцій, опустивъ на землю ношу, промолвилъ Мелитѣ:

— Я до сихъ поръ все не перестаю думать о бывшемъ у насъ въ первый день разговорѣ... Онъ какъ будто отстраняетъ меня отъ тебя, къ которой влечетъ меня сердце и отъ одного приближенья къ которой вся кровь во мнѣ пылаетъ какъ пламя.

— Кровь!.. Ты все о крови, Пруденцій. Бунтованіе крови проходитъ... Гораздо надежнѣе то, что можетъ жить вѣчно и не остынетъ отъ времени.

— Что же это Мелита?

— Сродство нашего духа... согласье въ желаніяхъ, одинаковость окончательной цѣли!

Но Пруденцій покачалъ головой и сказалъ съ укоризной:

— Мелита! Мелита! что тебѣ за охота говорить все такія мудреныя вещи? Не будетъ ли проще, если насъ свяжетъ не духъ, а то, чѣмъ обыкновенно мужчину и женщину соединяетъ природа?

— Нѣтъ,—отвѣчала Мелита,—это слишкомъ ужъ просто.

— О, довѣримся ей... Отдайся, Мелита, всесильной природѣ, она никогда не обманетъ.

— Нѣтъ, она-то скорѣе всего и обманетъ.

— Природа обманетъ?

— Ну, да!

— Никогда.

— Ну, не станемъ перекидывать наши слова безъ средствъ доказать ихъ. Ты помнишь, конечно, нашъ уговоръ: «три дня испытанія».

— Безъ сомнѣнія, помню, и заранѣе торжествую побѣду любви моей надъ упрямствомъ капризной Мелиты.

— Прекрасно! Но воздержись,—не спѣши съ торжествомъ. Я у тебя не отнимаю надежды, но впереди будутъ три дня испытанія... *Три только дня!..* Но зато въ эти три дня ты долженъ мнѣ повиноваться во всемъ.

— Очень радъ... только однако когда же начнешь ты свои испытанія?.. Я желаю, чтобы это было скорѣе.

— Сейчасъ, если хочешь.

— Я замираю въ восторгѣ.

— Прекрасно: теперь вечеретъ, а черезъ три дня въ эту же пору я буду твоею женою... или...

— Кончай же!

— Или я ею не буду.

— Въ какомъ же то случаѣ?

— Въ томъ случаѣ, если ты самъ отъ меня откажешься и что-нибудь предпочтешь моимъ ласкамъ.

— О, сдѣлай милость! Это одно, чего я никогда для тебя не сдѣлаю, хотя бы на меня возстали всѣ демоны ада и всѣ «силы природы».

— Ну, вотъ ужъ: «*всѣ силы природы*»! Зачѣмъ такой смѣлый вызовъ! Быть-можетъ, и одной «силы природы» будетъ довольно.

— Начинай испытанье! Говори, что я сейчасъ долженъ дѣлать.

— Во-первыхъ, ты отъ меня удалишься сію же минуту въ свое помѣщенье въ верхней пещерѣ.

— Ну, и что мнѣ тамъ дѣлать?

— Пока ничего.

— Какъ это пока?

— Пока тебѣ станетъ хотѣться думать болѣе о самомъ себѣ, чѣмъ обо мнѣ.

— Ну, оставь это!.. Никогда этого не будетъ.

— Всходи же въ пещеру.

— Ну, хорошо,—я всхожу.

Пруденцій сталъ подниматься по лѣстницѣ и, достигнувъ до входа въ свою верхнюю пещеру, обернулся и съ веселою улыбкою вскрикнулъ:

— Эвое! Я уже началъ мое испытаніе и на одинъ мигъ сталъ ближе къ обладанью Мелитой.

— Обладай же сначала собою,—отвѣчала Мелита, отнимая лѣстницу и спуская ее по откосу на вторую площадку.

— Я запертъ!—смѣялся Пруденцій.

— Теперь жди, пока я тебя позову, стоя въ ожиданьѣ тебя у брачнаго ложа.

И съ этимъ Мелита скрылась въ своей нижней пещерѣ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Вскорѣ послѣ того, какъ скрылась Мелита, по тропинкѣ отъ моря стала подниматься Марема. Пруденцій издали ее замѣтилъ и сталъ говорить ей:

— Ахъ, порадуйся за меня, Марема! Мелита уже начала мое испытаніе, и черезъ три дня она должна будетъ сдержать свое слово—она сдѣлается мое женою.

— Это славная вещь! А въ чемъ же будетъ состоять твое испытаніе?

— А вотъ въ точности я этого до сихъ поръ не знаю, право; до сихъ поръ она мнѣ ничего не сказала, кромѣ того, чтобы я думалъ о ней и ожидалъ терпѣливо какого-то ея слова; а ужъ какое это будетъ слово,—не знаю.

«Что за затѣи у этой Мелиты?» — подумала, покачавъ головою, Марема и, войдя въ пещеру, тотчасъ же хотѣла разспросить Мелиту: что далѣе будетъ? Но Мелита лежала закрывши глаза и спала или притворилась спящей, и Марема будить ее не рѣшилась; а когда она снова вышла, чтобы взять нѣсколько хвойныхъ вѣтокъ и выкурить ихъ дымомъ насѣкомыхъ, она увидала, что Пруденцій стоялъ наверху во входѣ своей пещеры и на него свѣтила луна, а онъ улыбался и сказалъ ей:

— Скажи привѣтъ мой Мелитѣ, Марема.

А Маремѣ не хотѣлось ему отвѣчать,—такъ ей сдѣлалось его жалко и грустно видѣть его какъ птицу въ клѣткѣ.

До полуночи Марема не могла сомкнуть глазъ, а за полночь она слышала, какъ Мелита вышла и возвратилась не скоро, а когда возвратилась, то прежде, чѣмъ лечь, подошла и нагнулась надъ изголовьемъ Маремы, и увидавъ, что Марема не спитъ, откинулась вновь и сказала сурово и твердо:

— Ни во что не мѣшайся и ни о чемъ меня не разспрашивай... Повѣрь мнѣ, что я не жестокая женщина и не хочу ничьихъ напрасныхъ мученій, а я дѣлаю то, что нужно для нашего общаго счастія. Умоляю тебя: вѣрь мнѣ, какъ вѣрила, и ни о чемъ не разспрашивай больше.

— Пусть будетъ такъ, какъ ты хочешь.

И едва забрезжился свѣтъ, Мелита разбудила Марему и позвала ее вмѣстѣ съ нею идти, чтобы докончить выгрузку лодки; а когда онѣ туда сошли, то Марема увидѣла, что

Мелита одна здѣсь работала ночью, а теперь онѣ взялись за дѣло вдвоемъ и трудились такъ безотступно, что къ вечеру все, что привезено было въ лодкѣ, было втащено на берегъ, и облегченная ладья поднялась и закачалась въ своей маленькой бухтѣ.

Во весь день Мелита съ Маремою не возвращались въ пещеру, и когда стало темнѣть, онѣ еще оставались у моря. Марема не разъ порывалась уйти, но Мелита ее удерживала, и онѣ стали подниматься наверхъ только тогда, когда луна утонула за скалы и вокругъ сдѣлалось темно.

Тогда онѣ тихо проникли въ свою пещеру, незамѣченныя Пруденціемъ, и не зажигали огня, чтобы выгонять насѣкомыхъ, а улеглись каждая на своемъ мѣстѣ впотьмахъ... и Мелита, казалось, сейчасъ же заснула, но Марема начала что-то искать и потомъ стала ѣсть, и, сдѣлавши нѣсколько глотковъ, вдругъ вскрикнула, какъ бы приняла что-то пронзительное или острое.

Тогда оказалось, что и Мелита не спала, потому что она живо вскочила и спросила въ испугѣ:

— Что съ тобою случилось?

Марема сразу ничего не отвѣчала, но когда Мелита повторила вопросъ, та ей отвѣтила какъ бы изъ какого-то отдаленья:

— Со мной ничего не случилось... но я не хочу болѣе ѣсть, потому... что... я все теперь поняла... Пруденцій безъ пищи!..

Мелита ей не отвѣчала ни слова.

Ночь прошла безпокойно въ прерывистыхъ грезахъ. Обѣимъ женщинамъ казалось, какъ будто онѣ видятъ Пруденція и слышатъ его шаги, и вотъ онъ весь исхудалъ, глаза его округлились... онъ глядитъ безпокойно... Мелита! Мелита! скорѣй задавай ему дѣло!

А оно уже было задано.

Утромъ на третьи сутки Мелита вовсе не вышла. Изъ пещеры показалась одна только Марема, и Пруденціи сторожилъ ея появленіе.

— Здравствуй! Здравствуй, Марема! — закричалъ онъ ей пострадавшимъ, но еще веселымъ голосомъ.—Прошли уже двѣ ночи и день, какъ я ожидаю здѣсь своего заслуженнаго права прижать къ моему вѣрному сердцу милую Мелиту. Теперь уже недолго осталось мнѣ ждать; но зачѣмъ она медлитъ? зачѣмъ до сихъ поръ мнѣ не скажетъ: въ чемъ я долженъ выдержать мое испытанье? Или ты, можетъ-быть, съ тѣмъ теперь вышла, чтобы сказать мнѣ, что я долженъ сдѣлать? Говори же скорѣе: я утомился здѣсь ожидать приказанья Мелиты...

— Мелита мнѣ ничего не сказала,—отвѣчала Марема, стараясь не глядѣть на Пруденція, который при самомъ бѣгломъ взглядѣ на него показался ей изнуреннымъ и страшнымъ.

— Куда же идешь ты?

— Я иду... чтобы поймать удою рыбу и поискать въ расщелинахъ птичьихъ яицъ... Завтра вѣдь къ вечеру Мелита готовитъ свадебный пиръ...

— Ахъ, она ужъ готовитъ! Прекрасно, прекрасно... Иди же скорѣй, лови рыбу... и яйца есть по утесамъ... А Мелита, вѣрно, выйдетъ сама и скажетъ мнѣ, что долженъ я сдѣлать... Мнѣ кстати очень хочется ѣсть.

— Я ворочусь и скажу ей, что ты хочешь ѣсть.

— Нѣтъ, не надо, Марема. Я ей далъ слово, что не буду ее ни о чемъ просить, пока она меня кликнетъ... Уходи, куда ты идешь... мнѣ нужно терпѣнье.

И Марема ушла, а Пруденцій остался одинъ и снова весь цѣлый день протомился въ затворѣ; онъ то поджидалъ Мелиту, то ее кликалъ, но все это было напрасно, — Мелита не показалась ему ни на мгновеніе ока. Она цѣлый день безустанно разбирала всѣ перенесенныя съ ладьи вещи и съ такимъ вкусомъ убрала пещеру, что ее можно было принять за очень благоустроенное жилище человѣка со вкусомъ. Въ переднемъ, большомъ помѣщеніи былъ накрытъ большой столъ, уставленный множествомъ дорогой и прекрасной посуды, а вдали, за столбомъ, обвитымъ цвѣт-

ными тканями, возвышалось пышно убранное ложе подъ голубою завѣсой и съ лампами у изголовья.

Все это требовало много искусства и вкуса, и трудно было произвести такое превращеніе въ одинъ день; но Мелита не жалѣла труда, и онъ одинъ, вѣроятно, помогъ ей не слыхать жалобныхъ стоновъ Пруденція, который съ полудня уже утратилъ терпѣніе и звалъ Мелиту, крича ей, что онъ чувствуетъ мучительный голодъ.

— Мелита!—кричалъ онъ, — Мелита! для чего ты забываешь, что я человѣкъ и что голодъ желудка даетъ знать о себѣ безпрестанно... Говори мнѣ скорѣе, какое я тебѣ долженъ дать доказательство, что я ни съ чѣмъ не сравню твою любовь... или я здѣсь умру отъ голода.

Но Мелита все убирала покои и не пришла къ нему на его зовъ, и Пруденцій такъ протомился до вечера, когда увидалъ возвращающуюся Марему и закричалъ ей:

— Мои мученія превзошли уже всякую мѣру...

— Ты старайся не думать...

— Ахъ, не могу, не могу я не думать—голодъ жесточе всевозможныхъ мученій... Я боюсь, что я не доживу до утра...

— Старайся уснуть... пусть во снѣ тебѣ снится Мелита.

— Ахъ, я уже пробовалъ спать... и во снѣ то же самое снится... Ѣсть хочу, ѣсть хочу! Страшно, Марема, мнѣ, страшно! У тебя тамъ гдѣ-нибудь вѣрно есть птичьи яйца—брось мнѣ одно изъ нихъ, я умираю.

— Не смѣю, — отвѣчала Марема и скоро скользнула въ пещеру, которая была освѣщена многими огнями и поразила Марему своимъ неожиданнымъ великолѣпіемъ.

— Что это будетъ?—спросила Марема.

— Завтра здѣсь будетъ свадебный пиръ, — отвѣчала Мелита.

— Свадебный пиръ!.. О, Мелита! остерегись, чтобы это не былъ похоронный обѣдъ.

И сказавъ это, Марема присѣла и, опустивъ руки и голову, зарыдала.

— О чемъ ты такъ плачешь?—спросила Мелита.

— Я сейчасъ видѣла Пруденція и слышала его стоны... Его мучаетъ голодъ, и онъ умираетъ.

— Но вѣдь его раньше мучилъ еще иной голодъ...

— Нѣтъ, голодъ желудка страшнѣе всякаго другого томленья.

— Полно, Марема. Вѣдь и я тоже не ѣмъ.

Марема достала изъ-за туники яйцо морской птицы и сказала:

— Я цѣлый день провела безуспѣшно и насилу достала всего два яйца. Одно,—признаюсь тебѣ, — съѣла сырое, и оно мнѣ отъ голода показалося вкусно. Съѣшь ты это другое. Его просилъ у меня Пруденцій, но я не дала ему.

— И мнѣ оно тоже ненужно: я терплю то же, что терпитъ Пруденцій! — и съ этимъ словомъ Мелита взяла изъ рукъ Маремы яйцо и бросила его объ полъ.

— Здѣсь есть много съѣстного, — добавила на, — но я ничего не касалась. Я по себѣ размѣряю, что онъ можетъ снести безъ вреда для его жизни. Лягъ и усни, а завтра съ утра станемъ готовить обѣдъ и ввечеру разрѣшится все, что такъ долго и мучительно длилось.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

И вотъ прошла ужасная ночь, которая всѣмъ показалась долга безконечно и всѣхъ истомила. Настало тяжелое утро. Обѣ женщины рано проснулись, и Марема тотчасъ же выбѣжала, чтобы взглянуть на Пруденція. Юноша измѣнился въ эту послѣднюю ночь сильнѣе, чѣмъ во все протекшее время: лицо его сдѣлалось сѣрое и маленькое, оба глаза ввалились и казались совершенно круглыми, а губы почернѣли, и изъ-за нихъ виднѣлись два ряда бѣлыхъ зубовъ, какъ будто ослабнувшихъ въ деснахъ, и воспаленный языкъ и гортань... Голодъ его догрызалъ, — Пруденцій уже не имѣлъ силъ и стонать; онъ сидѣлъ, прислонясь ко входу, и тихо качался, придавливая исхудалыми руками опустошенный животъ.

Напрасно Марема хотѣла его утѣшить и говорила ему о близости счастья въ обладаньѣ Мелитою,—Пруденцій не отвѣчалъ ей ни слова.

Когда же Марема сказала объ этомъ Мелитѣ, та отвѣчала:

— Это такъ должно быть! Когда зло не хотятъ побѣдить разсудкомъ, то оно побѣждается страданіями. Но не будемъ говорить объ этомъ, а давай скорѣе приготовлять всѣ лучшія кушанья, какія умѣемъ.

И онѣ отобрали изъ всѣхъ запасовъ все, что было лучшаго, и стали готовить всѣ блюда, какія умѣли. Это требовало не мало трудовъ, и приготовленія еще не были совсѣмъ кончены, когда солнце стало спускаться за скалы. Тогда Мелита сказала Маремѣ:

— Оставимъ на время мяса́ и плоды,—пусть хорошенько томятся на угляхъ, а мы пойдемъ подъ ручей, — омоемся свѣжей струею воды и одѣнемъ лучшія наши одежды.

Марема пошла съ нею и удивилась, что когда онѣ вышли изъ-подъ обливанья, то Мелита открыла принесенную склянницу драгоцѣнныхъ духовъ и неожиданно вылила всю ее по-ровну на свои волосы и на волосы Маремы, и при этомъ сказала:

— Я хочу сдѣлать такъ, чтобы мы обѣ имѣли видъ невѣстъ.

И затѣмъ, возвратившись въ пещеру, Мелита стала спѣшить уборкой стола, — разставила кувшины съ разноцвѣтнымъ виномъ; разложила фрукты на листьяхъ, и подливы къ мясамъ, и загородки изъ тѣста въ глиняныхъ блюдахъ; а потомъ засвѣтила огни, открыла постель, и стала между ней и столомъ, одѣтая въ самыя пышныя платья, а Маремѣ сказала:

— Приставь скорѣй лѣстницу и поди и скажи Пруденцію, что я его приглашаю сойти.

Марема исполнила это въ одно мгновеніе; но когда она вошла въ верхнюю пещеру къ Пруденцію, то увидала его въ ужасномъ изнуреніи,—онъ уже не сидѣлъ, а лежалъ и на вопросы могъ отвѣчать очень нескоро и очень невнятно.

Онъ только тихо махалъ рукою и давалъ чувствовать, что для него ничто не важно, кромѣ голода, которымъ онъ истомился.

Долгоожидаемое приглашеніе Мелиты нимало его не оживило и не обрадовало.

— Вѣдь это насталъ часъ твоей радости!—говорила ему Марема; но онъ только отмахнулся рукою и, обратясь въ сторону, прошепталъ:

— Куда... же... ты дѣла... яйцо... морской чайки?

— Что тебѣ теперь до яйца чайки... тебя ожидаетъ роскошнѣйшій столъ и... еще больше роскошныя ласки Мелиты!.. Встань скорѣе на ноги — я помогу тебѣ сойти съ лѣстницы.

Онъ сталъ подниматься, но закачался, упалъ и сказалъ:

— Я не въ силахъ.

Тогда живая Марема схватила Пруденція, какъ дитя, на свои сильныя руки, снесла его съ лѣстницы, опустила на землю и, давъ ему оправиться, подвела его подъ руки ко входу въ освѣщенную пещеру, гдѣ въ сіяньѣ огней стояла блестящая красотой и уборомъ Мелита. Она встрѣтила Пруденція съ ласковой улыбкой и сказала ему ласковымъ голосомъ:

— Привѣтъ мой тебѣ, господинъ мой Пруденцій! Входи и будь здѣсь властелиномъ всего, что ты видишь. Ты перенесъ испытанье, и за то я даю тебѣ надо мною всякое право... Пиръ изготовленъ... послѣднія блюда скоро поспѣютъ на тихомъ огнѣ, и брачное ложе готово... и я жду моего господина!

При этомъ Мелита протянула обѣ руки къ Пруденцію; но онъ отвернулся отъ нея и, поведя вкругъ какъ бы утратившими зоркость глазами, нетерпѣливо воскликнулъ:

— Подожди!.. и скажи мнѣ: гдѣ же это яйцо дикой птицы?

— Я разбила его, — отвѣчала Мелита. — Поди отдохни, господинъ мой, на ложѣ... Вѣдь я сама его стлала для тебя, моего господина... А послѣ ты будешь ѣсть самыя вкусныя кушанья.

— Ахъ, это все пустяки!.. Подавай мнѣ сейчасъ все, что тамъ кипитъ или печется!

— Кушанье все еще не готово.

— А это же что здѣсь такое дымится въ глиняномъ блюдѣ?

— Это подлива къ бобамъ и загородки изъ тѣста для разваренаго мяса...

— Вотъ я и съѣмъ сейчасъ всю эту подливу и всѣ загородки изъ тѣста...

И онъ потянулъ къ себѣ блюдо съ подливой и началъ лакать ее и грызть загородки, не обращая никакого вниманія на Мелиту, которая этимъ временемъ все удалялась тихо назадъ и наконецъ вовсе исчезла, такъ что съ этой поры Пруденцій и Марема напрасно искали ее на утесѣ. Съ нею вмѣстѣ ушла и ладья, которая была спрятана въ бухтѣ, и теперь Пруденцій съ Маремой были отрѣзаны отъ всего остального міра.

Они напрасно обѣгали со всѣхъ сторонъ скалу и искали Мелиту,—она, безъ сомнѣнія, оставила ихъ и скрылась, а они остались вдвоемъ и не видѣли никого третьяго до тѣхъ поръ, пока возлѣ Маремы сразу раздались два голоса двухъ новорожденныхъ ею близнецовъ... Въ этотъ день Пруденцій, сошедшій внизъ съ сверткомъ бѣлья, которое онъ долженъ былъ вымыть для своихъ двухъ близнецовъ и для Маремы,—замѣтилъ на морѣ точку, которая какъ будто перемѣняла свое мѣсто... А еще черезъ нѣсколько дней Пруденцій увидалъ, что на глинѣ скалы надъ самою бухтою было начертано чѣмъ-то острымъ: «Мелита привѣтствуетъ Пруденція и Марему съ дѣтьми ихъ и желаетъ имъ согласія и добродѣтельной жизни». Еще же черезъ мѣсяцъ Пруденцій увидѣлъ ладью еще ближе, и видѣлъ, что на ней были двѣ женщины, и что къ ней изъ-за скалъ подошла другая ладья и на эту перешла одна изъ двухъ женщинъ, и теперь та лодка, на которой сидѣли двѣ женщины, стала удаляться, а та, на которой осталась одна,—приближалась къ утесу.

Пруденцій скоро узналъ по окраскѣ, что эта лодка его и Алкея, которая исчезла съ той ночи, какъ удалилась Мелита... Пруденцій сказалъ объ этомъ Маремѣ, которая сидѣла тутъ же возлѣ него на берегу моря и держала на каждомъ изъ своихъ колѣнъ по здоровому, смуглому ребенку, изъ которыхъ каждый завладѣлъ одной грудью своей матери и такъ жадно сосалъ, что молоко выбѣгало у него обратно изъ устъ и крупными, бѣлыми каплями скользило по смуглой груди Маремы... Но Марема теперь этого не замѣчала, потому что она слѣдила за лодкой, и вдругъ вскричала:

— Радуйся, милый Пруденцій!.. Къ намъ приближается мать твоя, вдова Ефросиа... Мы не останемся одни здѣсь и наши дѣти не будутъ жить дикарями.

— Да,—отвѣчалъ ей Пруденцій,—и я теперь вижу: это мать моя, вдова Ефросина!.. Кто передалъ ей нашу ладью и кто указалъ ей путь къ намъ?

— Конечно, Мелита. Это она удалилась на другой ладьѣ съ своимъ другомъ Эрминіей... Онѣ христіанки.

Пруденцій задумался и, слѣдя за приближеніемъ лодки, которою, несмотря на свои годы, хорошо еще правила вдова Ефросина, сказалъ, склоняясь къ Маремѣ:

— Вотъ всѣ, кто страстно любитъ наслажденія жизни, всегда разсуждаютъ, что будто галилейское ученіе не годится для жизни... А припомни-ка все, что было съ нами, и выйдетъ, что впередъ дальше всѣхъ видѣла одна Мелита. Я передъ нею такъ малодушенъ, что не могъ бы идти съ нею рядомъ. Какъ хорошо, что она не связала себя узами брака съ такимъ посредственнымъ человѣкомъ, какъ я!.. При разности взглядовъ и мыслей мы не нашли бы въ союзѣ согласья и мира, а съ тобой мы счастливы... Ея духъ слишкомъ высокъ и серьезенъ — онъ слишкомъ безпощадно побѣждаетъ плоть. Ты же и я... мы смотримъ проще... Я не знаю, какъ это случилось, какъ я все любилъ такъ сильно Мелиту, и теперь вижу, что она несродна мнѣ, а ты мнѣ гораздо милѣе Мелиты... Я хотѣлъ скры-

ваться здѣсь вѣчно съ Мелитой,—потомъ мнѣ такъ хорошо было здѣсь же съ тобой, и теперь... я однако же радуюсь, что мать моя насъ разыскала и мы не останемся въ вѣчной разлукѣ съ людьми... Весь кругъ мыслей во мнѣ перешелъ,—все передѣлалось съ нами именно такъ, какъ говорила Мелита. Вѣрно надо ей вѣрить во всемъ.

— Да, она умная женщина.

— Надо считать духъ, а не плоть владыкою жизни, и жить не для тѣхъ чувствъ, которыя научаютъ насъ особиться отъ всѣхъ прочихъ людей...

— Правда, Пруденцій.

— Пусть такъ и будетъ, и когда мы уклонимся отъ этого... пусть мы сами не будемъ на своей сторонѣ. Если мы погрѣшимъ, то не станемъ извинять себя и дѣлать себѣ пояса изъ листьевъ, потому что прятаться—это хуже, чѣмъ несть порицаніе, котораго заслуживаешь.

— Я согласна, — отвѣчала Марема.

— Да, всегда мы съ тобою согласны! Какое это счастіе для обоихъ насъ!..

— И для нашихъ обоихъ дѣтей, — показала Марема на близнятъ, которыхъ ужъ издали увидала бабушка ихъ, вдова Ефросина, и начала улыбаться всѣмъ и въ концѣ, бросивъ весло, закричала:

— Вотъ такъ ребята! Этакихъ я еще не встрѣчала.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХАРАКТЕРЫ.

Опытъ систематическаго обозрѣнія *).

«Народъ непремѣнно долженъ имѣть ясное понятіе о литературныхъ памятникахъ и источникахъ, которые вліяли на образованіе его идей и представленій».

Чт. въ Общ. Люб. Древн. Россійскихъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Тридцать лѣтъ назадъ, когда у насъ много писали о женскомъ вопросѣ, не разъ было упоминаемо, будто въ Россіи репутаціи женщинъ былъ нанесенъ большой вредъ житійными сказаніями, которымъ вѣрили наши предки. Тамъ будто женщины постоянно выставляются соблазнительницами, стремившимися удалить мужчинъ отъ возвышенныхъ задачъ жизни и погрузить ихъ въ жизнь чувственную и безразсудную. Нѣкоторыми, болѣе горячими, чѣмъ основательными

*) Обозрѣніе это составлено по *древле-печатному, переводному* Прологу, редакція котораго не сотвѣтствуетъ тому, который издается послѣ Петра Великаго. Древле-печатный, переводный Прологъ, содержащій въ себѣ приводимые здѣсь «прилоги», не входитъ въ кругъ церковныхъ книгъ и не только не пользуется церковнымъ авторитетомъ, но представляетъ книгу «отреченную», и сказанья его, по выраженію Ѳеофана Прокоповича, относятся къ разряду *«пустыхъ и смѣху достойныхъ басенъ»*. Интересъ, имъ представляемый, есть собственно интересъ литературный и историческій.

друзьями женскаго вопроса было выхвачено нѣсколько примѣровъ въ этомъ родѣ, и тѣ примѣры, принятые безъ критики, до сей поры остаются въ непререкаемомъ значеніи убѣдительныхъ фактовъ. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, *это есть ложь*, и въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, кто пожелаетъ познакомиться съ женскими типами Пролога.

Это здѣсь и предлагается.

Разбирая Прологъ, какъ повѣствовательный источникъ, я нашелъ въ немъ ровно *сто* темъ или «прилоговъ», которые даютъ болѣе или менѣе пригодный матеріалъ для воспроизведенія въ повѣствовательномъ или пластическомъ искусствѣ, а изъ этихъ ста исторій—въ тридцати пяти участвуютъ женщины.

Годъ по Прологу начинался съ 1 сентября, и первое соблазнительное дѣло описано подъ 5-мъ числомъ сентября.

1) «По діаволю злохитрству, впаде въ блудъ нѣкій епископъ». Объ этомъ никто не зналъ въ его паствѣ; но епископъ былъ человѣкъ искренній и самъ не могъ снести своего грѣха; онъ пришелъ въ церковь, снялъ съ себя омофоръ и, ставъ предо всѣми на колѣни, началъ каяться, «глаголя: отселѣ не могу быти вамъ епископъ».

Словомъ—онъ принесъ публичное покаяніе въ блудномъ грѣхѣ, послѣ чего его надо было «извергнуть»; но какъ этотъ епископъ былъ человѣкъ очень добрый и люди его любили, то имъ стало жаль потерять его, и потому «возопиша вси люди съ плачемъ: грѣхъ твой на насъ буди».

Епископъ отговаривался, но народъ настаивалъ на своемъ. Тогда растроганный епископъ, заливаясь слезами, потребовалъ себѣ отъ людей наказанія, а тѣ на это согласились, лишь бы онъ у нихъ остался. Но вотъ епископъ легъ на полъ у дверного порога и просилъ, чтобы каждый мірянинъ, выходя изъ церкви, толкнулъ его презрительно ногой. Люди его послушались и стали его толкать, и когда послѣдній человѣкъ, выходя изъ церкви, наступилъ на согрѣшившаго архіерея, тогда только епископъ всталъ, поклонился вышедшимъ чрезъ двери людямъ и остался служить у нихъ епи-

скопомъ, и люди не чувствовали въ этомъ смущенія, ибо всѣ были увѣрены, что грѣхъ его прощенъ ради его искренности и смиренія. «Зане запну его ногой своею» и та, которая была его соучастницей въ грѣхѣ.

2) *Сентября 15.* Одного молодого пустынника страшно мучили любовныя мечтанія. Онъ пошелъ къ старцу Пахому и просилъ у него совѣта: какъ ему отъ этого избавиться. «Онъ же (то-есть старецъ) рече: не дивися дѣлу сему: азъ бо многажды обрѣтахся въ сицевыхъ. Се бо видяши мя человѣка уже стара суща и дряхла, яко уже четыредесять лѣтъ сижу въ хижинѣ и токмо и пекуся о единомъ своемъ спасеніи, и уже тольми ветхъ сый, а и до днешняго дне еще не свободенъ».

3) *Октября 29.* Старецъ Авраамій «сочетался съ женой», но потомъ, когда вникъ въ семейную жизнь, то она ему не понравилась—онъ нашелъ, что домомъ жить очень хлопотно и безпокойно, и вообще это гораздо труднѣе отшельничества, къ которому онъ уже привыкъ. Тогда Авраамій опять оставилъ жену и, «отшедъ, затворился въ малѣ хлевинѣ». Теперь ему не о комъ было заботиться; но когда Авраамій просидѣлъ въ затворѣ девять лѣтъ, умеръ его братъ и оставилъ семилѣтнюю дочку. Волей-неволей Авраамію пришлось взять племянницу на свое попеченіе. Авраамій вышелъ изъ «хлевины», сдѣлалъ тутъ же рядомъ другую такую же «хлевинку» и замуровалъ туда дитя. Дѣвочка прожила замурованная въ затворѣ на глазахъ у дяди тринадцать лѣтъ и никакихъ дурныхъ примѣровъ не видала, но когда пошелъ ей двадцатый годъ, «она завистію бѣсовскою впала въ паденіе». Неизвѣстно, какъ она, замурованная, чрезъ оконце «познакомилась съ блудницами», выкарабкалась изъ затвора и ушла съ этими своими знакомками въ такую «гостиницу», гдѣ собирались въ досужное время военные люди. Военные же люди въ той странѣ такъ любили женское общество, что вездѣ подманивали къ себѣ дѣвицъ, а обратно получить отъ нихъ дѣвушку было уже очень трудно. Они отпускали женщину развѣ только тогда, когда она

имъ надокучитъ и они сами ее прогонятъ. Старецъ ихъ усовѣщивалъ, и кричалъ на нихъ, и угрожалъ имъ изъ своего затвора; но военные смѣялись, и его молоденькой затворницы ему не отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старецъ Авраамій обратился къ хитрости, которою и достигъ желаннаго успѣха. Въ одинъ день онъ самъ вышелъ изъ своего затвора, досталъ себѣ верхового коня, добылъ воинскіе доспѣхи, «во образъ воинскій оболкся» и поѣхалъ верхомъ въ ту же самую гостиницу, гдѣ веселились съ женщинами военные, къ которымъ ушла изъ затвора его племянница. Переодѣтый воиномъ, затворникъ держалъ себя въ гостиницѣ такъ искусно, что никто его не узналъ, и даже не заподозрилъ, что это затворникъ, а всѣ сочли его за настоящаго военнаго. Даже и племянница его не узнала, а онъ, увидя это, самъ притворился разбитнымъ гулякой и сталъ звать неузнающую его дѣвушку, чтобъ она шла съ нимъ отсюда препроводить дальнѣйшее время, за что Авраамій обѣщалъ ей дать по обычаю «даръ». Молодая дѣвушка, еще недавно только пустившаяся въ гулевую жизнь, ничего хитростнаго не подозрѣвала и ушла съ Авраміемъ изъ гостиницы, въ полномъ убѣжденіи, что ей сопутствуетъ настоящій воинъ. А когда они остались вдвоемъ, тогда Авраамій ей себя обнаружилъ и укорилъ ее, и ужъ на свободу не выпустилъ, а посадилъ опять «въ малу хлевину», гдѣ она, послѣ долгихъ стенаній и плача, «покаялась, а послѣжди, чудеса творяше, скоро почила».

4) *Октября 29.* Была женщина Анна, которой хотѣлось спасти себя, живучи въ мужскихъ монастыряхъ. Она назвала себя Ефимьяномъ и стала жить съ монахами. Бороды у нея не росло, но это никого не соблазняло: монахи все думали, что Ефимьянъ — скопецъ, и нимало этимъ не смущались. Но одинъ изъ монаховъ того монастыря на свое несчастіе былъ «воображенникъ». Ему непремѣнно хотѣлось дознаться: отчего у Ефимьяна не растетъ борода? Къ этому еще прибавилось и искушеніе: невдалекѣ отъ ихъ монастыря жила женщина, которая знала тайну Ефимьяна

и притомъ была болтлива; она сказала «воображеннику»:

— Это не скопецъ, а *жена-безстрастница*!

(Сказавшая сама сейчасъ же и исчезла).

А «воображеннику» съ этой поры вступило въ голову во что бы то ни было «подсмотрѣть Ефимьяна».

Онъ объ этомъ и началъ стараться, «тщашася низринути Ефимьяна» и «сотвори сіе, но бысть божественною силой до полу-сухъ». Анна же «бѣжаше отъ соблазненія, имѣя съ собой точію два монаха».

5) *Февраля 9.* Братъ нѣкій жилъ въ скитѣ, не видя ни одной женщины, но врагъ «вложи ему въ память нѣкія жены прекрасны». Воспоминаніе о женской красотѣ ужасно безпокоило скитника. Одинъ разъ пришелъ къ нему другой братъ и началъ разсказывать, что̀ случилось въ мірѣ новаго, и упомянулъ, что красавица, которая нравилась брату, умерла. Тогда этотъ несчастный, какъ дождался ночи, взялъ свой «лентій» и побѣжалъ къ тому мѣсту, гдѣ, по разсказу, похоронили красавицу. Тутъ онъ разрылъ ея могилу, открылъ гробъ и «потре гной ея лентіемъ и возвратися, имѣя при себѣ смрадъ той». И это его исцѣлило. Когда ему приходило на умъ, какъ эта женщина была прекрасна, онъ доставалъ этотъ «смрадъ» и, «полагая его предъ собой», говорилъ: «вотъ то, что отъ всякой красоты остается».

6) *Марта 18.* Данило Египтянинъ исцѣлялъ женщинъ отъ неплодства. Одинъ молодой мужъ пришелъ къ нему съ просьбой, чтобъ онъ посѣтилъ его домъ и помолился надъ его женой, которая не рождаетъ. Старецъ пошелъ по приглашенію мужа, и съ того случая молодая женщина «Богу изволившу зачать во чревѣ». Мужъ былъ очень радъ и доволенъ, но сосѣди стали смѣяться ему и говорить, будто все чудо въ томъ заключается, что жена его естественно затяжелѣла отъ старца Данилы. Когда это дошло до Данилы, онъ позвалъ къ себѣ смущеннаго молодого супруга и сказалъ ему: «когда у тебя родится дитя, собери всѣхъ родственниковъ на обѣдъ, и я тогда тоже приду къ тебѣ, и все дѣло разъяснится». Молодой человѣкъ

такъ и сдѣлалъ, какъ сказалъ ему помогательный старецъ: на двадцатый день по разрѣшеніи беременности его жены, онъ собралъ къ себѣ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ. Пришелъ и Даніилъ, и когда всѣ сѣли за столъ, старецъ взялъ на руки новорожденное дитя и спросилъ его: «кто твой отецъ?» Двадцатидневное дитя протянуло ручку и, указывая пальчикомъ на молодого супруга, проговорило: «вотъ кто».

7) *Марта 17.* Два брата жили въ пустынѣ и, сильно между собою подружившись, дали обѣтъ никогда не оставлять другъ друга, «не точію въ жизни, но и по смерти». Но вдругъ одинъ изъ нихъ «нача ратоваться отъ бѣса». Бѣсъ навелъ на него такую неодолимую скуку, что обуеваемый «не возмогъ стерпѣть» и сказалъ брату своему: «Отпусти меня въ людное мѣсто; я не могу здѣсь терпѣть — хочу жить, какъ всѣ, и веселиться».

Благоразумный братъ употребилъ всѣ усилія уговорить несчастнаго, чтобъ онъ возобладалъ надъ страстью и не губилъ столькихъ лѣтъ прожитой въ чистотѣ жизни; но тотъ никакъ не могъ совладать съ собою и стоялъ на своемъ, что ему надо уйти веселиться.

— Но какъ же мнѣ быть въ такомъ случаѣ?—спросилъ благоразумный братъ. — Вѣдь вотъ ты помнишь, я далъ обѣтъ никогда съ тобою не разставаться!.. Какъ же мнѣ быть теперь, когда ты стремишься къ распутству, въ которое я себя допустить не желаю?

— А ужъ мнѣ до этого теперь никакой заботы нѣтъ,— отвѣчалъ страстью уязвленный братъ. — Поступай, какъ знаешь, но я ни для чего остановиться не могу: я, какъ сказалъ, такъ и пойду искать утѣшительной жизни, а ты оставайся въ пустынѣ; но, впрочемъ,—добавилъ онъ,—если ты хочешь при мнѣ быть, то, пожалуй, иди со мною въ городъ и повеселимся вмѣстѣ. А можетъ-быть, мнѣ тамъ и недолго понравится, и я скоро очувствуюсь—тогда, можетъ-быть, я и возвращусь съ тобою опять сюда же.

Благоразумный братъ подумалъ: «что за несчастіе съ человѣкомъ содѣялось? Совсѣмъ омраченъ онъ, и можно ли от-

пустить его одного въ такомъ омраченіи? Одинъ онъ непремѣнно попадетъ въ компанію распутниковъ, сродную нынѣшнему его одержимому настроенію, и онъ къ нимъ такъ прилѣпится, что погибнетъ невозвратно, а надо лучше не выпускать его изъ глазъ и ждать въ немъ перемѣны отъ времени».

«Да, — разсудилъ благоразумный, — пусть лучше я самъ приближусь къ соблазну, но не оставлю человѣка совсѣмъ ослабѣвшаго. Нѣтъ, не покину его,—пойду съ нимъ и буду ждать, когда умъ и чувства его опять придутъ въ свѣтлое состояніе».

Всталъ благоразумный братъ и пошелъ въ городъ вмѣстѣ съ страстнымъ братомъ.

Идти имъ было трудно, ибо путь былъ не малъ, а страстный «бѣжа скоро», и какъ пришелъ въ городъ, — сейчасъ же «скочи въ огражденіе садовное», откуда неслися «плесканья и пѣсни», и видѣлись женскія лица и плещи. А благоразумный братъ сѣлъ на пыльной дорожкѣ предъ этимъ «огражденіемъ», набралъ горстями земляной пыли, зарыдалъ и сталъ насыпать себѣ пыль на голову.

Люди, проходя, спрашивали его: о чемъ онъ плачетъ? А онъ имъ отвѣчалъ по правдѣ: «Любимый братъ мой, долго жившій чистою жизнью, вошелъ вотъ туда, въ садовное огражденіе». Люди надъ нимъ смѣялись, говорили: «Что же тебѣ? Иди и ты туда же и повеселись тамъ вмѣстѣ со всѣми съ нами». И сами туда же входили, а благоразумный братъ все сидѣлъ въ пыли и все плакалъ.

Такъ прошла цѣлая ночь, а братъ, «вскочивпій въ огражденіе», все еще не выходилъ оттуда, пока на небѣ засвѣтился новый день, и тогда вывалила изъ «огражденія» большая толпа мужчинъ и всѣ шумѣли и ссорились, и въ ихъ-то безпорядочномъ обществѣ находился страстный братъ, съ блѣднымъ лицомъ, помятыми волосами и угасшимъ взоромъ. И чуть только страстный братъ вышелъ,—благоразумный братъ вскочилъ и бросился къ нему съ радостію и заговорилъ:

— Для чего ты такъ долго тамъ оставался! насилу я тебя дождался! хорошо, что ты наконецъ вышелъ: конечно, ты видишь теперь, какъ это гадко и можетъ тебя погубить. Пойдемъ скорѣе отсюда назадъ въ нашу пустыню!

— Ахъ, отстань ты, пожалуйста! — отвѣчалъ страстный братъ.—Это совсѣмъ не такъ гадко, какъ ты воображаешь. Мнѣ тамъ, напротивъ, очень понравилось, и я ни за что теперь не пойду въ пустыню, а ты, если хочешь, уходи. Я тебѣ не препятствую.

Какъ благоразумный братъ ни уговаривалъ страстнаго— все оказалось безуспѣшно: страстному такъ понравилось въ «огражденіи садовнѣмъ», что онъ совсѣмъ пришелъ въ изступленіе и уже не боялся ни суда Божія, ни вѣчныхъ мукъ, и ни за что не хотѣлъ возвращаться съ благоразумнымъ въ пустыню. Онъ слушалъ благоразумнаго молча, а самъ въ себѣ только и помышлялъ о томъ, чтобы какъ-нибудь поскорѣе скоротать день, а потомъ опять попасть въ огражденіе, объ удовольствіяхъ котораго онъ чѣмъ больше думалъ, тѣмъ бо̀льшую къ нимъ чувствовалъ несытость.

Видя такое страшное изступленіе несчастнаго, благоразумный братъ пересталъ его и уговаривать идти въ пустыню, но опять сталъ вопрошать самого себя: можно ли ему оставить друга и брата въ такомъ неистовствѣ? и, обдумавъ дѣло съ разныхъ сторонъ, благоразумный братъ увидалъ, что тотъ безъ него тутъ и погибнетъ въ безпутствѣ, и рѣшилъ самъ съ нимъ оставаться, пока надъ тѣмъ пройдетъ это «обладаніе».

Но чтобы жить въ городѣ и при томъ еще веселиться въ «огражденіи», надо было имѣть деньги, а у пустынныхъ братьевъ запасныхъ денегъ не было, и вотъ они стали оба наниматься на работы. И оба работали во всю силу, какъ благоразумный, такъ и страстный, а вечеромъ страстный братъ забиралъ себѣ и свой заработокъ, и заработокъ своего благоразумнаго брата, и ночью все это истрачивалъ на свои удовольствія въ «огражденіи». Благоразумный же братъ не жалѣлъ этого и о деньгахъ своихъ со страстнымъ

не спорилъ; но онъ жалѣлъ его, что тотъ такъ нравственно палъ и всякій день все глубже и глубже погружается въ смрадное болото порока, о которомъ благоразумный братъ самъ не имѣлъ никакого познанія и изумлялся силѣ грѣха, такъ страшно возобладавшаго надъ братомъ. Но при всемъ этомъ онъ вѣрилъ, что любовь его какъ-нибудь спасетъ одержимаго, и когда страстный входилъ въ «огражденіе», благоразумный садился при дорожкѣ противъ этого «огражденія», насыпалъ себѣ на голову дорожной пыли и горестно плакалъ. Страстный это видѣлъ, но не останавливался и скорой стопою уходилъ внутрь «огражденія».

Такъ каждую ночь—одинъ гулялъ, а другой оплакивалъ его безуміе.

Днемъ братья между собою уже не говорили, а становились на работу молча и уходили молча, и благоразумный братъ никогда болѣе не укорялъ страстнаго. И это, наконецъ, такъ тронуло страстника, что тотъ однажды бросился благоразумному въ ноги и воскликнулъ:

— Братъ мой любимый! Ты уязвилъ своимъ терпѣніемъ душу мою! возьми меня въ свою власть и сдѣлай со мною, что хочешь! Я не хочу оставаться такимъ, какимъ сдѣлался, но не могу собой править.

Тогда благоразумный братъ сейчасъ же поступилъ какъ почиталъ за лучшее: онъ взялъ страстнаго прямо отъ воротъ «огражденія», гдѣ съ тѣмъ произошелъ спасительный переломъ, и увелъ его изъ города въ пустыню и «тако пріобрѣлъ себѣ брата своего».

Видѣвъ же безумную страстность несчастнаго, благоразумный братъ и въ пустынѣ не оставилъ его на жертву его собственной волѣ, а заключилъ его въ тѣсную пещерку, гдѣ тотъ черезъ малое время много преуспѣлъ и скончался».

8) *Апрѣля 15.* Два монаха, живя вмѣстѣ, вдругъ оба наскучили одиночествомъ и пошли въ городъ. Тамъ они сейчасъ же взяли себѣ двухъ женщинъ и устроились такъ, чтобы жить съ этими подружіями, а обѣты свои оставили.

Но скоро они увидали, что жить съ женщинами совсѣмъ не такъ легко, какъ они ожидали, а что это довольно хлопотливо, что женщины требуютъ себѣ того и другого, и по добру хорошихъ внушеній не слушаются, а надо ихъ много усовѣщивать и понуждать къ покорности, а черезъ то отъ совмѣстнаго сожительства съ ними получается не столько удовольствія и радостей, сколько безпрестанныхъ досажденій. Монахи нашли, что имъ не совладать съ семейнымъ житьемъ, и опять сговорились другъ съ другомъ покинуть взятыхъ женщинъ и убѣжали отъ нихъ назадъ въ монастырь, и тамъ разсказали про все, что съ ними было во время ихъ блужденія, и принесли покаяніе. Старшіе ихъ приняли и посадили въ затворъ и оставили каяться, а когда минуло время ихъ наказанія, то пришли на нихъ посмотрѣть, и увидѣли, что заключеніе оказало на нихъ совершенно различное вліяніе: одинъ согрѣшившій монахъ весь исхудалъ и истомился, а другой, напротивъ, былъ тѣломъ бодръ и лицомъ веселъ. Спросили исхудавшаго: «что тебѣ бысть?» Онъ отвѣчалъ: «Кость моя прильпе къ гортани, егда вспоминаю, что̀ сотворихъ». Тогда спросили о томъ же бодраго, а тотъ отвѣчалъ: «я все радуюсь, отъ какой бѣды меня Господь спасъ».

Старцы обсудили оба отвѣта и нашли, что «оба брата пришли равно въ хорошее понятіе».

9) *Мая 1.* Два брата, живучи въ скитѣ, занимались искуснымъ рукодѣліемъ, и одинъ разъ, наготовивъ работъ, пошли оба въ городъ, чтобы продать свои произведенія. Тутъ они, какъ только вступили въ городскія ворота, сейчасъ же и разошлись въ разныя стороны: одинъ пошелъ въ улицу, которая шла отъ воротъ направо, а другой—въ улицу, которая шла влѣво. И весь день они другъ друга не видѣли. Когда же настало уговоренное время, чтобъ имъ сойтись въ условленномъ мѣстѣ и идти назадъ въ скитъ, братъ, пошедшій влѣво, сказалъ другому, пошедшему вправо:

— Знаешь ли, со мною случилось нѣчто такое, послѣ чего я уже не могу идти назадъ въ скитъ.

— Что же это такое съ тобою случилось? — вопросилъ второй братъ.

— А то, что когда мы съ тобою разстались, то я встрѣтилъ очень красивую женщину и поддался соблазнительному влеченію, и вотъ мой обѣтъ цѣломудрія мною нарушенъ.

— Это очень дурно,—отвѣчалъ другой братъ,—но ужъ если это случилось, то тѣмъ скорѣе должно тебѣ спѣшить отсюда въ нашу пустыню.

— Нѣтъ, братъ возлюбленный,—отвѣчалъ падшій: — я уже не рѣшусь теперь оскорбить наше чистое жилище своимъ присутствіемъ.

Братъ же, ходившій въ улицу направо, еще настойчивѣе звалъ его скорѣе идти въ пустыню и самъ тянулъ его за руку; но падшій не шелъ и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, тебѣ самому будетъ тяжело со мною. Ты — чистый.

Тогда второй братъ «помысли мало и отвѣща»:

— Не сокрушайся о томъ, что мнѣ будетъ тяжело въ твоемъ присутствіи, ибо когда мы съ тобою сегодня разстались и ты пошелъ налѣво, а я понесъ свои рукодѣлья направо, то со мною въ правой сторонѣ города случилось какъ разъ то же самое, что̀ случилось съ тобой въ лѣвой.

Тогда первый братъ ободрился и воскликнулъ:

— Значитъ, мы равны!

— Да, оба мы равны, ибо оба пали.

— Что же мы теперь сотворимъ далѣе?

— Пойдемъ оба, какъ равные, вмѣстѣ въ свой скитъ и оба вмѣстѣ покаемся старцамъ.

— А что же намъ будетъ отъ старцевъ?

— А ужъ что̀ будетъ, то будетъ одинаково, что одному, то и другому. Не робѣй—перенесемъ вмѣстѣ по заслугамъ нашимъ, а какъ я старше тебя, то вѣрно мнѣ сдѣлаютъ наказаніе строжайшее, а тебя, младшаго, — накажутъ полегче.

Братъ, ходившій влѣво, «умилился» и пошелъ въ скитъ. Тамъ съ ними вышло, какъ говорилъ второй братъ, кото-

рый собственно не былъ грѣшенъ, но только сказалъ на себя грѣхъ для того, чтобы поддержать духъ падшаго брата, и тѣмъ не допустилъ его до отчаянія.

10) *Мая 21.* Одинъ братъ вышелъ изъ скита на рѣку, чтобы почерпнуть воды, и вдругъ замѣтилъ тамъ на берегу «жену перущу ризы», то-есть прачку, моющую одежды, и «прилучися брату пàсти съ нею». По совершеніи же этого грѣха, братъ зачерпнулъ воды и понесъ водоносъ въ скитъ свой; но его облѣпили бѣсы и стали кричать ему въ уши: «Чего идешь въ скитъ! Тебѣ тамъ теперь ужъ не мѣсто; оставайся теперь съ прачкой!»

Братъ этимъ очень смутился, но сейчасъ же понялъ, что бѣсы этакъ хотятъ совсѣмъ отбить его отъ пути спасенія, и сказалъ:

— Чего вы ко мнѣ вяжетесь и для чего мнѣ досаждаете! Я не хочу отчаяваться.

И съ тѣмъ онъ пришелъ въ свою келью и «безмолвствовалъ», но согрѣшеніе его открылось одному старцу. Тогда братъ покаялся и разсказалъ, что онъ скрывалъ свой грѣхъ, боясь, какъ бы не впасть въ отчаяніе.—Старецъ похвалилъ его «разсужденіе».

11) *Мая 24.* Одинъ старецъ, проведя всю жизнь въ скитѣ, пошелъ разъ въ Александрію продать свое рукодѣліе и тамъ увидѣлъ, какъ одинъ монахъ входитъ въ корчму. Пустынникъ сѣлъ противъ двери, въ которую вошелъ александрійскій монахъ, и сталъ дожидаться, пока тотъ выйдетъ. Когда же монахъ черезъ нѣкоторое время показался на порогѣ, скитникъ бросился къ нему, обхватилъ его руками и, удерживая его, сталъ говорить:

— Что̀ ты, несчастный, дѣлаешь? Или ты не вѣдаешь, что носишь ангельскій чинъ? Зачѣмъ же ты лѣзешь во вражьи сѣти, для чего входишь въ корчемницу, гдѣ сходятся неподобные мужи и женщины? Молю тебя, бѣги къ намъ въ пустыню, — тамъ ты спасешься.

Молодой же городской монахъ отвелъ руки скитника и сказалъ ему:

— Иди себѣ, калугере, — Богъ ничего не ищетъ кромѣ чистаго сердца.

Старецъ «воздвигъ руки къ небу» и сказалъ:

«— Я въ пустынѣ не стяжалъ чистаго сердца, а сей ходящій въ корчемницы стяжалъ».

12) *Іюня 3.* Встрѣтилъ отецъ Пафнутій въ пустынѣ нагого человѣка, закрывавшагося своими волосами, и сталъ его разспрашивать объ его прежнемъ житьѣ. Нагой человѣкъ сказалъ, что онъ жилъ сначала въ монастырѣ и былъ ткачомъ, но наконецъ ему не понравилось жить въ монастырѣ, а вздумалось, что лучше жить одиому: «я такъ и сдѣлалъ, и сталъ работать и жить очень хорошо»; но это шло только «пока позавидовалъ мнѣ дьяволъ. Попросила меня одна черноризица устроить ей полотно. Я сдѣлалъ. Она попросила устроить другое. Я сдѣлалъ и другое, и яко уже свычай ми бысть съ нею и часъ съ часу дерзновеніе большое, то она заченши родила беззаконіе». Тогда нашло на него раскаяніе, и онъ, бросивъ черноризицу, бѣжалъ въ пустыню, гдѣ Пафнутій и встрѣтилъ его нагого.

Пафнутій съ нимъ разговорился и спросилъ:

— Что же, я думаю, сначала-то тебѣ здѣсь и тяжело было?

— «Вельми изнемогахъ, — отвѣчалъ нагой, — и лежахъ въ пещерѣ въ тузѣ и въ страсти». Опять хотѣлось ему возвратиться «къ черноризицѣ», но «пришелъ нѣкій мужъ, какъ бы ножомъ изрѣзалъ всю мою утробу, очистилъ ее и опять вложилъ, и руками замазалъ,—и съ той поры туга и страсть остависта мя».

13) *Іюня 20.* Жилъ въ дальней пустынѣ одинъ благочестивый старецъ и имѣлъ близкую родственницу, оставшуюся въ мірѣ. Долго они не видались, но вдругъ этой женщинѣ какъ-то соскучилось и захотѣлось сходить навѣстить своего родственника. При этомъ женщина не имѣла никакого дурного умысла, а только хотѣла узнать чисто по родственному: живъ ли пустынникъ, или онъ уже умеръ; если же онъ живъ, то она хотѣла побесѣдовать съ нимъ о

божественномъ и чѣмъ-нибудь послужить ему по силамъ своимъ. Плутала она долго по пустынѣ, пока встрѣтила «камиларя», или пастуха, который пасъ верблюдовъ. Женщина разсказала ему, кого она ищетъ. Пастухъ верблюжій зналъ пустынника и показалъ ей, какъ найти его пещерку, которая была тутъ же неподалеку. Женщина разыскала своего родственника. Онъ ее уже не могъ узнать, но она сказала ему, что «сродница твоя есмь». Тогда пустынникъ ее принялъ. Потомъ они стали съ нимъ бесѣдовать; но «егда пріиде ночь», то старецъ «преступи съ ней свой обѣтъ цѣломудрія». Это сейчасъ сдѣлалось извѣстно необычайнымъ случаемъ. Въ этой же самой пустынѣ, на нѣкоторомъ разстояніи, жилъ другой старецъ, который нимало не интересовался тѣмъ, что́ произошло у сосѣдняго старца; но онъ пошелъ почерпнуть воды, и только-что погрузилъ свою чашу въ воду, какъ «чаша перевернулась». Старецъ удивился, потому что до этого случая чаша у него никогда не переворачивалась. Онъ второй разъ зачерпнулъ чашу, но чуть ее поставилъ, какъ она опять перевернулась.

Тогда пустынникъ подумалъ:

«Вѣрно это по усмотрѣнію Божію».

А такъ какъ онъ въ одиночествѣ никакъ не могъ себѣ разъяснить, къ чему ему давалось такое знаменіе, то онъ, не теряя времени, пошелъ къ другому пустыннику, спасавшемуся въ той же пустынѣ, но въ другомъ мѣстѣ.

«Пойду и разскажу ему, — думалъ старецъ, — и вдвоемъ съ нимъ мы это лучше обсудимъ».

А старецъ, къ которому онъ собирался идти, какъ разъ и былъ тотъ самый, у котораго въ это время гостила родственница.

Пошелъ къ нему пустынникъ на совѣщаніе, но въ одинъ день не дошелъ, а заночевалъ дорогой подъ стѣнами идольскаго капища и тутъ обо всемъ узналъ. Случилось такъ, что въ этомъ капищѣ именно въ ту ночь собрались бѣсы и въ чрезвычайной радости завели шумное торжество, и

стали хвастать, что соблазнили одного извѣстнаго и опытнаго пустынника, при чемъ не разъ называли соблазненнаго и по имени.

Это былъ какъ разъ тотъ, къ кому шелъ путешествующій. Но путникъ хотя и смутился этимъ, однако все-таки пришелъ къ тому, который палъ во грѣхъ съ родственницей, и, поздоровавшись, спросилъ у него:

«— Что̀ убо сотворю, отче,—егда наполню чашу мою водой и она во время снѣденія превращается?»

А тотъ посмотрѣлъ на него и вмѣсто отвѣта самъ предложилъ вопросъ:

«— А что́ убо азъ сотворю, яко азъ впадохъ въ блудъ?»

— Да, я это уже знаю, — отвѣчалъ гость: — я слышалъ объ этомъ «въ церкви идольстей».

Тогда преступившій обѣдъ цѣломудрія старецъ, какъ только услыхалъ, что о немъ даже дьяволы говорятъ, вскочилъ и отчаянно закричалъ:

— Ну, если это такъ, то тогда ужъ все равно — я брошу пустыню и пойду въ міръ!

Но тотъ братъ, у котораго чаша переворачивалась, отговорилъ его отъ этого, а присовѣтовалъ прогнать только отъ себя родственницу.

«Старецъ послушался и исправилъ житіе свое».

14) *Іюня 27*. Отцы Даніилъ и Палладій, придя въ Александрію, встрѣтили молодого монаха, выходящаго изъ бань. Имъ это показалось подозрительно и непристойно, и они ему это сказали, а тотъ, вмѣсто того, чтобы покаяться, отвѣчалъ имъ: «не судите и не судимы будете» Старцы попросили у него прощенія, но скорбѣли о немъ, потому что видѣли, какъ около него вертятся два мурина. Спустя же нѣкоторое время они узнали, что этотъ молодой красавецъ-монахъ пришелъ въ Александрію изъ Константинополя и вступилъ въ связь съ «женой эпарха», а слуги эпарха изловили его и, желая сдѣлать евнухомъ, такъ его изуродовали, что онъ чрезъ три дня умеръ, «и бысть всѣмъ мнихомъ поруганіе и урокъ».

15) *Іюля 22.* Жилъ въ одномъ скитѣ многолѣтній старецъ и ослабѣлъ силами. Трудъ, который онъ до сего времени исполнялъ, пришлось разложить на другихъ. Это старика очень стѣсняло, и чтобы не ѣсть даромъ хлѣба, онъ рѣшился уйти въ Египетъ. Тамъ же жилъ съ нимъ въ скитѣ другой старецъ, Моисей, который ранѣе бывалъ въ Египтѣ и вообще былъ человѣкъ очень опытный; онъ сказалъ старцу: «не ходи въ Египетъ,—тамъ много женщинъ, и ты соблазнишься».

А старецъ этому не повѣрилъ и даже обидѣлся.

— Что ты мнѣ нссообразное говоришь!—возразилъ онъ Моисею.—Ты бы долженъ постыдиться даже вспоминать мнѣ объ этомъ! Или ты не видишь, какъ я старъ, и все тѣло мое уже одряхлѣло и умерло!

Моисей же все стоялъ на своемъ и говорилъ, что какъ человѣкъ ни будь старъ, но, пока онъ живъ, ему, все равно, не безопасно побывать въ Египтѣ.

Старецъ такъ разсердился, что назвалъ Моисея нескромнымъ и соблазнительнымъ, а самъ сейчасъ же всталъ и ушелъ отъ него въ Египетъ. Слава же этого старца была столь велика, что его уже и въ Египтѣ знали, и объ его замѣчательной жизни разсказывали другъ другу. А потому, какъ только старецъ появился въ Египтѣ, такъ и стали приходить къ нему разные люди за духовными наставленіями и исцѣленіями. И сначала все шло очень хорошо, но одинъ разъ «пріиде также по вѣрѣ Божіи послужити ему и нѣкая дѣва». Она была чѣмъ-то неисцѣлимо больна, «но по лѣтѣ единемъ старецъ исцѣли ее и впадъ съ нею въ грѣхъ и она явися непраздна». Люди, приходящіе къ старцу, стали замѣчать особенное положеніе дѣвушки и начали говорить объ этомъ различно. «А простая же чадь прямо вопроси ее: откуда се имаши?» Дѣвушка отвѣчала имъ: «отъ старца». Одни ей вѣрили, а другіе не вѣрили, ибо «бѣ той старецъ вельми многолѣтенъ». Но старецъ, услыхавъ эти разногласія, самъ подтвердилъ слова дѣвушки. Онъ сказалъ: «се азъ сотворихъ сіе, и вы сохра-

ните отроча рождающееся». «И ради просьбы его бысть родшееся отроча отдоено». Спустя же нѣкоторое время въ скитѣ былъ праздникъ и собралось много народа, и тогда посреди толпы вдругъ появился оный старецъ, «нося на рамѣ своемъ отроча отдоенное», и вошелъ въ церковь и, оборотясь къ скитникамъ, сказалъ: «Видите ли это дитя? Это есть плодъ моего непослушанія. Берегите себя отъ этого, потому что ежели такое дѣло могло случиться со мною, при моей старости, то тѣмъ легче это можетъ случиться со всякимъ въ молодости».

«И видѣвшіе это всѣ заплакали».

16) *Іюля 25.* Въ одномъ египетскомъ монастырѣ былъ знаменитый «славный» дьяконъ. Случилось, что мѣстный князь той страны преслѣдовалъ одного простолюдина, у котораго была очень красивая жена. Преслѣдуемый, укрываясь отъ князя, прибѣжалъ съ семьей въ монастырь, чтобы здѣсь сохранили его жену отъ страстныхъ преслѣдованій неистоваго князя. Монахи пріютили супруговъ, но мужъ отъ этого ничего не выигралъ, ибо тутъ «удариста во дьякона непріязненныя силы вражія», и съ женой простолюдина таки-случилось то самое, чѣмъ угрожало ей неистовство князя. Дьяконъ, замѣнившій князя, былъ изобличенъ и пристыженъ, и его опредѣлили «погребсти живаго въ темницу», и такъ и сдѣлали. Дьяконъ долго оставался замурованный; но въ краѣ томъ настала продолжительная засуха, и сколько ни молились о ниспосланіи съ неба дождя,—дождя все не было. Тогда явлено было одному старцу, что надо «извести наружу и поставить къ служенію сокрытаго славнаго дьякона». Сдѣлали по этому внушенію, и когда размуровали затворъ «и дьяконъ, изшедъ и вземши санъ свой», началъ молебствовать—«сошелъ дождь на землю».

17) *Августа 12.* Въ царствованіе Леона, царя константинопольскаго, жилъ одинъ очень славный и богатый человѣкъ, который при томъ былъ и чрезвычайно добръ, но въ то же время былъ и большой грѣшникъ. Онъ имѣлъ неодо-

лимое влеченіе къ красѣ женщинъ и находился въ постоянномъ съ ними обращеніи, и такъ къ этому привыкъ, что каковъ былъ съ смолоду—точно такимъ же оставался и въ старости, — «занеже устарѣся въ немъ той злой обычай». Въ такомъ страстномъ обдержаніи этотъ именитый и добрый человѣкъ и умеръ. При погребеніи его, у патріарха Гермогена и епископовъ, а также и у мірскихъ знатныхъ лицъ въ Византіи, возникло огромное недоумѣніе: какъ почитать этого усопшаго, за праведника или за грѣшника, и въ какомъ мѣстѣ онъ долженъ быть помѣщенъ послѣ смерти, то-есть въ раю ли съ праведниками,—чего онъ былъ достоинъ по свойствамъ своей доброй души, или въ аду съ грѣшниками, куда ему слѣдовало идти за свой любострастный «обычай». Долго объ этомъ разсуждали важнѣйшіе духовные люди въ Византіи и никакъ не могли придти къ рѣшенію. Тогда захотѣли вопросить Небо, и патріархъ Гермогенъ повелѣлъ всѣмъ монастырямъ и затворникамъ молиться, чтобы «явлено было о человѣкѣ семъ пользы ради человѣческія». И Небо отвѣтило: открыто было нѣкоторому затворнику слѣдующее: «видѣлъ онъ *мѣсто нѣкое*, имущее одесную рай, а ошую езеро огненное, и между ближняго рая и страшнаго пламени стояше привязанъ умершій мужъ и злѣ стенаше, позирая на рай. А ангелъ Господень говорилъ ему: «напрасно, человѣче, стонеши, ибо ради милосердія твоего избавленъ еси отъ муки,—за скверну же любострастія лишенъ рая».

Прослѣдованное нами въ семнадцати «прилогахъ» ясно показываетъ, что изъ тридцати пяти случаевъ, гдѣ имѣетъ мѣсто любовный соблазнъ, — въ семнадцати случаяхъ женщины Пролога не обнаруживаютъ никакого обольстительнаго коварства для совращенія мужчинъ, а напротивъ, мужчины сами увлекаются въ эту сторону съ чрезвычайною неразборчивостью и легкостью.

Этимъ кончается первая категорія женскихъ лицъ, за которою слѣдуютъ другія, представляющія собою характеры болѣе сложные и болѣе интересные.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прямыми соблазнительницами женщины Пролога являются въ слѣдующихъ исторіяхъ:

18) (1) *Октября 7.* Въ Александріи былъ славный художникъ, дѣлавшій необыкновенно изящныя вещи изъ серебра и золота. Его звали Зенонъ (въ Прологѣ онъ называется «златокузнецъ»). Онъ былъ потаенный христіанинъ. По художеству его ему нигдѣ не было равнаго. Самыя именитыя женщины роскошнаго города наперебой непремѣнно хотѣли имѣть украшенія, сдѣланныя этимъ искуснымъ мастеромъ, а Зенонъ не успѣвалъ исполнять всѣхъ дѣлаемыхъ ему заказовъ. Богатыя щеголихи Александріи шли наперебой одна передъ другой и платили очень дорого, чтобы перещеголять другъ друга, но только и это не помогало. Тогда въ Александрію пріѣхала изъ Антіохіи одна молодая красавица, необычайно своенравнаго и настойчиваго характера. Она имѣла привычку ни предъ чѣмъ не останавливаться для достиженія своей самомалѣйшей цѣли, а цѣль ея въ Александріи была превзойти здѣсь своею пышностью всѣхъ александрійскихъ женщинъ. Имя ея было Нефорисъ или Нефора. Вся Антіохія знала ее, какъ самую первую красавицу, затмевавшую собою всѣхъ иныхъ въ рощѣ Дафны. Она захотѣла во что бы то ни стало имѣть «головную утварь на красоту своего тѣла» и не послала звать къ себѣ художника, потому что знала, что Зенонъ откажется, а она взяла золото и драгоцѣнные камни и сама пошла къ нему и стала его «умолять»—сдѣлать для нея такое головное украшеніе, которое какъ можно болѣе шло бы къ ней и еще сильнѣе возвысило «красоту ея изящнаго тѣла».

Зенонъ, удаляясь отъ шума, жилъ за городомъ въ красивой мѣстности, до которой было довольно далеко. Нефора шла сначала тѣнистою аллеей, по которой ей встрѣчались рабы, несшіе въ паланкинахъ женщинъ, и съ грохотомъ

проѣзжали колесницы на коняхъ съ подстриженными гривами; потомъ путь становился безлюднѣе и тише. Отъ аллеи начинались мелкіе свертки по тропинкамъ въ удолья, утонувшія въ рощахъ. У одного изъ этихъ свертковъ подъ вѣтвистымъ деревомъ сидѣлъ старикъ и кормилъ своего верблюда. Нефора спросила его, гдѣ живетъ Зенонъ златокузнецъ. Онъ ей указалъ на поляну, гдѣ зрѣли ароматныя дыни, межъ сирени, жасминовъ и розъ, а сзади катился ручей и за нимъ въ чащѣ кустовъ стоялъ бѣлый домикъ. Вокругъ было тихо—только черные дрозды сидѣли на бѣломъ карнизѣ и пѣли. Дверей не было видно. Нефора ударила три раза въ стѣну—и передъ ней раздвинулась панель и ее встрѣтилъ Зенонъ.

Онъ былъ пораженъ и недоволенъ ея посѣщеніемъ, но принялъ ее въ свою мастерскую. Это была большая квадратная комната безъ оконъ,—свѣтъ проникалъ въ нее черезъ потолокъ, сквозь фіолетовую слюду, отчего всѣ вещи казались обвитыми какою-то тонкою дымкой. Посерединѣ комнаты стоялъ бронзовый ибисъ и изъ его клюва струилась свѣжая вода; въ углахъ помѣщались обширные тазы, въ которыхъ росъ златоглавый мускусъ и напоялъ всю атмосферу своимъ запахомъ. Всѣ стѣны были покрыты художественными произведеніями искусства. Здѣсь были и Аписъ, и фараоновы кони, и шесты, и посуда.

Застигнутый дома врасплохъ, «златокузнецъ» не могъ отдѣлаться отъ этой бойкой и настойчивой гостьи и сталъ съ ней разговаривать, невольно замѣчая, что она чрезвычайно красива и одѣта къ лицу, такъ что красота ея выдается еще ярче. Чернокудрая голова ея была покрыта широкимъ и тонкимъ полосатымъ кефье, мягкія складки котораго облегали, какъ воздухъ, ея черносинія кудри. Кефье перевязано было желтымъ шнуромъ. Ея уши, руки и пальцы были украшены серьгами, кольцами и браслетами, а на шеѣ было золотое ожерелье изъ множества тонкихъ цѣпочекъ и на концѣ каждой изъ нихъ дрожали жемчужные перлы. Рѣсницы ея были подведены, а концы паль-

цевъ подрумянены и тонкіе ногти отливали радужнымъ перламутромъ. На поясѣ ея, который обхватывалъ пріятнаго сѣраго цвѣта тунику съ красною каймой, висѣло маленькое зеркальце и такой же маленькій сосудъ съ пахучею индійскою эссенціей.

Она сѣла, не ожидая приглашенія хозяина, поглядѣлась въ свое зеркало, прыснула на себя и передъ собою духами и пригласила художника, чтобъ онъ помогъ ей обсуждать: какъ ей можно еще «пріумножить ея красоту». И когда увидала, что онъ растерялся, то дабы не дать ему опомниться и сразу преклонить его на свою сторону и получить отъ него такую изящную «утварь», какой нѣтъ ни у какой другой именитой женщины во всей Александріи, она стала прельщать его своею красотой, съ намѣреніемъ довести это до крайняго результата. «Тогда, — думала она, — онъ, какъ любовницѣ своей, сдѣлаетъ для меня уборъ всѣхъ лучше, а вреда моей чести отъ этого никакого не будетъ, ибо никто даже и не подумаетъ, что я, будучи столь знатна и богата, согласилась бы такою цѣною златокузню его купить». Подходы щеголихи были такъ ясны, что художникъ не могъ ихъ не понять; но она еще ихъ усилила,— она сказала ему:

— Здѣсь жарко, и ты долженъ видѣть тѣло мое безъ постороннихъ прикрасъ: сѣрый и красный цвѣтъ оттѣняютъ цвѣтъ моей кожи. Я должна сбросить тунику. — И она ее сбросила, и въ это же время вилась передъ нимъ, перемѣняя прически, а онъ примѣривалъ къ ея лицу и головѣ то тѣ, то другія снизи и пронизи и безпрестанно имѣлъ въ своихъ объятіяхъ ея тѣло, покрытое одною сорочкой, которая держалась застежкой на правомъ плечѣ и шла внизъ подъ лѣвую руку, такъ что въ глаза ему била прелесть ея тѣла, и это его туманило... Художникъ «блазняшася на ню», а она ему «подаяше помизаніе очима и неподобенъ смѣхъ». Онъ опускалъ свои вѣки, чтобъ ея не видѣть, но она, смѣясь, насильно открывала ихъ своими тонкими пальцами, — онъ опять ее видѣлъ и душа его играла и пры-

гала, какъ молодая лань въ горахъ или какъ горный потокъ въ стремнинахъ Ливана. Зенонъ просилъ ее удалиться. Нефора смѣялась и тихо шептала: «зачѣмъ?»

— Я хочу быть царемъ моей совѣсти!

— Э! оставь это! Повѣрь, веселѣе быть червемъ, гложужимъ тутовый листъ въ рощѣ Дафны, чѣмъ томиться въ царственной скукѣ. Дай мнѣ вина и лобзанье въ память нагого ребенка!

Зенонъ ей подалъ фіалъ; она отпила половину, а другую половину, смѣясь, влила ему во уста и держала его все это время въ своихъ объятіяхъ, а потомъ, бросивъ пустой фіалъ, поцѣловала Зенона въ честь Вакха...

Страсть, какъ темная гора, покрыла сердце Зенона.

Случай могъ быть чрезвычайно опаснымъ для обоихъ, но златокузнецъ александрійскій былъ тайный христіанинъ, и это спасло обоихъ. Въ самую безумную минуту, «егда устремися уже грѣху, — помянуся художному мужу слово евангельское: аще соблазняетъ тебя рука твоя или нога— отсѣцы ее, или око—изботи е». И онъ, возрѣвъ на жену, рече: «мало ми отступи» (отойди немножко) и иземъ ножъ удари ся въ око десное и рече: «Виждь, Господи, яко сохранитель заповѣди Твоя есмь,—да егда и азъ востребую помощи отъ Тебя — Ты не удалися». Соблазнительница ужаснулась и убѣжала.

Вскорѣ въ Александріи случилось гоненіе на христіанъ. Гонитель ихъ былъ человѣкъ не только жестокій, но и насмѣшливый, — онъ хотѣлъ издѣваться надъ христіанами и, призвавъ ихъ епископа, сказалъ ему: «Не нахожу въ вашей вѣрѣ ничего основательнаго и твердаго, да не вѣрю, чтобы вы и сами могли вѣрить въ то, о чемъ разсказываете. Вотъ я задамъ вамъ рѣшительное испытаніе: если вы его выдержите, то вы останетесь цѣлы, и все, что у васъ есть,—ваше будетъ; а если не выдержите, тогда я поступлю съ вами, какъ съ обманщиками, и оберу у васъ все, что вы имѣете, на государя. Испытаніе же вѣрѣ вашей назначаю вамъ по вашимъ книгамъ; тамъ написано: *если кто имѣетъ вѣру*

и скажетъ горѣ — «стронься съ мѣста и иди въ воду», то будто гора непремѣнно тронется и пойдетъ. Вонъ, видите, тамъ недалеко отъ берега Нила есть гора Адеръ. Она стоитъ тамъ много лѣтъ, огнемъ земнымъ выдвинутая еще въ началѣ созданія земли, когда не было ни пирамидъ, ни сфинксовъ, ни праотцевъ нашихъ, трудившихся надъ этими постройками. Выберите изъ себя такого истинно вѣрующаго, который могъ бы сдѣлать надъ Адеромъ то, что представляется за возможное въ вашихъ книгахъ; если гора Адеръ стронется съ мѣста и пойдетъ, то я повѣрю, что въ вашихъ книгахъ писана правда, а если вы ничего этого не сдѣлаете, то вы тѣмъ докажете, что всѣ вы лгуны, и тогда я поступлю съ вами какъ съ недостойными уваженія обманщиками, а всѣ ваши имущества возьму у васъ на государя.

Христіане пришли въ ужасъ. Они знали, что ихъ правитель жестокъ и пощады имъ отъ него не будетъ: если гора Адеръ не тронется съ своего мѣста и не пойдетъ въ Нилъ, тогда всѣмъ имъ доведется погибнуть съ позоромъ, а все добро, которое они собрали трудами въ теченіе всей своей жизни, будетъ расхватано или поверстано въ казну, а дѣти ихъ останутся нищими и съ осмѣянною религіей и безъ руководства родителей перейдутъ въ вѣру торжествующихъ отцовскихъ мучителей...

Въ такомъ ужасномъ положеніи всѣ христіане, жившіе въ сосѣдствѣ горы Адера, надѣли на себя неподрубленныя одежды печали, постились, молились и плакали, а между тѣмъ время шло и приближался уже срокъ, назначенный правителемъ. Никто,—ни одинъ изъ христіанъ не чувствовалъ въ себѣ той увѣренности, чтобы сказать горѣ при людяхъ: «стронься съ мѣста и иди въ воду».

Скорбь христіанъ сдѣлалась извѣстна и иновѣрнымъ людямъ въ городѣ, и тогда къ христіанскому епископу пришла тайно та самая египетская красавица, которая ранѣе приходила соблазнять «златокузнеца», и она сказала епископу:

— Я узнала о вашемъ горѣ и мнѣ васъ жалко; но вы,

можетъ быть, напрасно приходите въ отчаяніе, ибо если только вѣрѣ все возможно, то у васъ есть такой человѣкъ, который имѣетъ настоящую вѣру, и его вѣра можетъ выдержать всякое испытаніе.

— Какъ! — воскликнулъ епископъ: — неужели ты, нехристіанка, увѣрена, что гора можетъ сдвинуться?

— Да, я вѣрю въ это потому, что я видѣла вѣру, которая преодолѣла законы естества; но меня очень удивляетъ, что этого-то одного человѣка я и не вижу между тѣми, которыми ты себя здѣсь окружаешь и съ которыми совѣтуешься!

— Скажи же скорѣе, сострадательная госпожа,—кто онъ такой?

— Онъ златокузнецъ, художникъ.

— Неужто Зенонъ окривѣлый, который дѣлаетъ кумиры и утварь для женскихъ уборовъ?

— Да, это Зенонъ.

— Помилуй!—воскликнулъ христіанскій епископъ: — ты говоришь невозможную вещь.

— Почему?

— Зенонъ искусный художникъ, ни слова объ этомъ; но онъ въ вѣрѣ нашей не крѣпокъ, онъ въ постоянномъ общеньѣ съ людьми разныхъ вѣръ, и ты имя его можешь увидѣть на исподахъ различныхъ кумировъ, — крокодиловъ мерзостныхъ, страстнаго ибиса и быка съ чернымъ пятномъ и коней фараона; притомъ Зенонъ часто бываетъ лѣнивъ: онъ не поспѣваетъ къ общей со всѣми молитвѣ, въ день недѣльный, когда много заказовъ, онъ одинаково трудится, будто какъ въ будень; онъ живетъ безъ жены и нимало не занятъ тою мыслію, чтобъ учредить себѣ семью или удалиться въ пустыню, а онъ охотно разговариваетъ съ посторонними женщинами, которымъ онъ нуженъ, и угождаетъ ихъ суетности.

— Можетъ быть, все это правда,—отвѣчала гостья,—но быть можетъ и то, что все это не такъ важно, какъ тебѣ кажется.

— Ахъ, нѣтъ, госпожа,—что ужъ касается степени важности въ вѣрѣ, то ты повѣрь, что намъ это ближе извѣстно.

— Я и не спорю,—отвѣчала Нефорисъ:—такъ и должно быть, чтобы вамъ все было лучше извѣстно; но услышите и то, что̀ я знаю о вѣрѣ Зенона.

— Что же тебѣ стало извѣстно?

— Мнѣ извѣстно, что Зенонъ покорилъ себя волѣ Учителя вашего, котораго всѣ вы зовете Сыномъ вашего Бога, и при мнѣ показалъ такую силу любви къ Его слову, какой, можетъ быть, никто изъ васъ не видѣлъ.

Епископъ попросилъ ее, чтобъ она разсказала, что̀ такое она видѣла, и Нефорисъ съ полною откровенностью разсказала ему всю соблазнительную сцену, которую она устроила художнику изъ желанія имѣть отъ него искусный уборъ на голову.

Старецъ всплеснулъ руками. Ему было извѣстно, что златокузнецъ недавно окривѣлъ на одинъ глазъ; но онъ не зналъ, отчего это случилось съ Зенономъ. Услыхавъ разсказъ красивой Нефоры, епископъ понялъ всю трудность борьбы, которую одолѣлъ художникъ, и далъ цѣну его поступку. Онъ благодарилъ гостью и сказалъ ей:

— Вѣрь, прекрасная госпожа, это никогда не позабудется въ нашемъ народѣ, что ты пожалѣла о насъ и не скрыла этого происшествія, которое при совершеннѣйшей красотѣ твоей для всякаго должно быть удивительно, и я согласенъ съ тобой, что Зенонъ доказалъ свою вѣру своимъ послушаніемъ: я сейчасъ пошлю звать его, чтобъ онъ сдвинулъ гору.

Въ тотъ же часъ отъ епископа пошли за Зенономъ послы, чтобы онъ немедленно явился, а антіохійская модница, разсказавъ свою тайну и тайну Зенона, ушла, чтобы съ нимъ тутъ не встрѣтиться. Ни епископъ, ни бывшіе при немъ люди не уразумѣли настоящихъ намѣреній гостьи-Египтянка Нефора, растлившая умъ свой въ Антіохіи на безумныхъ пирахъ въ рощѣ Дафны, не знакома была съ состраданіемъ, но мстила Зенону за его равнодушіе и на-

рочно выставляла его на самую отвѣтственную роль, въ которой онъ долженъ быть народомъ осмѣянъ.

Кривой златокузнецъ не скоро пришелъ изъ своего загороднаго дома, а когда пришелъ и епископъ разсказалъ ему, что отъ него требуется, чтобъ онъ сдвинулъ гору, то онъ этому очень удивился и отвѣчалъ:

— Господи, Боже мой! Что только я слышу! Или вы это это вздумали въ шутку, чтобы посмѣяться надо мной!

— Какъ!—отвѣчали ему:—да ты развѣ не знаешь, какое надъ нами случилось бѣдствіе?

— Скажите скорѣе! я живу далеко и отъ молвы городской въ сторонѣ, и ничего не знаю.

— Нашъ правитель велѣлъ намъ для испытанія вѣры нашей, чтобы мы сдвинули съ мѣста гору Адеръ.

— О, Боже великій! кто жъ это долженъ исполнить?

На это всѣ вдругъ ему отвѣтили:

— Ты!

Художникъ подумалъ, что онъ ослышался, и воскликнулъ:

— Что? Я не слышу, что вы сказали?

Но народъ еще громче вскричалъ въ одно слово:

— Ты, Зенонъ, ты сдвинешь гору!

Зенонъ закрылъ себѣ ладонями уши и стоялъ въ молчаніи минуту, а когда открылъ слухъ,—опять оглушилъ его тотъ же самый крикъ:

— Ты, Зенонъ, сдвинешь гору!

— Такъ это не въ шутку на меня возложили?

— Да, Зенонъ, да! Ты это сдѣлай. Мы всѣ тебя просимъ.

Зенонъ покачалъ головой и сказалъ:

— Кто научилъ васъ задавать мнѣ такую задачу? Неужели я во всей общинѣ всѣхъ лучше вѣрю, и нѣтъ человѣка, котораго смѣлѣе можно бы выставить на такое великое дѣло—испытаніе вѣры.

А епископъ ему отвѣчалъ:

— Напрасно, Зенонъ, ты стараешься спрятаться за свое смиреніе! Мы сами считали тебя въ вѣрѣ некрѣпкимъ, но узнали одну твою тайну и теперь перемѣнили свое мнѣніе.

Ты напрасно будешь отговариваться: ты одинъ можешь сдвинуть гору.

— Но объясните мнѣ... о какой такой моей тайнѣ вы говорите?

— А отчего ты потерялъ глазъ?

— Глазъ?

— Да!

Зенонъ смутился и поникъ головой.

— То-то и дѣло, — сказалъ ему, ударяя его по плечу рукой, епископъ:—сюда приходила красивая госпожа и все про тебя разсказала. Въ тебѣ природа повинуется Богу. Мы знаемъ теперь, какъ ты освободилъ себя отъ соблазновъ, входившихъ въ сердце твое черезъ глазъ: ты его выкололъ. Не марай себя ложью, скажи намъ: такъ это было?

— Такъ,—уронилъ тихо Зенонъ.

— Я старъ, но не даромъ я избранъ въ епископы: я понимаю, какое ты сильное одолѣлъ искушеніе. Вѣрѣ твоей больше нельзя да и не должно таиться; какъ старшій въ общинѣ нашей, я совлекаю съ тебя темный хитонъ твоего смиренія. Отселѣ ты, Зенонъ, долженъ просіять всему міру и спасти насъ передъ издѣвающимся гонителемъ.

Кривой художникъ очень долго отказывался; но епископъ не освобождалъ его отъ труднаго послушанія, а видя его непреклонность, сказалъ людямъ, чтобы всѣ люди Зенона просили, и тѣ всѣ стали плакать, бить себя въ груди и громко кричать:

— Или ты, строя крокодиловъ изъ золота, и самъ уже сталъ крокодилъ, а не человѣкъ, и не имѣешь состраданія? Отчего же ты умѣлъ спасти себя одного, а теперь все множество людей хочешь оставить въ жесточайшемъ бѣдствіи? Устыдись своего жестокосердія, испробуй свою вѣру, повели горѣ Адеру двинуться и идти въ воду, чтобы всѣ мы остались цѣлы въ нашихъ жилищахъ!

Такого общаго жалостнаго вопля художникъ не выдержалъ.

— Братья мои, — сказалъ онъ: — не укоряйте меня въ

томъ, что я мастерствомъ моимъ произвожу изъ камней и изъ золота подобія созданныхъ въ природѣ твореній. Отъ этого нѣтъ никакого зла, и самъ я не сдѣлался черезъ то ни камнемъ, ни золотомъ, и скорбь ваша жжетъ мое сердце. Повѣрьте, что если бы для спасенія вашего нужно вамъ было, чтобъ я выкололъ себѣ второй глазъ, то я бы это сдѣлалъ сейчасъ же и не искалъ бы себѣ за то ни возмездья, ни славы; но повелѣть горѣ, чтобъ она двинулась съ мѣста и поверглась въ Нилъ—я не могу, потому что я не вѣрю, чтобы слабая вѣра моя на это годилась. Не себѣ, а всѣмъ вамъ, всѣмъ христіанамъ, я боюсь сдѣлать укоръ и ученію Христа постыженье, ибо не мнѣ ту вмѣнятъ неудачу, а Его станутъ укорять безразсудно.

А тѣ отвѣчали:

— Оставь, Зенонъ, оставь! И мы, и епископъ, всѣ тебѣ вѣримъ, что крѣпка твоя вѣра, и потому не медли, спѣши прославить всеобщее упованіе на вѣру твою: помолись и повели горѣ идти съ мѣста!

Кривой златокузнецъ воздвигнулъ плечами и воскликнулъ:

— Всемогущій и Вѣчный Отецъ! Ты видишь скорби этихъ людей, которымъ Ты далъ уразумѣть Тебя черезъ Іисуса, Отрока Твоего! Передъ Тобою открыта безконечность вселенной и всѣ глубины бездны, но Ты же видишь и терзаніе моего сердца, которое не можетъ сносить слезъ моихъ братьевъ. Прости мнѣ, что смѣю Тебя умолять,—не постыди насъ всѣхъ, оживившихся вѣрою, и соверши невозможное, какъ возможное, ибо Твоя есть сила и слава во вѣки!

Всѣ александрійскіе христіане повторили эту краткую молитву кривого художника и всѣ сразу, поднявшись, запѣли псаломъ и пошли изъ города въ смиреньѣ толпой къ горѣ Адеру, а впереди ихъ шелъ, тихо молясь, ихъ епископъ.

О движеніи христіанъ въ тотъ же часъ дали знать градоправителю, у котораго въ ту пору было много именитыхъ

гостей, и онъ и всѣ его гости захотѣли поѣхать къ горѣ, гдѣ надѣялись видѣть, какъ будутъ смѣшны христіане. Градоправитель, въ пурпуровой съ золотомъ тогѣ, ѣхалъ впереди всѣхъ въ колесницѣ, выложенной серебромъ и слоновою костью, съ львиными головами на гайкахъ, гдѣ колеса были привернуты къ оси. Вороные кони его были прямые потомки коней фараона; ихъ челки и остриженныя гривы покрыты золотою тяжелою сѣткой работы Зенона, поводья изъ золотистаго желтаго шолка съ золотой бахромою. Въ другихъ колесницахъ также парадно ѣхали гости. Къ нимъ приставали по пути прохожіе на убранныхъ ослахъ и дорого стоившихъ бѣлыхъ верблюдахъ съ пушистою шерстью. Пѣшіе люди въ большомъ изобиліи ихъ окружали несмѣтной толпою. Явились крестьянки съ кувшинами свѣжей воды и съ корзинами фруктовъ. Толпа становилась все больше и больше, и всѣ шутили и смѣялись, ожидая, что когда гора не пойдетъ, то правитель дастъ знакъ отряду слѣдовавшихъ за ними воиновъ, и они сгонятъ христіанъ къ Нилу и всѣхъ ихъ помечутъ съ берега въ воду. Появились на старыхъ ослахъ и закладчики съ мѣшками монетъ и съ таблицами, на которыхъ писали заклады. Никто ни секина не хотѣлъ держать за то, что гора сдвинется, но держали за то: всѣхъ ли утопитъ правитель, или только немногихъ, а другихъ отдастъ въ рабство.

Между тѣмъ христіане съ епископомъ, не спѣша, подошли къ подошвѣ горы, опять помолились и пошли обходить гору вокругъ. Со смиренной молитвой они обошли «все основанье горы», и когда возвратились на то мѣсто, откуда начали обходъ, то епископъ сказалъ кривому художнику, чтобъ онъ еще помолился. И чуть художникъ преклонилъ колѣно, какъ подъ землей послышался гулъ, и гора Адеръ колыхнулась, какъ шапка на сонномъ феллахѣ.

Толпа горожанъ, забывъ смѣхъ и заклады, шарахнулась назадъ и испугала коней и верблюдовъ; вышло смятеніе, колесницы одна зацѣпляла другую, верблюды зафыркали и подняли шеи, а ослы закричали и начали биться...

Напрасно трубили въ рожокъ и напрасно кричалъ градоправитель: «Уймитесь, безумцы! Это не больше, какъ грохотъ колесъ, или простой гулъ отъ волнъ Нила!»

Всякій чувствовалъ, что земля подъ нимъ колебалась, и замѣтили всѣ, какъ кремнистыя ребра горы впали, потомъ вдругъ напряглись, вышли наружу и стали крошиться. Осколки острыхъ кремней и песокъ сыпались внизъ, и порой, какъ изъ пращи, разлетались въ стороны съ трескомъ; внизу же необъятнымъ пластомъ ползли оползни глины... Казалось, какъ будто разрушалось созданье горы, а разстояніе, которое отдѣляло Адеръ отъ Нила, на виду у всѣхъ начало убавляться съ обѣихъ сторонъ, ибо вода въ рѣкѣ также шумѣла, билась на берегъ и затопляла пространство...

Тутъ не только тѣ, которые были на мѣстѣ, но всѣ, кто оставался въ Александріи, такъ испугались, что потеряли всякое обладанье собой; всѣ бросились скорѣе вонъ изъ своихъ колебавшихся домовъ и устремились бѣгомъ къ подножію Адера. Среди нихъ, то мѣшаясь въ толпѣ, то выдвигаясь впередъ, шла въ волненіи Нефорисъ и говорила всѣмъ о своемъ поведеніи, и о стыдѣ, и о страхѣ, которые испытывала она у Зенона, и этотъ Зенонъ теперь по ея винѣ погибаетъ. На нее смотрѣли какъ на сумасшедшую. Гдѣ спокойно стояли одни христіане со своимъ епископомъ и кривымъ художникомъ,—всѣ тѣ, которые пришли сюда съ торжествомъ и насмѣшками, метались, рыдали и, хватаясь одинъ за другого, другъ друга отталкивали, чтобы не стать тяжелѣй отъ того, что другой человѣкъ держится, и не провалиться съ нимъ вмѣстѣ въ трещины, которыя, къ вящшему ужасу, стали обозначаться подъ осѣдавшею глиной.

Тогда прибѣжавшіе александрійцы издали закричали христіанамъ:

— Безчинные люди! вотъ до чего довело насъ милосердіе, съ которымъ мы васъ терпѣли! Что вамъ за польза дѣлать намъ зло? Для чего вы ведете недвижную Адеръ-гору съ ея вѣковѣчнаго мѣста? Для чего хотите завалить нашу рѣку? Нилъ орошаетъ всѣ наши поля и дынныя

гряды; черезъ его мѣрный разливъ земля всѣхъ насъ кормитъ, а вы хотите сдѣлать такъ, чтобы гора запрудила сразу всю воду и чтобы Нилъ выступилъ вдругъ и началось по всѣмъ полямъ и по дыннымъ грядамъ потопленіе! О проклятый народъ! о жестокіе люди! И вы еще смѣете уничтожать крокодиловъ! Нѣтъ людей хуже васъ во вселенной! Вы злѣй гальскихъ друидовъ и вашъ Богъ—Аримана персидскаго злѣе!

Тогда христіанскій епископъ поднялъ руку и отвѣчалъ александрійцамъ:

— Богъ христіанскій проститъ и въ вину не поставитъ вамъ то, что вы, не зная Его, о немъ говорите. Онъ есть Отецъ всѣхъ и Отецъ милосердія. Вы въ заблужденіи. Не мы, христіане, хотѣли, чтобы нарушенъ былъ священный покой мірозданія. Если же гору ведемъ, то не своею мы это дѣлаемъ волей.

— Кто же могъ вамъ это велѣть?

— Спросите о томъ своего градоправителя: это онъ повелѣлъ намъ, а мы, христіане, повинуемся власти.

Въ это время проносили въ носилкахъ градоправителя, которому въ суматохѣ переѣхало колесницею ноги, и онъ услыхалъ это и, тяжко стоная отъ мучительной боли, воскликнулъ:

— О, какъ я наказанъ, и какъ о безумствѣ моемъ сожалѣю! Но довольно! я вѣрю вамъ, вѣрю, великъ Богъ христіанскій, и я не хочу впередъ съ Нимъ состязаться! Если вы въ самомъ дѣлѣ не противитесь власти, то теперь я повелѣваю вамъ сейчасъ же остановить гору!

— Господинъ, отвѣчалъ ему христіанскій епископъ!—мы власти покорны, но мы не знаемъ, можемъ ли мы исполнить второе твое повелѣніе. Ты вѣдь самъ перечиталъ наши книги и ихъ знаешь: тамъ точно сказано, что можно велѣть горѣ *двинуться* и *идти въ воду;* но припомни — тамъ вѣдь ничего нѣтъ о томъ, можно ли остановить гору, когда она уже тронулась и пошла со своего мѣста.

Земли же между горою и Ниломъ въ это время все

убавлялось; ползучая глина тѣснила народъ съ одной стороны, а вода хлестала съ другой, и песокъ въ промежуткѣ засыпалъ людей по колѣно.

— Земля поглощаетъ насъ!—воскликнули люди. — Проклятіе правителю! Смерть ему ненавистнику! Великъ Богъ христіанскій!

Тогда правитель остановилъ носилки и сталъ просить александрійцевъ простить ему его дерзость; но тѣ его не слушали, а сами упали предъ христіанами на колѣни и завопили:

— Святая вѣра ваша, и всѣ мы хотимъ принять эту вѣру. Возьмите нашего правителя; мы отдаемъ вамъ его и даже сами сейчасъ бросимъ его въ Нилъ предъ вами, только спасите насъ,—пусть гора станетъ.

Епископъ сказалъ имъ:

— Нѣтъ. Вы не знаете, какого мы духа. Намъ нежелання погибель ничья. Богъ не хочетъ смерти грѣшныхъ. Со смертью кончается путь къ исправленію. Всякій же здѣсь себя обязанъ исправить. И правитель нашъ тоже жизнь имѣетъ отъ Бога. Пусть живетъ, пока дни его совершатся. Злое отвергни, въ сердцѣ съ одною любовью воскликнемъ всѣ безъ различія:

— Помилуй, Владыко!

— Помилуй! помилуй!—прокатило въ народѣ, и всѣ пали лицами въ землю.

Все стало стихать; вѣтеръ умчался, осыпи крѣпли, сухіе камни перестали лопаться и крошиться, влажные оползни огустѣвали и твердѣли. Епископъ все тихо молился. Порядокъ возстановился. Гора, которая *двинулась* по вѣрѣ художника, стала на своемъ мѣстѣ по молитвѣ епископа. Люди и животныя какъ бы пробуждались отъ сна. Всѣ наслаждались покоемъ, кони трясли головами, а верблюды лежали, поджавъ подъ себя широко-копытныя лапы и жевали свою безконечную жвачку. На деревьяхъ показались глиноцвѣтные голуби и заворковали. Нефорисъ благовѣство-

вала: она незамѣтно подошла тихо къ Зенону и, держа его за руку, говорила:

— О, если бы ты зналъ, какъ мнѣ тебя жаль, и какъ я чту и люблю твоего Бога и какъ укоряю себя!

— Въ чемъ ты себя укоряешь?

— Око... твое гдѣ, твое око, бѣдный Зенонъ!

— Оставь это. Зенонъ блаженъ, а не бѣденъ. Я счастливъ, Нефора, что вижу въ тебѣ однимъ окомъ теперь тихую мысль христіанки, и ты сама мнѣ милѣй, чѣмъ тогда... когда я въ два глаза смотрѣлъ, какъ лицо твое рдѣло безстыдствомъ порока.

— О, замолчи!.. Я призналась во всемъ передъ всѣми...

— Ты очень достойно поступила, Нефора.

— Да, теперь я удаляюсь... въ пустыню.

— Въ пустыню!.. Помедли, на тебѣ есть мой долгъ.

— Долгъ мой!.. Чѣмъ должна я тебѣ?—удивилась Нефора.

— Чтобы исполнить совѣтъ моего Учителя, я отдалъ мой глазъ; ты была въ этомъ отчасти причинна; но когда ты не пожалѣла себя и обнажила передъ людьми свой сокровенный грѣхъ —ты себя исправила и привлекла меня къ себѣ. Мы теперь одного духа и можемъ быть подпорой другъ другу... Для чего намъ теперь разставаться? Нефора! будь ты женою Зенона!

И они сдѣлались супругами.

Отсюда видимъ, что соблазнъ, устроенный художнику модницей III вѣка, не имѣлъ успѣха. Египетская красавица не только не могла соблазнить нравственнаго человѣка, но еще сама была поражена твердостью христіанскихъ правилъ, и вся эта исторія послужила къ обращенію въ христіанство множества людей, не признававшихъ до тѣхъ поръ ничего выше соблазновъ чувственности.

Кривой художникъ «сдвинулъ» эту гору*).

*) Нельзя не подивиться, какъ это сказаніе могло оставаться до сихъ поръ незамѣченнымъ тѣми, оторые держатся буквальнаго пониманія словъ: «отсѣки и брось!»

Второй случай соблазна.

19) (2) *Декабря 24.* Былъ монахъ Никола, который прежде служилъ въ войскѣ. Когда при Никифорѣ царѣ случилась война, онъ не утерпѣлъ, чтобы оставаться при мирныхъ занятіяхъ въ монастырѣ, и опять пошелъ воевать.

Никола былъ родомъ грекъ и находился въ цвѣтущей порѣ возраста. Онъ былъ высокій ростомъ, статный, сильный и красивый и съ молодецкою, военною выправкой.

Когда Никола проходилъ по Болгаріи, на него постоянно обращали вниманіе женщины, а онъ не замѣчалъ ихъ; но вотъ случилось ему разъ зайти переночевать въ одну болгарскую гостиницу, и тутъ случилось съ нимъ нѣчто опасное.

Пока онъ ходилъ, вечерялъ и потомъ укладывался спать, «примѣтила его юная болгарыня, дѣвица вельми младая, дочь гостинника болгарскаго, и плѣнилась его красотой». Инокъ же, воинственный Никола, ничего этого не подозрѣвалъ; онъ спокойно поужиналъ, помолился Богу и легъ спать, и какъ онъ отъ дороги очень усталъ, то сейчасъ же и заснулъ очень крѣпко. Но только-что онъ разоспался «ко второй стражѣ нощи», неожиданно почувствствовалъ, что его кто-то тихо, но неотступно потрогиваетъ. Монахъ простеръ руки и ощутилъ горячее человѣческое тѣло и встрѣтилъ молодыя, тонкія руки, которыя страстно сплелись съ его руками, и въ то же время чьи-то страстныя уста во тьмѣ стали покрывать лицо его поцѣлуями. А при этомъ всѣ прочіе люди, ночевавшіе въ гостиницѣ, спали крѣпкимъ сномъ и никто не могъ бы помѣшать страстной сценѣ, но инокъ самъ освободился отъ искушенія.

Никола «воспряну», отстранилъ отъ себя ласкающую его прелестницу и «вопроси ее: кто еси и чесо хощеши?»

«Она же отвѣща ему: дщерь есмь гостинникова,—раченіемъ любви къ тебѣ уязвленна и притекоша влекущися страсти ради неисцѣльныя».

Монахъ началъ останавливать страстную болгарку, и напомнилъ ей, какъ она еще молода, и что ей должно ста-

раться соблюсти свою дѣвичью чистоту, чтобы вступить честно въ бракъ или сдѣлаться инокиней; но дѣвушка такъ имъ увлеклась, что не слушала его нравственныхъ увѣщаній и совѣтовъ, а обратилась къ хитростямъ, чтобы выиграть время и опять напасть на него, не надѣлавъ шума. Она «отползла отъ него», улеглась потихоньку на своей постели и притворилась—какъ будто заснула, но «къ третьей стражѣ нощи паки припаде къ нему влекущи». Тогда Никола опять заговорилъ съ нею уже строго и притомъ громко. Этого дѣвушка испугалась, чтобы другіе отъ ихъ переговоровъ не проснулись, и она «сего ради отступи мало» отъ Николы, но тяжело дышала и «клегцающе», какъ клегчатъ въ гнѣздахъ молодыя орлицы, опять кинулась цѣловать Николу. Это уже переполнило «мѣру терпѣнія инока». Монахъ Никола плюнулъ, сказалъ: «ты бѣсъ, а не дѣвушка»,— и, вставъ, ушелъ ночью изъ гостиницы. Тѣмъ дѣло и кончилось.

Слѣдовательно и вторая соблазнительница тоже не могла соблазнить нравственнаго мужчину. Теперь увидимъ, какой успѣхъ ждалъ третью, — женщину самую смѣлую и самую настойчивую въ искусствѣ соблазна.

---

20) (3) *Декабря 27*. Въ одной нижне-египетской пустынѣ жилъ очень воздержный отшельникъ, о которомъ разсказывали много необычайнаго, и особенно хвалили его за то, что онъ не поддается никакимъ соблазнамъ. Соблазнить его считалось невозможнымъ. Одни этому вѣрили, а другіе нѣтъ. Разъ знатные люди, пировавшіе съ городскими гетерами, переходя отъ одного соблазнительнаго разговора къ другому, заговорили объ этомъ пустынникѣ, и кто-то изъ нихъ—шутникъ и затѣйникъ—сказалъ одной изъ самыхъ славныхъ гетеръ:

— Вотъ этотъ человѣкъ — не то, что̀ мы, — онъ васъ, женщинъ, презираетъ и никакая красавица его не соблазнитъ.

Гетера же отвѣчала:

— Это пустяки: я никогда не повѣрю, чтобы какой-нибудь мужчина могъ устоять передъ женщиной, если она хороша изъ себя и хочетъ его привлечь къ своимъ ласкамъ.

Съ этихъ словъ завязался оживленный разговоръ, въ которомъ приняли участіе всѣ пировавшія вмѣстѣ гетеры и угощавшія ихъ знатныя лица, и, будучи распалены виномъ и взаимнымъ сближеніемъ половъ, всѣ они стали спорить: возможно или нѣтъ, чтобы мужчина, хоть и благочестивый и постникъ, устоялъ передъ соблазномъ, который поставитъ ему красивая женщина, если она рѣшится ни передъ чѣмъ не останавливаться для достиженія своей цѣли. И гетеры, и знатные богачи высказывали на этотъ счетъ разныя предположенія, и спору ихъ не предвидѣлось конца; но тогда одна самая красивая изо всѣхъ тутъ бывшихъ гетеръ сказала: «Чтобы намъ не толковать объ этомъ долго безъ доказательствъ, я предлагаю вамъ рѣшить споръ нашъ опытомъ; положимъ сейчасъ же закладъ: могу ли я соблазнить вашего отшельника или нѣтъ. Это больше докажетъ, чѣмъ споръ на словахъ, и будетъ гораздо интереснѣе. А потомъ я пойду и попробую силу моей красоты надъ его благочестіемъ, и мы увидимъ на дѣлѣ, кто изъ насъ правѣе: вы ли, которые думаете, что на свѣтѣ есть твердые мужи, недоступные силѣ женской красоты, или правы мы, женщины, которыя стояли за силу нашей власти надъ природой мужчины? Но только я не стану дѣлать этого задаромъ: я хочу знать, что́ вы мнѣ за это дадите болѣе противъ того заклада, какой я сама за себя положу вамъ?

Пировавшіе же друзья пообѣщали дать ей «очень дорогую вещь».

— Хорошо,—сказала гетера:—я увѣрена, что низложу вашего старца, и, не теряя времени, сейчасъ къ нему отправлюсь въ пустыню, а вы вставайте завтра утромъ раньше передъ тѣмъ, когда изъ-за горъ поднимется солнце; возьмите съ собою цвѣтовъ и вѣтвей со смолистыми шишками кедра, пусть за вами несутъ кошницы съ сочными гроздями

и пусть будетъ все какъ надо идти къ новобрачнымъ, а подъ одежды себѣ сокройте свирѣль и пектиду; когда же придете къ пустынной пещерѣ, то приближайтесь безъ шума и тихо туда черезъ тынъ загляните: я вамъ ручаюсь, что анахоретъ вашъ въ утомленіи страсти будетъ лежать въ крѣпкомъ снѣ, преклонясь къ моимъ ногамъ, — и вотъ это будетъ отвѣтъ вамъ на всѣ ваши споры со мною!

Собесѣдники весело согласились такъ сдѣлать. Тогда гетера безъ малѣйшаго промедленія переодѣлась въ сѣрую одежду съ неподрубленными краями и, имѣя видъ скромной странницы, вышла изъ города, а къ вечеру дошла до пещеры отшельника. Придя же къ самой двери отшельника, она притворилась утомленною до совершеннаго изнеможенія и стала просить, чтобъ онъ пустилъ ее къ себѣ переночевать. Старецъ былъ остороженъ и ни за что не хотѣлъ и слышать о томъ, чтобы пустить къ себѣ женщину: онъ отгонялъ ее прочь всякій разъ, какъ она къ нему «вопіяла»; но она не отставала и была очень искусна въ притворствѣ. Послѣ того, какъ старецъ отгонялъ ее нѣсколько разъ, она начала прежалобно плакать и представлять ему, какимъ страшнымъ опасностямъ она вскорѣ подвергнется, если онъ не пуститъ ее хоть за ограду, окружающую его пещерку, и она должна будетъ остаться на всю ночь въ неогражденномъ мѣстѣ.

— Разсуди, отче, — говорила она:—вѣдь и я человѣкъ, подобный тебѣ...

— Въ томъ-то и дѣло, что—«подобный»,—отвѣчалъ тихо, какъ бы про себя старецъ.

— Такъ куда же мнѣ дѣться?

— А развѣ мала пустыня и нѣтъ въ ней пещерокъ? Иди и поищи себѣ пріюта.

Но переодѣтая притворщица отвѣчала:

— Ахъ, я не знаю, гдѣ искать, и къ тому же я сегодня такъ много прошла, что мои ноги болѣе уже не носятъ моего усталаго тѣла: я не могу дальше идти и бродить впотьмахъ въ пустынѣ.

Старецъ молчалъ.

Гетера выдержала нѣсколько минутъ и продолжала со скорбною рѣшимостью.

— Ну, пусть будетъ такъ: если ты не открываешь мнѣ двери, такъ я, все равно, лягу здѣсь на голыхъ камняхъ, у кольевъ твоей загородки, и тутъ наскочатъ на меня тигръ или левъ, и пусть они здѣсь же меня растерзаютъ.

Старецъ опять не отвѣчалъ, а она продолжала:

— Вотъ пусть здѣсь и найдутъ мои кости у пещеры христіанскаго отшельника. Это будетъ тебѣ похвала за то, какъ ты соблюдалъ свою славу, что согласился, чтобы женщину разорвали у твоего порога, лишь бы о тебѣ какой-нибудь болтунъ не сказалъ пустого слова въ корчмѣ или на торжищѣ, или не посмѣялись бы надъ тобой глупыя бабы, полоская бѣлье у запруды.

Старца начало уязвлять это, но онъ все-таки не подавалъ голоса, а та еще продолжала:

— Муки и смерть моя навсегда останутся тебѣ укоризной. Оставляй меня на съѣденіе звѣрю—и будешь самъ одного достоинства со звѣремъ.

Рѣчь эта тронула пустынника. Онъ слушалъ ее, держась рукою за подножье деревяннаго распятія, которое было у него въ пещерѣ во впадинкѣ, и все сильнѣе и сильнѣе сжималъ его въ рукахъ своихъ; но когда женщина представила въ словахъ, какъ звѣри будутъ терзать ее за его частоколомъ, сердце старца стало смягчаться состраданіемъ, руки, ослабѣвая, освобождались и самъ онъ, обращаясь понемногу лицомъ къ двери, чрезъ которую у нихъ шелъ разговоръ, сказалъ пришедшей:

— Окаянница! Что́ за напасть ты мнѣ несешь, и откуда ты мнѣ навязалась?

— О, старче Божій! — отвѣчала искусительница. — Не все ли это равно для тебя, откуда я пришла? Стыдись объ этомъ вопрошать! «Аще богобоенъ и человѣколюбивъ еси», то довольно съ тебя того, что я человѣкъ, что я изнемогаю и что жизнь моя въ смертной опасности; а ты можешь из-

бавить меня отъ этой опасности и ничего не дѣлаешь, да даже, кажется, еще думаешь угодить своимъ безчувствіемъ Богу, Который создалъ людей и слышитъ всѣ ихъ стоны и жалобы. О! какъ ты удаляешь себя отъ Бога! Бѣдственно теперешнее мое положеніе, но, знай, я ни за что не согласилась бы промѣнять его на твое! Оставайся въ затворѣ, жестокій старикъ! — я не хочу болѣе отягчать мученіями твою совѣсть, я не хочу, чтобы люди укоряли тебя за твою жестокость. Пусть никто, кромѣ Бога и меня, не знаетъ, какое у тебя безсострадательное сердце, — я удаляюсь въ пустыню, и пусть звѣри меня растерзаютъ.

Пустыннику сдѣлалось жалко ее, сердце его сжалось отъ представленія объ ожидающемъ ее ужасѣ и онъ воскликнулъ:

— Не уходи, окаянница,—такъ и быть, я впущу тебя.

— Ну, я благодарю Бога, что Онъ послалъ состраданіе ко мнѣ въ твое сердце,—скромно отозвалась гетера.

— Да; но только я все-таки не введу тебя въ мою пещерку, а впущу тебя только войти въ огородочку.

— Все равно,—для меня будетъ довольно и этого: лишь бы не съѣли меня звѣри.

Пустынникъ вытащилъ изъ частокола двѣ плахи и, открывъ лазъ, впустилъ гетеру, не глядя въ лицо ей, и опять задвинулъ лазъ плахами, а ей сказалъ, чтобъ она пріютилась тутъ въ этой загородкѣ и не просилась бы далѣе въ самую пещеру.

Гетера согласилась и дала ему обѣщаніе болѣе его не безпокоить до утра; но едва прошло малое время и старецъ сталъ на ночную молитву, какъ она начала потихоньку постукивать въ его дверь тонкимъ пальчикомъ, а голосомъ нѣжно жаловалась, что ея одежды слишкомъ легки, а ночь становится будто очень холодна, и вотъ она сильно зябнетъ.

Старецъ выбросилъ ей черезъ оконце свое ветхое рубище и сказалъ:

— Вотъ тебѣ, окаянница, все, что у меня есть! Возьми это себѣ и помни, что больше теперь уже ничего для тебя

нѣтъ! Укрой этимъ свою смрадную плоть и не мѣшай мнѣ молиться.

Гетера его благодарила, и отбросивъ отъ себя прочь рубище пустынника, которое казалось ей столь же смраднымъ, какъ тому была смрадна ея плоть,—обѣщала быть спокойною и ничѣмъ болѣе не нарушать его моленій.

Но обѣщаніе это, разумѣется, опять было неискренно, и спустя небольшое время, какъ только старецъ, начавшій продолжать прерванную молитву, «устремилъ свой умъ на высокая», безпокойная гетера опять начала къ нему тихо стучаться и царапаться, напирая легкимъ тѣломъ своимъ на узкую дверку его пещеры.

Старецъ смутился, потому что дверка, сколоченная его неискусными руками, была непрочна и во многихъ мѣстахъ сквозилась.

— Что же еще нужно тебѣ, окаянница? — спросилъ старецъ.

— Ахъ, я ужасно претерпѣваю! — отозвалась гетера.— Здѣсь на меня прыгаютъ съ земли аспиды! Ахъ, я несчастная! Это ужасно!

— Не бойся ихъ: я помолюсь за тебя, и аспиды тебѣ ничего не сдѣлаютъ.

Но гетера горько расплакалась и говорила, что уже теперь страшно страдаетъ, чувствуя опасный зудъ отъ уязвленій, сдѣланныхъ ей аспидами.

— Я буду молиться и объ этомъ,—сказалъ старецъ; но она, какъ бы не внимая сему, или не довѣряя таинственной силѣ молитвъ, вскричала съ болью и гнѣвомъ:

— Нѣтъ, ты мнѣ не то говоришь!.. Ты злой и гордый старикъ, или ты трусъ, надъ которымъ насмѣется врагъ твой, дьяволъ, за то, что ты боишься бѣдной, слабой женщины и не хочешь прикоснуться своею святою рукой къ моему страждущему тѣлу и исцѣлить меня отъ укушенія аспидовъ!

Старецъ ей отвѣтилъ:

— Не прикоснуся! и вложивъ въ уши свои персты, началъ качать головой и громко молиться.

Но какъ только гетера увидала, что онъ заткнулъ уши, то она такъ сильно застучала въ дверь, что «все всколебалось», и старецъ невольно обратился къ ней съ вопросомъ:

— Теперь еще что тебѣ, окаянница?

— Я слышу, какъ ползутъ огромныя змѣи; вотъ онѣ шуршатъ по травѣ, — вотъ изгибаются, чтобы проникнуть межъ кольевъ, — сейчасъ онѣ меня уязвятъ и обольютъ смертоноснымъ ядомъ.

— О, если бы ты, окаянная, знала, колико ты сама для меня хуже всякой змѣи! но вотъ на тебѣ мой посохъ,— онъ изъ такого дерева, котораго змѣи боятся. Возьми его и положи возлѣ себя и спи. Когда посохъ мой будетъ возлѣ тебя, змѣи отъ тебя удалятся.

И подумалъ старецъ, что теперь уже всѣ опасности для ночующей въ оградѣ женщины предотвращены, и хозяину, и гостьѣ, обоимъ можно мирно уснуть, каждому на своемъ мѣстѣ.

Онъ уже хотѣлъ загасить мерцавшій предъ нимъ свѣтильникъ и лечь на свое жесткое, тростниковое ложе, какъ женщина вдругъ бросилась на его дверь съ страшнымъ воплемъ и въ неописуемомъ ужасѣ закричала:

— О старецъ! старецъ! впусти меня скорѣе къ себѣ! Я погибаю!

— Да что же еще тебѣ приключилось?—вскричалъ разгнѣванный старецъ.

— Ахъ, неужели же ты столько глухъ, сколь и жестокосердъ, что не слышалъ, какъ страшные звѣри рыщутъ вокругъ твоей огорожи!

— Я ничего особеннаго не слышу, — отвѣчалъ старецъ.

— Это оттого, что ты затворилъ свое сердце, и вотъ затворяется слухъ твой и скоро затворятся очи. Но отпирай мнѣ сейчасъ!—вотъ уже одинъ левъ съ палящею пастью поднялся на лапы, вотъ онъ бьетъ себя хвостомъ по бо-

камъ и уже перевѣсилъ сюда голову... О, скорѣй, скорѣй!— вотъ онъ уже трогаетъ мое тѣло своимъ языкомъ... Твои ветхіе колья сейчасъ обломятся, и кости мои затрещатъ въ его пасти...

Пустынникъ отодвинулъ трепещущею отъ страха рукой задвижку двери, чтобъ удостовѣриться въ томъ, справедливо ли сказывала ему лукавая женщина, а она не дала ему опомниться и сейчасъ же «впала» къ нему «въ его затворецъ», и съ тѣмъ вмѣстѣ и дверь за собою захлопнула и вырвала изъ рукъ старца деревянный ключъ и бросила за оконце...

— А-га, окаянница, такъ вотъ ты вскочила!—произнесъ, увидя себя обманутымъ, старецъ.

Она же посмотрѣла «безстудно» и отвѣтила:

— Да, ты теперь въ моей власти!

И затѣмъ она сейчасъ же сѣла въ уголъ и, глядя съ безстыдною улыбкой на старца, начала снимать съ себя одежды одну за другою, и съ страшною быстротой сняла съ себя все, даже до послѣднихъ покрововъ...

Цѣломудренный отшельникъ былъ такъ пораженъ этимъ, что не успѣлъ ничѣмъ помѣшать поступку своей наглой гостьи; но, увидя ее уже раздѣтою, всплеснулъ руками и бросился лицомъ ницъ на землю, стеня и моля гетеру:

— О жестокая! о окаянная! О пощади меня... Скройся!

Она же ему отвѣтила:

— Что тебѣ до меня? Я тебя и не касаюсь! Ты во власти у Бога, и обладаешь собой, а я вольна надъ собой; мнѣ тяжелы мои ризы, и для того я сняла ихъ.

Пустынникъ ей что-то хотѣлъ отвѣчать, но вдругъ ощутилъ, что въ немъ побѣжало «адово пламя», и впало ему въ мысль «повлектись» къ этой женщинѣ. И тутъ онъ одолѣлъ и себя, и ее, и любителя всякой нечистоты — діавола. Онъ вскочилъ съ земли, быстро расправилъ огонь въ своемъ свѣтильникѣ какъ можно пылче, и, вложивъ въ пламя свою руку, началъ жечь ее...

Кожа его затрещала и по пещерѣ поползъ острый смрадъ горящаго тѣла.

Гетера ужаснулась и хотѣла вырвать у него фитиль, но онъ не далъ и оттолкнулъ ее. Тогда она отошла отъ него и заговорила:

— Оставь это безумство!—я лучше уйду отъ тебя, ибо мнѣ противно обонять запахъ твоего горящаго тѣла!

Но, увы, ей выйти изъ пещеры было невозможно, потому что двери ея же хитростію были заперты и поневолѣ она и пустынникъ должны были ночевать вмѣстѣ. И напрасно она во всю ночь молила его перестать жечь себя—пустынникъ оставался непреклоненъ и все продолжалъ свою муку, а самъ смотрѣлъ въ сторону, ибо и при терзаніи себя огнемъ онъ все-таки еще боялся смотрѣть на обнаженную соблазнительницу, а она, оцѣпенѣвъ отъ страха, не могла собрать свои платья и оставалась нагою.

Такъ прошла цѣлая ночь, и къ утру рука у пустынника была вся обуглена, а гетера «окаменѣша отъ ужаса».

Когда стала заниматься заря, то по условію между гетерой и ея пріятелями къ пещерѣ пришли юноши и съ ними подруги этой несчастной, которая взялась соблазнить отшельника; всѣ они были еще въ пьяномъ загулѣ и приближались къ пещерѣ съ виноградными гроздями и жаренымъ мясомъ и мѣхомъ вина, а также съ пахучими шишками смолистыхъ деревъ, и, ставъ у дверей частокола, заиграли на своихъ свирѣляхъ, но гетера имъ не отвѣчала. Тогда они поднялись и заглянули черезъ оконце въ пещеру и увидали, что отшельникъ продолжаетъ жечь себя на огнѣ, а обнаженная гетера сидитъ, окаменѣвши отъ ужаса.

Тутъ они выломали дверь и вынесли на свѣжій воздухъ свою лишившуюся чувствъ сообщницу, и когда она пришла въ чувство, то созналась, что не могла соблазнить старца и горько въ своемъ намѣреніи каялась.

Такимъ образомъ выходитъ, что и третья соблазнительница тоже не имѣла успѣха, какъ и двѣ первыя, нашія на такихъ людей, которые не искали любовныхъ заб

Теперь остается четвертая, которую приходится ставить въ эту группу.

21) (4) *Апрѣля 1.* Житіе преподобной Маріи Египетской въ первомъ періодѣ ея жизни описываетъ цѣлый рядъ грѣхопаденій все противъ одной и той же заповѣди о цѣломудріи. Эта, дѣйствительно, успѣвала въ соблазнѣ молодыхъ людей; но какъ она причислена къ лику святыхъ, и притомъ житіе ея весьма общеизвѣстно, то здѣсь никакихъ извлеченій изъ него дѣлать не будемъ. Но для своихъ систематическихъ выводовъ замѣтимъ однако, что въ первомъ періодѣ жизни Маріи Египтянки соблазнительное поведеніе составляло ея профессію, такъ что и она тоже отнюдь не прилагала заботъ къ тому, чтобы соблазнять людей цѣломудренныхъ и удалявшихся отъ сближенія съ непостоянными женщинами, а она обращалась съ безпорядочными и развратными мужчинами просто потому, что жила въ такомъ кругу, гдѣ она иначе и не могла жить, пока ей открылось, что такая жизнь унижаетъ человѣка, и она,—опять къ чести ея женской природы,—сама эту позорную жизнь оставила.

Соблазнительницъ или прелестницъ на 35 женщинъ, описанныхъ въ древнемъ, отреченномъ Прологѣ, оказывается *всего три*, и то изъ нихъ одна гетера, для которой это дѣло было ея ремесломъ. Стало-быть, отъ нея никакой высшей нравственности невозможно и требовать. Другая соблазнительница, приставшая ночью къ монаху Николѣ въ болгарской гостиницѣ, несовершеннолѣтняя дѣвочка, была очевидно больная, всего вѣроятнѣе нервно-разстроенная. И затѣмъ, значитъ, въ настоящей, соблазнительной роли остается *только одна*, египетская щеголиха, употребившая чары своей красоты на то, чтобы соблазнить художника, дѣлавшаго красивые женскіе уборы. Эта красавица изъ высшаго круга александрійскихъ горожанокъ дѣйствовала какъ настоящая соблазнительница изъ-за того, что хотѣла пріобрѣсти себѣ цѣной своей красоты уборъ на голову.

Слѣдовательно, по разсмотрѣніи всей этой галлереи мы находимъ всего только *одну* соблазнительницу на тридцать пять женщинъ... Надо признаться, что эта доля чрезвычайно малая, но притомъ и эта изящная женщина, равно какъ и истерическая болгарская дѣвчонка и гетера—всѣ въ своихъ искательствахъ на мужчинъ не имѣли успѣха...

Послѣ этого позволительно спросить: изъ чего же можно вывесть, будто житійная литература представляетъ женщинъ въ особенно худомъ видѣ сравнительно съ мужчинами? Систематическое обозрѣніе нашего источника не показываетъ основаній для такого вывода.

Продолжая нашъ обзоръ, увидимъ нѣчто еще болѣе интересное и еще сильнѣе противорѣчащее старому повѣрью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

22) *Сентября 29.* «Былъ монахъ Кононъ—попъ саномъ и устроенъ бѣ на крещеніе». Когда онъ крестилъ дѣтей или мужчинъ, все дѣло шло у него благополучно; но когда Конону приходилось крестить взрослыхъ женщинъ—ему были искушенія: «егда мазаша жены—люте соблазняшеся». Какъ ни старался попъ Кононъ возобладать надъ этимъ искушеніемъ—оно отъ него не отступало, и, терзаясь такимъ образомъ при всякой новокрещенницѣ, попъ Кононъ рѣшился оставить свое соблазнительное послушаніе и бѣжать изъ монастыря. Онъ уже и привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, то-есть вышелъ изъ монастыря и пошелъ куда глаза глядятъ, только чтобъ удалиться отъ монастыря и никогда болѣе не крестить взрослыхъ женщинъ; но не успѣлъ Кононъ далеко отойти изъ монастыря, какъ ему въ степи «явился Іоаннъ Креститель» и сказалъ ему: «не ходи,—я тебя облегчу отъ этой брани». Попъ Кононъ повѣрилъ словамъ Крестителя и воротился опять къ своему дѣлу въ монастырь. И нѣкоторое время не жалѣлъ объ этомъ. Теперь попу Конону въ самомъ дѣлѣ какъ будто было сноснѣе, такъ что онъ уже могъ помазывать новокрещенницъ безъ особеннаго для себя мученія; но вдругъ отъ

одного незначительнаго, повидимому, случая все испортилось. Пришла въ монастырь креститься одна молодая персіянка, и Кононъ ее окрестилъ въ водѣ, но никакъ не могъ помазать своими руками тѣло ея освященнымъ масломъ,— «бѣ бо толико красна лицемъ персіяныня, яко не мощи попови помазати ногу ея». Дѣлалось съ нимъ что-то такое, что̀ передо всѣми обнаруживало въ немъ большое страданіе, котораго онъ ни скрыть, ни преодолѣть не могъ. Что такое именно было съ Конономъ и какими припадками выражалось—въ древнемъ сказаніи не объяснено. Цѣлый день мучился съ этимъ искушеніемъ попъ Кононъ и все-таки никакъ не могъ помазать персіянку. О происшествіи этомъ сообщили епископу Петру,—и епископъ велѣлъ сейчасъ же привести персіянку къ себѣ; но отъ этого сдѣлалось не лучше, а хуже, ибо и самъ епископъ Петръ, «увидавъ персіянку, удивися добродѣю ея и восхоте пояти ее къ себѣ за діакона». Молодая же персіянка, хотя еще и мало была наставлена въ истинахъ христіанской вѣры и даже была еще не совсѣмъ докрещена, однако она не захотѣла согласиться на предложеніе епископа Петра,—чтобы жить при немъ подъ видомъ діакона, и, несмотря на всѣ убѣжденія епископа, «не сотвори сего». Такъ она и осталась съ непомазанными ногами, потому что когда персіянку повели къ епископу, попъ Кононъ «разгнѣвася, вземъ ризы своя и отъиде въ горы». Теперь онъ уже ни за что не хотѣлъ идти назадъ въ монастырь и мѵропомазывать персіянку. Но когда попъ Кононъ, разсердясь на своего епископа, блуждалъ по пустынѣ, его опять встрѣтилъ Іоаннъ Креститель и сказалъ ему: «возвратися, попе, въ монастырь, уже азъ облегчу тебя теперь отъ брани».

«Тогда Кононъ рече съ гнѣвомъ: не обращуся, многажды бо обѣщался облегчити ми и не сотвори».

«Емъ же его св. Іоаннъ посади и откры ризы его и знаменіемъ крестнымъ перекрести и глаголя: хотѣлъ, дабы ты имѣлъ мзду брани, но понеже не хощеши, се уже облегчихъ тя, но мзды уже не имаши отъ вещи сея».

«И возвратися въ монастырь пресвитеръ, на утро же крестивъ помаза персіянку, даже яко бы не разумѣвъ яко жена есть естествомъ».

Вниманіе читателя не должно проскользнуть безъ замѣчанія мимо того, что оба мужчины, то-есть попъ Кононъ и епископъ Петръ, страдали, и Кононъ даже не могъ справиться съ собой безъ особаго чуда со стороны Іоанна Крестителя, а персіянка, дѣвушка, безъ особыхъ усилій охраняла себя и воздержала отъ паденія обоихъ священнослужителей *).

23) *Апрѣля 29.* Нѣкоторый монахъ, жившій въ недостаточномъ монастырѣ, былъ посланъ во время рабочей поры въ міръ, чтобы поработалъ на людей и, прокормивъ себя, принесъ бы также что-нибудь въ обитель. Монахъ этотъ зналъ одного очень честнаго и довѣрчиваго поселянина и пришелъ къ нему предложить свои услуги. Поселянинъ принялъ его съ полнымъ довѣріемъ и, встрѣтивъ надобность отлучиться изъ дома, оставилъ монаха на хозяйствѣ «домоглядѣльцемъ», поручивъ ему также свою

*) Въ тѣ времена къ которымъ относится разсказъ, крестильныя обязанности соединены были для крещающаго съ довольно значительными трудами. Въ знаменитомъ «Ученіи двѣнадцати апостоловъ», открытомъ Бріеніемъ, встрѣчаемъ слѣдующее (см. переводъ журнала *Дѣтская Помощь*, М. 1885 г., № 8): «Что касается до омовенія (по кіевскому переводу «крещенія»), то омывайте (кіевск. «крестите») такъ: напередъ скажите тому, кого вы омываете, все, что тутъ сказано (о пути жизни и о пути смерти) и *потомъ омывайте* во имя Отца и Сына и Св. Духа, въ водѣ проточной. Если же не имѣешь проточной воды, то омывай въ другой водѣ; если нѣтъ ни той, ни другой, то облей три раза водой голову. Предъ омовеніемъ же пусть постится *тотъ, котораго будутъ омывать, и тотъ, который будетъ омывать, и другіе, если могутъ*». «Попъ, учрежденный на крещеніе», прежде чѣмъ омывать крещаемую, имѣлъ обязанность поститься съ ней и внушать ей: «берегись тѣлесныхъ и мірскихъ побужденій, не прелюбодѣйствуй, не распутничай, не умерщвляй младенца въ утробѣ и рожденнаго не убивай, не сквернословь, не скверномысли и не озирайся на то, чего тебѣ не надо видѣть—это ведетъ къ распутству» (стр. 426).

очень молодую дочь, которая была замужемъ всего только одинъ годъ и овдовѣла.

Судя по тому, въ какіе ранніе годы выдавали тогда дѣвочекъ замужъ на Востокѣ, надо полагать, что эта молодая вдовица, съ которою монахъ остался «домоглядѣльцемъ», имѣла что-нибудь около 12—13 лѣтъ, то-есть, по нашимъ нынѣшнимъ представленіямъ, она сама была еще почти дитя.

Оставшись съ этою юницей, монахъ, которому было поручено охранять ее, вдругъ самъ началъ чувствовать, что «онъ побѣждается ею». Не сказано, какъ «побѣждаемый» боролся; но сказано, что онъ сразу же сталъ вести себя такъ странно, что и побѣдительница его стала это замѣчать, и побѣда ея надъ нимъ была ей нежелательною. Она испугалась своего положенія, которое и въ самомъ дѣлѣ было небезопасно, такъ какъ она оставалась съ монахомъ съ глаза на глазъ одна, и даже возлѣ дома ихъ не было близко сосѣдей, которые могли бы ей подать помощь. Молодая женщина все это сообразила и поняла, что она ни откуда не могла надѣяться получить себѣ защиту въ томъ случаѣ, если «побѣждаемый ею» монахъ совсѣмъ побѣдится и, утративъ самообладаніе, обратится къ дерзкимъ мѣрамъ насилія. Она не могла разсчитывать на свою силу, чтобы отразить его. А къ несчастію, скоро въ этомъ оказалась надобность. Монахъ однажды, «пришедъ по обычаю, нача смущатися и къ ней подвизатися». Приступъ его былъ столь рѣшителенъ, что молодицѣ казалось уже невозможно въ этотъ разъ спастись отъ него; но она, однако, отыскала средство къ спасенію. «Бывъ смышлена и благоразсудна», молодица не стала сопротивляться иноку силой и даже не подняла никакого безполезнаго шума, такъ какъ она понимала, что при всякомъ сопротивленіи «побѣжденному» перевѣсъ оказался бы не на ея побѣдной сторонѣ, и вотъ она не захотѣла сопротивляться ему какъ животному, а отважилась повліять на лучшую сторону его духовной природы,— не на его взбунтовавшіяся физическія силы, а на его совѣстливость.

— О, отче!—сказала она монаху:—для чего ты такъ усиленно на меня нападаешь! Развѣ я и безъ того не въ твоей власти! Мы съ тобой вдвоемъ въ цѣломъ домѣ, и я слишкомъ слаба, чтобы тебѣ сопротивляться. Не загораживай же напрасно всѣ двери и окна: я не птица и не муха и не могу отсюда ни улетѣть, ни выйти. Сейчасъ я буду вся въ твоей власти, но только оставь мнѣ покуда еще одно малое мгновеніе, чтобъ я могла сдѣлать то, что желаю.

Монахъ сказалъ:—Сдѣлай!

А она попросила, чтобъ и онъ, «аще милосердъ», сдѣлалъ то же самое, что она будетъ дѣлать.

«—Что же ты хочешь сотворить?»—спросилъ монахъ.

«—Хощу рещи глаголъ нѣкій Богу»,—отвѣчала молодица,—а такъ какъ сіе и твое дѣло, то потому давай оба вмѣстѣ помолимся, и потомъ ты, помолясь Богу, поступай со мной какъ пожелаешь.

Монахъ нашелъ, что это ему совершенно нежелательно, и не только не сталъ молиться, а еще болѣе «побѣждался, мятошася отъ брани». Тогда молодица стала умолять его, чтобъ онъ хоть ей далъ время помолиться. На это монахъ согласился, и она сейчасъ же начала молиться и молилась вслухъ, выражая въ словахъ, относимыхъ къ Богу, свою беззащитность и свою покорность предъ несчастіемъ, которое можетъ надъ ней совершиться; а притомъ излила и свое горячее сожалѣніе о несчастномъ человѣкѣ, который хочетъ оскорбить ея чистоту, и просила простить ему грѣхъ его, потому что онъ далъ надъ собой такую власть страсти, что сталъ хуже всякаго животнаго, ибо посягаетъ на цѣломудріе женщины, которая сама довѣрилась его защитѣ... Монахъ все ее слушалъ—и совѣсть его стала пробуждаться, и, наконецъ, дѣло дошло до того, что онъ прослезился, и вдругъ увидалъ, что молящуюся женщину окружаютъ какіе-то свѣтлые духи, и онъ испугался и убѣжалъ отъ нея.

Можно подумать, что этотъ легендарный случай былъ

пзвѣстенъ Мильтону и что онъ вызвалъ у него прекрасныя строфы:

«Такъ свято предъ очами неба дѣвство,
Что если искренно душа блюдетъ его завѣты—
Тьмы ангеловъ на службу ей готовы».

Послѣ такихъ юныхъ, нѣжныхъ и граціозныхъ женскихъ лицъ, какъ эта молодица и персіянка, встрѣчаемъ опять цѣломудренную и энергическую женщину степеннаго возраста, которая, сообразно своей житейской опытности, не только себя оберегла отъ соблазна, но еще дала прекрасный урокъ соблазнителю. Эта степенная женщина тоже обрезониваетъ и спасаетъ монаха, но совсѣмъ инымъ пріемомъ.

24) *Іюня 13.* «Братъ нѣкій посланъ бысть изъ монастыря по службѣ» и, идучи дорогою, «пришелъ на мѣсто нѣкое, имущее воду». Здѣсь ему понравилось положеніе, и онъ присѣлъ, чтобъ отдохнуть и подкрѣпить себя пищей; но едва расположился, какъ примѣтилъ женщину, которая, стоя на берегу, мыла «платно». Разстояніе мѣшало брату опредѣлить возрастъ и разсмотрѣть черты лица женщины, но тѣмъ не менѣе братъ засмотрѣлся, какъ она моетъ и нагибается, и на него сейчасъ же «пріиде брань»: братъ былъ неопытный и не могъ долго бороться; онъ сейчасъ же подошелъ къ этой женщинѣ близко и, не стѣсняясь тѣмъ, что женщина была значительно старше его, сдѣлалъ ей предложеніе, чтобъ она раздѣлила съ нимъ удовольствіе загорѣвшейся въ немъ страсти.

А женщина, надо полагать, была разсудительная и спокойная: она посмотрѣла на взволнованнаго инока безо всякаго страха и отвѣчала ему съ ироніей:

— Мнѣ нетрудно тебя послушаться, но только смотри, не пришла бы тебѣ послѣ отъ этого скорбь?

— А какая мнѣ можетъ быть скорбь?

— Не стала бы тебя мучить совѣсть и не впалъ бы ты въ отчаяніе?

— Нѣтъ, я этого ничего не боюсь,—отвѣчалъ монахъ.

— Ну, смотри: многіе послѣ каются.

— Да нѣтъ, ужъ я себя знаю.

— Нѣтъ, ты хорошенько подумай: не сталъ бы ты сильно жалѣть!

— Да нѣтъ же, не безпокойся: ни о чемъ я жалѣть не буду!

— А ты сколько лѣтъ прожилъ уже въ монастырѣ?

— Семнадцать.

— И неужели тебѣ не жаль ихъ?

— Нимало.

— А ты знаешь ли еще («имаши ли искусъ»,—то-есть испыталъ ли?), что̀ есть жена?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ну такъ какъ же ты, не зная, *что есть*, соглашаешься бросить за это невѣдомое то, въ чемъ наставленъ и чего добивался цѣлыхъ семнадцать лѣтъ? Ты знай, что взять женщину—это значитъ взять на себя большое обязательство. Я, изволь, соглашусь, на что̀ ты манишь меня, и пусть это будетъ по-твоему; но помни, что потомъ я отъ тебя не отстану, и можетъ случиться, что тебѣ придется принять на себя еще и бо̀льшую тягость.

— Какую же еще бо́льшую тягость?

— А такую, что есть ли у тебя гдѣ содержать меня и дѣтей, и чѣмъ кормить насъ?

— Нѣтъ, у меня жилья нѣтъ и кормить васъ нечѣмъ.

— Такъ какъ же ты смѣешь меня звать?

— Я объ этомъ не думалъ.

— Ты, вѣрно, думалъ, что послѣ можешь удалиться?

— Да, я вотъ именно такъ намѣревался.

— Ну, такъ ты очень глупъ, а ты впередъ знай, что женщины не для того только созданы, чтобъ угашать въ васъ огонь вашей страсти, а что онѣ имѣютъ стыдъ и любовь къ дѣтямъ, и себя и своихъ дѣтей оберегаютъ и за виновникомъ ихъ рожденія всюду готовы слѣдовать. Осмѣлься-ка, тронь меня, я посмотрю, куда ты отъ меня

дѣнешься? Я пойду къ твоему аввѣ и скажу: авва! не давай ему ни хлѣба, ни сочива и прогони его вонъ: я черезъ него стала тяжелою и не могу больше гнуться, — пусть онъ идетъ со мною и кормитъ меня, и вмѣстѣ со мною питаетъ и дитя, которое имѣетъ родиться. Авва твой тебя и выгонитъ, а я тогда заставлю тебя полоскать вмѣсто меня въ водѣ портомойню.

— Ты меня вельми просвѣтила,—отвѣчалъ монахъ.

— То-то и есть. Образумься. Если ты ужъ посвятился въ монахи, то иди скорѣй въ свой монастырь, а не стой по такимъ мѣстамъ, гдѣ женщины моютъ на рѣчкѣ.

Братъ почувствовалъ себя пристыженнымъ и, испугавшись того, чѣмъ пристрашила его прачка, возвратился бѣгомъ въ монастырь и никогда больше не засматривался на женщинъ, ибо всегда помнилъ эту прачку и со встрѣчи съ нею питалъ опасеніе къ рѣшительности женскихъ характеровъ.

Трогательны и способны вызывать живое сочувствіе выведенные вслѣдъ за симъ типы профессіональныхъ «блудницъ» и «блудницъ нищеты ради уготованныхъ».

25) *Августа 3.* Въ городъ Тиръ пришли разъ два черноризца, и когда они проходили по уединенному мѣсту гдѣ притаивались городскія блудницы, то одна изъ этихъ несчастныхъ женщинъ, по имени Порфирія, томимая голодомъ, бросилась къ одному изъ братій и, рыдая, воскликала: «Отче! спаси меня, какъ Христосъ спасъ блудницу!» Тутъ же были проходящіе люди и все это видѣли.

Черноризецъ зналъ, что тогдашніе люди имѣли самое невысокое мнѣніе о монашескомъ цѣломудріи и теперь, увидя его съ блудницей, навѣрное станутъ смѣяться надъ нимъ и осуждать его, — особенно если онъ исполнитъ просьбу блудницы и станетъ о ней заботиться; но съ другой стороны онъ разсудилъ, — что же важнѣе: снести ли напрасное осужденіе отъ толпы, или явно отвергнуть человѣка, который умоляетъ «спасти» его во имя Христово? Выбрать правильное рѣшеніе, разумѣется, было нетрудно.

и черноризецъ отвѣтилъ блудницѣ: «иди за мною» и, «взявъ ее за руки, повелъ ее сквозь народъ изъ города».

Тогда по всему городу и по окрестностямъ быстро распространилась молва, что «черноризецъ поялъ себѣ блудницу Порфирію», и всѣ видѣли въ этомъ большой соблазнъ; но ни черноризецъ, ни его игуменъ не обращали на это никакого вниманія, а спасенная отъ позорнаго промысла блудница Порфирія, отдохнувъ и поправясь у брата, обнаружила въ себѣ большую сердечную доброту и нѣжность. Она нашла у какого-то уединеннаго бѣднаго храма брошенное дитя и, исполнившись къ нему жалости, взяла его и стала его воспитывать. «По лѣтѣ же единемъ простая чадь (то-есть простолюдины) изъ Тира» пришли для молитвенныхъ цѣлей въ обитель, куда укрыта была Порфирія, и узнали ее, а увидавъ при ней годовое дитя, заговорили: «добре чернище-черничища еси породила!» Люди эти разсказали въ Тирѣ, что видѣли у черноризца Порфирію и при ней годового ребенка, какъ разъ будто похожаго на того брата, который взялъ ее и провелъ съ собою черезъ весь городъ. Черноризецъ слышалъ объ этомъ и семь лѣтъ молчалъ, а въ это время пріемышъ Порфиріи выросъ, а она сама сдѣлалась монахиней. Тогда чернецъ, чувствуя приближеніе смерти, взялъ эту женщину и ея пріемыша и пошли всѣ трое вмѣстѣ въ Тиръ. Здѣсь инокъ собралъ въ одно мѣсто сто человѣкъ и велѣлъ принести полную кадильницу жарко горящихъ угольевъ, и при всѣхъ ссыпалъ эти пламенѣющіе уголья въ свой стихарь. Стихарь не загорѣлся и даже не чадилъ. Всѣ это видѣли и удивлялись, а черноризецъ сказалъ:—«Вотъ и смотрите: въ этомъ есть знаменіе, что я отъ рожденія своего никогда не зналъ грѣха женскаго». Раздѣлявшая же съ нимъ напраслину Порфирія, прежде бывшая тирская блудница, а потомъ благочестивая отшельница, посвятила остатокъ своей жизни спасенію другихъ женщинъ, переносившихъ въ Тирѣ такое же самое унизительное положеніе, изъ котораго она вырвалась при состраданіи монаха, котораго она никогда

не склоняла къ любовному сближенію съ собою, а хранила къ нему только высокое чувство благодарности и уваженія.

Другая блудница къ самому паденію своему приводится такимъ трогательнымъ путемъ, какому не представляетъ равнаго никакой художественный вымыселъ.

26) *Апрѣля 8.* Въ Александріи жила одна очень молодая и очень красивая дѣвушка, египтянка. Она была круглая сирота. Родители ея умерли едва только она вышла изъ дѣтства и оставили ей хорошій достатокъ. Дѣвица имѣла благоустроенный домъ и обширный виноградный садъ по скату къ рѣкѣ Нилу. Наслѣдства, которое она получила, достаточно было бы, чтобъ ей прожить цѣлую жизнь въ довольствѣ; но молодая египтянка была чрезвычайно участлива ко всякому человѣческому горю и ничего не жалѣла для того, чтобы помочь людямъ, впадающимъ въ бѣдствіе. Черезъ это съ нею произошелъ слѣдующій роковой случай.

Разъ передъ вечеромъ, когда схлынулъ палящій египетскій жаръ, египтянка пошла со своими служанками купаться къ Нилу. Она выкупалась и, освѣженная, покрывшись легкимъ покрываломъ, тихо возвращалась къ себѣ назадъ черезъ свой виноградникъ. Служанки ея этимъ временемъ оставались еще на рѣкѣ, чтобъ убрать купальныя вещи.

Вечеръ послѣ знойнаго дня былъ прелестный; работники, окончивъ свое дѣло, ушли и виноградникъ былъ пустъ. Египтянка могла быть увѣрена, что она одна въ своемъ саду; но вдругъ, къ удивленію своему, она замѣтила въ одной куртинѣ присутствіе какого-то незнакомаго ей человѣка. Онъ какъ-будто скрывался и въ то же время торопливо дѣлалъ что-то у одного плодовитаго дерева. Можетъ-быть, онъ рвалъ плоды и оглядывался, боясь, что его поймаютъ вертоградари.

Египтянкѣ пришло на мысль подойти ближе къ незнакомцу съ тѣмъ, чтобы помочь ему скорѣе нарвать больше плодовъ и потомъ тихо проводить его черезъ ходъ, выво-

дившій на берегъ Нила, къ купальнѣ. Съ этою цѣлью она и пошла къ незнакомцу.

Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что этотъ незнакомецъ не срывалъ плоды, а дѣлалъ что-то совсѣмъ другое: онъ закрѣплялъ для чего-то шнуръ къ суку стараго дерева. Это показалось ей непонятно, и она притаилась, чтобы видѣть, что̀ будетъ дальше, а незнакомецъ сдѣлалъ изъ шнура петлю и вложилъ въ нее свою голову... Еще одно мгновеніе — и онъ удавился бы въ этой петлѣ, изъ которой слабой дѣвушкѣ не по силамъ было бы его вынуть, а пока она успѣла бы позвать на помощь людей, удавленникъ успѣлъ бы умереть... Надо было помѣшать этому немедленно.

Египтянка закричала: «остановись!» и, бросаясь къ самоубійцѣ, схватилась руками за петлю веревки.

Незнакомецъ былъ пожилой человѣкъ, эллинъ, съ печальнымъ лицомъ и въ печальной одеждѣ, съ неподрубленнымъ краемъ. Увидавъ египтянку, онъ не столько испугался, сколько пришелъ въ досаду, и сказалъ ей:

— Какое несчастіе! Злой демонъ, что ли, выслалъ тебя сюда, чтобъ остановить мою рѣшимость?

— Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь такъ прекрасна? — отвѣчала ему египтянка.

— Можетъ-быть, жизнь и прекрасна для тебя и для подобныхъ тебѣ, которыя живутъ въ полномъ довольствѣ. Раньше и я находилъ въ ней хорошее, но нынче судьба отъ меня отвернулась и жизнь моя составляетъ мнѣ несносное бремя: ты не права, что мѣшаешь мнѣ умереть. Иди отсюда своею дорогою и оставь мнѣ возможность вылѣзть по моей веревкѣ вонъ изъ этой житейской ямы, гдѣ я не хочу болѣе терзаться между грязью и каленными угольями.

Дѣвушка не соглашалась его оставить и сказала:

— Я не позволю тебѣ удавиться: я закричу—и сейчасъ прибѣгутъ мои люди. Лучше возьми свой шнурокъ подъ одежду и поди за мною въ мой домъ: разскажи мнѣ тамъ

твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это сдѣлаю, а если оно въ самомъ дѣлѣ такъ безпомощно, какъ ты думаешь, тогда... выходи отъ меня со своимъ шнуромъ куда хочешь: я тебѣ ни въ чемъ не помѣшаю, и ты еще не опоздаешь тогда повиснуть на деревѣ.

— Хорошо, — отвѣчалъ незнакомецъ, — и какъ мнѣ ни тяжело медлить на землѣ, но ты мнѣ кажешься такою участливою, въ глазахъ твоихъ столька ума, а въ голосѣ ласки, что я тебѣ хочу повиноваться. Вотъ уже шнуръ мой спрятанъ подъ моею одеждой и я готовъ идти за тобою.

Египтянка привела отчаяннаго въ свой благоустроенный домъ, приказала служанкѣ подать фрукты и прохладительное питье и, усадивъ гостя среди мягкихъ подушекъ на пышномъ коврѣ, вышла, чтобы перемѣнить свое купальное платье на другое. Когда же она возвратилась, то сѣла тутъ же рядомъ съ гостемъ, а за ними стали двѣ черныя служанки и легкимъ движеніемъ шелковыхъ кистей начали приводить въ колебаніе спускавшееся съ потолка огромное, напитанное ароматами, опахало изъ большихъ пестрыхъ перьевъ.

Египтянка желала какъ можно скорѣе узнать горестную исторію незнакомца, что̀ онъ и исполнилъ. Разсказъ его былъ простъ и немногосложенъ. Покусившійся на самоубійство эллинъ недавно еще имѣлъ большое состояніе, но потерпѣлъ неудачи въ дѣлахъ и до того задолжалъ, что не могъ разсчитаться со своимъ заимодавцемъ. Въ этомъ затрудненіи онъ прибѣгнулъ къ его состраданію; но это было напрасно: богачъ соглашался оказать ему снисхожденіе, но не иначе, какъ на одномъ ужасномъ условіи.

— Въ чемъ же заключается это условіе? — спросила египтянка.

— Я не могу сказать тебѣ этого при твоихъ слугахъ.

Она велѣла служанкамъ удалиться.

— У меня есть дочь, дѣвушка твоихъ лѣтъ. Она такъ же, какъ ты, стройна станомъ и прекрасна лицомъ, а о

сердцѣ ея суди какъ можешь по слѣдующему. Заимодавецъ мой, большой и безнравственный сластолюбецъ, сказалъ мнѣ: «отдай мнѣ твою дочь на ложе, и тогда я освобожу тебя отъ темницы; иначе ты задохнешься въ колодкѣ». Я оскорбился и не хотѣлъ слышать объ этомъ. Это было мнѣ тѣмъ болѣе тяжко, что у моей бѣдной дочери есть женихъ. Онъ бѣденъ, но имѣетъ возвышенный умъ, и дочь моя горячо любитъ его съ самаго дѣтства; кромѣ того, и жена моя не снесетъ такого безчестья, чтобы дочь наша стала наложницей. Но бѣда настигаетъ бѣду: представь себѣ новое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мнѣ тихо:

«— Отецъ, я все знаю... я уже не ребенокъ.. я рѣшилась, отецъ... Чтобы на твою старую шею не набили колодку... Прости мнѣ, отецъ... я рѣшилась...»

Она зарыдала, и я вмѣстѣ съ нею рыдалъ еще больше и сталъ ее отговаривать, но она отвѣчала:

«— Любовь къ тебѣ и къ матери, которая не снесетъ твоего униженія, во мнѣ теперь говоритъ сильнѣе любви къ моему жениху: онъ молодъ, — продолжала она, глотая бѣжавшія слезы, — онъ полюбитъ другую и съ ней пусть узнаетъ счастье супружеской жизни; а я... я твоя дочь... я дочь моей матери... вы меня воспитали... вы стары... Не говори мнѣ больше ни слова, отецъ, потому что я твердо рѣшилась».

Притомъ она пригрозила, что если я буду ей противорѣчить, то она не станетъ ждать завтрашняго дня, когда заимодавецъ назначилъ мнѣ срокъ, а уйдетъ къ нему сію же минуту.

Незнакомецъ отеръ набѣжавшія на лицо его слезы и кончилъ:

— Что еще скажу тебѣ дальше? Моя дочь имѣетъ рѣшительный нравъ и нѣжно насъ съ матерью любитъ... Что она порѣшила, противъ того напрасно съ ней спорить... Я упросилъ ее только подождать до завтра, и солгалъ ей, будто имѣю еще на кого-то надежду... День цѣлый я хо-

дилъ какъ безумный, потомъ возвратился домой, обнялъ жену и дочь и оставилъ ихъ вмѣстѣ, а самъ взялъ тихонько шнурокъ и побѣжалъ искать уединеннаго мѣста, гдѣ могъ бы окончить мои страданія. Ты мнѣ помѣшала, но зато облегчила горе мое своимъ сердобольнымъ участіемъ. Мнѣ мило видѣть лицо твое, прекрасное и доброе, какъ лицо моей дочери. Пусть благословитъ тебя Небо, а теперь прощай и не мѣшай мнѣ: я пойду и окончу съ собой. Когда я не буду въ живыхъ, дочь моя не станетъ бояться колодки, которую могутъ набить на шею отцу, и она выйдетъ замужъ за своего жениха, а не продастъ себя, ради отца, богачу на безчестное ложе.

Египтянка внимательно выслушала весь разсказъ незнакомца, а потомъ сказала, глядя ему твердо въ лицо:

— Я понимаю во всемъ твою милую дочь—она добрая дѣвушка.

— Тѣмъ это тяжелѣй для меня,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Я понимаю и это; но скажи мнѣ—сколько ты долженъ заимодавцу?

— О, очень много, — отвѣчалъ незнакомецъ и назвалъ очень знатную сумму.

Это равнялось всему состоянію египтянки.

— Приди ко мнѣ завтра—я дамъ тебѣ эту сумму.

Незнакомецъ изумился: онъ и радовался, и не могъ вѣрить тому, что слышитъ, а потомъ сталъ ей говорить, что онъ даже не смѣетъ принять отъ нея такую великую помощь. Онъ напомнилъ ей, что долгъ его составляетъ слишкомъ значительную сумму, и просилъ ее подумать, не подвергаетъ ли она себя слишкомъ большой жертвѣ, которой онъ даже не въ состояніи и обѣщать возвратить ей.

— Это не твое дѣло,—отвѣчала египтянка.

— Притомъ же,—сказалъ онъ,—припомни и то, что я изъ другого народа—я эллинъ, и другой съ тобой вѣры.

Египтянка опустила рѣсницы своихъ длинныхъ, какъ миндалины, глазъ и отвѣчала ему:

— Я не знаю, въ чемъ твоя вѣра: это касается нашихъ

жрецовъ; но я вѣрю, что грязь такъ же марает ногу гречанки, какъ и ноги всякой иной, и одинаково каждую жжетъ уголь каленый. Не смущай меня, грекъ; твоя дочь покорила себѣ мое сердце,—иди, обними твою дочь и жену и приди ко мнѣ завтра.

А когда незнакомецъ ушелъ, дѣвушка тотчасъ же опять взяла свое покрывало и пошла къ богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цѣну все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу.

Черезъ малое же время, когда прошелъ срокъ сдѣланнаго заклада, ростовщикъ пришелъ съ закладной и взялъ за себя все имущество египтянки, а она должна была оставить свой домъ и виноградникъ и выйти въ одномъ бѣдномъ ночпльномъ платьѣ. Теперь у нея не было ни средствъ, ни пріюта.

Скоро увидѣли ее въ этомъ положеніи прежніе знакомые ея родителей и стали говорить ей:

— Ты, безумная дѣвушка и сама виновата въ томъ, до чего тебя довела твоя безразсудная доброта!

Она же имъ отвѣчала, что ея доброта не была безразсудна, потому что теперь она лишь одна потерпитъ несчастье, а безъ этого погибало цѣлое семейство. Она разсказала имъ все о несчастьѣ эллина.

— Такъ ты вдвое безумна, если сдѣлала это все для людей чужой вѣры!

— Да вѣдь не порода и вѣра страдали, а *люди*,—отвѣтила она.

Услыхавъ такой отвѣтъ, знакомые почувствовали противъ нея еще бо́льшее раздраженіе.

— Ты хочешь блистать своей добротою къ чужевѣрнымъ пришельцамъ, — ну, такъ живи же, какъ знаешь! — и всѣ предоставили ее судьбѣ, а судьба приготовила ей жестокое испытаніе.

Великодушная дѣвушка не могла избѣжать тяжкихъ бѣдствій по причинамъ, которыя крылись въ ея воспитаніи: она совсѣмъ не была приготовлена къ тому, чтобы добы-

вать себѣ средства своими трудами. Она имѣла молодость, красоту и свѣтлый, даже проницающій умъ и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное, дѣвственное тѣло ея было слабо для того, чтобъ исполнять грубыя работы—береговыя поденщицы ее отгоняли; она не могла носить ни корзины съ плодами, ни кирпичи на постройки, и когда она хотѣла мыть бѣлье на рѣкѣ, то зола изъ сгорѣвшаго нильскаго тростника разъѣдала ея нѣжныя руки, а текучая вода производила у нея головокруженіе, такъ что она упала въ воду и ее, полуживую, безъ чувствъ вытащили изъ Нила.

Она очутилась въ отчаянномъ положеніи: въ мокромъ платьѣ и голодная. Съ ней подѣлилась сухою ячменною лепешкой береговая блудница,—одна изъ тѣхъ, которыя во множествѣ бродили по берегу Нила, поджидая проходившихъ здѣсь вечеромъ чужеземныхъ матросовъ (навклировъ); одна эта женщина подѣлилась съ нею и на ночь своею циновкой, она же прикрыла ее и отъ стужи ночной своею сухою одеждой, а потомъ... прекрасная египтянка стала такою же, какъ эта, прибрежной блудницею.

Всѣ знавшіе Азу отъ нея отвратились — она погибала. Иногда она приходила въ свой бывшій виноградникъ, подъ то самое дерево, на вѣтвяхъ котораго хотѣлъ удавиться избавленный ею незнакомецъ, и вспоминала его разсказъ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, какъ поступила: пусть страдаетъ она, но другіе спасены!.. Это радовало египтянку и давало ей силу терпѣть ея униженіе; но случались минуты слабости, когда она была близка къ отчаянію и готова была броситься въ Нилъ. Тогда она садилась надъ кручей на красномъ, какъ сгустѣлый комъ крови, песчаномъ холмѣ и размышляла о томъ: неизбѣжно ли такъ должно быть, чтобы добрый всегда былъ между грязью и каленными угольями?

Или будь безучастенъ къ горю людскому, или утони въ горѣ самъ? Третій выборъ—плетись между грязью и углемъ. Для чего же тогда нашимъ сердцамъ дано знать сострада-

ніе? Или небо жестоко? Зачѣмъ оттуда никто не сойдетъ и не укажетъ—какъ людямъ сдѣлать жизнь свою лучше, чтобъ отверженныхъ не было, и чтобы не было гордыхъ, пресыщенныхъ и нищихъ? О, если бы снизошелъ оттуда такой великій учитель, если бы былъ такой человѣкъ,—какъ бы она хотѣла рыдать у его ногъ и во всю жизнь исполнять все, что онъ ей прикажетъ!

Въ такомъ настроеніи она однажды тихо брела вдоль берега Нила, по уединенному мѣсту, и не встрѣчала въ этотъ день даже буйныхъ мореходцевъ. Она уже два дня не ѣла и чувствовала мучительный голодъ. Въ глазахъ у нея мутилось. Она подошла къ рѣкѣ и нагнулась, чтобы напиться, но сейчасъ же отскочила въ испугѣ: такъ самой ей показалось страшно ея изнуренное лицо съ померкнувшимъ взглядомъ. А такъ недавно еще ее всѣ называли «прекрасной».

— О, я понимаю теперь, что̀ это значитъ. Я уже больше не «прекрасная»,—я страшна даже самымъ потеряннымъ людямъ!.. Голодъ приблизился, мучительный голодъ... но я не ропщу... Я посылаю послѣдній привѣтъ мой Небу, которое внушило мнѣ рѣшенье любить другихъ больше себя, и съ тѣмъ умираю!

Она бросилась къ рѣкѣ, чтобъ утонуть, и непремѣнно бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удержалъ за плечо, и она, оглянувшись, увидала передъ собой пожилого человѣка скромнаго вида и въ чужестранной одеждѣ.

Египтянка приняла его за одного изъ чужестранцевъ, приходящихъ на это мѣсто съ цѣлями, о которыхъ ей было извѣстно, и сказала ему:

— Оставь меня въ покоѣ: я не хочу идти сегодня съ тобой.

Но чужеземецъ не отошелъ, а взглянулъ на нее ласково и сказалъ ей:

— Напрасно думаешь, сестра моя, что я былъ намѣренъ сказать тебѣ что-либо дурное. Мнѣ показалось, что ты въ какомъ-то боренье съ собой.

— Да; я вынимаю ноги мои изъ грязи и хочу ступить на горячіе уголья. Это требуетъ силы.

— Ты очень слаба.

— Я два дня не ѣла.

— Такъ ѣшь же скорѣе: со мной есть хлѣбъ и печеная рыба.

Чужеземецъ поспѣшно перебросилъ изъ-за спины холщевую сумку и подалъ дѣвушкѣ рыбу и хлѣбъ и флягу воды съ виномъ.

Египтянка стала ѣсть, запивая глотками воды, а когда первый мучительный голодъ ея былъ утоленъ, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала:

— Нехорошо, что я ѣмъ твою пищу: ты путешествуешь и тебѣ нуженъ запасъ для себя.

— Не безпокойся, сестра, — я могу потерпѣть, и повѣрь, что терпѣть гораздо отраднѣй, чѣмъ видѣть терпящихъ.

Египтянка вздрогнула.

— Чужестранецъ! — сказала она, — ты меня накормилъ и хорошо говоришь... но зачѣмъ ты два раза уже назвалъ меня своею *сестрой?* Развѣ не понимаешь ты, кто я такая?

— Ты такое же созданіе Бога, какъ я, и сестра мнѣ. Какое мнѣ дѣло, чѣмъ житейское горе и жестокость людей тебя теперь сдѣлали.

Дѣвушка вперила въ него свои глаза, опять засверкавшіе бывалымъ огнемъ, и вскричала:

— Ты жжешь меня своими словами! Ты, быть-можетъ, посланникъ боговъ?

— Нѣтъ, я такой же, какъ ты, простой человѣкъ.

— Но кто научилъ тебя такъ говорить, что сердце мое горитъ и трепещетъ?

— Сядемъ здѣсь вмѣстѣ, и я разскажу тебѣ, кто научилъ меня такъ говорить.

Несчастная еще больше смутилась.

— Какъ, — сказала она, — ты хочешь сидѣть со мной

рядомъ! Тебя могутъ увидѣть съ блудницей почтенные люди, и что ты имъ скажешь тогда въ свое оправданіе?

— Я скажу имъ, что Тотъ, Кто всѣхъ ихъ почтеннѣе, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

— Кто жъ это былъ *онъ*?.. Я о такомъ не слыхала... но ты о немъ говоришь, и слова твои льютъ новую жизнь въ мое сердце... Можетъ-быть, онъ-то и есть твой учитель?!

— Ты не ошиблась. Это *Онъ* — мой Учитель.

Египтянка заплакала.

— Какъ ты счастливъ, какъ ты счастливъ, чужестранецъ! Гдѣ же онъ, гдѣ этотъ небесный посланникъ?!

— Онъ съ нами.

— Съ нами!.. со мной!.. Не смѣйся надъ бѣдною блудницей!.. я несчастна... Скажи мнѣ, гдѣ онъ, и я побѣгу... Я стану его умолять... быть-можетъ, и мнѣ онъ дастъ новую жизнь!

Чужеземецъ самъ взволновался.

— Успокойся, — сказалъ онъ, — ты ее будешь имѣть — новую жизнь, — развяжись только со старой, — развяжись скорѣй съ тѣмъ, что гнететъ тебя въ прошломъ.

— Слушай же, кто я такая! — воскликнула съ оживленіемъ дѣвушка, и разсказала все, что съ ней было, и когда повѣсть ея была кончена, она добавила въ свое оправданіе:

— Говорятъ, будто мнѣ надлежало иначе размыслить, но я не могла: мое сердце тогда одолѣло разсудокъ.

— Кто кладетъ руку на плугъ и самъ озирается вспять, тотъ не пахарь. Не жалѣй о томъ, какъ ты поступила.

Она потупила взоръ и сказала:

— Я не о томъ сожалѣю... но мнѣ тягостно думать о томъ, что было послѣ...

— Послѣ того, когда ты совершила святѣйшее дѣло любви, — прервалъ ее чужестранецъ, — послѣ того, когда ты позабыла себя для спасенія другихъ... Оставь сокрушенія эти!.. Когда каленое уголье жжетъ ноги, ноги ползутъ

въ холодную грязь, но любовь покрываетъ много грѣховъ и багровыя пятна бѣлитъ, какъ волну на ягненкѣ... Подними лицо твое вверхъ... Прими отъ меня привѣтъ христіанскій и знай, что *Онъ*, къ Кому душа твоя рвется, перстомъ на сыпучемъ пескѣ твой грѣхъ написалъ и оставилъ смести его вѣтру.

Египтянка подняла лицо свое и плакала, а христіанинъ глядѣлъ на нее, колѣни его незамѣтно согнулись, онъ поклонился ей въ ноги и тихо промолвилъ:

— Ты была мертвая и стала живая!

Утѣшеніе совершилось, — пришла новая жизнь въ смущенную душу египтянки. Христіанинъ разсказалъ ей, въ чемъ состоитъ ученіе Христово, и египтянка непремѣнно захотѣла узнать: есть ли люди, которые живутъ по этому ученію, по взаимной любви, и у которыхъ нѣтъ ни осужденія, ни зла, ни нищеты.

— Они были, — отвѣчалъ христіанинъ.

— Отчего же не всѣ таковы и теперь?

— Это трудно, сестра.

— Въ чемъ же тутъ трудность?

— Слушай, какъ они жили.

Христіанинъ прочелъ ей на память мѣсто изъ *Дѣяній:*

«У множества увѣровавшихъ въ спасительность Его ученія было одно сердце и одна душа, — никто изъ имѣнія своего ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее и все, что у нихъ было, они раздѣляли по нуждѣ каждаго и каждый день собирались вмѣстѣ и вмѣстѣ принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца» (Дѣян. IV, 32).

— Такъ вѣдь это прекрасно! — воскликнула Аза.

— Но для иныхъ это трудно!

«Такъ Іоссія, прозванный отъ апостоловъ Варнавою, что значитъ «сынъ утѣшенія» — левитъ, родомъ изъ Кипра, у котораго было свое помѣстье, продалъ его и принесъ деньги къ ногамъ апостоловъ» (37).

Послѣ многихъ сумрачныхъ дней лицо египтянки освѣ-

тилось отрадной улыбкою: Варнава отдалъ помѣстье, и назвали его: «сынъ утѣшенія»...

Она выше подняла лицо и сказала:

— Это вовсе не трудно. Это только *такъ должно!*

— Такъ иди же отсюда, куда я тебя научу, и разскажи тѣмъ людямъ, къ которымъ придешь, все, что ты мнѣ разсказала.

Чужеземецъ назвалъ ей мѣсто, гдѣ сходятся христіане Александріи и кто ихъ епископъ.

Египтянка, ни минуты не медля, встала и пошла по его указанію.

Когда она пришла, ее сейчасъ же узналъ одинъ клирикъ и сказалъ ей:

— Красотка! мнѣ очень знакомо твое лицо: ты похожа на блудницу, которая часто ходила по берегу Нила.

— Я сама и есть та блудница,—отвѣчала египтянка,— но то уже кончено: я хочу быть христіанкой.

— Ну, это не сразу: ты должна прежде очистить себя постомъ и раскаяніемъ.

— Я все готова исполнить, что̀ нужно.

Ей сказали, какъ надо поститься; она пошла и долго постилась, питаясь тѣмъ, что ей давали изъ состраданія. Наконецъ, она изнемогла и пришла снова съ просьбой, чтобы ее крестили и приняли со всѣми въ общенье. Клирики сказали ей: «Ты такъ мерзко жила у всѣхъ на виду, что должна принести при всѣхъ покаяніе».

— Да, я затѣмъ и пришла, чтобы сказать всѣмъ, какъ дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу васъ: скажите епископу, что я прошу скорѣе принять меня въ общеніе.

Клирики сказали епископу, и тотъ скоро велѣлъ назначить ей катихизатора, который долженъ былъ протолковать ей символъ и всѣ догматы вѣры и потомъ удостовѣрить ея познанія, и тогда египтянку положили крестить.

Но она этого не дождалась; нетерпѣливое желаніе ея получить христіанское имя и жить съ христіанами вмѣстѣ

снѣдало ее; она жаловалась и плакала, «а всѣ пренебрегали ею».

Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка лежала больная «въ малой хлевинѣ», туда къ ней среди ночи вошли «два свѣтлые мужа» и одѣли ее въ бѣлыя, «крестильныя ризы». Въ нихъ и осталось на землѣ ея мертвое тѣло, а живой духъ ея отлетѣлъ въ обитель живыхъ.

Кончина египтянки, одѣтой въ крестильныя ризы, сдѣлала затрудненіе клирикамъ: они недоумѣвали, по какому обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно пришелъ тотъ чужестранецъ, который говорилъ съ усопшею у берега Нила. Онъ былъ философъ и пресвитеръ сирійскій, другъ Исаака-Сирійца, — онъ вернулся сюда съ дороги по внушенію духа. Онъ наклонился къ усопшей и сталъ читать христіанскія молитвы, а пока онъ молился, тѣло ея зарыли въ землю, но сиріецъ еще долго стоялъ и смотрѣлъ вдаль — онъ что-то думалъ, онъ былъ въ восторгѣ и двигалъ устами.

Его спросили:

— Вѣрно ты видишь чудное что-нибудь?

— Да, — отвѣчалъ онъ, — я вижу какъ будто бы небо отверсто... и туда... кто-то входитъ...

— Неужто блудница?

— О, нѣтъ!.. блудницу вы закопали въ грязи: я вижу... какъ легкая струйка съ каленаго угля сливается съ свѣтомъ; мнѣ кажется, это восходитъ *дочь утѣшенія*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Слѣдующее женское лицо является въ иной, но не менѣе трогательной обстановкѣ, также ярко рисующей и общую картину нравовъ V вѣка.

27) *Іюня 14.* Евсевій изъ Аскалона разсказывалъ, что у нихъ въ городѣ былъ купецъ, имѣвшій свои корабли, на которыхъ онъ возилъ дорогіе товары въ Африку. Разъ сдѣлалось

кораблекрушеніе, и купецъ этотъ сразу обѣднѣлъ: корабли его потонули, а выкинутые на берегъ товары были расхищены. Тогда заимодавцы посадили этого купца въ тюрьму, а его молодая и очень красивая жена ходила на поденщину и что̀ успѣвала зарабатывать, на то приготовляла пищу и приносила ее мужу въ темницу. При этихъ посѣщеніяхъ она иногда долго засиживалась съ заключеннымъ, стараясь облегчить его несносное томленіе. Въ Аскалонѣ же у знатныхъ людей было обыкновеніе, чтобы по особливымъ днямъ ходить посѣщать содержащихся въ тюрьмахъ и подавать имъ милостыню. Одинъ изъ такихъ знатныхъ людей пришелъ разъ въ темницу, когда жена разорившагося купца сидѣла у своего мужа, и какъ только взглянулъ на нее, такъ и плѣнился ею. «Уязвися вельможа сердцемъ, видя красоту ея, бѣ бо по истинѣ красна зѣло». Вельможа сейчасъ же «подосла къ ней нѣкоего странника», чтобъ она подошла къ нему «пріяти милостыню».

Женщина, не подозрѣвая ничего дурного со стороны вельможи, встала и подошла къ нему, чтобы «пріять его милосердіе», а онъ сталъ ее спрашивать: за что̀ она сидитъ въ темницѣ? Женщина отвѣчала, что заключенъ здѣсь ея мужъ, а она только приходитъ посѣщать его и остается съ нимъ по любви и состраданію, чтобъ облегчать его участь. Тогда вельможа сказалъ ей прямо: «я тебѣ помогу: приходи нынче вечеромъ и пробудь со мной ночь, а я завтра выкуплю твоего мужа изъ темницы».

Женщина не обнаружила ни гнѣва, ни досады и не стала устыжать вельможу за то, какъ онъ пользуется затрудненіями бѣдности, а сказала ему:

— Я должна спросить объ этомъ своего мужа, и какъ онъ скажетъ, такъ я и сдѣлаю. Хочешь — я пойду и спрошу его?

Вельможа не стѣснялся и отвѣтилъ ей: «Спроси».

Она подошла къ мужу и передала ему съ совершенною простотой предложеніе, сдѣланное ей вельможей.

Купецъ заплакалъ и, глубоко вздохнувши, сказалъ:

— Да, не даромъ сказано: «не надѣйтесь на князи и сыны человѣческіе». Пусть проститъ ему Богъ обиду, которою онъ хотѣлъ насъ унизить еще болѣе, чѣмъ мы унижены. Подойди къ нему и скажи, что мы не хотимъ купить свободу такою цѣной.

Жена подошла и въ той же самой простотѣ передала слова мужа вельможѣ. Вельможа разсердился и вышелъ. Сидѣлъ же тутъ неподалеку отъ купца въ другомъ углѣ темницы одинъ дорожный разбойникъ, который все это видѣлъ и слышалъ. Взаимная любовь и вѣрность супруговъ его тронули, и онъ «поману къ себѣ жену и рече ей: азъ умилихся, видя цѣломудріе ваше. Азъ разбойникъ есмь и имамъ злато сокровенно въ зиданіи граднѣмъ. Иди на мѣсто, имя рекъ, раскопай и возьми злато тамъ сокровенное на воздаяніе долга мужа твоего и иныя потребы ваши».

Женщина пошла и нашла золото и искупила мужа милосердіемъ разбойника.

За симъ наступаетъ типъ возвышеннѣйшей деликатности.

28) *Мая 30.* Блаженный отецъ Маркъ плылъ однажды на кораблѣ въ Константинополь, но поднялась буря и загнала его «кораблецъ» къ «нѣкоторому пустынному острову». Пока корабельщики справлялись съ поврежденными снастями, блаженный Маркъ сошелъ походить на безлюдный островъ и къ удивленію своему вдругъ замѣтилъ на пескѣ слѣдъ ноги человѣческой. Онъ пошелъ дальше по этому слѣду и вскорѣ увидѣлъ въ отдаленіи человѣка, который впрочемъ былъ въ очень странномъ и непонятномъ видѣ и, замѣтивъ Марка, видимо старался отъ него скрыться. Блаженный Маркъ, заинтересованный неожиданной встрѣчей, погнался за удалявшимся жильцомъ необитаемаго острова и скоро сталъ его настигать. Тогда преслѣдуемый имъ дикій или полудикій человѣкъ, видя, что ему уже не скрыться отъ настигающаго пришельца, сталъ передъ нимъ «присѣдъть», сгибаясь къ землѣ, и что-то говорилъ ему неразборчивымъ и жалобнымъ голосомъ. Бл. Маркъ, слыша этотъ

жалкій и слабый стонъ или мольбы, пріостановился и сказалъ:

— Не убѣгай отъ меня: я христіанинъ и не намѣренъ сдѣлать тебѣ никакого зла.

А присѣдавшій дикарь еще ниже пригнулся и отвѣчаетъ:

— Я не боюсь тебя; но стыжусь, ибо я нагая женщина, а ты мужъ, и потому я ухожу отъ твоего взгляда. Если же ты милостивъ и хочешь со мной говорить, — то брось мнѣ что-нибудь изъ твоей одежды, чтобъ я могла хоть немножко закрыться, — тогда я стану къ тебѣ лицомъ, и мы можемъ поговорить.

Бл. Маркъ имѣлъ на себѣ въ ту пору двѣ ризы. Одну онъ оставилъ на себѣ, а другую свернулъ комкомъ и бросилъ нагой женщинѣ, а самъ отворотился. Женщина подхватила одежду, покрылась ею и подошла къ бл. Марку. Они сѣли, и когда разговорились, то бл. Маркъ узналъ отъ нея слѣдующее: женщина эта родилась въ простомъ и бѣдномъ семействѣ и притомъ родители ея скоро умерли, а она осталась совершенно безпомощною сиротой. Попалась она какъ-то разъ на глаза одному именитому и богатому человѣку, который тронулся ея положеніемъ, изъ жалости взялъ ее къ себѣ въ домъ и сталъ воспитывать вмѣстѣ со своими дѣтьми. У него она выросла и стала красива, и обнаружила умъ и добрый характеръ, и этимъ нашла себѣ такое благорасположеніе у своего воспитателя, что онъ не хотѣлъ искать для своего сына лучшей жены, какъ эта сиротка. Молодой человѣкъ тоже любилъ ее и тоже не хотѣлъ себѣ иной невѣсты, но женщины-родственницы съ материной стороны жениха имѣли непремѣнное намѣреніе женить «наслѣдника всего имѣнія» на дѣвушкѣ богатой и знатнаго рода. Это повело къ большимъ семейнымъ непріятностямъ, отъ которыхъ молодой человѣкъ много страдалъ и, наконецъ, сильно заболѣлъ, но и лежа въ огнѣ болѣзни все одно повторялъ: «люба ми есть та, еже воспиталъ мой отецъ». Тогда, чтобъ онъ не

лишился жизни, — ихъ соединили. Молодые супруги были вполнѣ счастливы,—особенно мужъ, который и послѣ свадьбы все еще повторялъ; «люба ми есть, еже дахъ мой отецъ!»— но мать его и ея родственницы постоянно старались сѣять раздоръ въ домѣ и поносили молодого человѣка за его любовь къ женѣ, избранной имъ изъ бѣднаго и низкаго круга. Тогда эта молодая женщина, видя, что семейныя смуты въ домѣ и страданія любимаго ею мужа не прекратятся, пока ее видятъ въ домѣ,—рѣшилась пожертвовать собою и, для водворенія семейнаго спокойствія, бѣжала изъ дома. Сначала она шла, куда глаза глядятъ, а потомъ плыла на кораблѣ, но корабль разбило, и ее выбросило на этотъ самый безлюдный островъ, гдѣ нашелъ ее блаженный Маркъ. Здѣсь она испытала холодъ, голодъ и безпріютность и вдобавокъ ощутила въ себѣ младенца, котораго и родила, воспитала и живетъ съ нимъ уже тридцатый годъ, не видя лица человѣческаго. Блаженный Маркъ видѣлъ и сына этой великодушной женщины: совсѣмъ нагой, онъ прятался въ пещерѣ и былъ пораженъ ужасомъ и удивленіемъ при видѣ третьяго человѣка, притомъ покрытаго одеждами.

Слѣдующій очеркъ представляетъ женскій типъ и очень энергическій, и не лишенный своеобразной ироніи, напоминающей русскую княгиню Ольгу въ ея дѣлѣ съ древлянами.

29) *Августа 14.* Въ одномъ прибрежномъ торговомъ мѣстѣ жили въ большой дружбѣ два купца: одинъ женатый, а другой холостой. У женатаго жена была очень красивая, а притомъ очень умная и цѣломудренная, но супружеское счастье ихъ не было продолжительно: мужъ внезапно умеръ, а красавица-жена его осталась вдовой, и какъ она очень любила своего мужа, то не хотѣла вступать во второй бракъ, а желала посвятить остальную жизнь служенію добрымъ дѣламъ. Между тѣмъ ея красота и извѣстная скромность ея въ сожительствѣ съ первымъ мужемъ влекли къ ней многихъ жениховъ, которымъ она всѣмъ спокойно отказывала, совѣтуя имъ брать себѣ въ жены дѣвушекъ. Многихъ она

такъ отводила; но явился одинъ такой пылкій соискатель, съ которымъ ей нелегко было раздѣлаться. Это былъ тотъ самый искренній другъ ея перваго мужа, въ которомъ она и не подозрѣвала, что и онъ увлеченъ ея красотой, а онъ такъ «уязвился къ ней страстію неисцѣльною, что мало не изгибе».

Тогда эта красавица, какъ женщина уже опытная и не разъ видавшая передъ собою влюбленныхъ, замѣтила томленія друга своего покойнаго мужа и безъ ошибки разгадала, какого они свойства. Она признала за лучшее вывесть дѣло на чистоту и потомъ оказать этому человѣку помощь.

— Друже!—сказала она ему,—я вижу, что ты самъ не въ себѣ, когда говоришь со мною. Не должна ли я изъ этого заключить, что ты вѣрно имѣешь ко мнѣ что-нибудь особенное, но стѣсняешься сказать это. Прошу тебя, не продолжай далѣе такого для тебя вреднаго, да и для меня безпокойнаго состоянія, потому что я не хочу видѣть тебя страдающимъ. Скажи мнѣ, что тебѣ отъ меня надобно, и будь увѣренъ, что я сдѣлаю все какъ могу лучше, и надъ твоимъ признаніемъ не посмѣюся.

Онъ же, услыхавъ такое поощреніе, очень обрадовался и съ откровенностію ей сказалъ, что плѣненъ ея красотой, почитаетъ извѣстныя ему ея душевныя качества и желаетъ взять ее себѣ въ жены.

Разсудительная вдова поблагодарила его за уваженіе, но отвѣчала ему, что, испытавъ радости брака съ мужемъ любимымъ, она уже не желаетъ второй разъ испытывать того же самаго съ другимъ человѣкомъ, ибо думаетъ, что лучшее время жизни уже не повторится, а худшее родитъ только сожалѣнья о прежнемъ и не составитъ ни для той, ни для другой стороны счастія. А потому она предпочитаетъ не вступать въ новый союзъ ни съ кѣмъ, а будетъ жить для дѣтей и для общественныхъ заботъ, которыя всегда достойны вниманія и поглощаютъ досугъ съ пользой для ближняго. Молодому же человѣку она указывала на молодыхъ, только дошедшихъ до брачнаго возраста дѣву-

шекъ, съ которыми и совѣтовала ему вступить въ бракъ, ибо съ такою онъ можетъ жить въ любви, свободной отъ воспоминаній о прошломъ.

Но молодой человѣкъ «толико уязвился любовью ко вдовицѣ, иже вся иныя ни за что вмѣняя»,—онъ не слушалъ никакихъ доводовъ и указаній на дѣвушекъ, а нетерпѣливо «припадалъ ко вдовѣ и молилъ ее быть его женой», при чемъ онъ «люте истаевалъ», былъ унылъ и «ко гробу склоняся, ходилъ неистовъ яко бы бѣсенъ».

Такая докучная неотвязчивость и непріятное приставаніе нестерпимо надоѣли вдовицѣ, которая разсуждала такъ, что не можетъ же она «ради влеченія его исполнить все, елико онъ хощетъ»!.. И тогда, чтобы покончить съ нимъ, она ему сказала:

— Что ты терзаешь себя и меня? долго ли это еще будетъ?

Онъ же отвѣчалъ ей:

— Такъ будетъ до вѣку, пока я или ты живемъ на свѣтѣ, потому что душа моя и сердце все стремятся къ тебѣ, и ты напрасно говоришь мнѣ о юныхъ дѣвахъ. Я ихъ видя не вижу и онѣ чужды желаніямъ моего сердца, а по тебѣ истаеваютъ всѣ силы моего тѣла и мозгъ костей моихъ сворачивается. Исцѣли меня, уязвленнаго твоею красотой: стань женой моею, или я иначе умру.

— Горе мнѣ съ тобою! — отвѣчала вдова и, замысливъ нѣчто въ умѣ своемъ, сказала:—Да не обманываешься ли еще ты, будто такъ меня любишь, что и жить не можешь? Неужели въ самомъ дѣлѣ для счастья твоего нѣтъ ничего драгоцѣннѣе моей взаимности?

Купецъ клялся въ этомъ, а она ему отвѣчала какъ бы въ недовѣріи:

— Остановись клясться предо мною, такъ какъ я уже не дѣвица и страстнымъ мужскимъ словамъ не довѣряю. Всѣ вы таковы, что когда плѣняетесь женщиной, то становитесь безразсудны, и въ ту пору уста у васъ черезъ мѣру полны восхищеній, но послѣ бываетъ иное. Я потребую отъ

тебя доказательствъ, что для твоего счастія всего потребнѣе обладаніе мною и ничто иное тебя привлечь къ себѣ не можетъ.

Купецъ съ радостію воскликнулъ:

— «О, я вельми готовъ, и аще мнѣ міръ весь предложатъ—не взгляну на него, а къ тебѣ устремлюся».

Вдова улыбнулась и отвѣчала:

— Міръ весь не нашъ, а Божій, и такой великой области для искушенія твоего я предложить не могу, но я поставлю тебѣ нѣчто меньшее и увидимъ: не устремишься ли къ этому неважному, а меня столь тебѣ необходимую отринешь.

— Никогда этого не случится!—воскликнулъ влюбленный.

— Иди же сейчасъ отсюда домой, затворись въ своей верхней комнатѣ, выкинь мнѣ ключъ въ окно и оставайся тамъ, пока я пришлю за тобой. Обѣщаешь ли мнѣ это исполнить?

— О, что говорить о такихъ пустякахъ!

— Хорошо, и если потомъ твое стремленіе будетъ все то же, то я даю тебѣ слово, что перестану вспоминать объ умершемъ мужѣ и отдамъ себя въ твое угожденіе. Теперь, съ этой минуты, все, чему быть и чему не быть—отъ тебя зависитъ.

Купецъ побѣжалъ домой весело, потому что почиталъ свое дѣло выиграннымъ. Онъ взошелъ въ домъ свой и веселою рукой затворился у себя въ верхней горницѣ, а ключъ выбросилъ въ окно и велѣлъ отнести его вдовѣ въ доказательство, что онъ свой урокъ уже началъ. Вдова же приняла ключъ, но ничего больше жениху не заказала.

Купецъ пробылъ въ горницѣ день, провожая часы ожиданія въ любовныхъ мечтаніяхъ и ожидая, въ чемъ будетъ дальше его испытаніе; но сутки прошли, а вдова ни о чемъ новомъ ему не сообщала. На другой день онъ опять думалъ о вдовѣ, но вспомнилъ также нѣсколько разъ и о своемъ желудкѣ, который былъ пустъ и требовалъ пищи,

а на третій день голодъ сталъ такъ напоминать ему о себѣ, что купецъ не обращался въ сладкихъ мечтахъ ко вдовѣ, а гнѣвался на нее и все думалъ о пищѣ, а въ ночи онъ не могъ спать, потому что и сонъ его наполнялся уже не видѣніями обольстительной вдовы, а запахомъ яствъ. Утро же четвертаго дня купецъ встрѣтилъ въ мучительныхъ болѣхъ желудка и послалъ преданнаго ему человѣка ко вдовѣ спросить: не забыла ли она о немъ? Вдова отвѣчала, что она не забыла.

— Но онъ умираетъ!—сказалъ ей посланецъ.

— Не пугай меня этимъ, — отвѣчала вдова сквозь улыбку,—до смерти еще далеко. Но, впрочемъ, я не хочу томить его дольше. Пусть онъ одѣвается въ гостиное платье, я за нимъ скоро пришлю и онъ получитъ все, чего пожелаетъ.

Въ предобѣденный же часъ въ домъ купца пришла довѣренная отъ вдовы и, имѣя ключъ отъ жениховой двери, открыла ее и сказала:

— Радуйся, господинъ! ты вполнѣ сдержалъ свое обѣщаніе, иди же теперь къ моей госпожѣ: она тебя ожидаетъ и, со своей стороны, свое обѣщаніе сдержитъ.

Но купецъ, одѣтый въ гостиное платье, смотрѣлъ на посланницу впавшими глазами и уныло, слабымъ голосомъ, отвѣчалъ, что готовъ за ней слѣдовать. Онъ былъ такъ изнуренъ, что надо было позвать людей, которые взяли его подъ руки и помогли ему идти.

Вдова встрѣтила гостя въ дверяхъ своего жилища. Она была во всемъ блескѣ своей красоты, ибо и она тоже смѣнила одежду вдовства и надѣла легкотканную одежду, державшуюся на ея плечахъ самоцвѣтными стяжками и открывавшую шею и руки, съ которыхъ неслось благоуханіе амбры.

Принявъ входившаго гостя подъ руки, вдова ввела его въ большую горницу, которая была раздѣлена на-двое повѣшеннымъ на кольцахъ ковромъ. Въ одной половинѣ, ближайшей ко входу, былъ накрытъ столъ, установленный

прозрачными кувшинами съ искрометнымъ питьемъ и блюдами, изъ которыхъ одно было покрыто; а на другой половинѣ возвышалось пышное ложе съ двойнымъ изголовьемъ.

— Ты теперь господинъ въ моемъ домѣ,—сказала вдова,— и я тебѣ повинуюсь. Вотъ здѣсь трапеза, здѣсь ложе. Избирай, что̀ ты хочешь; я готова раздѣлить съ тобой то и другое.

Купецъ же отвѣчалъ ей:

— Ахъ, помилуй меня, — «азъ вельми истощахъ, дай мнѣ впередъ насытиться»!—и онъ потянулся къ столу и возлегъ, озирая посуду.

— Мы имѣемъ достаточно время, такъ какъ яства въ приспѣшнѣ еще не поспѣли, — сказала вдова.

— А это здѣсь что же покрыто на блюдѣ?

— Это пшено, — оно безвкусно, пока къ нему не поспѣетъ облива.

— Мнѣ все теперь вкусно! — воскликнулъ купецъ и, открывъ блюдо, сталъ насыщаться пшеномъ, безъ обливы, а вдова сказала ему:

— Вотъ ты теперь видишь: потреба потребѣ есть рознь: безъ одного жить человѣку нельзя, а безъ другого жить можно!—и съ этимъ она велѣла подавать кушанья и опустила коверъ, который навсегда закрылъ отъ купца ея ложе.

30) *Апрѣля 5.* Стремясь возвышаться надъ силой страстей, женщины Пролога представляютъ еще одинъ такой высокій характеръ, которому удачи и безмятежное счастье были даже въ тягость.

Одинъ изъ александрійскихъ отцовъ увидѣлъ разъ женщину, которая чрезвычайно усердно молилась и притомъ горько плакала. Это его тронуло, и онъ спросилъ молившуюся: какое у нея горе? Она же отвѣчала ему: «ахъ, я очень счастлива, и у меня нѣтъ никакого горя, но я живу среди людей и вижу много огорченныхъ, и теперь молю Бога, чтобъ Онъ отдѣлилъ на мою долю часть ихъ страданія, дабы я не пристрастилась къ здѣшней жизни». Але-

ксандрійскій отецъ подивился этой благоразумной женщинѣ, которая лучше многихъ знала, въ чемъ заключается высшая опасность для человѣка.

Этимъ оканчивается группа женскихъ лицъ, которыя то удивляютъ мужчинъ высотой своихъ порывовъ, то исправляютъ ихъ, отвлекая отъ чувственной грубости, то прямо спасаютъ людей съ полнымъ самоотверженіемъ и потомъ безъ малѣйшаго ропота сами несутъ отверженіе, нищету и всевозможныя униженія. Въ такомъ санѣ превосходной чистоты мы насчитываемъ по Прологу *девять* женщинъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Систематическая схема наша являетъ намъ теперь такую пропорцію: изъ 35 женщинъ, составляющихъ цѣлую треть лицъ, представляющихъ интересъ въ повѣствовательномъ родѣ, 17 не соблазняли мужчинъ, а пострадали отъ ихъ соблазновъ и насилій; 4 соблазняли — одна съ успѣхомъ, а три безъ успѣха, при чемъ изъ нихъ безъ успѣха остались: одна свѣтская дама изъ Александріи, одна гетера, нанятая знатными богачами, и одна припадочная болгарская дѣвчонка. Успѣвала въ своихъ намѣреніяхъ только Марія изъ Египта, но и она, впрочемъ, держала себя какъ простая «блудница», какою она была до возвышеннаго поворота во второй половинѣ ея жизни. Девять же не только останавливали мужчинъ отъ ихъ грубыхъ страстей, но даже научили ихъ обуздывать свою природу и жить для болѣе возвышенныхъ цѣлей.

Въ дурномъ видѣ Прологъ представляетъ только *двухъ* женщинъ, изъ которыхъ одна обнаруживаетъ жестокое сердце, омраченное страстью къ мужчинѣ, а исторія другой такъ мало понятна, что ее, слѣдуя опредѣленію Ѳеофана Прокоповича, очевидно, остается только отнести къ разряду «пустыхъ басенъ».

31) *Марта 19.* Молодая вдова, по имени Марія, имѣя

двухъ маленькихъ дѣтей, влюбилась въ одного «воина» и захотѣла выйти за него замужъ. Воинъ же, хотя и былъ близокъ съ ней, но не хотѣлъ брать ее въ замужство. Онъ нагло выставлялъ на видъ свой эгоизмъ и отказывался тѣмъ, что не желаетъ «пещися о дѣтяхъ перваго мужа». Тогда влюбленная Марія, подъ наитіемъ страсти, «заколола обоихъ дѣтей и послала вѣсть воину, что у нея уже нѣтъ дѣтей». Воинъ, когда получилъ эту «вѣсть», тотчасъ же догадался, въ чемъ дѣло, и поправился на другой ладъ: онъ «поклялся не брать дѣтоубійцы». Онъ остался правъ, а женщина погибла. Случаи въ этомъ родѣ, съ замѣчательнымъ тождествомъ мотивовъ и частностей, повторяются въ изобиліи даже и до сего дня.

32) *Мая 5.* Одна «постница» тщательно берегла себя: она много постилась и молилась и избѣгала всякаго сообщества мірскихъ людей, а держалась только съ клириками, но и тутъ по неосторожности сблизилась съ однимъ пѣвчимъ, который, по сказанію, самъ не былъ ни въ чемъ повиненъ передъ ней, а она сама «растлилась и зачала». Увидѣвъ такое серьезное и, какъ видно, нежеланное послѣдствіе отъ своего сближенія, постница опять обратилась къ Богу и начала пламенно молиться, «чтобы зачатое ею въ беззаконіи *родилось мертво*», и это такъ и случилось.

Два эти сейчасъ приведенные случая (31 и 32) представляютъ самое худшее, что̀ есть въ ряду всѣхъ исторій съ женщинами, описанными въ Прологѣ; но если и на эти два самые худшіе «прилога» смотрѣть безпристрастно, что̀ отъ критики безусловно и требуется, то нельзя не видѣть, что обѣ здѣсь представленныя женщины тоже отнюдь не являютъ собою особеннаго коварства къ погубленію мужчинъ, а напротивъ, онѣ по своему безразсудству и страстности губятъ только себя и своихъ дѣтей.

Слѣдуетъ также замѣтить и то, что у всѣхъ прологовыхъ женщинъ высшаго настроенія, при большой примитивности ихъ пріемовъ, постоянно видна ясность въ ихъ цѣляхъ и отчетливость въ дѣйствіяхъ, чего нѣтъ въ описаніяхъ, изоб-

ражающихъ мужчинъ, желавшихъ исправлять женщинъ. У женщинъ (кромѣ двухъ дѣтоубійцъ) *совсѣмъ нѣтъ грубости*, а у мужчинъ безъ нея не обходится никакое дѣло.

33) Нѣкто Виталій изъ Каира послужилъ при кельѣ старца Спиридона шестьдесятъ лѣтъ и ушелъ въ Александрію, потому что не захотѣлъ болѣе аскетической славы, а «нача жить на соблазнъ», то-есть юродовать. Самое соблазнительное въ юродствѣ этого старика, которому не могло быть менѣе какъ лѣтъ семьдесятъ, было то, что Виталій всякую ночь шелъ туда, гдѣ собирались блудницы. Онъ это затѣялъ, какъ ниже увидимъ, не съ дурною, а съ доброю цѣлью, и это ему стоило не мало хлопотъ и трудовъ, ибо для такого рода жизни нужно было постоянно имѣть съ собой изрядныя деньги. Виталій и старался доставать нужныя ему средства: онъ вставалъ рано утромъ, выходилъ на поденщину и цѣлый день работалъ, получая серебренникъ за день, а пошабашивъ, тотчасъ же несъ этотъ серебренникъ въ блудный домъ, нанималъ себѣ за эту цѣну блудницу, и когда оставался съ нею наединѣ, то передавалъ ей серебренникъ и говорилъ: «вотъ, дочь моя, я за эту монету цѣлый день проработалъ, а ты теперь возьми ее себѣ и цѣлую ночь за нее проспи спокойно».

Женщина, которой Виталій, такимъ образомъ, покупалъ возможность спокойно провести ночь, ложилась и спала, а Виталій становился тамъ же возлѣ нея, какъ возлѣ ребенка, и не смущаясь ни ея присутствіемъ, ни тѣмъ, что достигало до его слуха изъ-за утлыхъ перегородокъ и завѣсъ переполненнаго буйными гостями блудилища, возносилъ въ молитвахъ за міръ духъ свой къ Богу, а утромъ опять поспѣшалъ на работу. И такъ юродивый Виталій дѣлалъ всякій день, при чемъ онъ всегда упрашивалъ бывшихъ съ нимъ женщинъ, чтобъ онѣ никому не разсказывали, какъ онъ съ ними обходится, а говорили бы, что онъ точно такой же блудникъ, какъ и всѣ другіе, вхожіе въ ихъ жилище. Многія женщины такъ и говорили, и тайна Виталія долго оставалась неизвѣстною; но вдругъ одна изъ жен-

щинъ разсказала, что она любитъ Виталія за то, что онъ, оставаясь съ нею, не безпокоитъ ее, а только молится во всю ночь. Другія же женщины озпаривали эту свою подругу и говорили какъ научилъ ихъ Виталій, то-есть, что онъ бываетъ у нихъ за тѣмъ же самымъ, за чѣмъ и всѣ прочіе ихъ посѣщающіе мужчины.

Услыхалъ объ этомъ спорѣ Виталій и огорчился, что одна женщина выдала тайну его юродства, — тогда онъ «помолился и женщина взбѣсилась». Это отвѣчало дальнѣйшимъ цѣлямъ юродиваго Виталія, потому что слова «бѣшеной» уже не пользовались ничьимъ довѣріемъ, а онъ хотѣлъ, чтобъ о добродѣтели его не знали, а считали бы его блудникомъ.

Такъ цѣлая группа открыто промышлявшихъ собой блудницъ оберегали тайну юродиваго, оказывавшаго имъ трогательное участіе.

34 и 35) Въ заключеніе видимъ сразу двухъ женщинъ: мать и дочь — въ ужасномъ положеніи. У одной матери было двое дѣтей, — сынъ и дочь. Сынъ не захотѣлъ работать для поддержанія жизни матери и сестры, а покинулъ ихъ и ушелъ въ монахи. Онъ постригся и сталъ жить въ монастырѣ очень строго. Старуха же осталась на рукахъ одинокой дочери, которая никакъ не могла честнымъ трудомъ заработать столько, чтобы прокормить и одѣть себя и старуху. «Отъ нищеты она поползнулася и впала въ напасть во огражденіи банѣмъ» (то-есть на банномъ дворѣ). Въ странѣ той, гдѣ это было, женщинъ строго карали за распутство, и эту дѣвушку «взялъ князь» и «по закону хотяше убить ю». По строгости такого рѣшенія надо думать, что «напасть во огражденіи банѣмъ» заключалась въ какомъ-нибудь особенномъ развратномъ дѣяніи, за которое «по закону» полагалось убивать для устрашенія другихъ. Такіе случаи бывали, но разсказывать о нихъ неудобно. Мать осужденной на смерть дѣвушки пришла къ князю и просила его не казнить ея дочь, потому что послѣ этого не будетъ кому напоить ее, старуху, водой. А если

уже дочь за ея беззаконіе нельзя помиловать, то старуха умоляла князя, чтобы повелѣлъ и ее самоё тоже убить одновременно вмѣстѣ съ дочерью. Князь спросилъ: «Развѣ у тебя нѣтъ больше дѣтей?»

— У меня есть сынъ,—отвѣчала старуха,—но онъ монахъ и не живетъ съ нами.

— Пусть придетъ ко мнѣ этотъ монахъ и поговоритъ о сестрѣ,—сказалъ князь.

Старуха отправилась въ монастырь къ сыну, но она потрудилась напрасно: монахъ не пошелъ къ князю говорить о сестрѣ, а сказалъ еще:

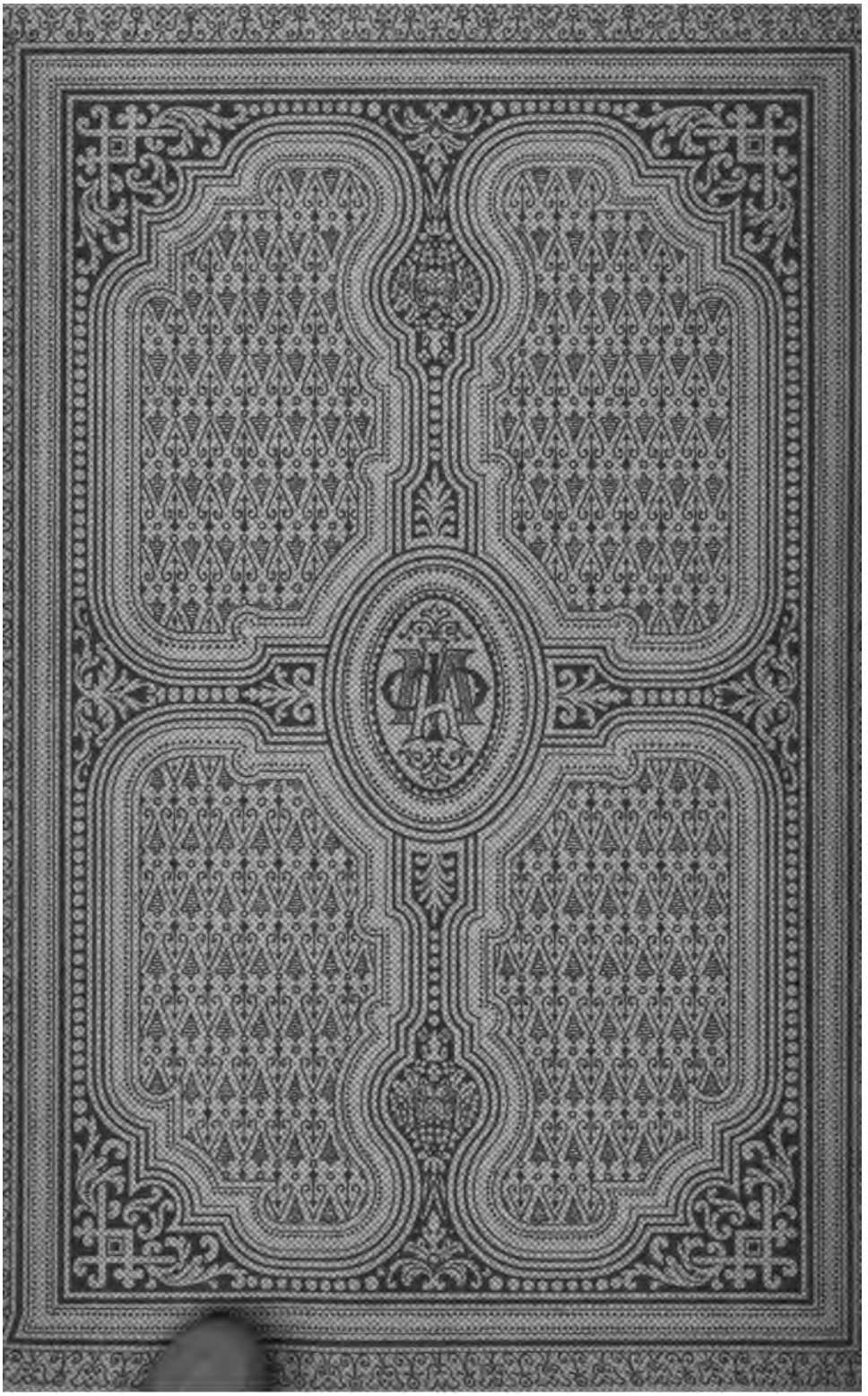
«— Вѣру ими ми, мати, аще и тебя побіютъ съ нею — азъ и о томъ орудія не имамъ. Умрохъ бо міру».

Старуха пересказала это князю, и князь помиловалъ дочь старухи безъ разговора съ монахомъ.

Этими тридцатью пятью женскими лицами представлено полное обозрѣніе женскихъ типовъ Пролога, какъ древняго житійнаго источника, отреченнаго церковною критикой, но до сихъ поръ уважаемаго русскимъ простонародіемъ. Держась самой сжатой краткости, мы имѣли цѣлью показать, что въ этомъ житійномъ сборникѣ женщины представлены отнюдь не такъ дурно, какъ это думаютъ и утверждаютъ люди, не потрудившіеся обозрѣвать подобные сборники обстоятельно и безпристрастно. Если мы этого хоть мало достигли, то весьма тому радуемся.

Оглавленіе XI тома.

	стр.
Часъ воли Божіей. Сказка	1
Полуношники. Пейзажъ и жанръ	32
Юдоль. Рапсодія	149
О квакерсяхъ. Post-scriptum къ «Юдоли»	259
Импровизаторы. Картинка съ натуры	269
Пустоплясы. Святочный разсказъ	290
Дурачокъ. Разсказъ	304
Невинный Пруденцій. Легенда	313
Легендарные характеры. Опытъ систематическаго обозрѣнія	390



) UNIVERSITY LIBRARIES
H. GREEN LIBRARY
CALIFORNIA 94305-6004
415) 723-1493

ay be recalled after 7 days

DATE DUE

1997